

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ИЗ РАССКАЗОВ О НОВЫХ ЛЮДЯХ.

(Первоначальная редакция)

I «ДУРАК»

Поутру 12 июля 1856 г. прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской дороги была в недоумении, отчасти даже тревоге. В 9-м часу вечера приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтобы его не тревожили, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела рано поутру; запер дверь номера и, пошумев ножом и вилкою, пошумев чайным прибором, скоро притих, — видно, заснул. Пришло утро, слуга постучался в 8 часов в дверь вчерашнего приезжего, — приезжий не подает голоса, слуга постучался сильнее, постучался очень сильно, — приезжий все не откликается и не шевелится. «Видно, крепко спит». Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился; стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. — «Уж не случилось ли с ним чего?» — «Надо выломать дверь». — «Нет, так не годится. Дверь ломать надо с полицией». Решили: постучаться еще раз посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу, не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с полициею.

Часам к 10 утра пришел полицейский чиновник, постучался, велел слугам постучаться, — успех тот же, как прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ко под кровать», — и под кроватью нет приезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, — на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Я ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2 и 3 часами ночи. Прошу полицию przeprowadить мои вещи по принадлежности».

— Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то не могли никак сообразить, — сказал полицейский чиновник.

— Что же такое, Петр Захарыч? — спросил буфетчик.

— Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода:

В половине 3-го часа ночи, — ночь была облачная, очень темная, — на середине Литейного моста сверкнул огонь и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные полицейские служители, прибежали проходившие на мосту, — никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили — поймали полсотни больших щеп — но тела не поймали. Да и как найти? Ночь темная, — оно в эти два часа уж на взморье, поди, ищи там. А может быть, и не было никакого тела? Может быть, пьяный или простой озорник подурачился, выстрелил, да и убежал, а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал?

Действительно, мнения общества на Литейном мосту разделились. Нашлись прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение о самоубийстве и принявшие новое: «озорник, подурачился». Большинство осталось при прежнем: «какое, подурачился, — пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Философ из этого выведет, что большинство всегда консервативно. Эстетик выведет, что трагедия влечет к себе мысль и чувства сильнее, чем фарс. Итак, застрелился. Но отчего застрелился? «Пьяный». «Промотался». «Просто, дурак». На том, что «просто, дурак», сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился: действительно, пьяный ли, или промотавшийся застрелился, или озорник вовсе не застрелился, а только выкинул штуку — все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело ночью на мосту. Поутру в большой гостинице у Московской железной дороги обнаружилось, что дурак не подурачился, а точно, застрелился. Консерваторы оказались правы, как всегда. Но остался в консервативном результате истории элемент, с которым были согласны и прогрессисты: если и не пошутил, а застрелился, то все-таки дурак. Так мудрый ход истории всегда дает делу конец, более или менее удовлетворительный даже и для побеждаемой стороны.

II

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ДУРАЦКОГО ДЕЛА¹

В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в небольшой комнате одной из маленьких дач Каменного острова, шила и вполголоса напевала какую-то арию; мелодия песни была веселая, слышались в ней порою и грустные звуки, но они покрывались общим светлым мотивом, — почти вовсе исчезали бы в нем,

¹ Зачеркнуто: Дурак или злодей? — Ред.

если бы дама была в другом расположении духа, но у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто вострепнется, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие; но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти, — только видно, что грусть не хочет отставать от нее, как она ни отталкивает ее от себя. Но грустна ли ее веселая песня, когда [она] забывает наблюдать за собою, становится ли опять весела, как следует быть этой песне, — дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка.

— Посмотрите, Маша, каково я шью, я уж почти кончила рукавички, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

— Ах, да на них меньше узоров, чем на тех, которые вышили вы мне.

— Еще бы! Чтобы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

— А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо, она увидела, что на конверте штемпель городской почты. «Как же это? Ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо, взглянула, побледнела, рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого», и она опять подняла руку с письмом, — это все было делом двух секунд, но в этот второй раз глаза ее долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, — она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала, что я наделала!» И опять рыдание.

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

— Верочка, что с тобою? Разве ты у меня охотница плакать? Когда же это с тобою бывает? Что же такое с тобой?

— Прочти... Оно на столе... — Она уже не рыдала, — это была минутная слабость, но она сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо. И он побледнел, читая его, и у него задрожали руки.

Он долго молча стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто. Наконец, он собрался с мыслями. Он сделал шаг вперед, к молодой женщине, которая сидела все попрежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку.

— Верочка...

Но едва коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как будто поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека и судорожно оттолкнула его руку.

— Прочь! Не прикасайся ко мне! На тебе его кровь! Ты в крови! Я не могу видеть тебя! Я уйду от тебя! Я уйду! Отойди от

меня! — И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками: — И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват! Я одна! Что я наделала! Что я наделала! — Она задыхалась от рыдания.

— Верочка, — тихо и робко сказал [он]: — друг мой...

Она тяжело перевела дух и тихим, и спокойным, и все еще дрожащим голосом сказала:

— Милый мой, оставь теперь меня; через час войди опять — я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди.

Он повиновался молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за десять минут перед тем, взял опять перо. «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою, — у меня есть воля, — все пройдет, пройдет», а перо, без его ведома, писало среди физиологического исследования; «Перенесет ли? — Ужасно! Счастье погибло!»

— Милый мой, я готова, поговорим, — послышалось из соседней комнаты. Голос Веры Павловны был глух, но тверд. — Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

— Верочка, чем же ты виновата?

— Не говори ничего. Не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, — и для меня, мой милый, тоже, — но я не [могу] поступить иначе — ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало поступить. Это кончено. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга — легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи, на эти деньги я могу прожить несколько времени, — где? — в Твери, в Нижнем, где-нибудь, все равно, — я буду искать уроков пения. Вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться. Но если буду, я обращусь к тебе. Займись же на время практикою, чтобы у тебя было на всякий случай готово для меня несколько денег, — ведь ты знаешь, у меня много надобностей, много расходов, — она улынулась, — я не могу жить иначе, и этих расходов не могу избежать. Слышишь? Я не отказываюсь от твоей помощи, пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мне мил. А теперь простимся навсегда. Отправляйся в город, сейчас, сейчас, — мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь. Тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Я не хочу тебя видеть. Прощай же, мой милый, дай руку на прощание, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее. Она предупредила его движение.

— Нет, не нужно, нельзя; это было [бы] оскорблением ему. Лай руку, — жму ее, — видишь, как крепко — но, прости.

Он не выпускал ее [руки] из своей.

— Довольно. Иди. — Она отняла руку. Он не смел противиться. — Прости же. — Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него, уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу, хотя раз пять брал ее в руки, — он не видел, что берет ее, он был, как пьяный. Наконец, понял, что это подле него стоит именно шляпа, которую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто, — машинально — вот он уже подходит к воротам, — «кто это бежит за мною? верно, Маша». Он оглянулся — Вера Павловна бросилась ему [на] шею, обняла, крепко поцеловала.

— Нет, не утерпела, мой милый! Теперь, прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так сдерживала.

III

ВТОРАЯ ЗАВЯЗКА ¹

IV

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прости меня, добрая публика, что я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал рассказ эффектными сценами, вырванными из середины или из конца действия, рассказал с известными манерными уловками, прикрыл их туманом загадочности, — ты добра, публика, слишком добра; от этого ты неразборчива и недогадлива (вас, читательница или читатель, я исключаю из этого порицания: в благовоспитанном обществе принято, что, когда говорят что-нибудь невыгодное о всех вообще, то исключают из общего суждения каждого отдельного человека, с которым имеют дело; например: «ах, как [люди] злы, бездушны» — при этом всегда предполагается, что вы и я имеем нежные души и превосходнейшие сердца). — На тебя, публика, нельзя положиться, что ты с первых страниц повести можешь различить, будет ли содержание стоить того, чтобы прочесть ее (на вас, читательница или читатель, я вполне полагаюсь) — у тебя плохое чутье к истинному достоинству, тебя заманивает или громкое имя автора, или эффектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть; ты еще не составила себе суждения, что автор одарен великим художественным талантом (ведь у тебя немало писателей, которых ты считаешь великими художниками, — ты очень, очень добра); еще не получив счастья заманивать тебя одною подписью своего имени, я должен был забросить тебе удочку с пошлою приманкою эффектности, на которую ты всегда ловишься. Не осуждай меня за это, ты сама виновата. Мне больно, что твое слишком добродушное свойство — да

¹ См. Дополнения. — *Ред.*

что церемониться, будем называть вещи настоящими именами: — твоя простодушная, ребяческая наивность заставила меня унизиться до такой пошлости. Но теперь ты уже в руках у меня, я могу продолжать рассказ так, как по-моему следует рассказывать: просто, без всяких уловок. Дальше не будет ни таинственности, ни эффектности, никаких прикрас. До прикрас ли, когда сердце обливается кровью при мысли о том, как ты, моя добрая публика, живешь и думаешь, какой сумбур у тебя в голове (не у вас, читательница или читатель), сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку нелепость твоих понятий. Нужно ли подбирать эффекты, когда из тысяч людей, которых я наблюдал, — всяких людей: пошлых и благородных, умных и глупых, хороших и дурных, все равно, — не встречал я ни одного, в жизни которого не было очень сильных мучений, у которых у всех один источник: пошлость и глупость твоих понятий, моя добрая публика; к чему тут эффективность, когда в жизни каждого, даже самого пустого или самого бездушного, и точно так же в жизни самого спокойного или счастливого человека есть трагедии, не хуже ратклифовских ужасов и дюмазовских неимоверностей, — нужно только иметь сердце да глаз, чтобы видеть и, видя, чувствовать. Зачем вы так много страдаете, люди? Нет вам никакой надобности страдать, кроме дикости ваших понятий. Поймите истину, и истина осчастливит вас.

У меня нет беллетристического таланта. Я даже и языком-то владею плохо; я краснею, когда перечитываю то, что написал, — чуть не на каждой строке неловкие обороты, излишние повторения, нет метких слов, нет ярких красок. Куда же тут претендовать на художественное дарование? Во мне нет ни следа его. Лица, мною выводимые, даже мне самому представляются лишь в неопределенных, бледных очерках. Действие растянуто, части его склеены плохо, бедные нитки швов так и торчат повсюду. В целом, все выходит нескладно, вяло. Но, — но все-таки ничего: читайте, прочтете не без пользы. Истина хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, который верно служит ей.

Впрочем, тебе, моя добрейшая публика, надобно договаривать все до конца. — Охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное, когда я говорю тебе, что у меня нет никаких следов художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, что я так прямо и объясняю тебе, что я нисколько не похож на рассказчиков, которых ты считаешь великими художниками, что мой рассказ ты должна поставить ниже их повестей. Нет, он слишком слаб сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных сильным талантом, например, с «Мещанским счастьем», «Молотовым», с маленькими пьесками г. Успенского, — но ведь ты, моя добрейшая публика, еще не разобрала, что эти вещи разнятся, как небо от земли, от восхищающих тебя сочинений прославленных твоих художников, — с этими-то сочинениями ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, а по содержанию он выше их.

Поблаговари же меня, ведь ты охотница кланяться тем, кто не уважает тебя, поклонись же и мне. Но я от других, не уважающих тебя, отличаюсь тем, что желаю тебе добра, надеюсь, что ты скоро будешь заслуживать уважения, и, сколько могу, помогаю тебе подниматься из грязи, в которой ты по уши сидишь; попробуй, встань — это не так трудно, как тебе кажется.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ В РОДИТЕЛЬСКОМ СЕМЕЙСТВЕ

[I]

Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное, жизнь ее до знакомства с Лопуховым, медицинским студентом, представляла кое-что замечательное, но не особенное, не чрезвычайное.

Когда ей был десятый год, девочка, шедшая с матерью на Толкучий рынок с Гороховой, получила на повороте из Апраксина переулка в Садовую неожиданный, плотный щелчок по затылку от костлявой руки своей дюжей родительницы.

— Глазеешь на церковь, дура, а лба-то что не перекрестила? Чать, видишь, все добрые люди крестятся.

Когда ей был четырнадцатый год, [она] обшивала всю семью, впрочем, на ее счастье, семья была не велика: отец, мать да маленький брат.

Отец был управляющим одним из больших домов на Гороховой и служил помощником столоначальника в каком-то департаменте. По должности он не имел никаких доходов, от управления домом получал небольшие доходишки, — другой мог бы получать больше, но Павел Константинович говорил, что он не хапуга и знает совесть. Зато хозяйка дома была им очень довольна, и в десять лет управления он накопил тысяч до пятнадцати капитала, — но из хозяйкина кармана тут было тысяч пять, не больше, остальные наросли к ним от оборотов не в ущерб хозяйке. Павел Константинович держал три извозчичьи пролетки (хозяйка дала ему пользование одною из конюшен, которая оказывалась лишнею, — большая квартира, которой принадлежала конюшня, была сдана под фабрику), а главное приращение было от даванья денег под ручной залог.

У матери Веры Павловны тоже был капиталец, — тысяч до пяти, как она говорила кумушкам, а на самом деле и побольше. Основание капиталу было положено продажей енотовой шубы, другого платьишка и мебелишки, доставшейся после брата-чиновника. Выручив рублей триста, Марья Алексеевна тоже пустила их в оборот под залоги; действовала гораздо рискованнее мужа, очень разборчивого в приеме залогов, несколько раз попадалась на удочку, — какой-то мошенник заложил ей за 30 р. золотые часы, которые оказались медными, — другой мошенник взял у нее 25 р. под залог своего паспорта, а паспорт оказался краденый, и Марье Алексеевне еще пришлось израсходовать рублей до 25, чтобы выпутаться из этого дела; но если она терпела потери, которых избегал муж, зато

и прибыль у нее шла быстрее. Подвергивались и особенные случаи получать деньги. Однажды (Вера Павловна была тогда еще маленькою — при взрослой дочери Марья Алексеевна не стала бы делать этого, — а тогда почему было не сделать? «ребенок не понимает», и действительно, сама Верочка еще не поняла бы, да, спасибо, кухарка растолковала очень хорошо; да и кухарка не стала бы толковать — «дитяти этого знать не следует», — говорила кухарка о таких вещах, но так уже пришлось, что не стерпела душа после одной из сильных потасовок от Марьи Алексеевны за гульбу с любовником; ну, пришлось к слову, при жалобе Верочке на мать, и рассказала, а то бы ни за что не стала сказывать), так однажды приехала к Марье Алексеевне невиданная знакомая дама, нарядная, пышная, красивая — приехала и осталась погостить. Неделю гостила смирно, только все ездил к ней какой-то статский, тоже красивый, и дарил Верочке конфекты, подарил две книжки с картинками, — в одной книжке были хорошие картинки: звери, города разные, а другую книжку Марья Алексеевна тотчас отняла у Верочки, когда уехал он ¹, так что только раз она и видела картинки в этой книжке, — при нем, — он сам ей показывал. Так неделю гостила знакомая, и все было тихо в доме, — Марья Алексеевна всю неделю не подходила к шкапчику, ключ от которого никому не давала, и всю неделю не была кухарку, и Верочку не била, и не бранила ни разу. Потом одну ночь Верочку беспрестанно будили страшные вскрикивания гостей и суетня в доме, — утром Марья Алексеевна подошла к шкапчику и больше обыкновенного стояла подле него и все говорила: «Слава богу, счастливо было, слава богу», даже подозвала кухарку к шкапчику, сказала «на здоровье, Матренушка, ведь и ты много потрудились», после, не то чтобы браниться да драться, как бывало после шкапчика в другое время, а легла спать, поцеловавши Верочку. Потом опять было неделю смирно в доме, только гостя не выходила из своей комнаты, а потом уехала. А через два дня после того, как она уехала, приходил статский — только уже другой статский — и приводил с собою полицию, и много ругал Марью Алексеевну, но Марья Алексеевна сама ни в одном слове не уступала ему и все твердила: «я ваших делов не знаю никаких. Справьтесь по домовым книгам, кто у меня гостил — псковская купчиха Севастьянова, моя знакомая, вот вам и весь сказ», и, наконец, поругавшись, поругавшись, статский ушел и больше носу не показывал. Такой случай только один и был, а другие бывали разные, но не так много.

Когда Верочке пришел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее такими словами: «Отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки? Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого». Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкою. Прежде мать водила ее чуть не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет

¹ В оригинале описка: офицер. — *Ред.*

с матерью в церковь да думает: «К другой шли бы эти наряды, а на меня что ни надень, все цыганка — чучело, как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою! Как бы мне хотелось быть хорошенькою!»

Через год мать перестала называть Верочку чучелою и цыганкою, а стала наряжать лучше прежнего. Кухарка сказала ей, что собирается сватать ее начальник Павла Константиновича, и какой-то большой начальник, с орденом на шее. Действительно, в департаменте говорили, что начальник отделения, у которого служит Павел Константинович, стал благосклонен к нему, а в кругу товарищей по чинам стал выражать такое мнение, что ему нужно жену хоть бесприданницу, да красавицу, и такое мнение, что Павел Константинович хороший чиновник.

Чем бы это кончилось, неизвестно; но начальник отделения собирався долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай.

Сын хозяйки дома зашел к Павлу Константиновичу и сказал, что мать просит управляющего сходить взять образцы разных обоев, потому что думает заново отделявать квартиру, в которой живет; и посидел с полчаса, удостоил выпить чашку чая. А прежде поручения передавались Павлу Константиновичу через дворецкого. Разумеется, дело понятное для бывалых людей, как Марья Алексеевна с мужем. Марья Алексеевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным у нее, и заказала дочери два новых платья, очень хороших, — одна материя стоила на одно платье 40 рублей, на другое — 52 рубля. С оборками, да лентами, да с фасоном два платья обошлись в 174 рубля, — так сказала мужу Марья Алексеевна, — ну, а Верочка знала, что всех денег пошло на них меньше 100 рублей, но и [за] 100 рублей какие отличные два платья можно сделать!

Платья не пропали даром: хозяйский сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющими, которые тоже, разумеется, на руках носили его, — ну, делали они и наставленья дочери, как следует — это нечего описывать, дело известное всякому.

Однажды после обеда мать сказала: «Верочка, одевайся, да получше. Я тебе сюрприз приготовила, — поедem в оперу; во втором ярусе взяла билет, — все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то все животы уже подвело от расходов-то на тебя. Фортепьянному учителю ведь платили по целковому за урок, — в четыре-то года сколько на этого одного нехристя вышло! А маме-то сколько денег переплатили? Ты этого не чувствуешь, неблагодарная. Нет, видно, души в тебе, бесчувственная ты этакая». — Только и сказала Марья Алексеевна: больше не бранила дочь, а это какая брань? Марья Алексеевна только уж вот так и говорила с Верочкой, а браниться на нее давно перестала — с год, а бить ни разу не била во весь год, с тех пор как прошел слух про начальника отделения.

Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйский

сын и с ним двое приятелей. Сели и уселись. Что-то много перешептывались, Марья Алексеевна вслушивалась, разбираала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили все по-французски. Слов пяток из их разговора она знала — *belle, amour, bienheureux Micha* — ну, да что толку в этих словах?

— Верочка, ты неблагодарная, как есть неблагодарная, — шепчет ей мать, — что ты с ними так холодна? обидели они тебя, что ли, что вошли? Честь тебе, дуре, делают. Смотри ты у меня! Помни, что я тебе говорила, как надо поступать с Михаилом Ивановичем. Смотри ты у меня! Я до сих пор терпела твоё фордыбаченье — фю, да хрю, да нос от него воротить — смотри, в последний раз говорю: слушайся, а то я те кузькину мать покажу. А как свадьба-то по-французски, Вера? — Верочка сказала. — Ну, а жених с невестой да венчаться — как по-французски? — Верочка и это сказала. — Нет, таких слов что-то не слышно. Вера, ты мне, видно, не так слова-то сказала? Смотри у меня!

— Нет, так, только этих слов вы от них не услышите. Поедемте, я не могу оставаться здесь дольше.

— Что? Что ты сказала, мерзавка? — Глаза у Марьи Алексеевны налились кровью.

— Пойдемте. Делайте со мною, что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после, почему. Маменька, — это уже было сказано вслух, — у меня страшно разболелась голова. Я не могу сидеть. Прошу вас. — Верочка встала.

Кавалеры засуетились.

— Это пройдет, Верочка, — строго, но величественно сказала Марья Алексеевна, — походи по коридору с Михаилом Ивановичем, и пройдет голова.

— Нет, не пройдет; я чувствую себя очень дурно; скорее, маменька.

Кавалеры отворили дверь ложи, хотели вести Верочку под руки, — отказалась, мерзкая девчонка, — сами подали салопы, сами отыскивали карету, — Марья Алексеевна гордо поглядывала на лакеев, сидящих на лестнице. — Смотрите, хамы, какой мундир на кавалере, который больше всех ухаживает, — и на другом кавалере какой мундир, — а у третьего, хамы, какой перстень на пальце, — больше 4 000 стоит, я знаю цену вещам, — этот важнее всех, хоть и не в мундире, — вот, как бы этого подцепить, — ну, да и Мишка хорош, нужды нет, что дурак — это еще лучше, что дурак, — вот, хамы, смотрите, какой у меня зятек-то будет! А ты у меня ломайся, ломайся, сквернавка, я-те поломаю! — Но стой, стой, что говорит этот Мишка-дурак ее скверной девчонке, сажая гордячку неблагодарную в карету? *Santé* — это здоровье, кажется, *savoir* — узнаю; *visite* — и по нашему визит; *permettez* — прошу позволения. Не уменьшилась злоба в глазах Марьи Алексеевны от этих слов, но надо о них подумать.

Карета двинулась.

— Что он тебе сказал, когда сажал в карету?

— Он сказал, что завтра поутру зайдет к нам узнать о моем здоровье.

— Не врешь, что завтра?

Верочка промолчала.

— Счастлив твой бог! — Однако не утерпела Марья Алексеевна, рванула дочь за волосы, — только слегка, — не такая потасовка ей готовилась, да нельзя: — Ну, пальцем не трону, только завтра чтобы была веселая! Ночь спи, дура, не вздумай плакать. Смотри, если увижу завтра, что бледна или глаза заплаканы, тогда не пожалею смазливой-то рожки твоей, уж заодно пропадать будет, так хоть дам себя знать.

— Я давно перестала плакать, вы знаете.

— То-то же, да будь с ним поразговорчивее.

— Да, я завтра буду с ним говорить.

— То-то, пора за ум взяться. Побойся бога да мать пожалей, срамница.

Прошло минут десять.

— Верочка, ты на меня не сердись. Я из любви к тебе бранюсь. Тебе же добра хочу. Ты не знаешь, какво дети милы матерям. Девять месяцев тебя в утробе носила. Верочка, отблагодари, будь послушна, сама увидишь, что я тебе добра желаю. Держи себя, как я тебя учу, — завтра же предложенье сделает.

— Маменька, вы ошибаетесь. Он вовсе не думает делать предложенья. Маменька, что они говорили!

— Знаю, — коли не о свадьбе говорили, так известно о чем. Да не на таковских напал. Мы его в бараний рог согнем. В мешке в церковь привезем, за виски вокруг наложим, да еще рад будет. Ну, да нечего много с тобой говорить. И так лишнего наговорила — девушкам не следует этого знать. Это — матернино дело. А девушка должна слушаться — она еще ничего не понимает. Так будешь с ним завтра говорить, как я тебе велю?

— Да, я буду с ним говорить.

— А вы, Павел Константинович, что сидите, как пень? Скажите и вы от себя, что вы как отец приказываете ей слушаться матери, что мать не будет ее дурному учить.

— Марья Алексеевна, ты умная женщина, только дело-то опасное, не слишком ли круто хочешь вести?

— Дурак, эко брякнул! При Вере-то! Не рада, что расшевелила, — правду пословица [говорит]: не тронь дерма, не воняет. Эко бухнул. Ты не рассуждай, а ты мне скажи: дочь должна матери слушаться?

— Должна.

— Ну, так и приказывай как отец

— Верочка, слушайся во всем матери. Мать твоя умная женщина, опытная женщина. Она тебя не будет дурному учить. Я тебе как отец приказываю.

Карета подъехала к крыльцу.

— Довольно, маменька. Я вам сказала, что буду говорить с ним,

теперь позвольте мне прямо итти в мою комнату, раздеться и лечь. Я очень, очень устала.

— Ложись. Спи. Не потревожу. Спи. Это нужно к завтраму. Хорошенько выспись.

И действительно, все время, пока они всходили на свой четвертый этаж, Марья Алексеевна молчала. А чего ей это стоило? И опять, когда Верочка пошла прямо в свою комнату, сказавши, что не хочет пить чаю, чего стоило Марье Алексеевне ласковым голосом сказать:

— Верочка, подойди ко мне. — Дочь подошла. — Хочу тебя благословить на сон грядущий, Верочка. Нагни головку. — Дочь нагнулась. — Бог тебя благословит, спи спокойно, Верочка, бог благословит тебя, как я благословляю. — Она три раза перекрестила дочь и подала ей поцеловать свою руку.

— Нет, матушка, я не притворщица. Я уж давно сказала вам, что не буду целовать вашей руки. А теперь отпустите меня. Я, в самом деле, чувствую себя дурно.

Ах, как было опять вспыхнули змеинные глаза Марьи Алексеевны! Но пересилила себя и кротко сказала:

— Ступай, отдохни.

Едва Верочка разделась и убрала платье, — впрочем, на это ушло много времени, потому что она задумывалась, — сняла браслет — и долго сидела с ним в руке, вынула серьгу — и опять забылась, — много времени прошло, пока она вспомнила, что ведь она страшно устала, что она ведь и не могла стоять перед зеркалом, а опустилась на стул в изнеможении, как только добрела до своей комнаты, — что надобно поскорее раздеться и лечь, — едва Верочка легла в постель, в комнату вошла Марья Алексеевна, с подносом, на котором была большая отцовская чашка — в две добрых чашки — и много, много было сливок налито в чай, — не поспунилась на этот раз мать, — и лежала целая грудa сухарей.

— Кушай, Верочка, кушай на здоровье. Сама тебе принесла, видишь, мать помнит о тебе. Сиж, да и думаю: «как же это Верочка спать легла без чаю», — сама пью, а сама все про тебя думаю. Вот и принесла, кушай, кушай, мое дитяtko ненаглядное.

Странен показался Верочке голос матери: он в самом деле был мягок и добр, — этого никогда не бывало. Она пристально посмотрела на мать. Щеки Марьи Алексеевны пылали, и глаза несколько блуждали.

— Кушай, кушай, а я посижу, посмотрю на тебя. Выкушаешь, другую чашку тебе принесу.

Чай, наполовину налитый густыми, такими вкусными сливками, вызвал аппетит, Верочка стала пить. «Как вкусен чай, когда он свежий, густой, и много в нем сливок и сахару! Очень вкусен. Вовсе не то, что жидкий, который уже на второй воде настаивался. О, когда у меня будут свои деньги, я всегда стану пить такой чай, как этот. А то такой дрянный пьешь, что даже противно».

— Благодарю вас, матушка.

— Не спи, принесу другую. — Она вернулась с другой чашкою такого же прекрасного чаю. — Кушай, а я опять посижу.

С минуту она молчала, потом заговорила как-то особенно, то самую быстрою скороговоркою, то ужасно растягивая слова.

— Вот, Верочка, ты меня поблагодарила, давно-о-о я не слы-ы-ы-хала от тебя благодарности. Ты ду-у-у-ма-а-а-ешь, я злая. Да, я злая, только нельзя мне не быть злой. А слаба я ста-а-ала. Какие мои лета? Еще пятидесяти нет, — а вот выпила три пунша, а меня-я-я уж и разобрало, а прежде, бывало, это нипочем, только бодрее делаюсь. А теперь, ви-и-и-дишь, и ослабела. Тяжелая моя жизнь, Верочка. Не хочу, чтобы ты так жила. Я сколько колготы приняла, и-и-и! и-и-и! сколько! Ты не помнишь, как мы с твоим отцом жили, когда он еще не был тут управляющим, — по неделе черный хлеб ели, водой запивали. А я ведь сначала была честная, — теперь я нечестная, не возьму греха на душу, нет, не возьму, не солгу перед тобою, не скажу, что я теперь честная — где уж! то время прошло. Ты, Верочка, ученая, а я неученая, да я знаю все, что у вас в книгах написано. Там много написано, — там и то написано, что не надо делать, как со мной сделали. — Ты, говорят, нечестная, вот тебе и весь сказ. Вот твой отец, — тебе-то он отец. Наденьке не он был отец, — голый дурак, а тоже колол мне глаза: Ты, говорит, нечестная. А я была честная. Ну, меня взяла злость. А когда, говорю, я по-вашему нечестная, так и буду нечестная. Наденька родилась — ну, так что, что родилась — а меня кто этому научил? Кто место-то получил? Тут моего греха меньше было, чем его. А я бы одна-то и со злости-то этого не сделала. Они ее у меня отняли — в воспитательный дом отдали, — с тех пор ее и не видала. и где она, не знаю, и жива ли, не знаю, — чать, где уж быть живой, — ну, в теперешнюю пору мне мало горя, а тогда не так-то легко было, — ну, меня пуще злость взяла. Ну, и стала злая. Тогда и пошло все хорошо. Твоему отцу, дураку, должность доставил кто? Я доставила. А в управляющие кто его произвел? Я произвела. Вот и стали жить хорошо. А почему? Потому что я стала нечестная да злая. А покуда не была такая, мы какую нужду терпели, Верочка! Это у вас в книгах написано, я знаю, что только злым да нечестным и хорошо жить на свете. Это правда, Верочка. Вот, теперь и у отца твоего деньги есть, — я ему доставила, — и у меня есть, может, еще побольше, чем у него, — все достала, на старость кусок хлеба приготовила. И отец твой, дурак, меня уважать стал, когда я такая стала — по струнке у меня ходит, я его вышколила! А то гнал меня, глаза мне колол, надругался надо мною, а за что? тогда не за что было. У вас в книгах написано, Верочка, не годится так жить — а ты думаешь, я этого не знаю? Да в книгах-то у вас написано, что коли не так жить, так надо все по-новому завести, а по нынешнему заведению нельзя так жить, как они велют, — так что же они по новому-то порядку не заводят? — Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие новые порядки у вас в книгах расписаны? Знаю, хорошие. Только мы с тобою до них

не доживем, больно глуп народ — всего боится, — где с таким народом хорошие-то порядки завести? Так станем жить по старым — и ты по ним живи. Верочка, до новых не доживешь. А старый порядок какой? У вас в книгах написано: старый порядок тот, чтобы обманывать да обирать. Я знаю. А когда нового нет, как же, коль не по старому-то жить-то? Ну, и обманывай да обирай. Другого манеру нет. По любви тебе говорю, — ведь я тебе мать. Так и живи. А ты думаешь: новый порядок лучше будет; а ты думаешь, я не знаю, что лучше будет? Ты думаешь, у меня сердце-то не перекипело? Да я бы их! — Ну, и у меня жилы тяни, и я была обманщица да обирательница, — тяни, тяни! Тяни, коли виновата! Спуску не давай! Что меня жалеть! Сама помогу! Перекипело все сердце во мне! Помогу, на себя саму помогу! Тяни, у всех жилы тяни! И у мишкиной матери тяни! И у Мишки-дурака тяни! Народ обирают! Тяни — вот моя рука, подавай сюда мишкину мать, подавай Мишку-дурака — хочу из них жилы тя-хр-р-р...

Она захрапела и повалилась.

Верочка слушала, и женщина, казавшаяся ей чудовищем, теперь становилась понятна: это не зверь, как ей казалось прежде, нет, — это человек, испорченный, ужасный, обращенный колдовством жизни в зверя, но все-таки человек. Прежде в Верочке была только ненависть к матери, теперь она чувствовала, что в ее сердце рождается что-то похожее на жалость. Это был первый и сильный практический урок в любви к людям, как бы ни были они злы и испорчены.

Урок был дан пьяною женщиною, очень дурною.

III

А между тем Михаил Иванович Сторешников или Мишка-дурак, как его называла Марья Алексеевна, ужинал в каком-то моднейшем ресторане с двумя приятелями, которые были его компаньонами в ложе; в компании было еще четвертое лицо — француженка, приехавшая с офицером.

— Мсьё Сторешник, — вы позвольте мне так называть вас, это приятнее звучит и легче выговаривается, — я не думала, что я буду одна в вашем обществе, я надеялась увидеть здесь Адель.

— Адель поссорилась со мною, к несчастью, — отвечал Сторешников.

— Врет он, Жюли, боится сказать тебе правду, — сказал офицер: — думает, что ты выпарапаешь ему глаза за оскорбление славы своей великой и прекрасной нации, когда узнаешь, что он бросил Адель для нашей соотечественницы.

— Фи, какой дурной вкус! Я бы ничего не имела возразить, если бы вы, мсьё Сторешник, покинули Адель для этой грузинки, в ложе которой вы были с ними обоими, но променять француженку на русскую — воображаю: бесцветные серые или оловянные глаза, жиденькие бесцветные волосы, бессмысленное, бесцвет-

ное лицо — виновата, не бесцветное, а, как вы говорите, кровь со сливками — так, кажется? — то есть кушанье, которое могут брать в рот только ваши эскимосы, — и ни ума, ни жизни, ни огня — фи! фи! Мсьё Жеан (она обратилась к статскому¹), подайте пепельницу грешнику против граций, — пусть он посыплет пеплом свою голову.

— Ты наговорила столько вздора, Жюли, что не ему, а тебе надобно посыпать пеплом голову, — сказал офицер: — как ты braniшь наших русских красавиц, а ведь та, которую ты назвала грувинкой и которую сама ставишь гораздо выше по красоте, чем Адель, ведь она русская.

— Ты смеешься надо мною.

— Чистейшая русская.

— Невозможно!

Серж с комическою торжественностью сделал наклонение головою, выражающее высшую степень положительной несомненности.

— Ты напрасно думаешь, милая Жюли, что в нашей нации один господствующий тип красоты, как в вашей, — да и у вас много блондинок. А у нас блондинки, которых ты ненавидишь и презираешь, — только один из местных типов, может быть, самый распространенный, но вовсе не имеющий слишком большого преобладания. Мы — смесь племен, всевозможных племен, — от беловолосых до таких, которые ближе к неграм, чем к белокурым северным народам. Я тебе покажу в моем альбоме коллекцию русских красавиц всех возможных типов, — от такой, которую ты примешь за англичанку, до такой, которую ты [назовешь] бедуинкою или индийскою баядеркою. И столько огня было у многих у них — говорю по опыту, Жюли.

— Это удивительно! Русская! Но она великолепно! Рост, осанка, — это Виргиния, которая закололась от преследований этого гадкого тирана, Юлия Цезаря, и смерть которой освободила Рим! Великолепно! Зачем она не поступит на сцену? Господа, я говорю только о том, что я видела, но остается один вопрос, очень важный, капитальный: ее нога? Ваш великий поэт Карасен — говорили мне — сказал, что в целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног.

— Жюли, это сказал не Карасен, — Карасен знаменитый историк, а поэт самый плохой, да и историк-то не русский, а татарский, — вот тебе новый пример разнообразия наших типов, — да и зовут его не Карасен, а Карамзин. А про ножки сказал Пушкин, стихи которого недурны для своего времени, но теперь уже потеряли цену. Кстати, Жюли, Виргиния закололась от преследований Аппия Клавдия, а не Юлия Цезаря, — когда жил Юлий Цезарь, римские девушки не закалывались от преследований. Да, кстати уж, наши дикари, которые пьют оленью кровь, не эскимосы, а самоды, — эскимосы живут в Америке.

¹ В рукописи описка: офицеру. — Ред.

— Ты вечно с этими глупостями, Серж; будто не все равно. А впрочем, это полезно для разговора. Эскимосы в Америке, Аппий Клавдий и Виргиния, Карамзин, эскимосы в Америке, самодеды — русские, Аппий, Аппий, Аппий. Так. Теперь все буду помнить. Но, господа, это посторонний эпизод; я многим обязана Сержу, я страстно [хочу] учиться, но это посторонний эпизод, господа; остается вопрос: ее нога?

— Если вы позволите мне завтра явиться к вам, m-lle Жюли, я буду иметь честь привезти вам ее башмак. — Сторешников говорил с Жюли чрезвычайно почтительно, — он сильно робел перед умной и наглой француженкой.

— Привозите. Я примерю, — это затрагивает мое любопытство.

— Нога удовлетворительна, — подтвердил статский, — но я не идеалист и как человек положительный более интересуюсь существенным: потому я больше обращал внимание на ее бюст.

— Бюст очень, очень хорош, — сказал Сторешников, ободрявшийся выгодными отзывами о предмете его вкуса и досадовавший на себя, что до сих пор, по трусости, не сказал еще ни одного комплимента Жюли: — конечно, хвалить бюст другой женщины здесь было бы святотатством...

— Ха, ха, ха! Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту! Ха, ха, ха! Я не ипокритка и не обманщица, мсьё Сторешник, я не хвалюсь и не терплю, чтобы меня хвалили за то, что у меня плохо. У меня довольно еще осталось, чем я могу похвалиться по правде. Но мой бюст — ха, ха, ха! — Жан, вы видели мой бюст, скажите ему. Вы молчите, Жан? Вашу руку, мсьё Сторешник, — она схватила его за руку, — чувствуете, что это не тело? Попробуйте еще здесь, и здесь — теперь знаете? — Я ношу накладной бюст, как ношу платье, юбку, рубашку, не потому, чтобы мне это нравилось, — по-моему, было бы лучше без этих ипокритств, — а потому, что это так принято в обществе. Но женщина, которая столько жила, как я — и как жила, мсьё Сторешник, — я теперь святая, схимница перед тем, кем я была — такая женщина не может сохранить бюста! — И вдруг она зарыдала: — Мой бюст! Мой бюст! Моя молодость! Моя чистота! О, боже! Затем ли я родилась? — Вы лжете, господа, — вскричала она, вскочив и ударив кулаком по столу, — вы клевете! Вы низкие люди! Она не любовница его! Он хочет купить ее! Я видела, как она отворачивалась от него и горела ненавистью к нему! Это гнусно!

— Да, — сказал статский, лениво потягиваясь: — ты прихвастнул, Сторешников, — у вас дело еще не кончено, а ты уже наговорил нам, что живешь с нею, и описывал то, чего еще не видал; впрочем, это ничего: не за неделю до нынешнего дня, так через неделю после нынешнего дня, — это все равно. И ты не разочаруешься в описаниях, которые делал по воображению, — найдешь даже лучше, чем думаешь, — я рассматривал, останешься доволен.

Сторешников был вне себя от ярости:

— Нет, m-lle Жюли, вы обманулись, смею вас уверить, в своем заключении, простите, что осмеливаюсь противоречить вам, но она моя любовница. Это была обыкновенная любовная ссора, от ревности, — она видела, что я первый акт сидел в ложе m-lle Матильды. Только и всего.

— Врешь, мой милый, врешь, — сказал Жан и зевнул.

— А не вру, не вру.

— Докажи. Я человек положительный, без доказательств не верю.

— Какие же доказательства я могу тебе представить?

— Ну, вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти? Да вот тебе: завтра мы собираемся ужинать опять здесь, m-lle Жюли будет так добра, что привезет Сержа, я привезу свою миленькую Матильду, ты привезешь ее; если привезешь, я проиграл, ужин на мой счет; не привезешь, — изгоняешься со стыдом из нашего круга. — Жан дернул сонетку, вошел слуга. — Simon, завтра ужин на шесть персон, точно такой, как был, когда я у вас венчался с Матильдой, помните, перед рождеством, — и в той же комнате.

— Как не помнить такого ужина, мсьё. Будет исполнено.

Слуга поклонился и вышел.

— Гнусные люди! Гадкие люди! Я была уличною женщиною два года в Париже, я жила эти два года в самом гадком доме, где собирались мошенники, воры, — я там не встречала троих таких низких людей вместе! Боже, с кем я принуждена жить в обществе! За что такой позор мне, боже? — Она упала на колени. — Боже, я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой! Холод был так жесток, обольщения так хитры! Я хотела жить! Я хотела любить — боже, ведь это не грех, за что же так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличною женщиною в Париже, — я не прошу у тебя ничего другого, я не достойна ничего другого! — но освободи меня от этих людей, этих гнусных людей! — Она вскочила и подбежала к офицеру: — Серж, и ты такой же? Нет, ты лучше их. Разве это не гнусно?

— Гнусно, Жюли.

— И ты молчишь? допускаешь? соглашаешься? участвуешь?

— Садись ко мне на колени, моя милая Жюли. — Он стал ласкать ее, она успокоилась. — Как я люблю тебя в такие минуты. Ты славная женщина. Ну, что? ты не соглашаешься повенчаться со мною? Ведь сколько раз я просил тебя об этом.

— Брак? Ярмо? Предрассудок? Я тебе запретила говорить такие глупости. Не сердь меня. — Никогда! Но, Серж, милый Серж! Запрети ему, он тебя боится, спаси ее!

— Жюли, будь хладнокровнее. Это невозможно, — не он, так другой, все равно. Да вот, посмотри — Жан уже думает отбить ее у него, а таких Жанов тысячи. От всех не убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы,

русские. Мы умный народ, Жюли. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип.

— Никогда! Ты раб, — француженка свободна! Француженка борется, француженка падает, но она борется! Я не допущу!

— Поверь, Жюли, ничему тут нельзя помочь. У нас говорят: «один воин в поле не рать».

— Кто она? Где она живет? Ты знаешь?

— Знаю.

— Поедем к ней. Я предупрежу ее.

— В первом-то часу ночи? Поедем-ка лучше спать. До свиданья, Жан. До свиданья, Сторешников. Разумеется, вы не будете ждать Жюли и меня на ваш завтрашний ужин: вы видите, как она раздражена. Да и мне, сказать по правде, эта история не нравится. Но, конечно, вам нет дела до моего мнения, мне — до ваших дел. До свиданья.

— Экая бешеная француженка, — сказал статский, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли. — Это уж чересчур: с умеренностью — хорошо, когда хорошенькая женщина будирует, но с нею я бы не ужился четыре часа, не то что четыре года, как Серж. Конечно, Сторешников, наш ужин не расстраивается от ее каприза? Я привезу Поля с Мари вместо них. А теперь пора по домам, — мне еще нужно заехать к Матильде.

[III]

— Ну, Вера, хорошо. Цвет лица свежий и глаза не заплаканы. Видно, начала слушаться матери, — говорила за утренним чаем Марья Алексеевна. — Верочка сделала нетерпеливое движение. — Ну, хорошо, не стану говорить, не расстраивайся. А я вчера так и заснула у тебя в комнате. Может, наговорила чего лишнего. Я вчера не в своем виде была. Ты не верь тому, что я с пьяных-то глаз наговорила, слышишь? не верь!

Верочка промолчала: мать была опять прежняя Марья Алексеевна, и глаз поопытнее верочкина не мог бы подметить в ней никаких остатков человеческого достоинства. Верочка усиливалась победить отвращение, но не могла. Однако же жалость к матери осталась в ней навсегда.

— Одевайся, Верочка, чать, скоро придет Мишка-дурак. — Она очень заботливо осмотрела наряд дочери и осталась довольна. — Если ловко поведешь себя, подарю серьги с большими-то изумрудами; они старого фасона, ушам тяжело, но если на браслетку переделать эти камни, — хорошая браслетка будет. Они у меня в закладе остались за 150 рублей, — с процентами 250, — а стоят больше 400. Слышишь? подарю.

Явился Мишка-дурак. Справился о здоровье Веры Павловны, — «я здорова», — он сказал, что очень рад и навел речь на то, что здоровьем надобно пользоваться, — «конечно, надобно, — по мнению Марьи Алексеевны, — и молодостью тоже», — он совер-

шенно согласен, и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город: день морозный, дорога чудесная. — «С кем же он думает ехать?» — «Только втроем: Марья Алексеевна, Вера Павловна и он»: — в таком случае Марья Алексеевна совершенно согласна; это будет очень мило. Но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка споет что-нибудь.

— Верочка, ты споешь что-нибудь? — прибавляет она многозначительным тоном, не допускающим возражения.

— Спую.

Она села к фортепьяно и запела «Тройку», — тогда эта песня была только что положена на музыку. Но она скоро остановилась, — Марья Алексеевна была очень довольна: видно, что Верочка хочет соблюдать послушание, Марья Алексеевна так и внушала ей, — «немножко пропой, а потом и заговори». Но к ее досаде Верочка заговорила по-французски, — «ах, дура я какая: ведь и забыла ей сказать, чтобы говорила по-русски».

Но Вера говорит тихо, улыбнулась, ну, значит ничего, хорошо. Только что же [он] стоит, выпучив глаза? впрочем, что же, — известно: Мишка-дурак, так дурак и есть. Он только и умеет хлопать глазами. А нам таких-то и нужно. Ну, вот, подала ему руку; отлично, отлично.

— Мсьё Сторешников, я должна говорить с вами серьезно. Вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня вашим приятелям как вашу любовницу. Говорить вам, что это бесчестно, я не буду: если бы [вы] способны были понять это, вы бы не сделали так. Но я теперь предупреждаю вас: я буду остерегаться встреч с вами где бы то ни было. Но если вы осмелитесь подойти ко мне где-нибудь, — в театре, у кого-нибудь из наших знакомых, на улице, все равно, я даю вам пощечину. Мать замучит меня (она улыбнулась). Но пусть будет со мною, что будет, все равно. Вы слышали? Вы ныне вечером получите от матери моей записку, что нынешнее катанье наше расстроилось, потому что я нездорова.

Он стоял и хлопал глазами, как уже и заметила Марья Алексеевна.

— Я говорю с вами, как с человеком, в котором нет ни искры чести. Но, может быть, я ошибаюсь, может быть, легкомыслие еще не до конца испортило вас. В таком случае, я прошу вас, перестаньте бывать у нас. Тогда я прошу вас вашу клевету. Если вы согласны, дайте вашу руку, — она протянула руку, он взял, сам не понимая, что делает.

— Благодарю вас. Уйдите же; скажите, что вам надобно торопиться приготовить лошадей для поездки.

Он опять похлопал глазами. Она обернулась к нотам и продолжала «Тройку».

Через минуту Марья Алексеевна вошла, и кухарка втащила поднос с кофе и закуской. Михаил Иванович, вместо того чтобы сесть за кофе, взял шляпу и пытался к дверям. «Куда же вы? Что с вами?» — «Я тороплюсь, Марья Алексеевна, распорядиться

о лошадях». — «Еще успеете». Но Михаил Иванович был уже за дверями.

Марья Алексеевна бросилась из передней в зал с поднятыми кулаками и с криком: «Что ты сделала, Верка проклятая? А?» Но проклятой Верки уже не было в зале; мать бросилась к ней в комнату, дверь верочкиной комнаты была заперта; мать надвинулась всем корпусом на дверь, чтобы выломать ее, но дверь не подавалась, а проклятая Верка сказала: «Если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и стану звать на помощь. А вам не дамся в руки живая». Марья Алексеевна бесновалась долго, но двери не ломала; наконец, устала кричать. Тогда Верочка сказала через дверь: «Маменька, со вчерашнего вечера мне стало вас жаль. У вас было много горя, вы сказали, оттого вы и стали такая. Мне жалко вас. Я не хочу вас злить. Приходите к двери через час, и, если будете спокойны, я вам все скажу и выйду к вам. А теперь успокойтесь».

Утомленные нервы сами собой успокаиваются, и у Марьи Алексеевны родилось раздумье: не лучше ли вступить в переговоры с дочерью, чем добиваться у нее послушания ругательствами и побоями? Ведь без нее ничего нельзя сделать, — не женишь же без нее на ней Мишку-дурака. Не удалось повести с нею дело, как волчихе, не надо ли стать лисой и с нею, как с Мишкой-дураком? Да и то надо сообразить: ведь еще неизвестно, что она ему сказала, ведь они руки пожали друг другу, что это значит? — Разумеется, таких мыслей не пришло бы в голову Марье Алексеевне, если бы она не видела, что власть ее над дочерью оборвалась; ну, разумеется, по наблюдению, внесенному во все романы, что дерзкий человек, не привыкший встречать сопротивления, трусит и бывает разбит наповал, как встретит твердое сопротивление.

Но однако же много времени, много времени взяла у Марьи Алексеевны борьба между бешенством и чувством бессилия, свирепостью и хитростью, и бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не раздался звонок. Это были Жюли с своим Сержем.

[IV]

— Серж, говорит по-французски ее мать? — было первое слово Жюли, когда она проснулась.

— Не знаю, а должно быть, не говорит, — она такая грубая баба. Нет, наверное не говорит, — это было видно по ее лицу, когда она вчера вслушивалась в наш шопот. А ты все еще не выкинула из головы своей мысли?

— Нет, Серж; и я попрошу тебя ехать со мною, когда мать не говорит по-французски, — может быть, понадобится передать ей что-нибудь такое, что я не хотела бы передавать через дочь.

— Изволь, мой друг, я рад.

Жюли и Серж проснулись поздно; пока собрались, ушло время часов до 12, а тут понадобилось по дороге завернуть к Вихман, —

Жюли заболталась, загляделась на наряды — потом заехали в лавку Погребова, потом Жюли вздумалось съесть пирожок в какой-то кондитерской. Таким-то образом и Михаил Иванович успел побывать у управляющего, и Марья Алексеевна успела набеситься до усталости и потом просидеть бог знает сколько времени в усталом и благоразумном размышлении, прежде чем Жюли и Серж доехали с Литейной на Гороховую.

— Серж, а под каким же предлогом приехали мы? — спросила Жюли, входя на лестницу.

— Ну, все равно, что вздумается, — она отдает деньги в залог, сними брошку, отдай ей, или вот, гораздо лучше: дочь дает уроки на фортепьяно, ты хочешь учить какую-нибудь племянницу.

Кухарка пришла в благоговение, увидев мундир Сержа и в особенности великолепии Жюли, — такой важной дамы она еще никогда не видывала лицом к лицу. В такое же благоговение и неописанное удивление пришла Марья Алексеевна, когда кухарка доложила, что «полковник N.N. с супругою изволили пожаловать». Полковник был очень важной фамилии. Марья Алексеевна оправилась наскоро и выбежала.

Серж сказал, что очень рад вчерашнему случаю, познакомившему и пр., сказал, что у его жены есть племянница и прочее, что его жена не говорит по-русски, потому он был нужен, как переводчик, и т. д.

— Да, могу благодарить моего создателя, — сказала Марья Алексеевна, — у Верочки большой талант учить на фортепьянах. И я за счастье почту, что она вхожа будет в такой дом. Только учительница-то моя несколько нездорова, — Марья Алексеевна говорила особенно громко, чтобы Верочка слышала ее слова и сообразовалась с ними, — не знаю, будет ли она в состоянии выйти и показать вам пробу свою на фортепьянах. — Верочка, друг мой, можешь ты выйти сюда или нет?

«К матери [приехали] какие-то незнакомые люди, — почему ж не выйти? Видно, что она при них не станет делать сцену». Верочка отперла дверь и вышла; взглянула на Сержа и вспыхнула от стыда, от досады.

У Жюли были такие глаза, от которых редко что укрывалось, и она начала прямо:

— Милое дитя мое, вы удивляетесь и смущаетесь, видя человека, при котором вчера были так оскорбляемы, который и сам, вероятно, участвовал в оскорблениях. Мой муж легкомыслен, но он все-таки лучше других повес; вы его извините для меня, а я приехала к вам с добрыми намерениями. Мы говорим, что хотели просить вас давать уроки моей племяннице. Это только предлог, но надобно поддержать его. Вы сыграете нам что-нибудь, — покороче, — потом я пойду в вашу комнату, и мы переговорим. Слушайте меня, дитя мое.

Та ли это Жюли, которую знает вся аристократичная петербургская молодежь? Та ли это Жюли, [которая] кричит, поет,

легкомысленничает, отпускает такие шутки, от которых не всякий повеса не покраснеет? Нет, это не она, — это серьезная, солидная, величественная дама, — это княгиня, до ушей которой никогда не доносилось ни одно грубоватое слово, которая во всю жизнь была и будет строжайшею хранительницею самого строгого светского достоинства.

— Верочка, госпожа полковница, верно, передали тебе свое желанье?

— Да, жена сказала ей, зачем приехала, — подтвердил Серж.

— Так ты, конечно, почтешь себе за честь соответствовать их намерению, если потрапишь на них своим искусством. А теперь сделай при них пробу ему на фортепьянах.

Верочка села делать пробу на фортепьянах, Жюли стала возле нее и показывала вид, что внимательно слушает, Серж занимался разговором с Марьею Алексеевною.

— Ты, конечно, выведешь из нее все, что нужно; конечно, ты расспросишь ее больше всего о ее намерениях относительно твоего гадкого приятеля. Мы уходим, ты не отпускай ее мешать нам. Мы скоро кончим.

— Жена говорит, — перевел Серж, — что ваша дочь играет воспитательно, но что она желает поближе познакомиться со взглядом вашей дочери на преподавание и с ее характером, потому [что] характер учительницы действует на ребенка, а моя жена так заботится о своей племяннице.

— У моей Верочки, можно сказать, ангельский характер, уж я ей так успокоена, так успокоена.

Жюли взяла Верочку за талью, прошла с нею раза два по залу, потом повела ее в ее комнату.

— Милое дитя мое, ваша мать дурная, очень дурная женщина. Но чтобы мне знать, как мне говорить с вами, прошу вас рассказать мне, как и зачем вы были вчера в театре и что там было с вами. Я все это знаю от моего мужа, но из вашего рассказа я узнаю ваши понятия и ваш характер. Говорите, как с сестрою, откровенно — меня стыдиться нечего, и не опасайтесь меня.

Та ли это Жюли, которая вчера при своем любовнике брала руку молодого человека и заставляла его ощупывать свою грудь, приговаривая: «плотнее, смелее — чувствуете тело?» — Ее ли это лицо, ее ли голос внушает такое полное и заслуженное доверие чистейшей девушке? она ли слушает эту девушку с нежною внимательностью, с благородным негодованием чистейшей из женщин? Да, это она, та самая Жюли, которая вчера кутила и ныне будет кутить, — нужды нет, на нее может положиться чистая девушка.

— Так, вы девушка умная, и у вас есть характер. С вами можно говорить. Слушайте же, что было дальше, — сказала Жюли, выслушав [Верочку]. — Эти трое господ и с ними одна потерянная женщина — это страшное слово, мое милое дитя, — отправились кутить в трактир. Там эта потерянная женщина сказала вашему врагу, что он клеветает на вас. Один из его друзей, негодяй, — к

счастью, это не мой муж — мой муж молчал, — этот негодяй стал подсмеиваться над вашим врагом, и у них составилось пари, что он привезет вас ныне вечером в тот же трактир, как свою любовницу, ужинать со вчерашнею компаниею. Он хочет купить вас у вашей матери — это ясно. Она в состоянии продать вас — это видно по ее лицу.

— Нет, моя мать не продает меня, — сказала Верочка, — правда, она дурная женщина, но не до такой же степени. Но он хотел обмануть мою мать. Он был у нас ныне и звал нас вечером кататься. — Верочка рассказала, как было дело.

— Да? Вы уверены, что он хотел обмануть вашу мать? А я скорее предполагаю, что они оба были в заговоре против вас, что она уже продала вас. Надобно узнать, вы или я угадываем истину. Я пойду к ним и увижу это. Вы оставайтесь здесь. Вы там лишняя.

— Серж, он уже звал эту женщину и ее дочь кататься ныне вечером. Скажи ей, что было вчера, — из того, как она примет это, мы увидим, была ли она в заговоре с ним.

— Жена моя говорит, что у вашей дочери действительно ангельский характер и что они совершенно сошлись. Она хочет теперь спросить вас о цене уроков, — вероятно, мы не разойдемся и на этом. Но позвольте мне прежде докончить наш разговор о нашем общем знакомом. Вы очень его хвалите. А известно ли вам, что он говорит о своих отношениях к вашему семейству, например: с какой целью он приглашал нас вчера к вам в ложу?

— Я не сплетница, — отвечала с заметным неудовольствием Марья Алексеевна, — сама не разношу вестей, и мало их слышу. — Это было сказано даже не без колкости, при всем ее благоговении к гостю. — Мало ли что болтают молодые люди, особенно когда подкутют? Они все любят хвалиться своими успехами в женщинах. На это нечего обращать внимание.

— Хорошо-с. Ну, а вот это вы назовете сплетнями? — и он рассказал вчерашнюю историю. Марья Алексеевна не дала ему закончить последнего слова, — как только он дошел до пари об ужине, она вскочила и с бешенством закричала, совершенно забывая важность гостей:

— Так вот они, штуки-то какие! Ах, он разбойник, ах, он мерзавец! Так вот он зачем кататься-то звал! Он бы меня за городом-то на тот свет отправил, чтобы беззащитную девушку обесчестить! Ах он сквернавец! — и так дальше, потом стала благодарить гостя за спасение жизни ее и чести ее дочери. — То-то, батюшка, я уж и сначала догадывалась, что вы что-нибудь неспросту приехали, что уроки-то уроками, а цель-то у вас другая; меня ведь на мякине-то не обманешь, — я старый воробей, — видела, батюшка, видела, что у вас не уроки на уме, да я думала, что вы хотите выведывать да расстраивать, что у вас ему другая невеста приготовлена, вы его у нас отбить хотите; согрешила на вас, окаянная, простите меня великодушно. Вот, можно сказать, по

гроб благодетельствовали. — И ее благодарности, ругательства, извинения долго лились беспорядочным потоком.

Жюли недолго слушала эту бесконечную [речь], смысл которой был ясен из тона голоса и жестов; француженка с первых же слов Марьи Алексеевны встала и вернулась в комнату Верочки.

— Да, вы правы, ваша мать не участвовала в заговоре. Она еще думает только насильно отдать вас за него, а не продать. Она теперь очень раздражена против него, но я хорошо знаю таких людей, как она: у них никакое чувство не удержится против расчета денежных выгод. Она скоро опять примется ловить жениха, и чем может кончиться, неизвестно. Но, во всяком случае, вам будет очень тяжело. Теперь, на первое время, она вас оставит в покое. Но я вам говорю, что ненадолго. Что вам делать? об этом надобно подумать. У вас есть родные в Петербурге?

— Нет.

— Это жаль. У вас есть любовник?

Верочка не знала, как и отвечать на это — она только странно раскрыла глаза.

— Простите, простите, это видно, что нечего об этом и спрашивать. Значит, у вас нет приюта. Ну, слушайте: я не то, чем вам показалась. Я не жена ему. Я у него на содержании. Я известна всему Петербургу, как погибшая женщина. Но я честная женщина. Прийти ко мне — для вас значит потерять репутацию. Уже то, что я один раз была в этой квартире, довольно опасно для вас, а приехать мне сюда во второй раз было бы наверное губить вас. Между тем нам надобно увидеться еще, может быть, и не раз, то есть, если вы доверяете мне. Да? Так когда вы завтра можете располагать собою?

— Часов в 12.

— Для меня это немного рано, но, все равно, встану пораньше. Дождитесь меня, ну, хоть в Гостином дворе, по той линии, которая противоположна Невскому, она самая маленькая, там легче увидеть друг друга. Я буду под густой вуалью, чтобы не компрометировать вас. Мы поговорим. Да вот еще счастливая мысль. Дайте бумаги, я напишу к этому негодяю, чтобы взять его в руки. Она написала:

«Мсьё Сторешник, вы, вероятно, теперь в большом затруднении. Если хотите избавиться от него, будьте у меня ныне в 7 часов. Жюли».

— Теперь прощайте. — Жюли протянула руку, но Верочка бросилась к ней на шею и целовала, и плакала, и опять целовала. А Жюли и подавно [не] выдержала, — ведь она не была так воздержна на слезы, как Верочка.

— Друг мой, милое мое дитя, — о, не дай тебе бог никогда узнать, что чувствую я теперь, когда после многих лет в первый раз прикасаются к губам моим чистые губы. Умри, но не давай поцелуя без любви!

Первая грудь, к которой с любовью и доверием прижалась грудь Верочки, была грудь погибшей женщины, — это был второй практический урок ее в любви к людям.

[V]

План Сторешникова не был так человекоубийствен, как предположила Марья Алексеевна: она, по своей манере, дала делу слишком грубую форму; но сущность дела она отгадала. Сторешников думал продлить катанье приблизительно до той поры, когда начнется ужин, завезти своих дам в тот ресторан, где будет ужин, конечно, в другую, отдаленную, особую комнату; всыпать опиуму в чашку чая или в рюмку вина Марье Алексеевне; Верочка встретится, растеряется, когда мать повалится без чувств; он заведет ее в компанию ужинающих, — вот уже пари выиграно, а что там дальше делать, покажут обстоятельства, — может быть, Верочка в своем смятении ничего не поймет и посидит в незнакомой компании, а если явится в ней подозрение, если она уйдет сейчас же, ничего, это извинят, потому что она только еще вступила на поприще авантюристки и, натурально, совестится на первых порах.

Но теперь, что ему делать? Он проклинал свою хвастливость, проклинал свою ненаходчивость при внезапном сопротивлении Верочки. Осрамился, осрамился. Если бы он был похрабрее, он посматривал бы на пистолет, — но он этого не делал, а только мысленно желал себе провалиться сквозь землю, по временам выражая это желание и словесным монологом. Да, ему теперь нельзя будет носу показать никуда, — засмеют. «Чорт бы меня побрал!» — «Чорт бы вас всех побрал!»

И в этакое-то расстройстве и сокрушении духа — письмо от Жюли. Целительный бальзам на рану, луч спасения в непроглядном мраке, столбовая дорога под ногой у тонувшего в бездонном болоте. Сторешников считал минуты до 7 часов. «О, она поможет! Она умнейшая женщина! Она все может придумать. О, она, если захочет, всем зажмет рты — ведь ее все боятся! Какая добрая, благородная!»

Минут за десять до 7 часов он уже был перед ее дверью. «Извольте ждать и приказали принять». Как величественно сидит она, как строго смотрит! Едва наклонила голову в ответ на его поклон. «Очень рада вас видеть, прошу садиться», ни один мускул не пошевелился в ее лице — будет головомойка, сильная головомойка! «Ничего, ругай, только спаси!»

— Моссьё Сторешник, — начала она холодным, медленным тоном: — вам известно мое мнение о деле, по которому мы видимся теперь и которое потому не нужно мне вновь характеризовать теперь. Я видела ту молодую особу, о которой был разговор вчера. Она рассказала мне о вашем нынешнем визите к ним, следовательно, я знаю все и очень рада, что это избавляет меня от тя-

желой надобности расспрашивать вас о чем-либо. Ваше положение с одинаковою определенностью известно и мне, и вам («господи, господи! лучше бы ругалась!» — думает подсудимый); мне кажется, что вы не можете выйти из него без посторонней помощи и не можете ждать успешной помощи ни от кого, кроме меня; если вы имеете что-нибудь [возразить], я жду. Итак, — продолжала она после небольшой паузы, — вы также полагаете, что никто другой не в состоянии помочь вам, выслушайте же, что я могу и желаю сделать для вас. Конечно, при известном вам моем взгляде на дело, занимающее нас, вы не должны ожидать, что я окажу вам пособие без возложения на вас известных требований; я выскажу их, если средство, которое могу я принять для вашего избавления, [вы] найдете действительно могущим вывести вас [из] настоящего вашего положения («мучительница! так и вытягивает душу!»). Я могу сделать для вас следующее: отправить к Жану это письмо, уже приготовленное мною; я пишу:

«Мой маленький Жан, я передумала после вчерашнего моего отказа участвовать в вашем ужине, — он будет очень мил, и я непременно хочу быть на нем; но, к несчастью, я не могу располагать нынешним вечером, — будьте же так добры, согласитесь для меня и убедите мсьё Сторешника согласиться на то, чтобы отложить это удовольствие до другого вечера, о котором мы условимся! Вы так любезны, что не откажете мне в этом удовольствии, а ваше влияние на мсьё Сторешника сильно, потому я надеюсь, что вы победите его естественное нетерпение.

Р. S. За нынешний напрасный заказ ужина должна заплатить я; не допускаю никаких возражений против этого».

— Если вам кажется, что этого будет достаточно («совершенно! совершенно! вы спасаете меня!» — лепечет подсудимый), — итак, по вашему мнению, достаточно, — в таком случае высказываю свои требования. Вы принимаете их, — я отправляю письмо; вы отвергаете их, — я жгу письмо («а, чорт бы тебя, что мучишь-то так долго, — на все согласен», — думает подсудимый), и вы остаетесь при собственных ваших силах («ну, уж нет, не захочу»). Итак, мои требования. Первое: вы прекращаете всякие преследования молодой особы, о которой мы говорим. Второе: вы перестаете упоминать ее имя в ваших разговорах. Первое нужно для нее; второе также для нее, но еще гораздо более для самих вас: я отложу ужин на неделю, потом еще на неделю, и дело забудется; но вы поймете, что другие забудут его в том случае, когда вы не [будете] напоминать о нем каким бы то ни было словом о молодой особе. Что вы думаете о моих требованиях?

— Клянусь исполнить их, — произносит подсудимый и начинает дышать свободнее.

— Я очень рада. Письмо отправляется. Потрудитесь сам запечатать. Вот оно, — просмотрите его, я не имею и не требую доверия, — и вот конверт, уже надписанный. Я звоню. — Лизетта, вы отдадите это письмо Захару и прикажете ему отправить не-

медленно. Лизетта, я не виделась ныне с мсьё Сторешником, вы понимаете. Он не был здесь.

— Через десять минут вы должны будете спешить домой, чтобы Жан застал вас; мое письмо найдет его, я справилась, что он обедает ныне у Матильды. Но десятью минутами вы еще можете располагать, и я воспользуюсь ими, чтобы сказать вам несколько слов, — вы последуете или не последуете совету, в них заключающемуся, но вы зрело обдумаете их. Я не буду говорить об обязанности честного человека относительно девушки, имя которой он компрометировал; я слишком хорошо знаю светскую молодежь, чтобы ждать пользы от рассмотрения этой стороны вопроса. Но я нахожу, что женитьба на девушке, о которой мы говорим, была [бы] выгодна для вас. Как женщина прямая, я изложу вам основания такого моего мнения с полною ясностью, хотя некоторые из них и щекотливы для вашего слуха; впрочем, я смотрю на вас, и не только одного вашего слова — малейшего жеста вашего будет достаточно, чтобы я остановилась. Вы человек слабого характера и рискуете попасться в руки какой-нибудь дурной женщины, которая будет мучить вас и помыкать вами. Она добра и благородна, она не стала бы обижать вас. Женитьба на ней, несмотря на низкость ее происхождения и бедность, сравнительно с вами, чрезвычайно много двинула бы вперед вашу карьеру: она, будучи введена в большой свет, при ваших достаточных денежных средствах, при своей красоте, уме и силе характера, заняла бы в нем очень блестящее место; выгоды от этого для мужа понятны. Но кроме тех выгод, которые получил бы всякий муж от такой жены, вы, по особенностям вашей натуры, более чем кто-либо нуждаетесь в содействии — скажу прямее — в руководстве. Каждое мое слово было взвешено; каждое основано на наблюдении над нею. Я не требую доверия, но рекомендую вам обдумать мой совет. Я сильно сомневаюсь, чтобы она приняла вашу руку; но если бы она приняла ее, это было бы очень выгодно для вас. Я не удерживаю вас больше, вам надобно спешить домой.

[VI]

Марья Алексеевна, разумеется, уже не претендовала на отказ Верочки от катанья, когда увидела, что Мишка-дурак хотел погубить ее, Марью Алексеевну, чего Мишка-дурак вовсе не хотел. Верочка была оставлена в покое. На другое утро она без всякой помехи отправилась на условленное свидание. «Здесь морозно, я не люблю холода, — сказала Жюли: — куда-нибудь надобно нам отправиться, куда бы? Погодите, я сейчас вернусь из этой лавки. Вы не входите». — «Сквозь эту вуаль ничего не будет видно, и вы в ней можете безопасно ехать ко мне. Поедьте. Только не подымайте вуаль, пока моя горничная не выйдет из комнаты. Лизетта очень скромна, но я не хочу, чтоб и она вас видела. Я вас слишком берегу. Видите, я надела лизеттину шубу и шляпу, чтобы никто не узнал меня».

Когда Жюли отогрелась, выслушала все, что имела сказать Верочка, она рассказала ей вчерашнее свое свидание с Сторешниковым.

— Теперь, милое дитя мое, нет никакого сомнения, что он через несколько времени сделает вам предложение. Эти люди влюбляются по уши, когда волокитство их отвергается. Знаете ли вы, что вы поступили с ним, как опытная кокетка? Кокетство, — я говорю про настоящее кокетство, а не про глупые, бездарные подделки под кокетство, — они отвратительны, как всякая плохая подделка под хорошую вещь, — кокетство — это ум и такт в применении к делам женщины с мужчинами. Потому совершенно наивные и чистосердечные девушки кажутся иногда кокетками дурам и сплетницам. Они без кокетства действуют так, как действуют кокетки, потому что для этого даже вовсе не нужно рассчитанного намерения, — довольно иметь ум и такт. Может быть, и мои доводы отчасти подействуют на него, но я себе не приписываю заслуги, главное — вы. Как бы [то] ни было, он сделает вам предложение, и я советую вам принять его.

— Вы, которая вчера сказали мне: лучше умереть, чем дать поцелуй без любви?

— Милое дитя мое, это было сказано в экстазе: в минуты экстаза оно верно и хорошо. Но жизнь — проза и расчет.

— Нет, никогда, никогда! Он гадок, это отвратительно, я не унижусь, пусть меня съедят, — я брошусь из окна, я пойду собирать милостыню, но отдать руку гадкому, тупому, низкому человеку, — нет, лучше умереть!

Жюли стала выставлять выгоды: «Вы избавитесь от преследований матери, вам грозит опасность быть проданной, он не зол, а только глуп, — глупый и незлой муж лучше всякого другого для умной женщины с характером: вы будете госпожою в доме». Она в ярких красках описала положение актрис, танцовщиц, других женщин, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними. «Это самое лучшее положение в свете для женщины, кроме того, когда к такой независимости и власти прибавляется со стороны общества еще формальное признание законности такого положения, — то есть, когда муж относится к жене, как поклонник актрисы к актрисе». Жюли говорила много, Верочка спорила много, обе разгорячились; Верочка, наконец, дошла до пафоса:

— Вы называете меня фантазеркою, спрашиваете, чего же [я] хочу от жизни? Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться, я не хочу ни обманывать, ни притворяться; я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне желать другие, хотя мне самой этого вовсе не нужно; я не привыкла к богатству, — мне самой оно не нужно, зачем же я стану искать его только для того, что другие думают, будто оно всякому приятно и, следовательно, должно быть приятно мне? Я не была в обществе, не испытывала, что значит блистать, и у меня еще

нет потребности к этому, зачем же я стану жертвовать чем- [либо] для блестящего положения только потому, что, по мнению других, оно приятно? Я не пожертвую ничем для того, что не нужно мне самой; не только собою не пожертвую, не пожертвую даже капризом. Я хочу быть независима и жить по-своему; что нужно мне самой, на то я готова, — чего не нужно мне самой, того не хочу — и не хочу делать. Что нужно мне будет после, — я не знаю; вы говорите, я молода, неопытна, переменюсь, — когда переменюсь, тогда и переменюсь, — а теперь, — не хочу, не хочу, не хочу ничего, чего не хочу. А чего я хочу теперь? Я сама не знаю. Хочу ли я любить мужчину — я не знаю, — ведь я вчера поутру, когда вставала, не знала, что мне захочется полюбить вас; за несколько часов до того, как полюбила вас, не знала, что полюблю, — и не знала, как это я буду чувствовать, когда полюблю вас. Так вот теперь я не знаю, что я буду чувствовать, когда буду любить мужчину; я знаю только, что не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, никому не хочу быть обязана ничем, чтобы никто не смел сказать мне: «ты обязана делать для меня что-нибудь»; я хочу делать только, что буду хотеть, и пусть другие делают так же; я [не] хочу ни от кого требовать ничего, я хочу не стеснять ничьей свободы и хочу быть свободна.

Жюли слушала и задумывалась, задумывалась и краснела, и — ведь она не могла не вспыхивать, когда подле был огонь, — вско- чила и прерывающимся голосом заговорила:

— Так, дитя мое, так. Я и сама бы так чувствовала, если бы не была развращена, — не тем я развращена, за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мной, что я терпела, от чего страдала, — нет, не тем я развращена, что тело мое было предано поруганию, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, должна угождать, делать то, чего не хочу, что противно мне, — вот это разврат. Не слушай того, что я тебе говорила, дитя мое: я раз- вращала тебя, — вот казнь, вот мучение — я [не] могу прикасаться к чистому, не оскверняя; беги меня, дитя мое, прощай, прощай, я гадкая женщина, не думай о свете, — там все гадкие, хуже ме- ня, — где праздность, там гнусность, где роскошь, там гнусность, — беги, беги!

[VII]

Сторешников чаще и чаще начал думать: «а что, как я в самом деле возьму да женюсь на Вере?» — С ним произошел случай, очень обыкновенный в жизни не только людей несамостоятельных в его роде, а и даже людей с независимым характером, — даже и в истории народов; этими случаями наполнены томы Юма и Гиб- бона, Ранке и Тьерри: люди толкаются, толкаются в одну сто- рону только потому, что не слышат слова «а попробуйте-ка, братцы, толкнуться в другую», — услышат — и начнут поворачи- ваться направо кругом — и пошли толкаться в другую. Сторешни-

ков слышал и видел, что богатые молодые люди приобретают себе хорошеньких небогатых девушек в любовницы, — ну, и он добивался сделать Верочку своею любовницею, другого слова не приходило ему в голову; он услышал другое слово «можно жениться», — ну, и стал думать на тему «жена», как прежде думал на тему «любовница».

Это общая черта, по которой Сторешников очень удовлетворительно изображал в своей особе девять десятых долей истории рода человеческого. Но и историки, и психологи говорят, что в каждом конкретном случае общая причина индивидуализируется местными, временными, и племенными, и личными мотивами и что вот они-то и важны, — то есть, что все ложки, хотя и ложки, но каждый хлебает суп или щи тою ложкою, которая у него, именно у него в руке, и что вот именно эту-то ложку надобно рассматривать. Почему не рассмотреть?

Главное уже сказала Жюли: сопротивление развивает охоту. Сторешников привык мечтать, как он будет «обладать» Верочкою. Я схожусь с Жюли в том, что люблю называть грубые вещи прямыми именами грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно мыслим и говорим: о чем кто думает чисто, о том надобно говорить чисто, деликатно, а грубость зачем скрашивать словами? Я в этом случае нахожу неудовлетворительным слово «обладать», но публика так деликатна, что не позволила бы мне выражаться, как надобно, — ну, будем говорить «обладать», а разуместь будем самые грязные мечты пустого сладострастия. Сторешников уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти мечты осуществились. Оказалось, что не осуществит их она как любовница, — ну, пусть осуществляет как жена, это все равно. Приятные мысли, — ну, да их мы попробуем разобрать когда-нибудь в другой раз.

О, грязь, — о, грязь! — «обладать» — кто смеет обладать человеком? Обладают сюртуком, халатом, туфлями. Пустяки, заидеальничался: каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры. Опять заидеальничался, — какие вы нам сестры, вы — наши лакейки; иные из вас, многие, господствуют над нами, — ничего, ведь и многие лакеи господствуют над своими барями.

Сладострастие разыгралось в Сторешникове после театра с такою силою, какой он еще не знал. Когда он показал любовницу своей фантазии, то узнал, что [за место] эта любовница занимает между всеми женщинами по красоте. Ведь красоту, все равно что ум, что всякое другое достоинство, большинство людей оценивает с точностью только по общему отзыву. Всякий видит, что красивое лицо красиво, но у большинства только этим неопределенным впечатлением или суждением и ограничивается мнение, пока красота не получит диплома на ранг, соответствующий ее достоинству. Верочку в галлерее или в последних рядах кресел, конечно, не за-

мечали; но когда она явилась в ложе второго яруса, на нее было наведено больше биноклей, чем на кого-нибудь, — а сколько восторженных похвал ей слышал Сторешников в фойе, куда отправился, проводив ее, — а Серж, — о, это человек с очень разборчивым вкусом, — а Жюли, страшная Жюли, — они как отозвались? Ну нет, когда наклеывается такое счастье, так не надо разбирать, как им завладеть.

Самолюбие было раздражено вместе с сладострастием. Но оно было затронуто и с другой стороны: «она едва ли пойдет за вас». «Как? за меня не пойдет? при таком мундире и доме? Нет, врешь, французенка, пойдет, — вот пойдет же, пойдет».

Была и еще одна причина в том же роде. Мать Сторешникова, конечно, станет противиться женитьбе, — мать в этом случае представительница света, — а Сторешников до сих пор трусил матери и, конечно, тяготился своею зависимостью от нее. Для людей бесхарактерных очень завлекательна мысль: «я не боюсь; захочу, так не побоюсь, у меня есть характер».

Конечно, тут было желание блистать в обществе через жену.

А тут прибавилось и то, что ведь Сторешников не смеет показаться к Верочке в прежней роли, — а так и тянет посмотреть на нее.

Словом сказать, с каждым днем Сторешников все тверже думал жениться и через неделю явился с предложением. Верочка не выходила из комнаты, он мог сказать свое намерение только Марье Алексеевне. Марья Алексеевна отвечала, что она с своей стороны почтет за большую честь, но как любящая мать спросит мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра поутру.

— Ну, молодец-девка моя Вера, — говорила мужу Марья Алексеевна, удивленная таким быстрым оборотом дела: — гляди-ко, как она забрала молодца в руки; а я думала, думала, не знала, как и ум приложить; думала, что много хлопот мне будет опять его заманить, думала, испорчено все дело, — а она, моя голубушка, не портила, а к доброму концу вела; знала, как надо поступать. Ну, хитра, нечего сказать.

— Господь умудряет младенцы, — произнес Павел Константинович.

Он редко играл роль в домашней жизни, но Марья Алексеевна была строгая хранительница добрых преданий, и в таком парадном случае, как объявление дочери о предложении, она дала мужу ту почетную роль, какая по праву принадлежит главе семейства и господину. Павел Константинович и Марья Алексеевна уселись на диване, как на торжественнейшем месте, и послали кухарку попросить барышню пожаловать к ним.

Верочка пришла.

— Садись, Вера, — сказал отец.

Верочка села на один из стульев.

— Вера, — начал Павел Константинович, — Михаил Иванович

просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но с своей стороны рады. Ты как добрая и послушная дочь, какою мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, что такого жениха мы от бога молить не смели. Согласна, Вера?

— Нет, — твердо сказала Верочка.

— Что ты говоришь, Вера? — закричал Павел Константинович: дело было таково, что и он мог кричать, не спросившись прежде у жены.

— С ума ты сошла, дура? Повтори, сквернавка, ослушница! — закричала Марья Алексеевна, подымаясь с кулаками на дочь.

— Позвольте, маменька, — сказала Верочка, вставая, — если вы до меня дотронетесь, я уйду из дому, — запрете — брошусь из окна. Я ждала этого предложения, знала, как вы примете мой отказ, и обдумала, что мне делать. Сядьте и сидите, или я уйду.

Марья Алексеевна опять уселась. («Экая дура я, не догадалась переднюю-то дверь запереть, — задвижку-то в одну секунду отодвинет, не поймаю, убежит!»)

— Я не пойду за него, а без моего согласия не станут венчать. Делайте со мною, что хотите, но я не соглашусь.

— Вера, ты с ума сошла, — сказала Марья Алексеевна задыхающимся голосом.

— Как же это можно? Что же мы ему скажем завтра? — говорил отец.

— Вы не виноваты перед ним, что я не согласна.

Часа полтора продолжалась сцена. Марья Алексеевна бесилась, двадцать раз начинала кричать и сжимала кулаки, но Верочка говорила: «не вставайте, или я уйду». Бились, бились, ничего не могли сделать. Покончилось тем, что вошла кухарка и спросила: подавать ли обед, — пирог уже перестоялся.

— Хорошо, Вера, подумай до вечера, — сказала мать: — одумайся, дура. — Марья Алексеевна шепнула что-то кухарке.

— Маменька, вы что-то хотите сделать надо мною, — вынуть ключ из двери моей комнаты, или что-нибудь такое. Не делайте ничего — хуже будет.

Марья Алексеевна сказала кухарке: «не надо». («Экой зверь какой, как бы не за рожу твою тебя сватал, всю бы ее в кровь избил. Тронуть-то — изуродует себя, проклятая».)

Пошли обедать. Пообедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константинович прилег, по обыкновению, соснуть. Но это не удалось ему. Только что стал он дремать, вошла кухарка и сказала, что хозяйский человек пришел, — хозяйка просит Павла Константиновича немедленно пожаловать к ней. Кухарка вся дрожала, как осиновый лист, — ей-то какое дело дрожать?

[VIII]

А как же прикажете не дрожать ей, когда через нее вся эта беда сочинилась? Как только она позвала Верочку к родителям, тотчас же побежала сказать жене хозяйского повара, что «ваш барин сосватал нашу барышню», — призвали младшую горничную или, как бы это определить точнее? подгорничную или унтергорничную хозяйки, стали попрекать, что она не по-приятельски себя ведет, ничего им до сих пор не сказала; младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность ее порицают; ей сказали: «я сама ничего не слышала»; перед ней извинились, что напрасно поклепали ее в скрытности; она побежала сообщить новость старшей горничной, — старшая горничная сказала: «значит, это он сделал потихоньку от матери, коли я ничего не слыхала, — уж я-то все должна знать, что Анна Петровна знает», и пошла сообщить барыне. Вот какую историю наделала кухарка! «Язычок мой проклятый, много он меня губил! Ведь доследует Марья Алексеевна, через кого вышло наружу».

Анна Петровна, одна из тех богатых барынь дурного тона, которых так много в высшем круге чиновничества, офицерства, — не аристократичном, но с претензией на аристократизм, и которых уж столько раз описывали, — ахала, охала, два раза упала в обморок (наедине с старшею горничною, значит, действительно была сильно огорчена) и послала за сыном. Сын явился.

— Мишель, справедливо то, что я слышу?

— Что вы слышали, тамап?

— То, что ты сделал предложение этой... этой... ну, дочери нашего управляющего?

— Сделал, тамап.

— Не спросив мнения матери?

— Я хотел спросить вашего согласия, когда получу ее.

— Я полагаю, что в ее согласии ты мог быть уверен более, чем в моем.

— Мамап, так ныне принято, что прежде узнают о согласии девушки, потом уже говорят родственникам.

— Это, по-твоему, принято, — может быть, также, по-твоему, принято ныне сыновьям хороших фамилий жениться бог знает на ком, а матерям соглашаться?

— Она, тамап, не бог знает кто; когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор.

— Когда я узнаю ее! — я никогда не узнаю ее! — Одобрю твой выбор! — я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе, — слышишь, запрещаю!

— Мамап, это не принято ныне. Я не маленький мальчик, чтобы вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду.

— Ах! — Анна Петровна закрыла глаза.

Марья Алексеевна называла Сторешникова Мишкою-дураком, — перед нею он действительно был дурак; перед Верочкою и Жюли

он совершенно пасовал, — но ведь они были женщины с умом и характером; а тут по части ума бой был равный, и если по характеру был небольшой перевес на стороне матери, зато у сына была под ногами надежная почва, — он боялся ссоры с матерью, уступал ей до сих пор, по привычке, но ведь они оба твердо помнили, что дом принадлежал не ей, а ее мужу, стало быть, хозяин-то, собственно, сын, хотя мать и распоряжалась до сих пор, как полная хозяйка. Потому-то она и медлила теперь решительным словом «запрещаю», а тянула разговор, надеясь сбить и утомить сына прежде, чем дойдет до настоящей схватки. Но сын зашел уже так далеко, что вернуться было нельзя, и он по необходимости должен был держаться.

— Матап, уверяю вас, что лучшей дочери вы не могли бы иметь.

— Изверг! Убийца матери!

— Матап, будемте рассуждать хладнокровно. Ведь раньше или позже жениться надобно, а женатому человеку нужно больше расходов, чем холостому. Я, пожалуй, мог бы жениться на такой, что все доходы с дома понадобились бы на мое хозяйство. А она будет почитительною дочерью, и мы могли бы жить с вами, как до сих пор.

— Изверг! Убийца мой! Уйди с моих глаз!

— Матап, не сердитесь, я ничем не виноват!

— Женится на какой-то дряни, и не виноват!

— Ну, теперь, матап, я сам уйду. Я не хочу, чтобы при мне ее называли такими именами.

— Убийца мой! — Анна Петровна упала в обморок, а Мишель ушел, очень довольный тем, что бодро выдержал первую сцену, которая важнее всего.

Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок. Сын решительно отбивается от рук! Вот тебе и «запрещаю!» — он в ответ на запрещенье делает [намек], что дом принадлежит ему! Анна Петровна подумала, подумала, что ей делать, излила свою скорбь старшей горничной, которая, надобно отдать ей справедливость, совершенно разделяла ее чувство презрения к дочери управляющего, посоветовалась с нею и послала за управляющим.

— Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константинович; но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали, легко заставят меня поссориться с вами.

— Ваше превосходительство, я ни в чем тут не виноват, бог свидетель.

— Мне давно было известно, что Мишель волочит за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя жить без развлечений. Я снисходительна к шалостям молодых людей. Но я не потерплю унижения моей фамилии. Слышите? Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды?

— Ваше превосходительство, она не осмеливалась иметь таких видов. Она почитительная девушка, мы ее воспитали в уважении.

— То есть, что это значит?

— Она, ваше превосходительство, против вашей воли никогда не смеет.

Анна Петровна ушам своим не верила, — неужели в самом деле такое благополучие?

— Вам должна быть известна моя воля. Я не могу согласиться на такой странный, можно сказать, неприличный брак.

— Мы это чувствуем, ваше превосходительство, и Верочка чувствует, ваше превосходительство. Она так и сказала, ваше превосходительство: «я не смею, говорит, прогневить их превосходительство».

— Как же это было?

— Так было, ваше превосходительство, что Михаил Иванович выразили свое намерение моей жене, а жена сказала им, что я вам ничего не скажу до завтраго утра, — а мы с женою, ваше превосходительство, намерены были явиться к вам и доложить обо всем, потому что как в теперешнее позднее время не осмеливались тревожить вашего превосходительства. А когда Михаил Иванович ушли, мы сказали Верочке, и она говорит: «Я с вами, говорит, папенька и маменька, согласна, что нам об этом [думать] не следует».

— Так она благоразумная и честная девушка?

— Как же, ваше превосходительство, почтительная девушка.

— Ну, я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе. Я награжу вас за это. Теперь же готова наградить. По той парадной лестнице, где живет портной, квартира во втором этаже направо ведь свободна?

— Через три дня освободится, ваше превосходительство.

— Возьмите ее себе и отделайте заново. Можете израсходовать до двухсот на отделку. Я прибавлю вам и жалованья 240 рублей в год.

— Позвольте осмелиться попросить ручку поцеловать у вашего превосходительства.

— Хорошо, хорошо. Татьяна! — Вошла старшая горничная. — Найдите мое синее бархатное пальто. — Татьяна принесла пальто. — Это я дарю вашей жене. Оно стоит 150 рублей, я его только два раза надевала. А вот это я дарю вашей дочери, — Анна Петровна подала управляющему очень маленькие дамские часы с цветочками из довольно крупных брильянтов: — за них заплатила я 300 рублей. Я умею награждать и вперед вас не забуду.

Павел Константинович снова выпросил поцеловать ручку и был стпущен с новыми уверениями в милости.

Как он вышел за дверь, Анна Петровна опять крикнула Татьяну. — Попросить ко мне Михаила Ивановича, — или нет, лучше я сама пойду к нему. — Она боялась, что посланница передаст лакею, а лакей сыну содержание известий, сообщенных управляющим, и букет выдохнется, не такшибанет ему в нос от ее слов.

Михаил Иванович лежал и не без некоторого довольства ходом дела покручивал усы. «Это еще зачем пожаловала сюда-то?

ведь у меня нет нюхательных спиртов да гофманских капель от обмороков», думал он, вставая при ее внезапном появлении. Но он увидел, что на ее лице написано презрительное торжество.

Она села и сказала:

— Садитесь, Михаил Иванович, и мы поговорим. — Он сел.

Она долго смотрела на него с торжествующей улыбкой. Наконец, произнесла:

— Я очень довольна, Михаил Иванович. Отгадайте, чем я довольна?

— Я право не знаю, матан, что и подумать; вы так странно...

— Вы увидите, что нисколько не странно. Подумайте, может быть, и отгадаете.

Опять долгое молчание. Он теряется в недоумении, она наслаждается торжеством. Долгое молчание.

— Вы не можете отгадать, я вам скажу, — это очень просто и естественно; если бы в вас была искра благородного чувства, вы отгадали бы. Ваша любовница, — в прежнем разговоре Анна Петровна лавировала, теперь ей уже нечего было лавировать: у неприятеля отнято средство победить ее, и она дает себе полную волю потешаться над ним, — ваша любовница, — не возражайте, Михаил Иванович, — вы сами повсюду разглашали, что она ваша любовница, — мне все это было известно тогда же, — не возражайте же, — это существо низкого происхождения, низкого воспитания, низкого поведения, — даже это презренное существо...

— Матан, я не хочу слышать таких выражений о девушке, которая будет моею женою.

— Я и не употребляла бы их, если бы [предполагала, что] она будет вашею женою. Но я и начала с тою целью, чтобы объяснить вам, что этого не будет и почему не будет. Дайте же мне докончить. Тогда вы свободно можете порицать меня за все выражения, которые тогда останутся неуместны по вашему мнению, — но теперь дайте мне докончить. Я сказала, что ваша любовница, это существо без имени, без воспитания, без поведения, без чувства, — даже она пристыдила вас, даже она поняла все неприличие вашего намерения.

— Что? что такое, матан? говорите же...

— Вы сами задерживаете меня. Я хотела сказать, что даже она, — она, понимаете ли вы, — даже она умела понять и оценить мои чувства, — и она, узнавши от матери о вашем предложении, прислала своего отца сказать мне, что она не пойдет против моей воли и не обесчестит нашей фамилии своим замаранным именем.

— Матан, вы обманываете?

— К моему и вашему счастью, нет. Она говорит, что...

Но Михаила Ивановича уже не было в комнате при этих словах: он уже накидывал шинель.

— Держи его, Петр, держи его! — закричала Анна Петровна. Петр разинул рот и остоленел от такого странного распоряжения, — а Сторешников уже сбегал по лестнице.

[IX]

— Ну, что? — спросила Марья Алексеевна входящего мужа.

— Отлично, матушка. Она уж узнала и говорит: как вы смее-те? А я говорю: мы не осмеливаемся, ваше превосходительство, и Верочка отказала.

— Что? что? как? ты так сдуру-то и бухнул, осел?

— Матушка...

— Осел, подлец, убил, зарезал! Вот же тебе! — муж получил пощечину, — вот же тебе! — другая пощечина. — Нет, так тебя не проймешь, вот как тебя надобно учить, — она схватила его за волосы и начала таскать. Надобно полагать, что урок продолжался немало времени, потому что Сторешников, после всех долгих пауз и длинных назиданий матери вбежавший в комнату, еще застал учительницу в полном жару преподавания.

— Осел, и дверь-то не запер! в каком виде чужие люди за-стают! стыдился бы, свинья ты этакая, — только и нашлась ска-зать Марья Алексеевна.

— Где Вера Павловна? Мне нужно видеть Веру [Павловну] сейчас же, — неужели она отказывает?

Обстоятельства были так трудны, что Марья Алексеевна толь-ко махнула рукой, — таков был Наполеон после Ватерлооской бит-вы, когда маршал Груши оказался глуп, как Павел Константино-вич, а Лафайетт начал буянить, как Верочка, — он тоже бился, бился, совершал чудеса искусства и остался нипричем, и мог толь-ко махнуть рукою и сказать: «отказываюсь от всего, делай кто хочет, что хочет, и с собою, и со мною».

— Вера Павловна! Вы отказываете мне?

— Судите сами, могу ли я не отказать вам.

— Вера Павловна! Я жестоко оскорбил вас, я виноват, достоин казни, но я не могу перенести вашего отказа, — и так дальше, и так дальше. Верочка слушала несколько минут, остановила его.

— Нет, Михаил Иванович, я не могу согласиться, перестаньте, все будет напрасно; я не могу.

— Но если так, прошу у вас одной пощады: вы теперь еще слишком живо чувствуете мое оскорбление, — не давайте мне те-перь ответа, дайте мне время заслужить ваше прощение; я кажусь вам легкомыслен, низок, подл; посмотрите на меня: может быть, я исправлюсь; я употреблю все силы на то, чтобы исправиться; по-можите мне, не отталкивайте меня теперь, дайте мне время, я буду исправляться, я буду во всем слушаться вас; вы увидите, как я по-корен, быть может, вы увидите, что во мне есть и хорошее; — лю-бовь совершает чудеса; быть может, она изменит меня... Дайте мне время.

— Мне жалко вас. Я вижу искренность вашей любви («Вероч-ка, это еще не любовь, это смесь разной гадости с разной дря-нью, — любовь не то: не всякий тот любит женщину, кому не-приятно получить от нее отказ, — любовь не то»). Вы говорите,

чтобы я не давала вам ответа, — извольте. Но поверьте, что отсрочка ни к чему не поведет; я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой давала ныне.

— Заслужу, заслужу другой ответ! Вы спасаете меня! — Он схватил ее руку и начал целовать.

Марья Алексеевна вошла в комнату и уже готовилась благословить милых детей без формальности, в порыве чувства, потом позвать Павла Константиновича, чтобы благословить парадно. Сторешников разбил половину ее радости, объяснив ей с поцелуями, что Верочка не дала согласия, а только отложила ответ. — Плохо, но все-таки хорошо, сравнительно с тем, что было.

Сторешников возвратился домой с победою и объявил матери, что она обманулась: его невеста не отказывает ему, а только просит повременить, — это очень натурально, потому что она очень молода. Опять явился на сцену дом, и опять Анна Петровна должна была пасовать.

Марья Алексеевна не замедлила сообразить, что ее дочь, как «хитрая девка, вся в меня, только еще половчее», отлагает согласие по расчету. Нетрудно было догадаться, в чем и заключается расчет: она хочет совершенно вышколить Мишку-дурака, забрать его в свои руки так, чтобы он без нее дохнуть не смел, вынудить покорность у матери Мишки-дурака. Молодец девка!

Предположения Марьи Алексеевны оправдывались делом: Мишка-дурак был шелковый, мать Мишки-дурака боролась недели три, но сын побивал ее домом, и она стала смиряться. Выразила желание познакомиться с Верочкой, — Верочка не отправилась к ней; Марья Алексеевна была приведена в восторг этою хитрою выдумкою; недели через две Анна Петровна зашла сама, под предлогом осмотреть новую отделку квартиры, была холодна, язвительно любезна; Верочка после двух-трех колких ее фраз ушла в свою комнату и этой новой тонкостью хитрого расчета привела в новый восторг Марью Алексеевну; недели еще через две Анна Петровна опять зашла и уже не выставляла предлогов для посещения, а просто сказала, что пришла навестить, и уже почти не говорила колкостей; еще через несколько времени и вовсе не говорила колкостей при Верочке. С Марьею Алексеевною она была зуб за зуб, они любезничали и деликатничали так, что от каждого слова на два ногтя входила булавка в тело, но кожа у Марьи Алексеевны была поглубже, и булавки Анны Петровны только приятно щекали ее, а Анна Петровна от ее булавок при ней коробилась, а наедине (то есть и с старшею горничною) стонала и выла истошным голосом. Это все передавалось Марье Алексеевне прямо же от старшей горничной, которая уже видела, чья сторона берет верх, много радовало Марью Алексеевну и было счастливейшим временем в ее жизни. Счастье, конечно, много помогало и то, что Мишка-дурак, — теперь она не звала его Мишка-дурак, а называла Михаилом Ивановичем, — делал подарки и ей, и Верочке; подарки его Верочке шли через руки Марьи Алексеевны и оставались в них, подобно

часам Анны Петровны, — впрочем, не все: иные, которые были подешевле, Марья Алексеевна через несколько времени отдавала Верочке, — дарила, как вещи, оставшиеся у нее в залоге невыкупленными: нельзя же, надобно, чтобы Михаил Иванович видел некоторые из своих вещей на Верочке. Он видел и убеждался, что Верочка решилась согласиться, иначе она не стала бы принимать его подарков, — и понимал, в чем штука, — он не разделял мысли Марьи Алексеевны, что Верочка медлит для полнейшего подчинения его себе, — таких мыслей об отношениях другого к себе никто не делает, — но понимал не хуже Марьи Алексеевны, что Верочка медлит в ожидании, пока совершенно обуздается и перестанет брыкаться Анна Петровна. От этого он с удвоенным усердием гонял на корде свою родительницу, получая немалое удовольствие от этого занятия.

Верочке было гадко то, что она замечала; но она не замечала и половины упражнений Марьи Алексеевны и Михаила Ивановича над Анною Петровною. А ее оставляли в покое, смотрели ей в глаза; это собачье угождение тоже было гадко, но она старалась как можно реже быть с матерью, которая перестала осмеливаться входить в ее¹ комнату, а в своей комнате, — то есть почти целые сутки, — Верочка была спокойна. К Михаилу Ивановичу она стала привыкать; с нею он был как ребенок; она заставляла его читать, — он читал очень усердно, будто готовился к экзамену, — толку извлекал мало, но все-[таки] кое-какой толк извлекал; она старалась помочь его развитию разговорами; разговоры были ему несколько понятнее книг, и кто посмотрел бы со стороны на его успехи, — правда, медленные и очень неширокого умственного размаха, — тот сказал бы, что современем сделается он человеком сносным. Он уже даже начинал приличнее прежнего обращаться с матерью, — стал предпочитать гонянью на корде простое держанье в узде.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ЗАКОННЫЙ БРАК

[I]

Неизвестно, чем кончилось бы это положение, если бы развивалось из одних прежних своих элементов, без появления нового случая, перевернувшего все вверх дном. Очень может быть, что, когда напоследок стали бы говорить Верочке, что уже пора решить, она вновь сказала бы «не пойду» и подверглась бы новой опале; судя по прежнему, это очень вероятно; но чуть ли не вероятнее то, что она попривыкла бы иметь Сторешникова под своею командою, стала бы находить, что из двух зол, — такого мужа и такой матери, — муж меньшее зло, и осчастливила бы своего поклонника. Сначала ей стало бы гадко, когда она испытала бы, что такое значит осчастливливать без любви, — но он был бы послушен, и по-немногу она обратилась бы в обыкновенную хорошую даму, а мо-

¹ В рукописи описка: в свою. — *Ред.*

жет быть, даже и в плохую даму, — мало ли женщин начинали тем, что были очень хорошими людьми, но постепенно осваивались с пошлостью? Так чаще всего бывало и с женщинами, и с мужчинами в прежние времена; но теперь все чаще и чаще стало случаться другое, что в эпоху, когда определяется характер жизни на весь век, порядочные люди встречаются, находят поддержку друг в друге и навсегда укрепляются в человеческом образе мыслей и жизни. Да и как этому не случаться чаще и чаще, когда число порядочных людей растет с каждым новым годом? Скоро это будет самым обыкновенным случаем. Хорошо тогда будет жить на свете! Впрочем, мы с Верочкою не можем жаловаться, — нам и теперь хорошо. Теперь — то есть, когда вы читаете мой рассказ о Верочке, написанный с ее согласия, — а мы переживали и тяжелые минуты, — ну, да они миновались навсегда.

Да, так неизвестно, к чему бы пришло дело, если бы не явился новый случай, который дал ему крутой поворот. Случай состоял в том, что Верочка встретила с человеком, который в самом деле полюбил ее, и она его также, и что не захотели они расстаться.

Дмитрий¹ Сергеевич Лопухов был студент Медицинской академии, живший уроками. Надобно стало готовить в гимназию маленького брата Верочки, Павел Константинович стал спрашивать у сослуживцев хорошего и дешевого учителя; один из сослуживцев рекомендовал ему Лопухова.

Раз пять или шесть он уже был на своем новом уроке, прежде чем он и Верочка увидели друг друга, — он сидел с Федею в одном конце квартиры, она в другом конце, в своей комнате, — но дело подходило к экзаменам в Академии, он сказал однажды, что теперь будет приходить уже не по утрам, по утрам ему нужно заниматься, а вечером, и когда пришел в следующий раз, застал все семейство за чаем.

На диване сидели лица знакомые: отец, мать ученика; подле матери, на стуле, ученик; а несколько поодаль лицо незнакомое — высокая, стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами («густые, хорошие волосы»), — с черными глазами («глаза хорошие, даже очень хорошие, в них много жизни»), с южным типом лица («как будто из Малороссии, пожалуй, даже скорее кавказский тип, ничего, очень красивое лицо, только очень холодное, это уж не по-южному; здоровье хорошее, мы, медики, поубавились бы в числе, если бы такой был народ; да, румянец здоровый, эта не познакомится с стетоскопом; широкая грудь; когда войдет в свет, точно, будет производить эффект. А Впрочем, не интересуюсь»).

И она посмотрела на вошедшего студента, — студент был уже не юноша, человек среднего роста, или несколько повыше среднего, с темнокаштановыми волосами, несколько смугловатый, но так, слегка только; черты лица правильные, даже красивые, держит

¹ В рукописи сначала стоит: Андрей. — *Ред.*

себя смело и гордо, смотрит человеком, выдавшим жизнь и давно уже привыкшим надеяться на себя. («Недурен, и, должно быть, добр, только слишком серьезен».)

Она не прибавила в мыслях «а впрочем, не интересуюсь», потому что и вопроса об этом не было, станет ли она им интересоваться: разве Федя не наговорил ей столько, что уже скучно стало и слушать? «Он, сестрица, добрый, только никогда не улыбается. Я, сестрица, расхожусь, а он смотрит, не бранится, только смотрит, и не на меня, сестрица, на стол смотрит или в окно. А я ему, сестрица, сказал, что вы у нас красавица, а он, сестрица, сказал: «ну, так что же?» а я, сестрица, сказал: «да ведь красавиц все любят», а [он] сказал: «все глупые любят», а я, сестрица, сказал: «а вы не такой, который их любит?», а он сказал: «хлопот с ними много, мне некогда»; я ему сказал: «так вы с Верочкою не хотите познакомиться?», а он, сестрица, сказал: «у меня и без [того] знакомых много». Это все наболтал Федя после первого же урока, и потом все болтал в том же роде, с разными такими же пополнениями: «а я ему, сестрица, и нынче сказал, что на вас все смотрят, как вы где бываете. А он, сестрица, сказал: «ну, и прекрасно». А я ему сказал: «а вот вы бы на нее посмотрели», а он, сестрица, сказал: «еще увижу». Или потом: «а я ему, сестрица, сказал, какие у вас ручки маленькие», а он сказал: «вам болтать хочется, так разве не об чем другом, полюбопытнее?»

И учитель узнал от Феди все, что требовалось узнать о сестрице; останавливал он Федю от болтовни о семейных делах, да как вы остановите девятилетнего ребенка от болтовни, если не запугаете его так, чтобы он дрожал перед вами? Учитель на пятом слове повертывал речь ученика на что-нибудь другое; но ведь дети начинают всегда, как Цицерон свою речь против Катилины, — без приступа, с самой сущности дела, — и, попережку с другими объяснениями всяких других семейных дел, учитель слышал такие начала речей: «А у сестрицы жених-то богатый. — А маменька говорит, жених-то глупый. — А маменька уж как за женихом-то ухаживает. — А маменька говорит: «сестрица-то ловко богатого жениха поймала». — А маменька говорит: «я хитра, а Верочка-то хитрее меня». — А маменька говорит: «мы женихову-то мать из дому выгоним». И так дальше, и так дальше.

Натурально, что при таких сведениях друг о друге молодые люди имели мало охоты знакомиться. Впрочем, Верочка — так, — мы ее знаем, она точно не должна была иметь охоты, — она не стояла на той степени развития, чтобы стараться «побеждать дикарей», «сделать этого медведя ручным» или «захочу, так заставляю влюбиться», — да и не до того ей было, — она рада, рада была, что оставили ее в покое хоть сравнительно с прежним; она была разбитый, измученный человек, которому как-то вдруг случилось прилечь так, что сломанная рука затихла, и боль в боку не слышна стала, и дышать можно, и который боится пошевелиться, чтобы не возобновилась прежняя боль во всех суставах.

Куда уж пускаться в новые знакомства, да еще с молодыми людьми?

Ну, Верочка — так; а его мы еще не знаем, — дикарь он, судя по словам Феде, и голова его набита книгами, да, вероятно, анатомическими препаратами, составляющими самую милую приятность, самое любимое развлечение, самую сладостнейшую пищу души для хорошего медицинского студента. Или Федя наврал на него?

Едва ли, — ведь все, что он пересказывал из рассуждений Марьи Алексеевны, было верно. Одно только может быть, — Верочка составила себе по словам Феде не совсем точное понятие об учителе, как и он по словам того же Феде составил не слишком верное понятие о ней.

III

Лопухов по денежной своей обстановке принадлежал к тому меньшинству медицинских студентов, которое не голодает и не холодает. Как и чем живет большинство, это богу известно, а людям непостижимо: бедность изумительная. Но не о большинстве теперь речь: этот рассказ не унижается до того, чтобы заниматься людьми, которые терпят недостаток в съестном продовольствии. Потому он упомянет лишь в двух-трех словах о времени, когда Лопухов жил в таком неприличном состоянии.

Лопухов, [сын] рязанского мещанина, кое-как существовал в гимназии; отец, по мещанскому сословию, жил достаточно, то есть его семейство имело щи с мясом не по одним воскресеньям и даже пило чай каждый день. Но для содержания сына в Петербурге такие ресурсы недостаточны — впрочем, в первые два-три года Лопухов получал из дому рублей по 30 или 35 в год; еще столько же он доставал перепискою бумаг по вольному найму в одном из кварталов Выборгской части, — ну и жил, как живет большинство студентов, эти три года. Но когда он перешел [на четвертый курс], он оправился: помощник квартального надзирателя предложил ему уроки, потом нашлись еще кое-какие уроки, и дело пошло хорошо. Он уже два года жил на одной квартире, то есть в одной комнате с другим таким же счастливецом из своих товарищей, прошедшим такую же школу. Они были величайшие друзья. Оба рано привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, оба не имели никакой опоры и поддержки ни в ком, кроме самих себя; в характерах у них было много сходства, так что разница замечалась только при сравнении, а врозь они оба казались бы людьми одного и того же типа. Но когда вы их видели вместе, то выказывалось, что, хотя оба они люди одинаково солидные и оба люди открытые, но Лопухов несколько сдержаннее, а товарищ его Кирсанов несколько экспансивнее; Лопухов несколько похолоднее, хотя тоже очень горяч, Кирсанов несколько более пылок, хотя тоже очень умеет держать себя в руках. Но разница была очень невелика. О Кирсанове речь будет еще после, а теперь мы говорим о нем лишь

потому, что они жили вместе, были очень дружны, и дружба их была очень тверда, так что и планы будущности были у них общие.

Главный план состоял в том, что они будут ординаторами в петербургских военных госпиталях, а практикою заниматься не будут. Удивительная вещь: в последние лет десять стала являться между лучшими из медицинских студентов твердая решимость по окончании курса не заниматься практикою, которая одна дает средства для достаточной жизни, а жить исключительно очень небогатым жалованьем военного молодого медика и при первой возможности совершенно бросить медицину для какой-нибудь из вспомогательных ее наук, — для физиологии, химии, чего-нибудь подобного. Это геройство. Каждый из этих молодых медиков верно знает, что, занявшись практикою, имел бы в 30 лет громкую репутацию, уже собрал бы порядочное обеспечение на всю жизнь в 35, а в 40 лет был бы богат. Но они говорят, — удивительная вещь, что они не составляют чрезвычайного исключения: в каждом курсе бывает таких человека два-три или и больше, — они говорят, что медицина не из тех наук, которые получают наиболее от людей, занимающихся прямо ими самими, как, например, химия или физика, что она находится еще во младенческом состоянии, из которого могут вывести ее только химические и физиологические изыскания, и потому, говорят они, будем заниматься этими изысканиями, которые всего нужнее для медицины в нынешнем ее положении; и по этому соображению они отказываются от карьеры, даже от благосостояния, даже от житейского довольства, и для пользы любимой науки — они все охотники ругать медицину, только все свои силы посвящают ее пользе — они отказываются от всех вознаграждений, ею даваемых; а еще есть народ, воображающий, что наше время бедно энтузиазмом и самоотвержением, — да это, например, что же такое, как не самоотверженнейший энтузиазм? Хорошие люди эти молодые медики, бросающие медицину для исследований, из которых должна родиться истинная медицина. Но если они бросают ее, как говорят, — это значит, что бросают только личное пользование выгодами от нее, а в самом-то деле никто не знает ее так, как они, никто так неусыпно не следит за ее быстрыми [успехами], — да и нельзя иначе: ведь они взялись за такое дело, чтобы вести ее вперед, так уже не приходится им-то отставать. Хорошие люди и хорошие медики — жаль только, не лечат — зато благодаря им другие учаются лечить.

Вот к этим-то людям принадлежали и наши приятели. Они в том году должны были кончить курс и объявили, что будут держать (или, как говорят в Академии: сдавать) экзамен прямо на степень доктора медицины. Теперь они работали для диссертаций и уничтожали громадное количество лягушек, — оба они выбрали своею специальностью нервную систему и, собственно говоря, работали вместе; но для формы работа была разделена, то есть, один

вписывал в материалы для своей диссертации факты, находимые обоими, по одному вопросу, другой — по другому.

Но пора же, наконец, говорить об одном Лопухове. Было время, он частенько порядком кутил; это было, когда он сидел без чая, иной раз без сапог; это время очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить — дешевле, чем есть и одеваться: но это было следствие невыносимой тоски от нищеты, не больше. Теперь давно уже не было человека, который бы вел такую строгую жизнь — и не в отношении к одному вину, а точно так же и в другом отношении. У него было довольно много любовных приключений. Однажды, например, был такой случай: он влюбился в заезжую танцовщицу, — как тут быть? Он подумал, подумал, да и отправился к ней на квартиру. «Что вам угодно?» «Прислан от графа такого-то с письмом». Студенческий мундир без затруднения был принят слугою певички за писарский или какой-нибудь особенный денщицкий. «Давайте письмо; ответа будете ждать?» — «Граф приказал ждать». Слуга возвратился в удивлении: «Велела вас позвать к себе». — «Так вот он! вот он! кричит мне всегда так, что даже из уборной различаю его голос! Много раз отводили вас в полицию за ваши неистовства в мою честь?» «Только два раза». «Мало. Ну, зачем вы здесь?» «Видеть вас». «Прекрасно; а дальше что?» «Что хотите. Сам не знаю». — «Ну, я знаю. Я хочу закусывать — видите, прибор на столе, садитесь и вы». Подали другой прибор. Она смеялась над ним, он смеялся над собою, чокались, — он молод, недурен собою, неглуп, да и оригинален, — почему не подурачиться? Дурачилась с ним недели две, потом сказала: «теперь убирайтесь». «Да я уж сам хотел убираться, да неловко было сказать». «Значит, расстаемся друзьями?» Обнялись еще раз и отлично.

Но это было давно, года три назад. А теперь, года два уж, он бросил всякие шалости.

Кроме товарищей да двух-трех профессоров, предвидевших в нем замечательного деятеля науки, он виделся только с семействами, в которых давал уроки. Но с этими семействами он только виделся. Он, как огня, боялся фамильярности и держал себя очень холодно и сухо со всеми лицами в них, кроме своих маленьких учеников и учениц.

[III]

Так мы остановились на том, что Лопухов вошел в комнату, окинул взглядом общество, сидевшее около чайного стола, увидел в числе других и Верочку; ну, и общество увидело, в том числе и Верочка увидела, что в комнату вошел учитель.

— Прошу садиться, — сказала Марья Алексеевна. — Праксилья, дай еще стакан.

— Если это для меня, то благодарю вас, — я не буду пить.

— Прасковья, не нужно стакана. — («Благовоспитанный молодой человек».) — Почему же не будете? Выкушали бы.

Верочке было несколько совестно, — он смотрел на Марью Алексеевну, но тут, как нарочно, взглянул на Верочку, — а, может быть, и в самом деле нарочно? Может быть, он заметил, что она слегка пожала плечами? («А ведь он увидел, что я покраснела».)

— Благодарю вас, я пью чай только дома.

«Однако ж, он вовсе не такой дикарь, — он вошел и поклонился легко, свободно». «Однако же, если она и испорченная девушка, то, по крайней мере, стыдится пошлостей матери».

Но Федя скоро кончил чай и отправился учиться. Таким образом, важнейший результат этого вечера остался только тот, что Марья Алексеевна составила себе выгодное мнение об учителе, видя, что ее сахарница, вероятно, не будет терпеть большого ущерба от перенесения уроков с утра на вечер.

Через два дня учитель опять застал все семейство за чаем и опять отказался от чая — и тем окончательно завоевал сердце Марьи Алексеевны, абсолютно облегчив ее от всяких опасений насчет его отношений к сахарнице. Но на этот раз он увидел за чайным столом еще новое лицо — офицера, перед которым лебезила Марья Алексеевна. «А, жених-то!»

Сторешников, как человек богатый и, по своему мнению, высшего общества, вздумал, что ему следует смирить студента-учителя с ног до головы небрежным, медленным взглядом, принятым в хорошем обществе для подобных случаев. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель — не снимает с него самого тоже мерку, а даже хуже — смотрит ему прямо в глаза, да так пристально и неотступно, что вместо продолжения мерки [Сторешников] сказал:

— А трудная ваша часть, мсьё Лопухов, я говорю — докторская часть.

— Да, трудна. — И все продолжает смотреть прямо в глаза Сторешникову.

Сторешников почувствовал, что левою рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую и третью сверху пуговицы своего мундира, — ну, значит, нет другого спасения, как поскорее допить стакан, чтобы обратиться к Марье Алексеевне с просьбою налить еще стакан.

— На вас, если не ошибаюсь, мундир такого-то полка?

— Да, я служу в таком-то полку, — отвечает Михаил Иванович.

— И давно служите?

— Девять лет.

— Прямо поступили на службу в этот полк?

— Прямо.

— Имеете роту или еще нет?

— Нет, не имею. («Да он меня допрашивает, точно я к нему ординарцем явился».)

— Скоро надеетесь получить?

— Нет еще.

— Гм. — Учитель почел достаточным и прекратил допрос, посмотрев еще раз пристально в глаза Михаилу Ивановичу.

(«Однако же», «однако же», думает Верочка, — что «однако же», она не может выразить себе определительнее, — наконец, находит, что именно такое «однако же»: «однако же, он держит себя так, как держал бы себя тот офицер, который был с француженкою, — да какой же он дикарь? — Но почему же он странно говорит о девушках, о том, что красавиц любят глупые — и — и» — что такое «и»? да, нашла, что такое «и»: «и почему же он не хотел ничего слышать обо мне, сказав, что это нелюбопытно?»)

— Верочка, ты сыграла бы что-нибудь на фортепьянах, мы с Михаилом Ивановичем послушали бы, — говорит Марья Алексеевна, когда Верочка ставит на стол вторую чашку.

— Пожалуй.

— И если бы вы спели что-нибудь, Вера Павловна, — прибавляет заискивающим голосом Сторешников.

— Пожалуй, и спою.

(«Однако ж, она не ломается; и опять, ведь вот я сижу тут минут десять, — она не то, чтобы кокетничать или строить глазки, она на него ни разу не взглянула, кроме того, когда отвечала, а тут смотрела просто, будто на отца или на Федю, или на свою кухарку; что ж это значит? Федя вздор болтал? Хорошо, так зачем же ты идешь за него? Ты не кокетка, верю; но неужели ты так алчна к деньгам?»)

— Федя, а ты допивай поскорей, — заметила мать.

— Не торопите его, Марья Алексеевна, — я хочу послушать, если Вера Павловна позволит.

Верочка раскрыла ноты, какие попались, даже не посмотрев на них, раскрыла тетрадь, опять где попало, и стала играть машинально, — видно было, что ей все равно, что бы ни сыграть, лишь бы скорее отделаться. Но пьеса попалась со смыслом, — какая-то ария из порядочной оперы, и скоро игра девушки одушевилась. Кончив, она хотела встать.

— Но вы обещались спеть; если б я смел, я попросил бы вас, Вера Павловна, пропеть из Риголетто, — сказал Сторешников.

— Извольте, — Верочка пропела *La donna é mobile* — в ту зиму *La donna é mobile* была модною арией, — встала и ушла в свою комнату.

— Не правда ли, хорошо? — сказал Сторешников учителю уже без всяких замашек снятия мерки.

— Да, хорошо.

— А вы знаток в музыке, как слышно по вашему тону.

— Так себе.

— И сами музыкант?

— Несколько.

У Марьи Алексеевны, слушавшей разговор, блеснула счастливая мысль.

— А на чем же вы играете, Дмитрий Сергеевич?—спросила она.

— На фортепьяно.

— Можно попросить вас доставить нам удовольствие?

— Очень рад. — Он сел и сыграл какую-то пьесу. Играл он не бог знает как, но недурно.

Когда он оканчивал урок, Марья Алексеевна подошла и сказала, что послезавтра у них маленький вечер — день рождения дочери, и что она просит его пожаловать.

(«Понимаю, в кавалерах недостаток, по обычаю всех таких вечеров; ну, да ничего, — посмотрю на нее поближе, тут есть что-то странное».) — Очень благодарен, буду.

[IV]

Марья Алексеевна хотела сделать большой вечер на верочкино [рождение]. Верочка упрашивала, чтобы вовсе не звали никаких гостей. Одной хотелось сделать выставку жениха, другой тяжела была [выставка]. Поладили на том, чтоб сделать самый маленький вечер, пригласить лишь несколько человек близких знакомых. Позвали сослуживцев Павла Константиновича, двух приятельниц Марьи Алексеевны, четырех девиц, которые были короче других с Верочкою. Одна из девиц не могла приехать по нездоровью, три приехали.

Осматривая собравшихся гостей, Лопухов увидел, что в кавалерах нет недостатка: при каждой из девиц находился молодой человек, кандидат в женихи или уже и вовсе жених. Стало быть, Лопухова приглашали не в качестве кавалера; зачем же? Подумавши, он вспомнил, что приглашению предшествовало испытание его игры на фортепьяно, — стало быть, он позван для сокращения расходов, чтобы не брать тапера. «Хорошо, — подумал он, — извините, Марья Алексеевна», и подошел к Павлу Константиновичу.

— А что, Павел Константинович, пора бы устроить вист. Видите, старички-то скучают.

— А и правда, что пора. А вы по какой играете?

— По всякой играю

Тотчас же составила партия, и Лопухов уселся играть. Академия на Выборгской стороне — классическое учреждение по части карт: там не в редкость, что играют по полутора суток сряду. Чуть ли не половина медицинских студентов очень хорошие игроки. Сильно игрывал в свое время и Лопухов.

— Mesdames, — как же быть? Играть поочередно, это так — но ведь нас остается только семь: будет не доставать кавалера или дамы для кадрили?

Первый роббер оканчивался, когда одна из девиц, самая бойкая, подлетела к Лопухову.

— Мсьё Лопухов, вы должны танцевать.

— С одним условием, — сказал, вставая и кланяясь [Лопухов].

— Каким?

— Я прошу у вас первую кадрили.

(«Однако, какой он светский, хоть бы офицеру такому быть».) — Ах, боже мой, я на первую ангажирована; вторую — извольте.

Лопухов снова сделал глубокий поклон.

Танцевали восемь кадрилей; Лопухову пришлось танцевать две кадрили с каждой из дам. Двое из кавалеров поочередно играли.

На третью кадрили Лопухов просил Верочку, — первую она танцевала с Сторешниковым, вторую — он с бойкою девицей.

— Мсьё Лопухов, я никак не ожидала видеть вас танцующим, — начала Верочка.

— Почему же?

— Вы, кажется, ненавидите нас, женщин.

— Я? Нет, но я избегаю женского общества.

— Почему же?

— Я обручен, и у меня очень ревнивые невесты.

— У вас не невеста, а невесты?

— Да, у меня две невесты.

— Однако же, это интересно, даже страшно.

— Да, одна из невест довольно страшная. Одна, которая не страшна, но тоже очень ревнива, — почти неотступно сидит со мною, когда я дома, и следит за каждым моим движением, но исчезает, лишь только кто войдет в комнату, и не выходит за порог ее. Мы с нею ставим на лампу реторты, режем лягушек; она очень добрая, но безжалостная.

— Ну, эта невеста мне не интересна. Не называйте ее, пожалуйста, — знаю. Но другая невеста, другая, — другую вы должны называть мне.

— Другую? Нет, другую не назову, — может быть, после, когда мы ближе познакомимся. Но теперь — нет.

— «Не назову?» Или это секрет? Но я требую.

— Назвать не могу, потому что она не бесплотное существо, как первая, — нет, эта невеста живая.

— По крайней мере, можно описать ее? Она хороша собою?

— Очень.

— Брюнетка или блондинка?

— На это я не могу вам отвечать. Но я вам могу сказать, например, где и как мы с нею виделись ныне, да нет, это было бы длинно, — мы слишком много раз виделись в течение дня, — скажу, как я виделся с нею, когда ехал сюда. На Выборгской мне встретился старик, довольно хилый, и ташил узел белья; я его знаю, это отец двух вдов, прачек; они живут подле нас; с ним шла моя невеста и так дружно разговаривала с ним. Я выехал на мост —

шла женщина в каком-то дрянном капоте, который вовсе не согревал ее; она дрожала; я взглянул — моя невеста идет и говорит с нею. Я проехал еще несколько — мне встретился мастеровой, такой худой, оборванный, пьяный; я взглянул — моя невеста идет и говорит с ним. Я выехал на набережную...

— Довольно, довольно, — понятно: бедность, нищета.

— Может быть, вы отгадали, может быть, вы не отгадали; я сказал, что не могу назвать вам ее имени. Впрочем, я отвечаю вам такими аллегориями, которые хороши в поэмах, а не в разговоре. Вы спросили, ненавижу ли я женщин? Нет, я их очень люблю — прежде влюблялся, теперь просто люблю, но мне их жалко.

— Жалеете? Вот новость! Разве мы так жалки?

— Да разве вы не женщина?

— Мое положение совершенно особенное.

(«Странно, как она посмотрела — с какою-то благодарностью. Гм! Так вот что! Однако трудно верить после всего, что я слышал. — Или хочет передо мною разыгрывать жертву? Это скорее».)

— А если вы женщина, то, хотите, я скажу вам самое задушевное ваше желание, самую глубочайшую тайну вашу?

— Скажите, скажите, — это тем любопытнее, что у меня нет никаких.

— Да? — Он посмотрел на нее.

— Нет.

— Ну, личных, особенных, может быть, еще и нет. Но это общая тайна всех женщин.

— Скажите ее, я еще не знаю ее.

— Вот она: «Ах, как бы мне хотелось быть мужчиною!» Я не встречал женщины, у которой бы нельзя было найти эту задушевную тайну. А большею частью она прямо высказывается, даже без всякого вызова. Как только женщина чем-нибудь расстроена, она тотчас говорит что-нибудь такое: «зачем я не мужчина?» или: «бедные мы существа, женщины», или: «мужчина совсем не то, что женщина», или что-нибудь такое. Правда?

Верочка улыбнулась. — Правда, это можно слышать от всякой женщины.

— Вот видите, как жалки женщины, что если бы исполнить задушевнейшее желание каждой из них, то на свете не осталось бы ни одной женщины.

— Да, кажется, так, — сказала Верочка.

— Все равно, как не осталось бы на свете ни одного бедного, ни одного больного [если бы исполнились их желания]; видите, как же их не жалеть? Я совершенно разделяю желания бедных и больных, которые когда-нибудь исполнятся, — ведь раньше или позже мы сумеем устроить жизнь так, что не будет ни бедных, ни больных.

— Не будет? — Глаза Верочки сверкали: — я сама думала, что не будет, но как их не будет, я не умела придумать.

— А вот, видите, есть такие две женщины, которые об этом стараются, — очень сильные, сильнее всех людей на свете, да и сильнее всего на свете, — одна хочет сделать, чтобы не было больных, другая — чтоб не было бедных, — это и есть мои невесты. Так вот, я согласен с желанием больных и бедных, чтоб их не было, но не согласен с желанием женщин, чтобы женщин не было на свете, потому что этому желанию нельзя исполниться: с тем, чему нельзя быть, я не соглашаюсь. Женщины так и останутся женщинами, мужчины — мужчинами. Но у меня есть другое желание: мне хотелось бы, чтобы женщины подружались с моею второю невестою, — она и об них заботится, как о многом, — она очень обо многом заботится. Если бы они подружались с нею, и мне не стало бы причины жалеть их, и у них исчезло бы желание: «ах, зачем я не родилась мужчиною!»

— Мсьё Лопухов, еще одну кадрили, непременно.

— Похвалю вас за это, вот как, — он пожал ей руку, да так спокойно и серьезно, как будто ее подруга, или как жмет своему товарищу. — Которую же?

— Последнюю.

— Хорошо.

Марья Алексеевна несколько раз шмыгала мимо них во время этой кадрили.

Пришла последняя кадрили.

— В прошлый раз разговор шел все обо мне, — начал Лопухов, — а ведь это вовсе невежливо с моей [стороны], что я все говорил о себе. Теперь давайте поговорим о вас. Знаете, я был о вас еще гораздо худшего мнения, чем вы обо мне. Теперь — ну, да это после. Но все-таки, я не умею отвечать себе на одно. Отвечайте вы мне. Скоро будет ваша свадьба?

— Никогда!

— Что ж это значит? Зачем он считается женихом?

— Зачем? Одного я вам не скажу, — мне тяжело. А другое могу сказать: мне жаль его. Он так любит меня, — сказать ему, что я думаю, — я говорила, но он отвечает: «не говорите, это убьет [меня], не говорите, молчите».

— Хорошо, это одна причина. А другая?

— Я не могу вам сказать, — это не моя тайна.

— Это не ваша тайна, что ваше положение в семействе ужасно. Теперь я все понимаю; и как же я был слеп, что не понял этого, как увидел вас; простите меня.

— Теперь оно сносно. Теперь меня никто не мучит — ждут и оставляют меня, или почти оставляют меня одну.

— Но ведь это не может же тянуться долго — к вам начнут приставать. Что тогда?

— Ничего. Я думала об этом и решилась. Я тогда не останусь здесь. Я могу быть актрисою. Ах, какая это завидная жизнь! Независимость, независимость!

— Ну, и аплодисменты.

— Да, и это хорошо, но главное, независимость! Делать, что хочу, жить, как хочу, никого не спрашиваясь, — ничего ни от кого не требовать, — ни в ком, ни в ком не нуждаться! Я так хочу жить!

— Хорошо, хорошо! Это так! Теперь у меня просьба к вам: я узнаю, как это сделать, к кому надобно обратиться — да?

— Благодарю, — она пожала ему руку. — Делайте же это скорее, — мне так хочется поскорее вырваться из этого несносного, гадкого, унижительного положения! Я спокойна, мне сносно — разве это так в самом деле? Разве я не вижу, что делается моим именем? Разве я не знаю, как думают обо мне все, кто здесь есть? Интригантка, хитрит, обирает жениха, хочет быть богата, войти в светское общество, блистать, будет держать мужа под башмаком, будет помывать им, обманывать его! Разве я не знаю, что все так обо мне думают, — нет, нет, напрасно смотрите, не навернулись ли слезы — их давно у меня не бывает. Не хочу так жить, не хочу!

Вдруг она задумалась.

— Не смейтесь тому, что я скажу. Ведь мне жаль его — он так меня любит.

— Он вас любит? А вот что: так [он] на вас смотрит, как вот я, или нет? Такой у него взгляд?

— Вы смотрите просто, прямо на меня; вы смотрите на меня, как смотрят на меня те подруги, которые расположены ко мне. Нет, ваш взгляд не смущает и не обижает меня.

— Видите ли, это потому, что мой взгляд чист. А он так смотрит?

Она покраснела и молчала.

— Значит, он не любит. Это не любовь, Вера Павловна.

— Что же это?

— Что такое это, я вам не скажу. Только это дурная вещь. А зато, вы скажете, что такое любовь. Тогда вы сами решите, любовь ли его чувство к вам. Скажите, кого вы больше всех любите, — я говорю не про страсть, мы сейчас к ней вернемся, — кого вы любите больше всех из ваших родных, из подруг?

— Из них — никого сильно. Но недавно мне встретилась одна очень странная женщина: она очень дурно говорила мне о себе, запретила мне продолжать знакомство с нею, — мы виделись по совершенно особенному случаю, — она сказала, что когда мне будет крайность, но только самая страшная крайность, такая, что оставалось бы только умереть — чтоб тогда я обратилась к ней, но иначе — никак: я ее очень полюбила.

— Хорошо. Вы желаете, чтоб она делала для вас что-нибудь такое, что ей неприятно или вредно?

Верочка улыбнулась.

— Хорошо; но представьте же, что вам очень, очень нужно было бы, чтобы она сделала для вас что-нибудь, и она сказала бы вам: «если я это сделаю, это будет мучить меня»; — повторили бы ваше требование? Стали бы настаивать?

— Скорее умерла бы.

— Ну, вот видите, это любовь. Только это любовь — просто чувство, а не страсть. Любовь между женщиною и мужчиною — страсть. А чем отличается страсть от простого чувства? Силою. Так вот видите ли, если при простом чувстве, слабom, слишком слабom перед страстью, любовь ставит вас в такое отношение к человеку, что вы говорите: «лучше умереть, чем быть причиною мучений для него», — если простое чувство так говорит, то что же скажет страсть? Вот что она скажет: «умру скорее, чем не только потребую словами или делом, — чем в мыслях [потребую], чтобы этот человек сделал для меня что-нибудь, кроме того, что ему самому приятно; умру скорее, чем допущу, чтобы он для меня стал принуждать себя». Вот что такое любовь между женщиной и мужчиной. А если страсть не такова, так она не любовь. Вашу руку — я сейчас ухожу отсюда. Я все сказал.

— До свиданья. Только что же вы не поздравили меня? Ведь ныне день моего рождения.

Он смотрел на нее.

— Может быть. Если вы не ошибаетесь, хорошо для меня.

— Еще одно слово: то, что вы говорили, вы говорили?

— И вы спрашиваете?

— Ах, боже мой, какой же вы непонятливый, — она улыбнулась, — я вовсе не то спрашиваю: вы один так говорите?

И он улыбнулся. — Ах, вот что — нет, не я один, это говорит моя вторая невеста.

— Она хорошая женщина?

— Хорошая.

— Только как же ее имя? Вы не считайте меня глупенькою девочкою, что я сказала: ее зовут «бедность». Я тотчас же увидела, что нет. Но как же ее [имя]?

Он засмеялся.

— Когда хорошенько познакомитесь с нею, тогда [она] сама и подскажет вам свое имя.

[V]

«Как это быстро, как это неожиданно», думала Верочка в своей комнате по окончании вечера. «В первый раз говорили, и стали так близки! За полчаса вовсе не знать друг друга — и через час видеть, что готовы всем на свете пожертвовать друг для друга! Как это странно!»

(Верочка, тут есть другая странность, — не для тебя или для него, или для меня, а для тех многих, которые не знали таких людей, как вы: отчего у тебя нет ни колебания, ни сомнения? Вот это странно для них. Ведь, по их мнению, это так трудно — не сомневаться ни в себе, ни в другом. А вот что еще страннее для них, Верочка: как это ты совершенно спокойна? Ведь они привыкли думать, что любовь так и должна быть в самом деле тревожным чувством, какое они испытывали, в каком видели таких же, как они, не верующих ни в себя, ни в тех, кого любят. А ведь ты, Верочка, когда ты будешь спать мирно, как малютка, на твоём [лице] будет

такая тихая радость, как будто ты еще и не знаешь, что такое страсть. Это, Верочка, люди, которые не знают, что такое настоящая любовь, — та любовь, которую стоит называть любовью. Это жалкие люди, Верочка: они или сами не были достойны любить, как требует человеческое достоинство, или были так несчастны, что любили недостойных. А мы с тобою, Верочка, не испугаемся слова «страсть» — мы испытали, что, когда страсть такова, как ей по настоящему и следует быть всегда, в ней нет ничего страшного. Почивай мирно, мой друг, Верочка.)

«Как это странно, — думает она: — ведь я сама все это передумала, перечувствовала, — что он мне говорил и о бедных, и о больных, и о женщинах, и о том, как надобно любить, — откуда я это взяла? Кое-что такое было в книгах, которые читала я, но ведь там было вовсе не то, — и все с какими-то сомнениями, или с безнадёжностью, или исключениями да ограничениями, — а я думала, что это самые лучшие книги, — даже и у Жоржа Санда, — а ведь Жорж Санд такая добрая, благородная и, кажется, все знает; а нет, и у ней не то, и у наших не то; нет, у наших уж вовсе не то; а вот удивительно: даже и у Диккенса не то, а ведь как будто все знает; отчего и он этого не знает? А ведь в этом — все. Ведь без этого ничего нельзя понять; если бедные останутся, как же жить на свете, хоть бы и не был сам беден? Да, что ж не знают этого, что надобно, чтоб вовсе никто [не был] ни беден, ни несчастен? Да разве у них нет этого? Нет, у них все как-то не так. Им и жалко, а все им думается, что без этого нельзя, — что это жалко, а так и останется, — нет, не останется, не останется! Да разве они этого не говорят? Нет, не говорят; если б они это говорили, я бы давно знала, что умные и добрые люди так думают, а то ведь мне все казалось, что это только я так мечтаю, потому так мечтаю, что глупенькая девочка, которая ничего не понимает; я все думала, что, кроме меня, глупенькой девочки, никто этому не верит, никто этого не ждет, — а вот он говорит, что его невеста растолковала всем, кто ее любит, что это именно все так будет, как мне казалось; и всем рассказала так понятно, так хорошо, что они все стали заботиться, стали работать, чтоб это поскорее так было. Какая его невеста умная! Только кто ж это она? А я узнаю, кто, — непременно узнаю — ведь я такая: что захочу, то и сделаю. Да, вот будет хорошо, когда это будет: бедных не будет, больных не будет, никто никого принуждать не будет, все будут веселые, добрые...» И с этим Верочка заснула.

(Верочка, это не странно, что передумала и перечувствовала это ты — простенькая девушка, не слышавшая и фамилий-то тех людей, которые стали учить нас тому, что ты думаешь, — вовсе не странно, что ты поняла и приняла к сердцу эти мысли, которых не могли себе ясно представить даже самые умные и добрые люди из людей двадцатью годами постарше тебя; тогда, Верочка, эти мысли только еще вырабатывались жизнью, и трудно было понять их во всей простоте и живости, а теперь они выработались, посятся

в воздухе, как аромат в полях, когда пришла пора цветов; у кого свежая грудь, тот или та дышит, и только — а грудь так сама и наполняется мягким ароматным воздухом. Нет, это еще не так странно, а вот что покажется странно людям, не переживавшим того, что тебе так знакомо, не полюбившим доброй красавицы-невесты, которую больше тебя любит твой милый и которую ты хочешь любить больше, чем его: им странно покажется то, с какими мыслями ты, мой друг, засыпаешь в первый день первой любви, — то, что от себя, от своего милого, от своей любви перешла ты к мыслям, что всем людям надобно быть счастливыми и что ты хочешь жить для того, чтобы помогать этому скорее быть. — Но нам с тобою это не странно, — по-нашему с тобою этому так и должно быть, это одно и натурально: по-нашему с тобою: «я чувствую радость и счастье», значит: «я хочу, чтобы все люди были радостны и счастливы, и буду думать об этом и буду трудиться для этого».

Так, Верочка, так, — ты чувствуешь по-человечески.)

[VI]

Марья Алексеевна шмыгала мимо дочери и учителя во время первой их кадрили, но во время второй она не показывалась подле них, а вся была погружена в хлопоты хозяйки по приготовлению ужина. Кончив эти заботы, осмотрев накрытый стол, она справилась, — учителя уже не было. Через два дня учитель пришел на урок, когда подали самовар, — это приходилось всегда во время урока; она вышла в комнату, где учитель занимался с Федею, и попросила его пожаловать, посидеть с нею, пока будут пить чай: учитель завел было такой обычай, что Феде подавали чай в комнату, где он сидел с учителем, Федя пил, а учитель в это время рассказывал ему истории про зверей, про птиц и тому подобные вещи, не входившие в предмет их ученья, так что, кроме первого раза, вовсе и не показывался в другие комнаты, кроме этой. Но теперь Марья Алексеевна сказала, что ей нужно поговорить с ним.

Он пошел и сел за чайный стол. Марья Алексеевна начала расспрашивать его о способностях Феде, о том, какая гимназия лучше, о том, не лучше ли поместить его в гимназический пансион, и так далее; что же, очень натуральные расспросы заботливой матери. Но во время этих расспросов она так усердно и любезно просила учителя выкушать чаю, что Лопухов согласился отступить от своего правила и взял стакан. Верочка долго не выходила, — вышла, она и он обменялись поклонами, как будто ничего между ними не было, а Марья Алексеевна все еще продолжала расспросы о Феде. Вдруг она круто поворотила разговор на самого учителя и стала расспрашивать, кто он, что он, как живет, как думает жить, есть ли у него родственники, имеют ли состояние; старалась входить во все подробности. Учитель отвечал коротко и неопределенно, что родственники есть, живут в провинции, что люди небогатые,

что он живет уроками, думает быть медиком при госпитале в Петербурге, — словом сказать, из всего этого ничего не выходило. Видя такое упорство, Марья Алексеевна приступила к делу прямее:

— Вот вы говорите, что останетесь здесь — а здешним докторам, славу богу, можно жить — еще не думаете о семейной жизни, или имеете девушку на примете?

(«Так вот оно к чему велось. Видно, лучше бы тебе, матушка, не подслушивать».)

— Как же, имею.

— И помолвлены, или нет еще?

— Помолвлен.

— И формально помолвлены, или только так, между собою говорили?

— Формально помолвлены.

Бедная Марья Алексеевна! Она беспрестанно слышала слова: «моя невеста», «ваша невеста», «я ее очень люблю», «она красавица», — и успокоилась, что волокитства со стороны учителя быть не может, и уже не подслушивала во вторую кадрили; ей хотелось только обстоятельнее и основательнее узнать эту успокоительную историю. Она и начала-то спрашивать уж не из недостатка убеждения, а потому, что ведь приятно душе услышать подробно о том, чем она угомонилась при одном звуке главного слова. Она продолжала расспросы, учитель отвечал основательно, хотя, по своему правилу, кратко. «Хороша ли его невеста?» «Необыкновенно». «Есть ли приданое?» «Нет, но получит огромное наследство». «Как велико?» «Очень велико». «Тысяч сто?» «Гораздо больше». «Неужели до миллиона?» «Может быть, и не один». Марья Алексеевна всплеснула руками и пришла в восторг. «Скоро ли?» «Вероятно, скоро». «А свадьба скоро ли?» «При первой возможности». «Так и следует, Дмитрий Сергеевич, скорее, покуда еще не получила наследства, — а то ведь от женихов отбою не будет». «Совершенная правда».

«Да как это бог послал ему такое счастье, да как это не отбили еще ее у него?» «Да так, еще почти никто не знает, что она должна получить наследство». «А он проведаль?» «Он проведаль». «И верно разузнал?» «Еще бы, документы сам проверял, с того и начал. Без документов он бы шагу не сделал. Он дурак был бы иначе». «Какое счастье-то! Конечно, за молитвы родительские?» «Вероятно».

Марья Алексеевна — и прежде довольная учителем за то, что он не пьет ее чаю, а с вечера третьего дня убедившаяся, что такой учитель — редкая находка по необыкновенному у таких молодых людей совершенному препятствию к волокитству за девушками в семействах, в которых они приняты, — теперь была от него уже в полном восторге: какой солиднейший и умнейший человек, — и разведал-то о наследстве, которого еще никто не пронюхал, и не забыл по документам-то справиться, — ведь это кому из молодых людей придет в голову? И поди-ко, чать, как примазывался-то к

невесте, — а богат-то как будет! Ну, этот, можно сказать, умеет свои дела вести.

Верочка сначала едва удерживалась от слишком заметной улыбки, но постепенно ей стало казаться, — как же это ей стало казаться? да нет, как же и показаться этому, — да нет, это в самом деле так, — что Дмитрий Сергеевич отвечает хотя и Марье Алексеевне, но говорит не Марье Алексеевне, а ей, Верочке, что он подшучивает над Марьею Алексеевною, но серьезно, серьезно, и все правду, только правду говорит ей, Верочке.

Казалось ли только так Верочке, или в самом деле так было, кто знает? Он знал, и она знала, а нам, пожалуй, и не нужно знать. Нам нужны факты. И факты — я ничего не рассказываю, кроме фактов — хороши они, дурны они, — мне что за дело, — сами судите, правдоподобны они или нет по вашему мнению, — это зависит оттого, в каком кругу вы жили, с какими людьми знали. Это ваше дело, а не мое. Когда я скажу, что земля вертится вокруг солнца, один скажет: несомненно так, другой — что это неправдоподобно, третий — что это просто невозможно. Я полагаю, что мнения того, другого и третьего не имеют никакого влияния на достоверность самого факта, а свидетельствуют только о степени развития людей, выражающих о нем то или другое мнение.

Итак, мне нет дела до мнений, я занимаюсь только фактами. А факт был тот, что Верочка, скоро переставшая улыбаться и начавшая слушать Дмитрия Сергеевича серьезно, думала, что она все лучше и лучше понимает его странные вчерашние и нынешние слова; а Марья Алексеевна, слушавшая его также серьезно, обратилась к Верочке и сказала: «Друг мой, Верочка, что ты все такой букой сидишь? Ты бы развлеклась, — попросила бы Дмитрия Сергеевича сыграть тебе в аккомпанемент, а сама бы спела»; — и смысл этой фразы был: «мы вас очень уважаем, Дмитрий Сергеевич, и желаем, чтобы вы были близким знакомым нашего семейства; а ты, Верочка, не дичись Дмитрия Сергеевича, — я скажу Михаилу Ивановичу, что у него уж есть невеста, и Михаил Иванович тебя к нему не будет ревновать». Таков был смысл слов Марьи Алексеевны для Верочки и Лопухова; а для нее самой они имели — конечно, очень натуральный — такой смысл: «надо его приласкать — впоследствии полезен будет, когда станет богат»; но, кроме этого, был для нее и другой смысл: «я ему стану говорить, что мы люди небогатые, что нам тяжело платить за уроки по целковому — не может ли он взять поменьше».

Вот сколько смыслов имели слова Марьи Алексеевны. Дмитрий Сергеевич сказал, что теперь он кончит урок, а потом с удовольствием поиграет на фортепьяно.

[VII]

Много смыслов имели слова Марьи Алексеевны, много имели и результатов: со стороны сбережения платы за уроки она достигла успеха, превосходившего размер ее ожиданий: через неделю она

намекнула Дмитрию Сергеевичу — теперь уж он был не учитель, а Дмитрий Сергеевич — что они люди небогатые; он с первого же намека понял, и был «так деликатен» — по ее выражению — что сказал, что для них он готов брать вместо целкового полтинник. Всякий посторонний подумал бы, что это не совсем клеится с характером корыстолюбивого пройдохи, каким Дмитрий Сергеевич казался Марье Алексеевне. Но так уж устроен человек, что не любит судить по общему правилу о том, что касается до него, — всегда охотник делать исключения в свою пользу. Когда, например, какой-нибудь пройдоха-подчиненный уверяет пройдоху-начальника, что предан ему душою и телом, то пройдоха-начальник, зная, что подчиненный-пройдоха обманывает всех, верит, что этот обманщик действительно предан ему; что вы прикажете делать с этим свойством человеческого сердца? Оно дурно, оно вредно, но Марья Алексеевна не была, к сожалению, изъята от этого недостатка, которым страдают почти все корыстолюбцы, хитрецы и дрянные люди — от него избавлены люди только двух разрядов: или [того], когда человек уже трансцендентальный негодяй, восьмое чудо света по мошеннической виртуозности, когда мошенничестворосло на нем такую абсолютно прочною броню, сквозь которую не пробивается на свет никакая человеческая слабость: ни тщеславие, ни самолюбие. Таких героев мошенничества чрезвычайно мало, и если кто-нибудь укажет вам хитреца и скажет: «вот этого человека никто не проведет», — смело ставьте сто рублей против рубля, что этот плут сам себя водит за нос, не в том, так в другом. Уж, кажется, доки были Луи Филипп и Меттерних, а ведь как отлично вывели сами себя за нос из Парижа и Вены в места злачные и спокойные идилически наслаждаться картиною того, как там, в этих местах, Макар телят гоняет. А Наполеон Великий был как уверяют все, — гениальный ум, — а как мастерски провел себя за нос на Эльбу; да еще мало показалось, захотел подальше провести себя — и удалось, удалось: так и дотащил себя за нос до острова св. Елены, а ведь как трудно-то было, почти невозможно, а все-таки сумел преодолеть все препятствия к достижению острова св. Елены; прочтите-ко «Историю кампании 1815 г.» Шарраса, — умилительно усердие и искусство, с каким великий макиавеллист вел себя за нос. Увы, Марья Алексеевна не была изъята от слабости, которой подвержены были ее более знаменитые в истории Европы со товарищи.

Мало людей, которым броню против обольщения служит законченная доскональность в мошенничестве. Но зато многочисленны люди, которых делает недоступными обольщению простая честность сердца. По свидетельству всех Видоков и Ванек Каинов, нет ничего труднее, как надуть честного, бесхитростного человека, если он имеет хоть немножко рассудка и житейского опыта. У честных, бесхитростных людей есть совершенно другая вредная слабость: в одиночку они не обольщаются, но они подвержены повальному обольщению; — ни одного из них не может взять за нос

плут; но носы всех их вместе, как одной компании, постоянно готовы к услугам. Плуты имеют прямо противоположное свойство: в одиночку они очень слабы насчет независимости своих носов; но компанейноально их носы не проводятся.

Однако же мы забрались в историю и психологию, — это уж лишнее. Занимаешься рассказом, так и занимайся рассказом.

Слова Марьи Алексеевны, имевшие так много смыслов, имели и много результатов. Одним — было понижение платы за урок с целкового на полтинник. Другим — что от этого удешевления учителя, то есть теперь уже не учителя, а Дмитрия Сергеевича, Марья Алексеевна еще более утвердилась в хорошем мнении о нем, то есть и во мнении, что он, как две капли воды, похож на нее саму и что его компания может только принести пользу Верочке, то есть прочнее утвердить Верочку в принципах ее самой, Марьи Алексеевны: конечно, Верочка и сама дока, но все еще молода, — если еще остаются в ее голове какие-нибудь глупости, там какие-нибудь глупые девические мечты, так он поможет Марье Алексеевне выбивать их из дочери.

Третьим результатом слов Марьи Алексеевны было, разумеется, то, что Верочка и Лопухов стали с ее разрешения и под ее покровительством и надзором проводить вместе довольно много времени. Лопухов, кончив урок часов в восемь, оставался в семействе Марьи Алексеевны еще часа два-три, игрывал в карты с матерью семейства, отцом семейства и женихом; говорил с ними, играл на фортепьяно, а Верочка пела; или Верочка играла, а он слушал, или она и он разговаривали, и Марья Алексеевна не мешала, не косилась, хотя, конечно, не оставляла их без надзора.

Разумеется, не оставляла; потому что, хотя Дмитрий Сергеевич и очень хороший молодой человек, но все же недаром говорится пословица: «пальца в рот никому не клади». Она наблюдала, — но все наблюдения утверждали ее убеждение в благонамеренности Дмитрия Сергеевича. Например, Верочка играет, а он стоит и слушает, а Марья Алексеевна и смотрит, не запускает ли он глаза сверху за корсет; нет, не думает запускать, глядит в лицо Вере Павловне, да глядит так «бесчувственно», что сейчас видно: на нее смотрит только из учтивости, а сам думает о невестином приданом; и глаза у него не разгораются, как у Михаила Ивановича. Или вот — приносил он книги Верочке; раз Верочка собралась к подруге, — и Михаил Иванович тут сидел, — вот, как Верочка ушла, Марья [Алексеевна] взяла книги, принесла Михаилу Ивановичу: «Посмотрите-ка, Михаил Иванович, это какая немецкая-то книга? французскую-то я сама разобрала: написано «Гармония» — ну, как на фортепьянах играть, это хорошо; а вот по-немецки-то я не мастерица».

Михаил Иванович посмотрел, посмотрел на заглавие и медленно произнес: «О религии, сочинение Люд-ви-га, Люд-ви-га, — Людовика Четырнадцатого». Это, Марья Алексеевна, был французский король — отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел.

— Значит, о божественном?

— О божественном, Марья Алексеевна.

— Это хорошо, Михаил Иванович. То-то я и знаю, что Дмитрий Сергеевич солидный молодой человек, а все-таки нужен глаз да глаз за всяким человеком.

— Это вы правду говорите, Марья Алексеевна.

— Только вот что я думаю, Михаил Иванович: король-то французский какой был веры?

— Католик, натурально.

— Так он там не в папскую ли веру обращает?

— Нет, это напрасно беспокоитесь, Марья Алексеевна. Если бы католический архиерей писал, он, точно, стал бы в папскую веру обращаться, а король этим не станет заниматься, — он, как мудрый правитель и политик, просто благочестие будет внушать.

— Это ваша правда, Михаил Иванович.

Она сказала: «ваша правда» и сама видела, что Михаил Иванович основательно рассудил, при всем его недалем уме; но все-таки вывела дело уже совершенно начистоту. Дня через два, через три она вдруг сказала Лопухову:

— А что, Дмитрий Сергеевич, я хочу у вас спросить: прошлого французского короля отец, — ну, вот того короля, на место которого нынешний Наполеон сел, — так его отец велел в папскую веру креститься?

— Нет, не велел, Марья Алексеевна.

— А папская вера хороша, Дмитрий Сергеевич?

— Нет, Марья Алексеевна, нехороша.

— Это я так только по любопытству спросила, Дмитрий Сергеевич, как я женщина неученая, а знать интересно.

Для Лопухова до сих пор остается загадкой, зачем Марье Алексеевне понадобилось знать, обращал ли людей в папскую веру отец [Луи Филиппа] Филипп Эгалите. Ну, как после всего этого не было бы извинительно Марье Алексеевне перестать утомлять себя неослабным надзором? И глаз за корсет не запускает, и лицо бесчувственное, и дает божественные книги читать, — кажется, довольно. Но нет, Марья Алексеевна не удовлетворилась надзором, а устроила пробу — будто знала логику г. Рождественского, говорящую, что «наблюдение явлений, каковые происходят сами собою, должно быть проверяемо опытами, производимыми по обдуманному плану, для глубочайшего проникновения в тайны таковых отношений», и устроила эту пробу так, будто читала Саксона Грамматика, рассказывающего, как испытывали Гамлета девицею в лесу.

[VIII]

Однажды она сказала за чаем, что у нее разболелась голова; разлив чай, ушла и улеглась. Верочка и Лопухов остались сидеть в чайной комнате, которая была рядом с спальней, куда ушла Марья Алексеевна. Через несколько минут больная крикнула Федю. «Скажи сестре, что их разговор не дает мне уснуть, пусть

уйдут куда подальше, чтобы не мешали мне. Да скажи хорошенько, чтобы не обидеть Дмитрия Сергеевича, — видишь, какой он заботливый о тебе». Федя пошел и сказал, что вот маменька о чем просят. «Ну, пойдемте в мою комнату, Дмитрий Сергеевич, — она далеко от спальни, там не будем мешать». Этого и ждала, разумеется, Марья Алексеевна. Через четверть часа она прокралась в одних чулках, без башмаков, к двери верочкиной комнаты, — дверь была полуотворена, — между дверью и косяком была такая славная щель, — Марья Алексеевна приложила к ней [глаз] и наострила уши.

Увидела она следующее. В верочкиной комнате было два окна; в промежутке окон стоял письменный стол Верочки. У одного окна, с одного конца стола, сидела Верочка и вязала шерстяной нагрудник отцу; у другого окна и с другого конца стола сидел Лопухов; локтем одной руки оперся на стол, и в этой руке была сигарка, а другая рука у него была засунута в карман; расстояние между ним и Верочкою было аршина два, коли не больше. Диспозиция успокоительная, но разговор, подслушанный Марьею Алексеевною, был еще лучше диспозиции разговаривающих.

— ...надобно так смотреть на жизнь? — с этих слов начала слышать Марья Алексеевна, — их говорила Верочка.

— Да, Вера Павловна, — так надобно.

— Так правду говорят холодные практические люди, что человеком управляет только расчет выгоды?

— Они говорят правду. То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, — все это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе.

— Да, например, вы, разве вы таков?

— А каков же, Вера Павловна? Вы послушайте, в чем существенная пружина всей моей жизни. В чем состояла сущность моей жизни до сих пор? Я учился, я готовился быть медиком. Прекрасно. Зачем отдал меня отец в гимназию? Он твердил мне: «учись, Митя, учись: выучишься, чиновник будешь, нас с матерью кормить будешь, да и самому будет хорошо». Вот почему я мог учиться, без этого у отца не достало бы силы делать для меня такое пожертвование — ведь, семейству нужен был работник. Да я и сам, хоть полюбил ученье, не стал бы тратить на него время, если бы не думал, что трата вознаградится с процентами мне и семейству. Я подрос, стал оканчивать курс, убедил отца отпустить меня в Медицинскую академию вместо того, чтобы определить в чиновники. Это как случилось? Опять точно так же. Мы с отцом видели, что медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых мне едва ли подняться, если бы я поступил на службу из гимназии. Вот вам и причина, по которой очутился и оставался я в Академии. Дело шло о том, чтобы обеспечить хороший кусок хлеба себе и семейству. Без расчета пользы я не мог бы поступить в Академию и не захотел бы оставаться в ней.

— Но ведь вы любили учиться в гимназии? Ведь вы потом полюбили медицинские науки?

— Да. Этим украшалось дело, это было полезно для его успеха. Но оно могло быть, — и обыкновенно бывает, — без этого украшения, а без расчета пользы не могло быть; значит, какова бы ни была роль возвышенного стремления, — любви к науке, в моем случае, — мой случай был со стороны этого прибавочного украшения редким исключением, а не общим правилом, которое ничего не знает ни о чем, кроме расчета пользы. Да и в моем исключительном случае любовь к науке, идеальная тенденция, высокое стремление, — это было ведь уже только результатом, возникавшим из дела, а не коренною причиною его. Причина была одна — расчет выгоды.

— Дмитрий Сергеевич, я не спору: эта теория имеет за себя девяносто девять из ста фактов, но...

— Нет, Вера Павловна, я не сделаю уступки: и сотый факт — вот как мой пример — только до тех пор кажется исключением из нее, пока вы не рассмотрите его хорошенько. Нет, Вера Павловна, все сто фактов объясняются только этою теориею, и ни один не может быть удовлетворительно объяснен никакою другою.

— Положим, вы правы, — она подумала, как будто припоминала и соображала, — да, вы, кажется, правы, — все, что я могу разобратъ, объясняется расчетом пользы. Но ведь эта теория холодна.

— Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно.

— Но она беспощадна.

— Истина не должна знать пощады ко лжи. Она беспощадно должна отрицать всякую ложь, как бы ни было приятно или легко для нас обольщение.

— Но она прозаична.

— Для науки не годится стихотворная форма.

— Итак, это истина, которой я не могу не допустить, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную.

— Нет, Вера Павловна, — истина холодна, но она учит человека добывать тепло. Огниво холодно, кремьнь холоден, трут холоден, дрова холодны, но от них огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого. Истина безжалостна, — но ко лжи, ложь губит, а истина избавляет от вреда. У хирурга не должна дрожать рука, ланцет не должен гнуться, иначе пациент не получит облегчения. Наука прозаична, но она раскрывает истинную жизнь, а поэзия в правде жизни, а не во лжи. Почему Шекспир величайший поэт? Потому что в нем больше правды жизни, меньше обольщения ложью, чем у других поэтов.

— Так буду и я беспощадна, Дмитрий Сергеевич, — сказала Верочка, улыбаясь: — вы не обольщайтесь заблуждением, что имели во мне упорную противницу своей теории своекорыстия и приобрели ей новую последовательницу: я сама давно думала в том роде, как прочла в вашей книге и услышала от вас, — эти мысли сами собою родятся, когда смотришь на жизнь. Но только я дума-

ла, что это мои личные мысли, что все умные и ученые люди думают иначе, оттого и было колебание. Как же иначе? Все, что читаешь, бывало, все написано в противоположном духе, все наполнено обличениями, укоризнами, презрительными сарказмами против того, что извлекаешь из наблюдения жизни, из наблюдений над самим собою. Природа, жизнь, рассудок ведут в одну сторону, авторитеты—авторитеты тянут в другую, говорят: это дурно, низко, а между тем видишь и чувствуешь, что это натурально и неизбежно. Знаете, ведь мне самой смешны те возражения, которые я вам делала.

— Да, они смешны, Вера Павловна.

— Однако мы говорим друг другу удивительные комплименты, — я вам: вы, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, не очень-то поднимайте нос, я сама не глупее вас, — а вы мне: вы, Вера Павловна, смешны с вашими сомнениями. — Она улыбнулась.

И он засмеялся.

— Что ж, если мы не любезничаем друг с другом, так это потому, что нам нет расчета: у вас богатый жених, у меня богатая невеста.

— Хорошо, Дмитрий Сергеевич. Люди эгоисты, так ведь? Вот вы толковали о себе, и я хочу потолковать о себе.

— Так и следует, каждый должен больше всего думать о себе.

— Хорошо, хорошо. Не понимаю ли я вас на вопросах о себе?

— Посмотрим.

— Ну, будьте беспощадны в применении вашей теории ко мне. У меня богатый жених. Но он пошел, я имею отвращение к нему. Должна ли я принять его предложение?

— Рассчитывайте, что для вас полезнее.

— Что для меня полезнее! — Вы знаете, я очень небогата, — он богат; с одной сторны, пошлость человека, нерасположение к нему, с другой — господство над ним, завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников.

— Взвесьте все, — что полезнее для вас, то и выбирайте.

— Ну, и если я выберу богатого мужа и толпу поклонников?

— Я скажу, что вы выбрали то, что казалось вам сообразно с вашим интересом.

— И что надобно будет сказать обо мне?

— Если вы поступили обдуманно, хладнокровно, то надобно будет сказать, что вы поступили обдуманно.

— Будет мой выбор заслуживать порицания?

— Он будет признан сообразным с вашею натурою.

— Но, однако же, что надобно будет сказать о моем поступке?

— То, что вы поступили так, как следовало вам поступить, — если вы так сделали, значит такова была ваша личность, что нельзя вам было поступить иначе, что вы поступили по необходимости вещей, что, собственно говоря, вам и не было другого выбора, что-то стал бы ждать, что вы можете поступить иначе, тот грубо ошибался бы.

— И никакого порицания моему поступку?

— Кто имеет право порицать выводы из факта, когда существует факт? Ваша личность в данной обстановке — факт; ваши поступки — необходимые выводы, делаемые из этого факта природою вещей; вы не отвечаете за них.

— Однако вы не отступаете от своей теории. Так я не заслужу вашей порицание, приняв предложение моего жениха?

— Я был бы глуп, если [бы] стал порицать это.

— Итак, полное разрешение; быть может, даже одобрение; быть может, положительный совет поступить так, как я говорю?

— Совет один всегда: рассчитывайте, что для вас полезно, как скоро вы следуете этому совету, — одобрение.

— Ну, хорошо. Благодарю вас. Теперь личный вопрос обо мне разрешен. Возвратимся к первому, самому общему вопросу. Теория говорит, что человек действует по необходимости, что каждое его действие определяется влияниями, под которыми происходит, что сильнейшие влияния берут верх над слабейшими, — вот тут у нас и было вставное рассуждение о том, что когда поступок имеет какую-нибудь житейскую важность, эти побуждения называются интересом, выгодою, пользою, — что способ их действия в человеке, игра этих сил в нем называется соображением пользы, расчетом интересов, — что поэтому человек всегда действует по расчету выгоды, — так я передаю связь мыслей?

— Так.

— Видите, какая я хорошая ученица. Теперь, — это частный случай, — вопрос о поступках, имеющих житейскую важность, достаточно разобран нами. Но в общем вопросе еще остаются затруднения. Теория говорит, что человек действует по необходимости, — мне приходили в голову некоторые возражения. Есть случаи, в которых кажется, будто зависит от произвола сделать [так] или иначе. Например, я играю и перевортываю страницы нот. Я перевортываю их иногда левою рукою, иногда — правою. Положим, я теперь перевернула правою; разве я не могла перевернуть левою? Не дело ли это моего произвола?

— Нет, Вера Павловна. Если вы не обратите внимания на обстоятельства, при которых произошел этот факт, то останутся незамеченными для вас причины, заставившие вас перевернуть ноты именно правою, а не левою...

Но на этом слове Марья Алексеевна уже прекратила свое слушание: «Ну, теперь занялись ученостью, тут нечего слушать. Какой умный, основательный, можно сказать, благородный молодой человек! Какие благоразумные правила внушает Верочке! Полезные разговоры! И что значит ученый человек, — ведь вот я то же самое стану говорить ей, она не слушает да обижается, — не могу на нее потрафить, потому что по-ученому не умею говорить. А вон как он по-ученому-то говорит, она и слушает, и видит, что правда, и соглашается. Недаром говорится: «ученье свет, неученье тьма». Хорошо, кто ученье имеет! Кабы я-то воспитанная женщина была,

разве бы то было, что теперь? Мужа бы в генералы произвела, по провиантской бы части место достала или по другой по какой по такой же, — ну, разумеется. дела бы за него сама вела с подрядчиками, — ему где, плохо! Дом-от бы не такой состроила, как этот. Не тысячу бы душ купила. А теперь не могу — тут надо прежде в генеральском кругу себя зарекомендовать, — а я как себя зарекомендую? Ни по-французски, ни по-каковски по-ихнему не умею, — скажут: манеры не имеет, невоспитанная, как есть, скажут, хабалда, на Сенной только ругаться, — вот и не гожусь. Неученье — тьма. Подлинно, подлинно: «ученье свет, неученье — тьма».

[IX]

Вот именно этот подслушанный разговор и породил в Марье Алексеевне убеждение, что разговоры с Дмитрием Сергеевичем не только не принесут Верочке вреда, как она и прежде думала, а даже принесут пользу, помогут ее заботам, чтобы Верочка совершенно бросила все остатки глупых девических неопытных мыслей и поскорее покончила венчаньем дело с Сторешниковым.

Я понимаю, как сильно компрометируется в глазах просвещенной публики Лопухов и содержанием разговора, подслушанного Марьей Алексеевной, и одобрением, полученным от Марьи Алексеевны. Я мог бы скрыть эти оба обстоятельства, невыгодные для Лопухова, мог бы совершенно умолчать об этом разговоре, а чувства Марьи Алексеевны к Лопухову оставить в тени, — дело очень легко было рассказать и без этого: что удивительного было бы, если бы учитель имел случай говорить с девушкою семейства, в котором дает уроки, хотя бы и не пользовался особенным доверием матери семейства? Разве много нужно слов, чтобы росла любовь? Разве мало случаев обменяться двумя-тремя словами незаметно ни для каких зорких надсмотрщиц? В содействии Марьи Алексеевны не было нужды для той развязки, какую получила встреча Верочки и Лопухова. Но я рассказываю дело, как оно было, и не хочу давать потачки никому. Каков бы там ни был Лопухов, я выдаю его читателю головой и ни прикрывать, ни защищать не стану.

Но если уже я не утаил этих обстоятельств, то не мешает и сделать о них две-три заметки, не в оправдание Лопухову, — он от этих замечок, быть может, еще больше проиграет во мнении людей с возвышенными чувствами, — а просто для объяснения дела.

Одобрение, заслуженное разговором Лопухова от Марьи Алексеевны, было не случайно. Действительно, образ мыслей Лопухова был таков, что гораздо легче мог показаться хорошим людям вроде Марьи Алексеевны, чем красноречивым партизанам разных прекрасных идей. Красноречивые поклонники разных прекрасных идей имеют такой образ мыслей: «надобно воровать, но быть честным», «лги, но будь правдив», «люби добро, но защищай зло», и т. д.; форма этого прекрасного образа мыслей состоит, как видите, в том, что по каждому предмету он имеет пару мыслей, кото-

рые могут быть отлично связаны в одно целое риторическими и схоластическими лыками, веревками и лентами, но здравым смыслом не могут быть соединены в одно. Сущность дела, удовлетворяемого таким пестрым арлекинадством ума, состоит в доказательстве того, что козла следует оставить в огороде, потому что он там стгоняет воробьев и всякую птицу, поедающую капусту. Способ, которым получается такой удовлетворительный результат, состоит в том, что вместо того смысла, какой имеют факты в реальной жизни, подставляется какой-нибудь другой смысл, не оскорбляющий изящного и нежного чувства своею грубостью, а напротив, приятный зрению благовидностью, слуху — благозвучностью, обонянию — благоуханностью, вкусу — сладостью, осязанию — мягкостью и всем пяти чувствам — угодливостью. Лопухов брал факты, как они есть, оставляя им тот смысл, какой они имеют; эта грубая, если хотите, пошлая и гнусная верность реальному смыслу фактов сделала то, что Лопухов, хотя и занимался теоретизированием, видел вещи в тех самых чертах, в каких представляются они всей массе человечества, думающего не по теории, а по практике. Быть может, это плохо рекомендует его — мне все равно. Как человек, теоретически образованный, он мог делать из фактов выводы, которых не умели делать люди, не знавшие ничего, кроме обыденных личных забот и ходячих бессвязных афоризмов простонародной общечеловеческой мудрости — пословиц, поговорок и тому подобных старых и старинных, древних и ветхих изречений; но пока дело шло о том, что делается и как делается на свете, как живут и из-за чего быются люди, Лопухов думал и говорил подобно всем людям, хитрым и нехитрым, честным и нечестным, добрым и злым, думающим не по теории, а по житейской практике, в том числе и подобно Марье Алексеевне.

Вот объяснение того, что Марья Алексеевна находила его разговоры разговорами человека основательного. Если бы дело дошло до выводов, может быть, ей и не понравились бы его выводы. Но он толковал с Верочкою о том, почему и что делают люди, и Марья Алексеевна видела, что он понимает вещи, как их понимает всякий практический человек, в том числе и она сама.

Но нельзя же удовлетвориться нам тем слишком неопределенным понятием о его образе мыслей, какое удовлетворило и успокоило Марью Алексеевну. Нам мало знать, практичен или непрактичен, реален или фантастичен взгляд человека на вещи, — мы привыкли требовать более точных определений. Что делать, надобно признать, — потому что скрыть нельзя, оно уже обнаружилось перед читателем, — по своему образу мыслей Лопухов был, что называется, материалист. Что можно сказать в извинение такому дурному свойству Лопухова? Разве только то, что он был медик и занимался естественными науками, — это располагает к материалистическому взгляду. Но, по правде сказать, и это извинение плоховато. Мало ли какие науки располагают к такому же взгляду? — и математические, и исторические, и общественные, —

но разве все анналисты, геометры и астрономы, все историки все статистики, политико-экономы, юристы, публицисты так уж и имеют материалистический образ мыслей? Да и химики, ботаники, физиологи, медики разве все так уж и материалисты? Далеко нет. Стало быть, от заразы можно предохраниться. Стало быть, с Лопухова не снимешь порицания. Конечно, мы видели в Лопухове некоторые черты, как [будто] свидетельствующие в его пользу: он сознательно и твердо решился отказаться от всяких житейских выгод и почетов для работы на пользу другим; на девушку, которая была так хороша, что он влюбился в нее, он, влюбляясь и влюбившись, смотрел так, что иной брат не смотрит на сестру таким чистым взглядом; но следует ли из этого, что можно его защищать? Вовсе не следует. Он был материалист, — этим все решено, — и автор не так прост, чтобы стал спорить против того, что материалисты — люди низкие и безнравственные.

А впрочем, автору нет дела до того, хорошими или дурными людьми будут представляться тому или другому разряду публики те или другие из людей, действующих в этом рассказе. Дело автора только рассказывать, что они делали и что с ними было.

[X]

Разумеется, главным содержанием разговоров Верочки и Лопухова были не рассуждения о том, какой образ мыслей надобно считать справедливым. Но если с вечера именин Верочки они оба жили мыслями друг о друге, то довольно долго времени [прошло] прежде, чем стали они прямо говорить о своем чувстве. Они знали, что за ними следят — но и не это главное — главное то, что они были слишком заняты мыслями о том, что делать Верочке. Ее положение было так затруднительно, что заботами о нем заслонялись речи о чувстве.

На другое утро после именин Верочки Лопухов уже собирал сведения о том, как надобно приняться за дело о ее поступлении в актрисы. Он знал, что девушке представляется много неприятных опасностей на пути к сцене. Но он полагал, что ей нужен только характер, чтобы избежать оскорбительных неприятностей. Оказалось не так. Что именно оказалось, это длинная история, которую можно и не рассказывать, — довольно того, что, пришедши через два дня на урок, он сказал Верочке: «Советую вам оставить мысль о том, чтобы сделаться [актрисой], — достичь этого трудно». «Почему же?» «Да потому, что уж лучше было бы вам итти за вашего жениха». На том разговор прекратился. Это было сказано, когда он и Верочка брали ноты, — он, чтобы играть, она, чтобы петь. Верочка повесила было голову и несколько раз сбивалась с такту, хотя пела арию очень знакомую. Ария кончилась, и они стали говорить, какую арию теперь выбрать, она уже сказала ему: «А это мне казалось самое лучшее. Тяжело было услышать, что это невозможно. Но ничего. Труднее будет жить, а все-таки можно будет жить. Пойду в гувернантки».

Когда он опять был через два дня, она сказала:

— Дмитрий Сергеевич, как же это сделать, чтобы поскорее достать место гувернантки? Прошу вас.

— Жаль, мало у меня знакомых, которые тут могли бы быть полезны, — семейства, в которых я давал или даю уроки, — все люди небогатые и тоже не имеют знакомых людей достаточных. Но попробуем.

— Друг мой, я отнимаю у вас время, — но как же быть?

— Вера Павловна, нечего говорить о моем времени, когда я ваш друг.

Верочка и улыбнулась, и покраснела. Она сама не заметила, как имя «Дмитрий Сергеевич» заменилось у ней именем «друга». Он тоже улыбнулся.

— Вы не хотели этого сказать, Вера Павловна, — отнимите у меня это имя, если жалеете, что дали его.

Она улыбнулась. «Поздно», — и покраснела опять. «И не жалею», — и покраснела еще больше.

— Если будет надобно, то увидите, что верный друг.

Пожали руки друг другу.

Вот вам и все первые два разговора после того вечера.

Через два дня в «Полицейских ведомостях» было напечатано объявление, что девушка, говорящая по-французски и по-немецки и проч., ищет места гувернантки и что спросить о ней можно у чиновника такого-то, в Коломне, в N улице, доме N.

Теперь Лопухову пришлось, действительно, тратить много времени по делу Верочки. Каждое утро он отправлялся — большую частью пешком — с Выборгской стороны в Коломну к своему знакомцу, адрес которого был выставлен в объявлении. Путешествие было далекое, но другого такого знакомого, поближе к Выборгской стороне, не нашлось, — ведь надобно было, чтобы у знакомого соединялось много условий: не слишком бедная квартира, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид. Бедная квартира поведет к предложению невыгодных условий для гувернантки; без почтенности и видимой хорошей семейной жизни рекомендуемого лица не будут иметь выгодного мнения о рекомендуемой девушке. А своего адреса уж, конечно, никак не мог Лопухов выставить в объявлении, — что подумали бы о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту? Таким образом, Лопухов и делал порядочный моцион. Забрав у чиновника адреса являвшихся искать гувернантку, он пускался продолжать странствование. Чиновник говорил, что он дальний родственник девушки и только посредник, а есть у ней племянник, который завтра сам придет поговорить обстоятельнее. Племянник вместо того, чтобы приезжать, приходил, всматривался в людей и, разумеется, большую часть оставался недоволен обстановкою: в одном семействе слишком надменны, в другом — мать семейства хороша, отец дурен, в третьем — наоборот, в четвертом — какие-нибудь другие неудобства. Но объявления продолжали являться в «Полицейских ве-

мостях», продолжали являться ищущие гувернантку, и Лопухов не терял надежды.

В этих поисках прошло недели две. На пятый день поисков, когда Лопухов, возвратившись из хождения по Петербургу, лежал на своей кушетке, Кирсанов посмотрел, посмотрел на него и сказал:

— Дмитрий, ты стал плохим товарищем мне в работе. Пропадаешь каждый день на целое утро и на половину дней пропадаешь по вечерам. Нахватал уроков, что ли? Так время теперь набирать их? Я хочу на эти месяцы бросить и те, которые у меня есть. У меня есть рублей 80, достанет на четыре месяца до окончания экзаменов и диссертации, — ведь уж апрель. У тебя было больше денег в запасе, — кажется, рублей до сотни.

— Больше, до полутора. Да у меня не уроки, я их все бросил, кроме одного. У меня дело, — кончу его, не будешь на меня жаловаться, что отстаю от тебя в работе.

— Какое же дело?

— Видишь, на том уроке, которого я не бросил, семейство дрянное, а в нем есть порядочная девушка. Хочет быть гувернанткой, чтоб уйти от семейства. Вот я и ищу для нее места.

— Хорошая девушка?

— Хорошая.

— Ну, это хорошо. Ищи, не претендую на тебя.

Эх, господа Кирсанов и Лопухов, ученые вы люди, а не догадались вы, что особенно-то хорошо. Положим, и то хорошо, о чем вы говорили, но гораздо лучше то, что вы только это и говорили. Кирсанов и не подумал спросить, хороша ли собою девушка. Лопухов и не подумал упомянуть об этом; Кирсанов и не подумал сказать: «да ты, брат, не влюбился ли, что больно усердно хлопочешь»; Лопухов и не думал сказать: «а я, Александр, очень ею заинтересовался», — или, если не хотел говорить этого, то не подумал заметить в предотвращение такой догадки, что «ты не подумай, Александр, что я влюбился». Им, видите ли, обоим думалось, что когда дело идет об избавлении человека от тяжелого положения, то нимало не относится к делу, красиво ли лицо этого человека, хотя бы он даже был и молодая девушка, и о влюбленности или невлюбленности тут нет речи. То есть, они даже и не подумали того, что думают это, — а вот это-то есть самое лучшее, что они и не замечали, что думают это.

А впрочем, не показывает ли это проницательному сорту читателей (большинству записных литературных судей показывает, — ведь оно состоит из людей проницательных), что это были люди сухие, без «эстетической жилки», — это было когда-то модное выражение у эстетических литераторов с возвышенными стремлениями: «эстетическая жилка» — может быть, и теперь все еще остается модным, — не знаю, я давно их не видал. Натурально ли, чтобы молодые люди не интересовались вопросом о лице, говоря про девушку, если в них есть капля вкуса и чего-нибудь живого? Конечно, сухие люди без художественного чувства. А по мнению

других, изучавших натуру человека в кругах еще более богатых эстетическим чутьем, молодые люди в таких случаях непременно немножко, — или и порядком, — потолкуют о женщине с самой пластической стороны. Оно так и было, да не теперь, господа; оно и теперь так бывает, да и не в той части молодежи, которая одна и называется нынешней молодежью. Это, господа, странная молодежь.

[XI]

— Ну что, мой друг? Все еще нет места?

— Нет еще, Вера Павловна. Но не унывайте, найдется. Каждый день я бываю в двух, в трех семействах. Нельзя же, чтобы не нашлось, наконец, порядочное, в котором бы можно жить.

— Ах, но если бы вы знали, мой друг, как тяжело, тяжело мне оставаться здесь. Когда мне не представлялась близко возможность избавиться от этого унижения, этой гадости, я насильно держала себя в каком-то мертвом бесчувствии. Но теперь, — ах, мой друг, мне душно в этом гнилом, в этом гадком воздухе.

— Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем.

В этом роде были разговоры с неделю.

Вторник:

— Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем.

— Друг мой, сколько хлопот вам, сколько потери времени для вас, чем я вознагражу вас?

— Вы вознаградите меня, мой друг, если не рассердитесь.

Он сказал — и смутился.

Она посмотрела на него: нет, он не то что не договорил, он не думал продолжать, — он ждет от нее ответа.

— Да за что же, мой друг, что вы сделали?

Он еще больше смутился и как будто опечалился.

— Что с вами, мой друг?

— Да, вы и не заметили. — Он сказал это так грустно и вдруг засмеялся так весело. — Ах, боже мой, как я глуп, как я глуп! Простите меня, мой друг.

— Ну, что такое?

— Ничего, вы уж наградили меня.

— Ах, вот что! Какой же вы чужак!

— Ну, хорошо, зовите так, не сержусь.

В четверг было гамлетовское испытание по Саксону Грамматику, и после того надзор стал слабее.

Суббота. После чаю Марья Алексеевна уходит считать белье, принесенное прачкою.

— Мой друг, дело кажется, устроится.

— Да? Если так, — ах, боже мой, ах, боже мой! Скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится. Когда же и как?

— Решится завтра. Почти, почти несомненная надежда.

— Что же? Как же?

— Слушайте, держите себя смирно, мой друг, — заметят, — вы чуть не прыгаете от радости, друг мой — ведь ваша маменька может сейчас войти за чем-нибудь.

— А сам хорош! — Вошел, сияет, так что маменька долго смотрела на вас.

— Что ж, я ей сказал, отчего я весел, я заметил, что надобно было что-нибудь сказать.

— Несносный, несносный! Вы занимаетесь предостережениями мне и до сих пор ничего не сказали. Ну, что же?

— Ныне поутру Кирсанов — вы знаете, мой друг, фамилия моего товарища Кирсанов...

— Знаю, несносный, несносный, говорите же скорее без этих глупостей.

— Сами мешаете, мой друг.

— Ах, боже мой, и все замечания, вместо того чтобы скорее говорить дело! Я не знаю, что я с вами сделала бы, — я вас на колени поставлю, — здесь нельзя, велю вам стать на колени на вашей квартире, когда вы вернетесь домой, и чтобы ваш Кирсанов смотрел, и чтобы написал мне записку, что вы стояли на коленях — слышите, что я с вами сделаю?

— Хорошо, я буду стоять на коленях. А теперь молчу. Когда исполню наказание, буду прощен. Тогда и буду говорить.

— Ну, прощаю, только говорите, несносный.

— Благодарю вас, вы прощаете, когда сама виновата, сами все перебивали, Вера Павловна.

— Вера Павловна? Это что? А «ваш друг» где же?

— Да, это был выговор, мой друг. Видите, какой [я] обидчивый и суровый.

— Выговор? Вы мне смеее давать выговоры? Если так, я не хочу вас слушать.

— Не хотите?

— Не хочу. Что мне еще слушать? Ведь уж вы все сказали, — что дело почти кончено, что завтра оно решится, — видите, мой друг, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче, что же слушать? До свиданья, мой друг.

— Да послушайте, друг мой... друг мой, послушайте же.

— Не слушаю и ухожу. Ну, говорите скорее. Не буду перебивать. Ах, боже мой, если бы вы знали, как вы меня обрадовали! Боже мой, когда ж это было со мной, чтобы я шутила, чтобы я болтала вздор, шалила, как дитя! Дайте вашу руку. Видите, как крепко, крепко жму. Благодарю вас, благодарю вас. Теперь давайте говорить дело. Рассказывайте.

— Ныне поутру Кирсанов дал мне адрес дамы, которая назначила мне завтра поутру быть у нее. Я лично незнаком с нею. Но очень много слышал о ней от нашего общего близкого знакомого, который и был посредником. Я знаю также ее мужа. Судя по этому, я уверен, что в ее семействе можно жить. А она сказала, давая адрес нашему знакомому для передачи мне, что уверена, что

сойдется со мною в условиях. Стало быть, мой друг, дело можно [считать] почти совершенно конченным.

— Ах, как это будет хорошо! Ах, какая радость! — твердила Верочка. — Но я хочу знать это скорее, как можно скорее! Вы от нее прямо проедете к нам?

— Нет, мой друг, это возбудит подозрения. Я бываю у вас только для уроков. Мы сделаем вот что. Я пришлю по городской почте письмо к Марье Алексеевне, что не могу быть на уроке во вторник и переносу его на среду; если будет написано: на среду утро, — значит, дело состоялось; на среду вечер — неудача. Марья Алексеевна это расскажет и вам, и вашему батюшке, и Феде.

— Когда же придет письмо?

— Вечером.

— Боже мой, это так долго! Нет, у меня не достанет терпения! И что же я узнаю из письма? Только «да» или «нет»? и потом ждать до среды, если да — нет! это мученье. Если «да», я завтра же перейду жить к этой даме. Мне надобно знать тотчас же. Как же это сделать? Боже мой! Знаете, что я сделаю: я буду ждать вас на улице, когда вы выйдете от этой дамы.

— Друг мой, да это было бы еще неосторожнее, чем мне приехать к вам. Уж лучше я приеду.

— Нет, здесь, может быть, нельзя будет и говорить, и во всяком случае маменька стала бы подозревать. Нет, сделаю так, как вздумала. У меня есть такой густой вуаль, что никто не узнает.

— А что же, в самом деле? кажется, это можно. Дайте подумать.

— Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама?

— В Галерной, подле моста.

— Во сколько часов вы будете у ней?

— Она назначила в час.

— С часу я буду сидеть на Конногвардейском бульваре, на последней скамье того конца, который ближе к мосту. Я сказала, что на мне будет густой вуаль. Но вот вам примета: я буду держать в руке сверток нот. Если меня не будет еще там, значит, меня что-нибудь задержало. Но вы садитесь на эту скамью и ждите: я могу опоздать, но буду непременно.

— Пусть будет по-вашему, мой друг.

— Как я хорошо придумала! — твердила Верочка. — Как я вам благодарна, мой друг! как я буду счастлива! Я перейду к этой даме завтра же. Вы так и скажите ей: завтра же. Хорошо, что мы успели все переговорить. Теперь разговор для маменьки. Что ваша невеста, Дмитрий Сергеевич? вот вам! вы из друзей уже разжалованы в Дмитрия Сергеевича. Да говорите же о вашей невесте.

— Моя невеста? Я в эти [дни] забывал ее.

— Этого вы не должны делать. Но нет, и я не могу говорить ни о чем, кроме этого. Я сажусь играть.

Она начала играть какие-то вальсы, галопы, польки.

— Друг мой, какое унижение искусства, какая порча вашего вкуса! Оперы брошены для галопов?

— Брошены, брошены!

Через несколько минут вошла Марья Алексеевна. Дмитрий Сергеевич поиграл с нею в преферанс, — сначала выигрывал, потом дал ей отыграться, даже проиграл около полтинника; это в первый раз он дал ей торжество и, уходя, оставил ее очень довольной.

[ПЕРВЫЙ СОН ВЕРОЧКИ]

[XII]

Эту ночь Верочка не спала так спокойно, как после дня рождения. Ей снилось, что она заперта в сыром, темном подвале, и вдруг, замок сорван, — кем же? как же? — и Верочка очутилась в поле, — бегают, резвятся и думает: «Как же это я могла не умереть в подвале? Это потому, что я не видала поля, — если бы я его видала, я бы умерла в подвале!» — и опять бегают, резвятся. Ей снится, что она разбита параличом, — она думает: «Как же это я разбита параличом? Это бывают разбиты старики, старухи, а молодые девушки не бывают».

«Бывают, часто бывают, — говорит кто-то: — и ты теперь будешь здорова, вот только я коснусь твоей руки — видишь, ты уж и здорова — вставай же». Кто ж это говорит? А как стало легко, — вся болезнь прошла, — и Верочка встала, идет, бежит, и опять на поле, и опять резвятся, бегают — и опять думает: «Как же это я могла переносить паралич? Надобно было умереть. Это потому, что я родилась в параличе, и не знала, как ходят и бегают, а если бы знала, не перенесла бы паралича», и бегают, и резвятся. А вот идет девушка, — как странно: и костюм, и лицо, и походка, — все беспрестанно меняется в ней: то она англичанка, то француженка, вот она уж немка, полячка, а вот стала и русская, — опять англичанка, — опять немка, — опять русская, — и выражение лица беспрестанно меняется: какая сердитая! какая добрая! какая печальная! какая веселая! — и какая странная: переменяется, вся переменяется, а все та же, — и лицо то же, — как же одно лицо? Разве англичанка похожа на француженку? похожа, — и как же это, сердитая она — о какая сердитая! — а все-таки добрая, очень добрая, — как же это? Но только какая же она красавица, — как ни меняется лицо, с каждою переменою — все прекраснее, все прекраснее. Подходит к Верочке. «Ты кто?» — «Он меня прежде звал Вера Павловна, а теперь зовет «мой друг». — «А, так это ты та Верочка, которая меня полюбила?» — «Да, я вас очень люблю. Только кто же вы?» — «Я невеста твоего жениха». — «Какого жениха?» — «Я не знаю, я своих женихов не знаю. Они меня знают, а мне нельзя их знать, у меня их очень, очень много. Ты кого-нибудь из них выбери себе в женихи, только из них, из моих женихов». — «Я выбрала...» — «Имени не нужно. Я не знаю имен.

Но только выбирай из моих женихов, только из них. Я хочу, чтобы мои сестры и мои женихи выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале, была разбита параличом?» — «Да». — «Теперь избавилась?» — «Да». — «Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, невылеченных. Выпускай их, лечи их, — будешь?» — «Буду».

Верочка идет по городу, — вот подвал, в подвале заперты девушки; Верочка притронулась к замку, — замок слетел, — «выходите, сестры» — они выходят. Вот комната, — в комнате лежат девушки, разбитые параличом; «сестры вставайте!», все встают, идут, и все они на поле, и опять на поле, и опять бегают, резвятся; ах, как весело с ними вместе, гораздо веселее, чем одной, ах, как весело!

[XIII]

В последнее время Лопухову некогда было видаться с своими академическими знакомыми. Кирсанов, продолжавший видаться с ними, на вопросы о Лопухове отвечал, что у Лопухова, между прочим, вот какая забота, — и один из их общих приятелей дал ему адрес дамы, к которой теперь отправлялся Лопухов.

Г-жа Б. понравилась Лопухову, — он нашел в ней женщину умную, добрую, без претензий. Ее условия были хороши, семейная обстановка для Верочки была очень спокойна, все оказалось удовлетворительно, как и надеялся Лопухов. И г-жа Б., видимо, находила удовлетворительными ответы Лопухова на ее вопросы о характере Верочки, ее привычках и т. д., — словом, дело быстро шло на лад, и, потолковав с полчаса, г-жа Б. сказала, что «если ваша сестра будет согласна на мои условия, я прошу ее переселиться ко мне, и чем скорее, тем лучше».

— Она согласна. Она уполномочила меня кончить дело за нее. Но теперь, когда мы решили, я должен сказать вам то, о чем напрасно было бы говорить, прежде чем мы условились обо всем другом. Эта девушка не родственница мне. Она дочь чиновника, у которого я даю уроки. Кроме меня, она не имела человека, которому могла бы поручить хлопоты о доставлении ей места. Но я совершенно посторонний человек ей.

— Я это знала, мсьё Лопухов. Вы, мсьё Кирсанов и профессор М. (она назвала фамилию знакомого, через которого Кирсанов получил адрес) знаете друг друга за людей достаточно чистых, чтобы можно [было] вам говорить между собою о дружбе одного из вас с молодой девушкой, не компрометируя эту девушку во мнении своего товарища. А М. такого же мнения обо мне и, зная, что я ищ^у гувернантку, почел себя в праве сказать мне, что эта девушка вовсе не родственница вам. Не осуждайте его за неосторожность, — ведь вы знаете, что [он] очень хорошо знает меня. Я тоже честный человек, мсьё Лопухов, и, поверьте, я понимаю, кого можно уважать и кто выше подозрений. Я верю М. столько же, как сама себе, а М. верит вам столько же, как сам себе. Но М. не

знал ее имени. Теперь, кажется, я уже могу спросить его, — ведь мы кончили с вами, и ныне или завтра она войдет в наше семейство.

Г-жа Б. Лопухову еще больше прежнего понравилась простым и честным тоном, с каким сказала это.

— Ее зовут Вера Павловна Расальская. Вы увидите, что я вовсе не хочу говорить комплимент вам, когда скажу, что я очень рад теперь за m-lle Расальскую. Ее домашняя жизнь была так тяжела, что она будет чувствовать себя очень счастливою у вас.

— Так ей было дурно жить в семействе?

— Очень дурно. — Лопухов стал рассказывать то, что нужно было сказать г-же Б., чтобы она, по незнанию, не затрудняла Верочку своими вопросами. Г-жа Б. слушала с большим участием, — наконец, с чувством пожала руку Лопухову.

— Нет, довольно, мсьё Лопухов, или я расчувствуюсь, а в мои лета, — ведь мне под 40 лет, — это было [бы] смешно. Но я не в силах равнодушно слушать о семейном тиранстве, потому что сама много страдала от него.

Все это говорилось так просто, искренно, что Лопухов был очарован.

— Позвольте же сказать еще только одно, — впрочем, это такие пустяки, о которых, в сущности, не стоит говорить. Но все-таки я должен вас предупредить. Отец и мать m-lle Расальской вовсе не знают о ее намерении удалиться из семейства, и она переедет к вам без их согласия. Конечно, это все равно, однако же, вы согласитесь, мне надобно упомянуть об этом.

Г-жа Б. задумалась.

Лопухов посмотрел, посмотрел и тоже задумался.

— Если не ошибаюсь, это обстоятельство не кажется для вас таким маловажным, каким представляется мне?

Г-жа Б. казалась совершенно расстроенною.

— Простите меня, — продолжал Лопухов, видя, что она не может собраться с мыслями отвечать ему, — простите меня, но я вижу, что это вас затрудняет.

— Извините меня, мсьё Лопухов, но я решительно не знаю, как нам быть. Неужели нельзя получить согласие родителей?

— Нет, нельзя. У них другие виды на дочь. У них приготовлен для нее выгодный, но плохой жених. Они не согласятся.

Г-жа Б. окончательно сконфузилась.

— Боже мой, как я дурна должна показаться в ваших глазах! То, что должно заставлять каждого порядочного человека сочувствовать, защищать, — это самое останавливает меня! О, боже мой, какие мы жалкие люди! Мы не смеем подать руку человеку именно в том положении, когда ему всего нужнее опереться на чью-нибудь руку!

На нее, в самом деле, было жалко смотреть: она не прикидывалась. Ей было, в самом деле, больно.

Лопухов встал.

— Итак, мне остается просить вас, чтобы то, что было говорено мною, было забыто вами.

— Нет, останьтесь, — она удержала его за руку. — Дайте же мне хоть сколько-нибудь оправдаться перед вами.

Довольно долго ее слова были бессвязны, потом мысли ее пришли в порядок, — но и бессвязные, и в порядке, они уже не говорили Лопухову ничего нового: как только он увидел, что она задумалась, услышав о «маловажном» обстоятельстве, он думал уже [не] о том, переедет ли Верочка жить к ней, — он видел, что не к ней, а вообще куда бы то ни было из своего семейства нельзя уйти Верочке. «Как же, в самом деле, я не подумал об этом? Ведь это так!» Да, это было так: Верочка не имела права удалиться из семейства против воли родных.

Он дал г-же Б. говорить не потому, чтобы хотел слушать, что она говорит, — он и не слушал, что она говорит; он сам слишком занят был открытием, которое сделала она ему, чтобы заниматься ее оправданиями и извинениями. Давши ей наговориться вволю, он сказал:

— Все, что вы говорили в свое извинение, было напрасно. Я обязан был остаться, чтобы не быть грубым, не оставить в вас мысли, что я или виню вас, или сержусь на вас. Но, признаюсь вам, я не слушал вас. Если б я не знал, что вы правы! Да, как бы это было хорошо, если бы вы не были правы! Я сказал бы ей, что мы не сошлись в условиях или что вы не понравились мне, — и только, и мы с нею стали бы надеяться встретить другой случай избавления. А теперь что я ей скажу?

— Что я ей скажу? что я ей скажу? — повторял Лопухов, сходя с лестницы. — Как же это ей быть? как же это ей быть? — думал он, выходя из Галерной на улицу, ведущую от моста к Конногвардейскому бульвару.

Разумеется, г-жа Б. не была права в таком безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяца нельзя достать рукою. Она — женщина, имеющая хорошее положение в обществе, имеющая знакомство в кругу, довольно важном. Ее муж сам человек, до которого есть надобности у многих более или менее важных лиц. Если бы она во что бы то ни стало захотела, чтобы Верочка жила у нее, то, может быть, даже очень вероятно, что Марья Алексеевна не могла бы вырвать дочь из ее дома. Но — но, все-таки, г-же Б. пришлось бы иметь очень много хлопот, быть может, немало и неприятностей, а ее мужу надобно было бы одолжаться по чужому делу людми, услуги которых лучше оставить, приберечь для своих дел. Кто обязан, и какой благоразумный человек станет поступать не так, как г-жа Б.? Я не буду поступать не так, как она. Мы сочувствуем, но надевать на себя лямку, чтобы снять с другого петлю, этого, извините, мы с вами не сделаем. Мы сочувствуем. Мы даже делаем для других, что можем делать без особенных неудобств для себя. Только, видите ли что? — почти ничего существенно полезного для других

нельзя сделать без больших неудобств для себя. Потому, действительно, положение Верочки представлялось Лопухову почти безвыходным, — по крайней мере тем путем, на который рассчитывали он и Верочка, действительно, нельзя было Верочке выйти из него.

[XIV]

А Верочка давно, давно сидела на условленной скамье, и сколько раз начинало быстро, быстро биться ее сердце, когда из-за угла показывалась треугольная шляпа студента (тогда студенты еще носили треугольные шляпы). Наконец-то, он, друг! Она вскочила, побежала навстречу.

Быть может, и он прибодрился бы, подходя к скамье, но, застигнутый врасплох раньше, чем ждал показать ей свою фигуру, он был застигнут с пасмурным лицом.

— Неудача?

— Неудача, мой друг.

— Да ведь это было так верно? Как же неудача? Отчего?

— Идите домой, мой друг, я вас провожу: поговорим. Через несколько минут скажу все, в чем неудача. А теперь дайте подумать. Я все еще не собрался с мыслями. Надобно придумать что-нибудь новое. Не будем унывать, придумаем. — Он уже прибодрился на последних словах.

— Как же ждать? Скажите сейчас, скорее, ведь это невыносимо! Вы говорите: «придумать что-нибудь новое», — значит, то, что мы прежде думали, вовсе не годится? Мне нельзя быть гувернанткой? Бедная я! несчастная я!

— Что вас обманывать? Да, нельзя. Я это хотел сказать вам. Но — терпение, терпение, мой друг! Будьте тверда! Кто тверд, — добьется удачи.

— Ах, мой друг, я тверда; но так тяжело!

Они прошли несколько шагов молча. Он смотрел на нее, — лицо было совершенно скрыто очень густым вуалем; но все равно, он смотрел на нее. Идут. «Что это, она как-то не совсем прямо держится, несколько набок? — Да и салоп несколько поднялся около левого локтя».

— Друг мой, вы несете что-то? Дайте, я возьму.

— Нет, нет, не нужно. Это не тяжело. Ничего.

Опять идут молча. Долго идут.

— А ведь я до пяти часов не спала от радости, мой друг. И когда уснула, какой сон видела! Будто я освобождаюсь из душного подвала, будто я была в параличе и выздоровела, и выбежала в поле, и со мною выбежало много подруг, тоже, как я, вырвавшихся из подвалов, выздоровевших от паралича; и мы бегали, и нам было так весело, так весело здоровым бегать по просторному полю! Не сбылся сон! А я думала, что уж не ворочусь домой!

— Друг мой, дайте же, я возьму ваш узел, — ведь теперь он уж не секрет.

Опять идут молча. Долго идут и молчат.

— Друг мой, видите, до чего мы договорились с этой дамой: вам нельзя уйти из дому без воли Марьи Алексеевны. Это нельзя. Но — нет, нет, пойдем под руку, а то я боюсь за вас.

— Нет, ничего, только мне душно под этим вуалем.

Она отбросила вуаль с лица. — Теперь ничего, хорошо.

— («Как бледна!») Нет, мой друг, вы не думайте того, что я сказал. Я не так сказал. Все устроим как-нибудь.

— Как устроим, мой милый, — нет, это вы говорите, чтобы утешить меня. Ничего нельзя сделать.

Он молчит. Опять идут молча.

— («Как бледна! Как бледна!») Мой друг, есть одно средство.

— Какое? какое?

— Я вам скажу, мой друг, — но только, когда вы несколько успокоитесь. Об этом надобно будет вам рассудить хладнокровно.

— Говорите сейчас, я не успокоюсь, пока не услышу.

— Нет, теперь вы слишком взволнованы, мой друг. Теперь вы не можете принимать важных решений. Через несколько времени. Скоро. А вот и ваш подъезд. До свиданья, мой друг. Как только я увижу, что вы будете отвечать хладнокровно, я вам скажу.

— Когда же?

— Послезавтра, на уроке.

— Слишком долго!

— Нарочно буду завтра.

— Нет, скорее.

— Нынче вечером.

— Нет, я вас не отпущу. Идите со мною. Я неспокойна, вы говорите, теперь я не могу судить, вы говорите, — хорошо. Обедайте у нас. Вы увидите, что я буду спокойна. После обеда маменька спит, и мы можем говорить.

— Но как же я войду к вам? Ваша маменька удивится, что мы вошли вместе, — она станет опять следить за нами, как следила.

— Подозревать? следить? — нет, мой друг, — в самом деле, вам лучше уж идти к нам. Ведь я шла с поднятой вуалью. Нас могли видеть вместе. Меньше опасности, если вы войдете.

— Ваша правда.

Он позвонил.

[XV]

Марья Алексеевна очень удивилась, увидев дочь и Лопухова входящими вместе. Самыми пристальными, самыми зоркими глазами она принялась всматриваться в них.

— Я зашел к вам, Марья Алексеевна, сказать, что послезавтра вечер у меня занят и что я вместо того, чтобы послезавтра, приду

на урок завтра. Позвольте мне сесть. Я очень устал и расстроен. Мне хочется отдохнуть.

— В самом деле, что с вами, Дмитрий Сергеевич? Вы ужасно пасмурны. («Нет, не похоже на амурные шашни, — он сердитый, да и она невесела. Видно, просто встретились. А кто их знает? Смотреть надо в оба глаза. Да нет, не похоже. Кабы амурные шашни да поссорились бы, не пришли бы вместе. А кабы не поссорились, так с амурных-то дел он бы веселый был. И она ушла в свою комнату и на него не поглядела, — нет, видно, что не видит в нем своего предмета».)

— Я-то ничего особенного, Марья Алексеевна, — а вот Вера Павловна что-то как бледна, или мне так показалось?

— Верочка-то? С ней бывает.

— А может быть, мне так только показалось, — мне, признаюсь вам, от своих мыслей голова кругом идет.

— Да что же такое, Дмитрий Сергеевич? Уж не с невестой ли какая размолвка?

— Нет, Марья Алексеевна, невестой я доволен, а вот с родными хочу поссориться.

— Что это вы, батюшка, Дмитрий Сергеевич, как это можно с родными ссориться? Я об вас, батюшка, не так думала.

— Да нельзя, Марья Алексеевна: дурное семейство-то. Требуя от человека бог знает чего, чего он не в силах сделать.

— Это другое дело, Дмитрий Сергеевич. Всех не наградишь. Надо меру знать. Это точно. Ежели так, то есть по деньгам ссора, не могу вас осуждать.

— Позвольте мне быть невеждою, Марья Алексеевна, я так расстроен, что надобно мне отдохнуть в приятном и уважаемом мною обществе, — а такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Позвольте мне напроситься обедать у вас ныне и позвольте сделать некоторые поручения вашей Матрене — кажется, тут есть недалеко погрёб Денкера, — у Денкера вина не бог знает какие, но можно пить.

Лицо Марьи Алексеевны, сильно разъярившееся при первом слове про обед, сложило с себя решительный гнев при упоминании о Матрене и приняло выжидающий вид. «Посмотрим, голубчик, что от себя приложишь к обеду». Но Лопухов, вовсе не смотря на ее лицо, уже вынул портсигар, оторвал клочок бумаги от какого-то письма, завалявшегося в нем, взял карандаш и уже писал.

— Если смею спросить, Марья Алексеевна, вы какое вино кушаете?

— Я, батюшка, Дмитрий Сергеевич, признаться вам сказать, мало знаю толку в вине, — почти что и не пью, не женское дело.

(«Ну, да, с первого дня по роже видел, что не пьешь».)

— Конечно, так, Марья Алексеевна. Но мараскин даже девицы пьют, — вы мне позвольте написать?

— Это что такое, Дмитрий Сергеевич?

— Просто, не вино даже, можно сказать, а сироп.

Он вынул красненькую бумажку,—кажется, будет довольно.— Он повел глазами по записке,— на всякий случай, дам еще 5 рублей.

У Марьи Алексеевны глаза покрылись влагою, и лицом не-удержимо овладела сладостнейшая улыбка.

— У вас ведь и кондитерская недалеко? Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов,— на мой вкус, это самый лучший пирог, Марья Алексеевна. Но если нет такого,— какой есть.

Он отправился в кухню и послал Матрену делать закупки.

— Кутнем ныне, Марья Алексеевна. Хочу пропить ссору с родными. Почему не кутнуть, Марья Алексеевна? Дело с невестою к концу идет. Тогда не так заживем,— весело заживем,— правда, Марья Алексеевна?

— Правда, батюшка, Дмитрий Сергеевич. То-то я смотрю, что-то вы больно уж деньгами-то сорите, чего я от [вас] не ждала, как от человека основательного. Видно, от невесты задаточек получили?

— Задаточка не получил, Марья Алексеевна. А если деньги завелись, то кутнуть можно. Что задаточек? Дело надо начистоту вести. Тут не об задаточке дело. Так я дело не поведу,— не стану по кусочкам тянуть,— еще подозрение возбудишь,— да и неблагородно, Марья Алексеевна?

— Неблагородно, батюшка, Дмитрий Сергеевич; точно, неблагородно. По-моему, во всем надо благородство соблюдать.

— Правда ваша, Марья Алексеевна.

С полчаса или три четверти часа, оставшиеся до обеда, шел самый любезный разговор в этом роде о всяких благородных предметах, милых сердцу Марьи Алексеевны. Тут, между прочим, Дмитрий Сергеевич, в порыве откровенности, высказал, что свадьба его очень приблизилась в последнее время, и утешил Марью Алексеевну тем, что Вера Павловна скоро решится на замужество,— это он видит,— она ему ничего не говорила, но он видит.

— Ведь мы с вами, Марья Алексеевна, старые воробы, нас на мякине не проведешь. Мне хоть лет и немного, а я тоже старый воробей, тертый калач,— так ли, Марья Алексеевна?

— Так, батюшка, тертый калач, тертый калач.

Словом сказать, отрадное общество уважаемой Марьи Алексеевны так оживило Дмитрия Сергеевича, что куда девалась его грусть,— он был такой веселый, каким его Марья Алексеевна еще никогда не видывала. «Тонкая бестия, шельма этакий,—видно, схапал уж у невесты не одну тысячу,— а родные-то проводали, что он карман-то понабил, да и приступили, а он им: нет, батюшка и матушка, как сын, я вас готов уважать, а денег у меня для вас нет. Экая шельма-то какая!» Да, приятно беседовать с таким человеком, особенно, когда, услышав, что Матрена воротилась, сбегашь на кухню, сказавши, что идешь в свою спальню за носовым

платком, и увидишь, что вина куплено на 10 р. 50 коп., — ведь третью долю, чать, только выпьем за обедом-то, — и кондитерский пирог в 2 рубля, — ну, это, можно сказать, брошенные деньги — на пирог-то; но все же останется и пирог, — можно будет как-нибудь кумам подать вместо варенья. Все не в убыток, а в сбереженья.

[XVI]

«Хорошо ли я сделала, что заставила его зайти? Маменька смотрела так пристально». — —

«И в какое трудное положение поставила я его! Как остаться обедать? Ведь маменька ни за что не пригласит». — —

«Боже мой, что со мной, бедной, будет?»

«Есть одно средство, говорит он, — нет, мой милый Дмитрий, нет никакого средства». — —

«Нет, есть средство — вот оно — окно: когда будет тяжело, уже слишком тяжело, брошусь из него».

«Какая я смешная: «когда будет слишком тяжело», а теперь-то?»

«А когда бросишься в окно, как быстро, быстро полетишь, — будто не падаешь, а в самом деле летишь, — это, должно быть, очень приятно. Только потом ударишься о мостовую, — ах, как жестко! Больно? Нет, боли, я думаю, не успеешь почувствовать, — а только жестко, — должно быть, очень жестко!»

«Нет, это хорошо. Ведь это один, один самый коротенький миг — а зато перед этим воздух — будто самая мягкая перина, расступается так легко, нежно, мягко».

«Да, а потом? Будут все смотреть: голова разбитая, лицо разбитое, в крови, в грязи, — ах, какой гадкий этот Петербург: на тротуарах всегда грязь, — если бы можно было выбрать чистое место, куда упасть, посыпать бы чистого песку, белого, чистого, — здесь и песок все какой-то грязный, — нет, самого белого, самого чистого, и не жестко было [бы], — а ведь все равно бы убилась, — вот, и прекрасно было бы, — и лицо бы осталось цело, и не было бы на нем крови, — и не пугало бы никого, не казалось бы гадкое, как покажется разбитое. Ах, как бы хорошо, если бы внизу был бы песок, — белый песок». — —

«А в Париже бедные девушки задушаются чадом — это хорошо, очень, очень хорошо. Бросаться в реку — это нехорошо, — будут ловить, — тело становится такое уродливое, — нет, это нехорошо. А если бы...»

«Как они громко там говорят! Что они говорят? Нет, ничего не слышно».

«Да, вот если бы удушиться чадом, — как бы это было хорошо!»

«И я бы оставила записку ему, в которой бы все, все написала. Ведь я ему тогда сказала: нынче день моего рождения. Как это я сказала? Какая я была смелая! Как это я была такая? Да ведь я

оттого, что я была глупенькая — ведь я сама не понимала, как это... как это... А что это «как это?» важно? — нет, не так, — или стыдно? нет, это не стыдно. Что ж это? Как это тяжело, — как это тяжело, да, это то слово: «тяжело».

«Да, вот в Париже бедные девушки какие умные! А что же, разве я не буду умной? Сделаю, как они. Вот как смешно будет: входят в комнату — ничего не видно, только угарно, и такой зеленый воздух, и туман — испугались: «что такое? где Верочка?» Маменька кричит на папеньку: «Что ты стоишь, выбей окно!» Выбили окно — и видят: я сижу у туалета, и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. «Верочка, ты угорела?» А я молчу. «Верочка, что ты молчишь?» — «Ах, да она удушилась!» Начинают кричать, плакать. Ах, как смешно, что они будут плакать, и маменька станет рассказывать, как меня любила».

«Да, это смешно, так, а ведь он будет жалеть, — ведь он очень будет жалеть».

«Что ж, я оставляю ему записку». —

«Да, посмотрю, посмотрю, да и сделаю, как бедные парижские девушки. Я сделаю. Я не сделаю? Нет, нет, если я уж скажу, так сделаю. Ведь я храбрая, я не боюсь». —

«Да и чего тут бояться? Ведь это так хорошо! Только вот пожду, какое это средство, про которое он говорит. Да нет, никакого нет. Это только так, он успокаивал меня».

«Зачем это люди успокаивают? Вовсе не нужно успокаивать. Как можно успокоить? Разве это можно? Когда нельзя помочь, разве можно успокоить? Ведь вон он умный, а тоже так сделал. Зачем он так сделал? Это не нужно».

«Что ж это — как он говорит? Будто ему весело, такой веселый голос».

«Неужели он в самом деле придумал средство?»

«Да нет, этого нельзя. А если б не придумал, разве бы он был веселый? Что ж это он придумал?»

[XVII]

— Верочка, иди кушать! — крикнула Марья Алексеевна.

В самом деле, Павел Константинович воротился, пирог давно готов, — не кондитерский, а у Матрены, с начинкою из вчерашней говядины от супа.

— Марья Алексеевна, вы не пробовали перед обедом рюмку водки? Это очень полезно, особенно полынной или вот этой, горькой померанцевой. Я вам говорю, как медик. Пожалуйста, попробуйте. Нет, нет, непременно попробуйте. Я, как медик, предписываю попробовать.

— Разве только, что медика надобно слушать, — и то полрюмочки.

— Нет, Марья [Алексеевна], полрюмочки не принесет пользы.

— А сами-то что же, Дмитрий Сергеевич?

— Стар стал, остепенился, Марья Алексеевна, зарок дал...

— В самом деле, согревает как будто бы.

— В том и польза, Марья Алексеевна, что согревает.

(«Какой он веселый в самом деле! Неужели в самом деле есть средство? А на меня и не смотрит! Ах, какой хитрый! И как это он с нею так подружился?»)

Сели за стол.

— А вот мы с Павлом Константиновичем этого выпьем, так выпьем. Эль, — это все равно, что пиво, не больше, как пиво — попробуйте, Марья Алексеевна.

— Если вы говорите, что пиво, позвольте, пива почему не выпить?

(«Господи, сколько бутылок, — пять, шесть, семь! Что это маменька так расщедрилась? — Ах, я недогадливая, — ведь он угощает! Так вот она, дружба-то!»)

(«Экая шельма какой! Сам-то не пьет! Только губы приложил к своей ели-то. А славная эта ель! Ей-богу, славная! И кваском как будто пахнет, а сила есть, есть сила хорошая! Когда Мишка-дурака окрутим, водку брошу, все эту ель стану пить! Ну, этот ума не пропьет! Хотя бы приложился, каналья! Ну, да мне же лучше. А поди, чай, ежели захотел бы пить, здоров пить»). — Да вы бы сами выкушали бы хоть что-нибудь, Дмитрий Сергеевич.

— Э, на моем веку много выпито, Марья Алексеевна, — в запас выпито, надолго станет. Не было дела, не было денег — пил; есть дело, есть деньги — не нужно вина, и без него весело.

(«Нет, это еще лучше ели, — думает Марья Алексеевна, когда через другие бутылки дошла очередь до мараскина. — Что сладкая водка? Никакого вкуса не имеет против этого. Давай на день по штофу, Мишка-дурак. Каждый день, Мишка-дурак, штоф подавай!»)

И таким образом идет весь обед. Подают кондитерский пирог.

— Милая Матрена Саввишна, а что к этому следует?

— Сейчас, Дмитрий Сергеевич, сейчас. — Матрена возвращается с бутылкою шампанского.

— Вера Павловна, вы не пили, и я не пил. Теперь выпьем и мы. Здоровье моей невесты и вашего жениха!

(«Да?» «Так?» «Так ли?» думает Верочка.)

— Дай бог вашей невесте и верочкину жениху счастья! — говорит Марья Алексеевна: — а нам, старикам, дай бог поскорее верочкиной свадьбы дожидаться.

— Ничего, скоро дождетесь, Марья Алексеевна. Да, Вера Павловна? Да?

(«Неужели он это говорит? А если не это? Что мне сказать?»)

— Да, Вера Павловна? Разумеется, да, — говорите же «да».

— Да, — говорит Верочка.

— Так, Вера Павловна, что понапрасну время тянуть у маменьки? Да, и только. Так теперь надобно второй тост. За ско-

рую свадьбу Веры Павловны! Пейте, Вера Павловна, ничего, хорошо будет. Чокнемтесь. За вашу скорую свадьбу! — Чокаются.

— Дай бог, дай бог! Благодарю тебя, Верочка, утешаешь ты меня, Верочка, на старости лет! — говорит Марья Алексеевна и утирает глаза. Ель и в особенности мараскин привели ее в чувствительное настроение духа.

— Дай бог, дай бог, — повторяет Павел Константинович.

— Как мы довольны вами, Дмитрий Сергеевич, — уж как довольны, — говорит Марья Алексеевна по окончании обеда: — у нас да нас угостили, — вот уж, можно сказать, праздник сделали!

— Это что за праздник, Марья Алексеевна, — вот скоро, при свадьбе Веры Павловны, — тогда настоящий праздник будет.

— Конечно, Дмитрий Сергеевич. — Глаза ее смотрят уже более приятно, нежели бодро.

Не все то так хитро делается, как хитро выходит. Лопухов не рассчитывал на этот результат, когда покупал вино: он хотел только дать взятку Марье Алексеевне, чтобы не потерять ее благосклонности тем, что назвался на обед. Он думал, что не станет же она напиваться до-пьяна при постороннем человеке, которому — кто ж ее знает? — может быть, и не совсем доверяет, даже прямо можно ждать: не доверяет, потому что кому же она может доверять? Да и Марья Алексеевна не ждала такого быстрого образа действия от себя, — она располагала отложить окончательное наслаждение до после-чаю. Но слаб каждый человек, — против водки, против мадеры и хересу она устояла бы; но прелесть незнакомых ей вкусных вещей соблазнила ее. Притом же этот предательский мараскин так обманчив.

Обед вышел совершенно парадный и барский, потому Марья Алексеевна распорядилась, чтобы Матрена поставила самовар, как следует после барского обеда. Но эту деликатностью барских обедов суждено было воспользоваться только Марье Алексеевне и Лопухову: Верочка сказала, что она не хочет чаю, и ушла в свою комнату; Павел Константинович, человек необразованный, тоже не стал ждать чаю, отправился прилечь прямо после последнего блюда, как всегда. Дмитрий Сергеевич пил медленно, — Марья Алексеевна едва-едва могла дождаться, — и, выпив чашку, спросил другую. Тут Марья Алексеевна спасовала и стала извиняться тем, что чувствует себя не совсем хорошо, — с самого утра, должно быть, простудилась, шедши из церкви. Гость просил не церемониться и остался один. Он выпил вторую чашку и все сидел, так что уже Матрена не вытерпела: «Еще угодно?» — «Да, еще». Выпил третью чашку, посидел еще, «должно быть, не вздремнул ли?» по рассуждению Матрены, «должно быть, тоже нализался, как это золото, что храпит в спальню». Верно этот храп и разбудил Дмитрия Сергеевича: он подозвал Матрену взять чашку, посидел еще, но долго ли, этого Матрена уже не видала, поспешив убрать посуду, чтобы успеть, по обычаю, посетить мелочную и зайти в полпивную, пока храпит ее «золото».

[XVIII]

— Простите меня, Вера Павловна, — сказал Лопухов, входя в ее комнату. («Как дрожит его голос! А какой смелый был он за обедом! И не «друг мой», а «Вера Павловна».) — Простите меня, что я был дерзок, — вы знаете, что я говорил, — да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны.

— Милый мой, ты видел, я плакала, когда ты вошел — это от счастья.

— Дайте вашу руку. — Он взял и целовал ее руку. — Нам не нужно было говорить, что мы любим друг друга? Да и говорили. — И все целовал ее руку.

— Мой милый, давно ты это вздумал?

— Давно, Верочка, с тех пор, как в первый раз говорил с тобой.

— Ах, мой милый, — вот ты меня выпускаешь на волю из подвала, — только как же это будет, мой миленький?

— А вот как, Верочка: теперь уж конец апреля, — в начале июля кончатся мои работы для определения себе места в обществе, — я получу должность врача, — жалованье небольшое, но так и быть, буду иметь несколько практики, — настолько, насколько будет необходимо, — и будем жить.

— Ах, мой милый, нам очень, очень мало нужно, — но только я не хочу так, — я не хочу жить на твои деньги, — я ведь и теперь имею уроки, — я их потеряю, когда выйду за тебя — маменька всем им расскажет, что я злодейка, но найдутся другие уроки, да? Ведь мне не должно жить на твои деньги?

— Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка?

— Ах, еще спрашивает, кто сказал! Да не ты ли сам толковал все об этом? А в твоих книгах — целая половина их была об этом написана.

— Я тебе говорил это? Да когда же, Верочка, бог с тобой!

— Ах, когда? А кто говорил, что все основано на деньгах? Кто это говорил, Дмитрий Сергеевич?

— Ну, так что же?

— А ты думаешь, я уже такая глупенькая, что не могу, как в ваших книгах говорится, вывести заключения из посылки?

— Да какое же заключение?

— Ах, хитрец, он хочет быть деспотом, хочет, чтобы я была его слепой рабой, — нет, этого не будет, Дмитрий Сергеевич, — понимаешь?

— Да ты скажи, я и пойму.

— Все основано на деньгах, говорят вы, Дмитрий Сергеевич, — у кого деньги, у того власть и право, говорят ваши книги, — значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него, — так-с, Дмитрий Сергеевич? Вы полагали, что я этого не понимаю, что я буду вашей рабой, — нет-с, Дмитрий Сергеевич, я не позволю вам [быть] деспотом надо [мною], — вы хотите быть добрым, благодетельным деспотом, — я этого не хочу,

Дмитрий Сергеевич. — Ну, мой миленький, а еще как мы будем жить? Ты будешь резать руки и ноги людям, поить их гадкими микстурами, а я буду давать уроки на фортепьяно, — ну, а еще как мы будем жить?

— Так, так, Верочка. Всякий пусть охраняет свою независимость всеми силами от всякого, как бы ни любил его, как бы ни верил [ему]. Правда твоя, Верочка; старайся быть независима от меня, — дай опять поцелую твою руку за это. А ведь какие мы смешные люди, Верочка: ты мне говоришь «не хочу жить на твой счет», а я с похвалою принимаю это, — верно, я очень скуп, — сказал бы всякий, кто подслушал бы. — Разве так говорят другие, Верочка?

— Ну, кто же так говорит, мой милый? Другой стал бы спорить, что не хочет допустить свою жену хлопотать о средствах жить, пока имеет силы работать для нее, — да я от тебя не хочу таких слов. Пусть другие говорят это, — мы станем жить по-своему, как нам самим лучше. Как же мы будем жить еще?

— Вера Павловна, я предложил вам свои мысли об одной стороне нашей жизни, — вы изволили совершенно низвергнуть их вашим планом, назвали меня тираном, поработителем, — извольте же сама, Вера Павловна, придумывать, как будут устроены другие стороны наших отношений. Я считаю напрасным предлагать вам мои соображения, чтобы они точно так же были изломаны вами. Друг мой Верочка, да ты сама скажи, как ты думаешь жить, — наверное, мне останется только сказать: «Ах, моя милая, как умно она обо всем думает!»

— Это что? Вы изволите говорить комплименты? Вы хотите быть любезным? Но я слишком хорошо знаю, что льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности. Прошу вас вперед говорить проще. Милый мой, ты захвалишь меня; мне стыдно слушать, когда ты меня похвалил; нет, не хвали меня, чтобы я не стала слишком горда.

— Хорошо, Вера Павловна, я начну вам говорить грубости, если вам это приятнее. В вашей натуре, Вера Павловна, так мало женственности, что, вероятно, вы выскажете совершенно мужские мысли.

— Ах, мой милый, скажи: что это значит — женственность? Я понимаю, что женщина говорит контральтом, мужчина — баритоном, — ну, так что ж из этого? Стоит ли толковать женщине, чтобы она не [говорила] баритоном? — ведь она и так не станет делать этого, — или упрашивать ее, чтобы она говорила контральтом — ведь она и без всяких ваших внушений и забот не может говорить иначе? Зачем же все всё так толкуют нам, чтоб мы оставались женственны? Ведь это глупость, мой милый!

— То же самое, Верочка, как славянофилы упрашивают русский народ, чтобы он оставался русским. Они не имеют понятия, что такое натура, и думают, что хоть мне, например, нужно ужасно заботиться о том, чтобы у меня волосы оставались каштановыми.

выми, — а если я чуть забуду об этом заботиться, то вдруг порывею.

— Так я, мой милый, уже и не стану заботиться о женственности. Извольте, Дмитрий Сергеевич, я буду говорить вам совершенно мужские мысли о том, как мы будем жить.

— Ну, посмотрим, посмотрим, каков твой план. Постараемся держаться его.

— Он очень прост, мой милый. Послушай, ты как живешь с своим Кирсановым? Ах, я еще не говорила тебе, как я ненавижу этого твоего милого Кирсанова!

— Да за что же, Верочка? Что он тебе сделал?

— Ненавижу, я его враг — я запрещаю тебе видеться с ним. Слышите ль, мой милый, запрещаю?

— А скажите нам на милость, какое удачное начало: так запущана моим стремлением поработить ее, что для безопасности хочет сделать мужа куклою, которою будет играть, как ей нравится!

— Да, Дмитрий Сергеевич, я запрещаю вам видеться с этим неслыхным, ужасным вашим Кирсановым.

— Хорошо, но как же [не] видеться, когда мы живем вместе?

— Ах, он ничего не понимает! Не теперь, а когда повенчаемся.

— О, тогда, конечно.

— Ну, так и быть, позволю тебе с ним видеться, только как можно реже. Ну скажи, мой милый, как вы с ним живете?

— Разумеется, как: у нас две комнаты, — в одной живет он, в другой я.

— Вы беспрестанно вместе?

— С какой же стати? Когда есть дело, тогда говорим о деле. Когда хочется так посидеть вместе и болтать вздор от нечего делать, сидим и болтаем. Но вообще он живет сам по себе, я — сам по себе.

— И вы не надоедаете друг другу?

— Никогда.

— Как же вы этого избегаете?

— Да очень просто: всегда подразумевается, что я ни минуты не останусь в его комнате иначе, как по его приглашению остаться, — оно большею частью не высказывается, но ведь это видно — по лицу, по жестам, по ответам, — если я чуть замечая, что он предпочитает остаться один, — или нет, даже больше: если я не вижу прямых признаков, что ему приятно будет, если я останусь, и неприятно, если я уйду, то я ухожу. И он делает относительно меня точно так же.

— Часто вы ссоритесь?

— Никогда.

— Отчего ж это?

— Да именно потому, что соблюдаем это правило: не быть на глазах один у другого иначе, как по его прямому желанию.

— Ах, мой милый, как я тебя обманула, как я тебя славно обманула! Ты не хотел сказать мне, как мы с тобою будем жить,

а сам все, все рассказал! Как я тебя обманула! Ну, слушай же, как мы будем жить, по твоим же рассказам. Во-первых, у нас будут две комнаты — твоя и моя, — и третья комната, где мы будем пить чай, обедать, принимать гостей, которые бывают у нас обоих, а не у тебя одного или не у меня одной. Это — во-первых. Во-вторых: я в твою комнату не смею входить, чтобы не надоедать тебе. Ты в мою — также. Это — второе. Ну, в-третьих... Ах, мой милый, я забыла спросить об этом: Кирсанов вмешивается в твои дела? Или ты в его? Вы имеете право доспрашиваться друг у друга о чем-нибудь?

— Э, да ведь теперь я вижу, зачем ты спрашиваешь, — не скажу.

— И не нужно. Я сама знаю: не имеете права ни о чем спрашивать друг друга; не вмешиваетесь в дела один другого. Итак, в-третьих: я не имею права ни о чем спрашивать тебя, мой милый; если тебе хочется или надобно сказать мне что-нибудь о твоих делах, ты сам мне скажешь. И точно то же — наоборот. Ну, вот три правила. Что еще дальше?

— Верочка, второе правило требует пояснений: ну, хорошо, мы видимся с тобою в нейтральной комнате за чаем и за обедом. Теперь представь себе такой случай: напившись поутру чаю, я сижу в своей комнате и не смею носа показать в твою до самого обеда, — так ведь?

— Конечно.

— Приходит ко мне знакомый, — не нейтральный, а собственно мой, и говорит, что через два часа зайдет другой знакомый, между тем мне нужно уйти на три часа из дому. Но я знаю, зачем он придет. Я могу попросить тебя передать ему тот ответ, который ему нужен, я могу просить тебя об этом, если ты думаешь оставаться дома?

— Конечно, можешь. Возьмусь я за это или нет, это другой вопрос. Если я откажусь, ты не можешь ни претендовать, ни спрашивать меня, почему я отказываюсь. Но спросить, не соглашусь ли я оказать тебе эту услугу, — спросить ты можешь.

— Прекрасно. Но я не имею права войти в твою комнату, — ведь это между чаем и обедом, — как же я спрошу тебя об этом?

— О боже, как он прост, это маленькое дитя! Какое недоумение — скажите пожалуйста! Вы делаете вот как, Дмитрий Сергеевич. Вы входите в нейтральную комнату и говорите: «Вера Павловна!» Я отвечаю из своей комнаты: «Что вам угодно, Дмитрий Сергеевич?» Вы говорите: «Я уйду из дому; в мое отсутствие зайдет господин А (вы называете фамилию вашего знакомого), у меня есть некоторые сведения для передачи ему. Могу ли я просить вас, Вера Павловна, передать ему их?» Если я отвечаю: «нет», — наш разговор кончен; если я отвечаю: «да», — я выхожу к вам в нейтральную комнату, и вы сообщаете мне, что я должна, по вашей просьбе, передать вашему знакомому. Теперь вы знаете, маленькое дитя, как надобно поступать?

— Да, моя милая Верочка, шутки шутками, а ведь в самом деле лучше всего жить так, как ты говоришь. Только откуда набралась [ты] таких мыслей?

— Ах, мой милый, да разве трудно до этого додуматься? Ведь я видала семейную жизнь, — я говорю не про свою семью, она такая особенная, — но ведь у меня есть же подруги, я же бывала в их семействах, боже мой, сколько неприятностей между мужьями и женами! ты не можешь вообразить себе, мой милый!

— Ну, я-то, Верочка, воображаю.

— Знаешь ли, что мне кажется, мой милый? Так не следует жить людям, как они живут — все вместе, все вместе. Надобно видаться между собою или только по делам, или когда собираются вместе отдохнуть, веселиться; я всегда смотрю и думаю: отчего с посторонними людьми каждый так деликатен? отчего при чужих людях почти все стараются казаться лучше, чем в своем семействе? И ведь в самом деле, при посторонних людях бывают лучше, — отчего это? Мне кажется, слишком большая фамильярность вовсе не годится в обыкновенной жизни.

— А как бы ты полагала лучше?

— Я скажу, только ты не смейся; вообще, мой милый, об чем бы я тебя просила: обращай со мною всегда так, как обращался до сих пор; ведь это не мешало же тебе любить меня, ведь мы же не обманывали друг друга, и ведь я все-таки знала, мой милый, что могу во всем, во всем ждать от тебя помощи; ведь ты был же мне ближе, чем отец и мать; даже если бы я с ними и была дружнее, чем была, ты все-таки был бы мне ближе, я бы тебе все-таки доверила такие мысли, каких не сказала бы ни хорошей матери, ни сестре, ни брату, а тебе все это говорила, что только было у меня на уме, — значит, ведь мы были же близки с тобою? А ты как держал себя? Отвечал ли когда-нибудь неучтиво или делал ли выговоры? Как же это можно, быть неучтивым с посторонней девушкой или делать ей выговоры? Этого нельзя, — так говорят. Хорошо, мой милый, — вот я твоя невеста, буду твоя жена, а ты все-таки обращай со мною, как велят обращаться с посторонней девушкой; это, мой друг, мне кажется, лучше для того, чтобы было прочное согласие, чтобы любовь поддерживалась. Так, мой милый?

— Не знаю, Верочка, что мне думать о тебе: то, что ты говоришь, я знаю, — да я помню, откуда я это вычитал, а ведь ты этого еще ничего не читала, до ваших рук эти книги не доходят, — они считаются или безнравственными, или слишком серьезными для девушки. Общество, которое ты знала, было тоже не бог знает какое развитое, — ведь едва ли ты меня не первого встретила из порядочных людей, — откуда же у тебя все это? Ты меня беспрестанно этим удивляла.

— Миленький мой, ты хочешь захвалить меня, будто у меня уж такой удивительный ум; нет, мой друг, это не так трудно понять, как тебе кажется. Такие мысли не у меня одной, мой милый,

они у многих девушек и молоденьких женщин, таких же простеньких, как я, только им нельзя сказать своим женихам или мужьям того, что они думают, — над ними посмеются или побранят, скажут: «ты безнравственная». Я за то тебя и полюбила, мой милый, что ты не так думаешь. Знаешь, я когда тебя полюбила? Когда мы с тобою в первый раз говорили, когда было мое рождение; как ты стал говорить, что женщины — бедные, что их жалко, так я тебя и полюбила.

— А я тебя когда полюбил? В тот же день, уж я говорил, только когда?

— Ну, какой ты смешной, миленький; когда так сказал, так разве трудно угадать, а угадаю, опять хвалить станешь.

— А ты все-таки угадай.

— Ах, мой миленький, ведь уж это понятно: ну, когда я сказала, чтобы ты мне сказал, правда ли, что можно сделать, чтобы людям было хорошо жить.

— За это надобно опять поцеловать твою руку.

— Полно, мой милый, это мне не нравится, когда у женщин целуют руки.

— Почему же, Верочка?

— Ах, мой милый, ты знаешь сам почему, — зачем же у меня спрашиваешь?

— Да, мой друг, это правда: не следовало спрашивать. Я дурно с тобою обращаюсь. Ну, я вперед стану спрашивать только тогда, когда в самом деле не знаю, что ты хочешь сказать. А ты хотела сказать, что ни у кого не следует целовать руки.

Верочка засмеялась.

— Ну, вот я тебя теперь простила, потому что самой удалось над тобою посмеяться: видишь, хотел меня экзаменовать, а сам не [знаешь] главной причины, почему это нехорошо. Ни у кого никому не надобно целовать руки, это твоя правда, но ведь я не про то говорила, не вообще, а только про то, что мужчинам у женщин не надобно целовать рук. Это, мой милый, должно бы быть обидно для женщин: это значит, что их не считают такими же людьми, думают, что перед женщиною мужчина не может унижить своего достоинства, что она настолько ниже его, [что] как он ни унижайся, он все-таки не ровный ей, а гораздо выше. А ведь ты не так думаешь, мой миленький, так зачем же тебе у меня руку [целовать]? Говори со мной серьезно и поступай серьезно, как с ровной себе, — вот я об чем тебя прошу. А послушай, что мне показалось, мой миленький: как будто мы с тобою не жених с невестой?

— Да, это правда, Верочка: мало похожего; только что же такое мы с тобою?

— Мы как будто давно, давно повенчаны.

— Да что же, ведь и правда, мой друг. Старые друзья — ничего не переменялось в наших отношениях.

— Только одно переменялось, мой миленький: что я теперь знаю, что я из подвала на волю выхожу.

[XIX]

Так они поговорили и пожали друг другу руки. Хоть бы раз поцеловались, — нет. Мне не хотелось бы писать этого, я не написал бы этого, если бы этот рассказ имел только тех читателей, которые знают людей, в нем действующих. Правда, что тогда не нужно было бы писать и всего рассказа, потому что кто знает таких людей, какие в нем действуют, тот [знает] и все, что в нем написано. Но моя цель — познакомить с такими людьми то большинство публики, которое или вовсе не знает их, или имеет о них такое же понятие, какое тунгузы о европейских людях. Для этого большинства я принужден делать заметки, которые, собственно говоря, неприличны. Неприлично, говоря о Париже, замечать, что это большой город; неприлично, говоря о Голландии, замечать, что в ней нет львов и гремучих змей; приличие требует предполагать, что слушатель не нуждается в этих пояснениях. Но что же вы станете делать, когда имеете тысячи доказательств, что ваш слушатель нуждается в этих оговорках, да еще, пожалуй, готов возразить вам, что это не так, — что он по опыту знает, что это не бывает так, что не бывает на свете больших городов, что не бывает на свете никаких Голландий? Есть на свете, читатель, удивительные люди, и большинство твоих сотоварищей — читателей (конечно, не ты, — ты помнишь, что ты исключаешься из всякого невыгодного отзыва с моей стороны) принадлежит к удивительным людям. Они не знают, что такое чистота девушки и что такое уважение порядочного человека к чистоте девушки. Грязные люди, дрянные люди, гнилые люди. Хорошо, что ты, читатель, не таков. Впрочем, я несправедлив: я человек старого века, я все забываю, что переменялось к лучшему многое с той поры, как установились мои понятия; что русская публика, к какой я привык, уже больше чем наполовину сменилась публикою другого поколения, более честного и более чистого. Не очень еще много в ней людей, у которых голова в порядке. Но большинство уже имеет, по крайней мере, желание смотреть на белый свет честным взглядом.

Возвратившись домой часу в седьмом, Лопухов хотел приняться за работу, но долго не мог приняться. Голова была занята не тем, а все тем же, о чем он думал всю длинную дорогу из соседства Семеновского моста до Выборгской. «Конечно, любовными [мечтами]?» — Да, ими, только не совсем любовными и не совсем мечтами. Жизнь человека необеспеченного имеет свои прозаические интересы, которые позанимательнее, чем мечты вообще, а любовь имеет не очень много общего с любовными мечтами в частности. А тут еще вдобавок те две невесты, которые не помешали, — хоть по-настоящему и должны были бы помешать, — найти третью. Лопухов, как материалист, при самых возвышенных положениях души не мог отказаться от мысли об этих невестах. Понятное дело: материалисты ведь допускают и многоженство, и многомужество, и всякие такие ужасы, от каких и наши мифические фармазоны, продавшие душу сатане и кончающие свою карьеру тем, что сожигают

ются самовозгоранием, стали бы отрещиваться с ужасом, — да ведь, не шутя, допускают, я на них не стану взводить напраслины: допускают. Да это и будет доказано фактами в дальнейшей истории Верочки и Лопухова.

Итак, Лопухов занимался такими любовными мечтами, какие приличны грубому материалисту, помешанному на теории эгоизма и материальных выгод.

«Жертва — и ведь этого почти нельзя будет выбить из ее головы. А это дурно: когда думаешь, что чем-нибудь особенным обязан человеку, отношения к нему уже несколько натянуты. А ведь узнает. Приятели объяснят, что, дескать, отказался для вас от карьеры, на которой ждал, — ну, — положим, не денег, этого не взведут на меня, хоть и то хорошо, что не будет думать, что, дескать, он для меня остался в бедности, когда без меня был бы богат. Этого-то не будет она думать, — но ей наскажут, что я желал ученой известности и получил бы. Вот и будет сокрушаться: «ах, чем он для меня пожертвовал!» Да не думал жертвовать. Как для меня лучше, так и сделал. Какая тут жертва? Жертвовать вообще чем бы то ни было для кого бы то ни было вообще глупо. Да этого и не бывает. Это фальшивое понятие, — это сапоги всмятку, и только. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот, поди ты, растолкуй это. В теории-то оно понятно, а как видит перед собою факт, человек-то и умиляется: вы, говорит, мой благодетель. Уж показался всход этой будущей жатвы: вы, говорит, меня из подвала выпустили, какой, говорит, вы добрый! И будем потом умиляться. Очень нужно было бы мне выпускать тебя, если бы самому это не нравилось. — Это я тебя выпускаю, ты думаешь? — стал бы заботиться, как же, жди. Кабы это не доставляло мне самому удовольствия. Может, я самого себя выпустил. Да разумеется, самому жить хочется, самому любить хочется, понимаешь? самому, для себя все делаю. Чорт возьми, как бы это сделать, чтобы не развилось в ней это вредное чувство признательности, которое тяготит. Ну, да как-[нибудь] сделаем, — она же умная, поймет, что я правду буду говорить. Конечно, я не так располагал сделать. Думал, что когда удастся ей уйти из семейства, то отложить дело года на два, — в это время успел бы стать профессором, денежные дела были бы удовлетворительны. Вышло, что отсрочить нельзя. Ну, так мне-то какой убыток? Разве я об себе, что ли, думал, когда соображал, что прежде надобно устроить свои денежные дела? Мужчине что? мужчине ничего. Недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло, — какого рожна горячего мне еще нужно? А это у нас будет. Стало быть, какой же мне убыток? Но женщине — молоденькой, хорошенькой — этого мало. Нужны удовольствия, нужен успех в обществе. А на это не будет денег. Конечно, она не будет думать, что этого недостает ей, — умная, честная девушка, — будет думать себе: «это пустяки, это дрянь, которую я презираю» — и будет презирать. Да разве помогает то, что человек не знает, чего ему недостает, или даже уве-

рен, что оно ему не нужно? Это иллюзия, фантазия. Натура заглушена рассудком, обстоятельствами, убеждениями, — ну и молчит, не дает о себе голоса сознанию, а молча все-таки работает и подтачивает жизнь. Не так следует жить молодой, не так красавице; это не годится, когда она и одета не так хорошо, как другие, и не блесит по недостатку средств. Жаль тебя, бедненькая, — я думал, что все-таки несколько получше для тебя устроится. А мне что? Я в выигрыше, — неизвестно еще, пошла ли бы она за меня через два [года] — а теперь идет».

— Дмитрий, иди чай пить.

Лопухов отправился в комнату Кирсанова.

— Ну, Александр, теперь не будешь на меня жаловаться, что отстаю в работе. Наверстаю.

— Что, кончил хлопоты по делу этой девушки?

— Кончил.

— Поступает в гувернантки к Б.?

— Нет, в гувернантки не поступает, иначе уладилось. Ей можно будет вести в семействе порядочную жизнь.

— Что ж, это хорошо. В гувернантках тяжело. И порядочно устроилось ее семейное положение?

— Порядочно.

— И действительно, хорошая девушка?

— Хорошая.

— Ну, и прекрасно. Я теперь, брат, с зрительным нервом покончил и уже довольно много работ сделал над следующей парой. А ты на чем остановился?

— Да мне еще надобно будет кончить работу над... ну, и так далее, пошли физиологические термины.

[XX]

«Теперь 25 апреля. Он сказал, что его дела устроятся в начале июля, ну, положим, 10-го, ведь это уж не начало, 10-е число можно взять, или для верности возьму 15-е, нет, лучше 10-е, сколько же остается дней? Нынешнего числа уж нечего считать, — в апреле остается 5 дней, май — 31 да 5 — 36, июнь — 30 да 36 — 66, июль 10, — всего только 76 дней. Я сделаю, как пансионеры и школьники делают; право, так сделаю: разграфлю бумагу, напишу все дни и буду каждый день вычеркивать, — в самом деле, так сделаю. — А, только 76 дней, — и тогда свободна! выйду из этого подвала! Ах, как я счастлива! Миленький мой, как я счастлива!»

Это [было в] воскресенье. В понедельник урок, перенесенный со вторника.

— Друг мой, миленький мой, как я рада, что опять с тобою хоть на минуточку! Знаешь, сколько мне осталось сидеть в этом подвале? Твои дела когда кончатся? К 10-му июля кончатся?

— Кончатся, Верочка.

— Так теперь мне осталось сидеть в подвале только 75 дней да нынешний вечер; я один день уж вычеркнула, — я [сделала] табличку, как школьники, и вычеркиваю дни.

— Миленькая моя, Верочка, миленькая моя! Да, уже недолго тебе тосковать тут, — два с половиною месяца пройдут скоро. Будешь свободна.

— Ах, как весело будет! Только, мой миленький, ты теперь со мною не говори много и не гляди на меня, и на фортепьяно не каждый раз будем играть. И не каждый раз буду выходить при тебе из комнаты. Нет, не утерплю, выйду всегда — только на одну минутку — и так холодно буду смотреть на тебя, неласково; и теперь сейчас уйду в свою комнату. До свиданья, мой милый. Когда?

— В четверг.

— Три дня! Как долго. А тогда уж только 72 дня останется.

— Считай меньше: около 7-го числа можно будет тебе вырваться отсюда.

— 7-го? Так уж теперь только 72 дня! Ах, как ты обрадовал! До свиданья, мой миленький!

Четверг:

— Мой миленький, только 69 дней мне здесь сидеть.

— Да, время идет скоро.

— Скоро? Нет, мой милый. Ах, какие долгие стали дни! В другое время, кажется, целый месяц успел бы пройти, пока шли эти три дня. До свиданья, мой миленький. Нам ведь не надобно долго говорить друг с другом, — ведь мы хитрые, да? — До свиданья! Ах, еще 69 дней осталось мне сидеть в подвале!

(«Гм! гм! Да, — мне, разумеется незаметно, — за работою время летит. Да ведь и не я в подвале-то Гм! гм! Да!»)

Суббота:

— Ах, мой миленький, еще 67 дней осталось! Ах, какая тоска здесь! Эти два дня были дольше тех трех дней! Ах, какая тоска! Гадость какая, если бы ты знал, мой миленький! До свиданья, мой милый, голубчик мой, до вторника! Ах, а эти три дня будут дольше всех пяти дней! До свиданья, милый мой.

(«Гм! Да! гм! Глаза нехороши. Она плакать не любит. Это нехорошо. Гм! Да!»)

Вторник:

— Ах, мой миленький, еще 64 дня осталось!

— Верочка, мой дружок, у меня к тебе есть просьба, — нам надобно поговорить хорошенько. Ты очень тоскуешь по воле. Ну, дай себе немножко воли, — ведь нам надобно поговорить.

— Надобно, мой миленький, надобно!

— Так вот что, я тебя прошу: завтра, когда тебе будет удобнее — в какое время, все равно, только скажи — будь опять на той скамье на Конногвардейском бульваре. Будешь?

— Буду, мой миленький, непременно. В 11 часов? Так?

— Хорошо, благодарю тебя, Верочка.

— До свиданья, мой миленький; ах, как я рада, что ты это вздумал! Как это я, глупенькая, сама не вздумала? До свиданья. Поговорим, все-таки вздохну вольным воздухом. До свиданья, миленький, в 11 часов непременно.

Пятница:

— Верочка, ты куда это собираешься?

— Я, маменька? — (покраснела) — к Невскому, маменька — (и покраснела еще больше).

— Так и я с тобою пойду, Верочка. Мне в Гостиный двор нужно. Да что это, Верочка? говоришь, идешь на Невский, а такое платье надела! Надо бы получше, коли на Невский.

— Мне, маменька, это платье нравится. Подождите одну секунду, маменька, я в своей комнате только возьму одну вещь.

Отправляются. Идут. Дошли до Гостиного двора, идут по той линии, которая вдоль Садовой; уж недалеко до угла Невского: вот и лавка Рузанова.

— Маменька, я вам два слова скажу.

— Что с тобою, Верочка?

— До свиданья, маменька. Не знаю, скоро ли, — если не будете сердиться, — до завтра.

— Что, Верочка, я что-то не разберу.

— До свиданья, маменька, я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Сергеевичем третьего дня повенчались. Извозчик, в Караванную!

— Четвертачок, сударыня.

— Хорошо, поезжай хорошенько. — Он к вам нынче вечером зайдет. А вы не сердитесь на меня, маменька! — Да ты не в Караванную, я только так сказала, чтоб поскорее от этой дамы уехать, мне гораздо дальше, поезжай по Невскому, на Васильевский, в 5 линию, у Среднего проспекта, поезжай хорошенько, я прибавлю.

— Ах, сударыня, обмануть изволили! Надо уж будет полтинничек положить.

— Если хорошо поедешь.

[XXI]

Свадьба устроилась не очень многосложным, хотя и не совсем обыкновенным образом.

Жалко было смотреть на Верочку. Дня два после разговора о том, что они жених и невеста, Верочка радовалась близкому освобождению; на третий день уже вдвое несноснее прежнего стал казаться ей «подвал», как она выражалась; на четвертый она уж плакала, чего она не любила, но плакала немножко; на пятый — побольше; на шестой — уже не плакала, только не могла заснуть от тоски.

Лопухов посмотрел, посмотрел и увидел, что не годится, показавши волю, оставлять человека в неволе. Подумал часа два после того, как был на уроке в субботу. О том, как решить дело, он думал недолго: «Все это вздор. Зачем оканчивать курс? Разве не все равно? Уроками, переводами достану себе не меньше, чем

сколько получал бы жалованья, будучи ординатором. Может быть, получу еще больше. Пустяки». С этой стороны раздумья не было, — правду сказать, отчасти и потому, что у Лопухова еще с прошлого урока бродило в голове что-то, похожее на мысль: бросить все свои дела, чтобы поскорее вырвать Верочку. Это намерение до сих пор не представлялось ему ясно, но оно уже передумалось в нем бессознательно, и когда он подумал о нем отчетливо, он почувствовал, что дело уже решено им без его ведома, так что и те недолгие мысли, которые пробежали в его уме при первом сознательном представлении дела, пробежали только так, для формы, а не то, чтобы действительно нужно было сообразить их — они уж были соображены.

Итак, на эту часть думы пошло всего две-три минуты. Два часа ушли на другую: как же повенчаться? Кто станет венчать девушку без согласия родителей, без всяких документов? Думал, думал Лопухов, — ничего не придумывалось, — и вдруг придумал; вскочил, побежал, сел, против обыкновения, на извозчика.

В Медицинской академии есть много людей всякого рода, кроме богатого сорта; есть там, в числе другого народа, много семинаристов. Они имеют знакомства в Духовной академии, — были через них и у Лопухова такие знакомства. Он вспомнил, что один воспитанник Духовной академии, его бывший знакомый, кончивший курс год тому назад, сделался священником в Петербурге, при каком-то большом казенном заведении.

— Вот какое и вот какое дело, Алексей Петрович; знаю, что для вас это очень серьезный риск; хорошо, если мы помиримся с родными; а если они начнут дело, вам может быть беда, — но — но... — «Но» никакого нельзя было найти: как в самом деле убеждать человека, чтобы он за нас клал шею в петлю?

Алексей Петрович долго думал. Тоже не мог придумать никакого «но» в оправдание себе, чтобы сделать такой риск.

— Что вы теперь делаете, я год назад сделал, — женился. Женатый человек не волен в себе. А совестно, — так и хотелось бы помочь вам. Да когда есть жена, так нечего делать: без оглядки не пойдешь.

— Что вы тут про жену говорите? Все у вас жены виноваты, — сказала очень молоденькая дама, лет 17, бойкая и милая, жена Алексея Петровича, возвратившаяся от родных, у которых провела этот вечер.

Алексей Петрович, представив жене Лопухова, рассказал дело. У Машеньки засверкали глаза.

— Что, Алеша, ведь не съедят же тебя?

— Есть риск, Машенька.

— Очень большой риск, — подтвердил Лопухов.

— Ну, что делать, рискни, Алеша, я тебя прошу.

— Когда ты не станешь меня осуждать, что я про тебя забыл, подвергаясь опасности, так разговор кончен. Когда венчаться хотите, Дмитрий Сергеевич?

Таким образом препятствий не оставалось.

В понедельник поутру Лопухов сказал Кирсанову:

— Знаешь ли что, Александр? Уж верно подарить тебе ту половину нашей работы, которая была моей долей. Бери мои бумаги и препараты. Я бросаю. Выхожу из Академии. Вот и просьба. Женюсь.

Рассказал историю в двух словах.

— Если бы ты был глуп или бы я был глуп, сказал бы я тебе, Дмитрий, что этак сумасшедшие делают. А теперь не скажу. Все возражения ты сам, верно, постарательнее меня обдумывал. А и не обдумывал, так ведь все равно. Глупо ли ты поступаешь, умно ли, не знаю, — но, по крайней мере, сам не стану той глупости делать, чтобы пытаться тебя отговаривать, когда знаю, что не отговоришь. Я тебе тут нужен на что-нибудь, или нет?

— Свидетелем будешь. Надобно квартиру приискать — три комнаты где-нибудь в дешевой местности, — мне надобно будет в Академии хлопотать, чтобы поскорее выпустили. Ведь это надобно завтра же кончить. Так мне некогда квартиру искать. Похлопочи ты.

— Ну, желаю тебе счастья, Дмитрий. Поцелуемся.

— Верно, будет счастье.

Во вторник Лопухов получил свои бумаги из Академии, отправился к Алексею Петровичу, спросил его, когда он будет завтра дома. «Весь день». — «Так все равно для вас, во сколько часов?» — «Все равно». — Я думаю, впрочем, что Кирсанов успеет предупредить вас, Алексей Петрович». — «Тем лучше».

В среду, в 11 часов, Лопухов, пришедший на бульвар, не нашел Верочки на условленной скамье. Прошло с четверть часа — ее все нет. Он начал тревожиться. А вот и она, так спешит.

— Верочка, друг мой, не случилось ли чего с тобою?

— Нет, миленький, ничего — я опоздала только оттого, что чуть-чуть не проспала.

— Это значит, ты во сколько же часов уснула?

— Ах, миленький, я не хотела тебе рассказывать, в 7 часов, миленький; нет, раньше, в 6, а то все думала.

— Так вот видишь, Верочка, я об чем тебя хотел просить: нам бы надобно поскорее повенчаться, чтобы обоим быть спокойными.

— Да, миленький, надобно. Поскорее надобно.

— Так дня через четыре, через три.

— Ах, если бы так, миленький мой, — вот бы ты был умник.

— Так дня через три, когда квартиру приготовим, служанку найдем, нам и можно будет поселиться с тобою вместе?

— Можно, мой голубчик, можно.

— А ведь прежде надобно повенчаться.

Ах, я и забыла, миленький, — надо повенчаться прежде.

— Так венчаться и нынче можно, вот я об этом и хотел тебя просить.

— Пойдем, миленький, повенчаемся. Да как же это ты все устроил, — какой ты умненький, голубчик!

— А вот по дороге все расскажу, поедем.

Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскивали сторожа, послали к Алексею Петровичу, — Алексей Петрович жил в том же доме с бесконечными коридорами.

— Теперь, Верочка, у меня еще к тебе просьба: ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться.

— Да, мой миленький, заставляют, — только как это стыдно!

— Так вот, чтобы не было тогда слишком [стыдно], поцелуемся теперь.

— Ах, мой миленький, так и быть, поцелуемся — да разве без этого нельзя?

— Да ведь в церкви же нельзя без этого, — так приготовимся.

— Да, нельзя без этого, нельзя — ну, поцелуемся.

Поцеловались.

— Миленький, хорошо, что успели приготовиться, вон уж сторож идет, теперь в церкви не так стыдно будет.

Но вошел не сторож, — сторож побежал за дычком, — вошел Кирсанов, дожидавшийся их у Алексея Петровича.

— Верочка, вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов, которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться.

— Вера Павловна, за что же вы хотите разлучить наши нежные сердца?

— За то, что они нежные, — сказала Вера Павловна, подавая руку Кирсанову. И вдруг, еще продолжая улыбаться, уже задумалась: — А сумею ли я любить его как вы? Ведь вы его очень любите?

— Я? Я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна.

— И его не любите?

— Жили — не ссорились, и того довольно.

— И он вас не любил?

— Не замечал что-то. Спросим, впрочем, у него. Ты любил, что ли, меня, Дмитрий?

— Особенной ненависти к тебе не имел.

— Ну, когда так, Александр Матвеевич, так я не буду запрещать ему видеться, Александр Матвеевич, и сама буду вас любить.

— Вот это гораздо лучше, Вера Павловна.

— А вот и я, готов, — подошел Алексей Петрович, — пойдемте в церковь.

Алексей Петрович был весел, шутил, но когда начал венчанье, голос его дрожал («а если начнется дело — Машенька, ступай к отцу, муж не кормилец, — плохое житье от живого мужа на отцовском хлебе»), — впрочем, после нескольких слов он опять уже совершенно владел собою. В половине службы пришла Марья Андреевна — или Машенька, как звал ее Алексей Петрович, — тут же

успела познакомиться с Верочкою; по окончании свадьбы попросила молодых зайти к ней, — у ней был приготовлен маленький завтрак, зашли, поболтали, даже вальсировали в две пары, — Алексей Петрович играл на скрипке, — часа полтора пролетело так легко и незаметно. Свадьба была веселая.

— Ах, меня уже, я думаю, ждут дома обедать, — сказала Верочка, — пора; теперь, мой миленький, я и три, и четыре дня проживу в своем подвале без тоски, пожалуй, и больше проживу, как хочешь, чего мне теперь бояться? Нет, ты меня не провожай: я поеду одна, чтобы еще не увидали как-нибудь.

— Да, это в самом деле лучше, Верочка.

— Ничего, не съедят меня, не совеститесь, — говорил Алексей Петрович, провожая Лопухова, остававшегося с Кирсановым еще на несколько минут, чтобы дать время Верочке уехать. — Я теперь очень рад, что Маша ободрила меня.

На другой день, после четырехдневных поисков, нашла квартиру, — в дальнем конце 5 линии Васильевского острова. Имея всего рублей 160 в запасе, Лопухов рассудил с своим приятелем, что невозможно на первый раз думать им с Верочкою обзаводиться хозяйством, — мебелью, кухонною посудой, — потому наняли три комнаты от жильцов — мещан, старика и старухи, и со столом на двоих от хозяев; прислуга тоже была от хозяев, то есть сами хозяева. Все это стоило 30 рублей в месяц. Тогда, лет 10 тому назад, были в Петербурге еще дешевые, по петербургскому масштабу, времена.

Таким образом, были в готовности средства к жизни на три, пожалуй, даже, на четыре месяца, — ведь на чай 10 рублей в месяц довольно? — а в четыре месяца Лопухов надеялся найти уроки, какую-нибудь литературную работу, занятия в какой-нибудь купеческой конторе, все равно, что бы то ни было. В тот же день, как была приискана квартира, он сказал Верочке, бывши, по обыкновению, на уроке, во время чаю:

— Завтра переезжай, мой друг; вот адрес. Больше теперь говорить не стану, чтобы не заметили.

— Миленький мой, ты спас меня.

Теперь, как уйти из дому? Сказать? Верочка подумала было, но мать бросится драться, — может запереть. Она рассудила, что говорить незначет, и приготовила письмо, чтобы оставить его в своей комнате. Когда Марья Алексеевна, услышав, что дочь отправляется по дороге к Невскому, сказала, что пойдет вместе с нею, Верочка вернулась в свою комнату и взяла письмо, — ей вздумалось, что лучше будет, если она скажет матери сама, изустно; это казалось ей честнее. А драться на улице мать не станет же, только надобно несколько подальше от нее остановиться, когда будешь говорить, поскорее взять извозчика и уехать, чтобы она не успела схватить за рукав.

Таким образом и произошла эффектная сцена у лавки Рузана.

[XXII]

Но мы видели только еще половину этой сцены.

С минуту, — нет, несколько поменьше, — Марья Алексеевна, ничего подобного не подозревавшая, стояла, как ошеломленная, стараясь понять и все не понимая, что ж это говорит дочь, что ж это значит, и как же это? Но только с минуту или поменьше... Она встрепенулась, вскрикнула какое-то ругательство, но дочь уже выезжала на Невский проспект; Марья Алексеевна пробежала несколько шагов в ту сторону, — извозчика надобно, — бросилась на тротуар. «Извозчик!» — «Куда прикажете?» Куда прикажет она? Ей слышалось, что дочь сказала «в Караванную», но дочь повернула налево по Невскому, — куда же прикажет она? «Догонять ту мерзавку!» — «Догонять, сударыня? да вы скажите толком, куда, а то как же без ряды ехать, а какой конец — неизвестно». — «Дурак ты, давай, догонять». — «Пьяна ты, я вижу, барыня, вот что», — сказал извозчик и отошел. Марья Алексеевна совершенно вышла из себя и ругала вдогонку отошедшего извозчика, и кричала других извозчиков, а вокруг нее уже стояло человек пять парней, продающих яблоки и разную разность у колонн Гостиного двора; парни любовались на нее и обменивались между [собою] замечаниями более или менее неуважительного смысла; некоторые свои замечания обращали и прямо к ней, в таком роде: «Барыня, а барыня, а ты опохмелись!» — «Барыня, а барыня, а ты здорова-то ругаться-то, а давай-ка об спор, кто кого переругает!» Она, уже сама не помня, что делает,хватила по уху ближайшего из этих собеседников, шапка слетела, Марья Алексеевна вцепилась ему в волосы. Это привело в неописанный энтузиазм остальных собеседников. «Ай, да барыня! Валяй его, барыня!» Некоторые замечали: «Федька, а ты дай-ка ей сдачи!» Но большинство собеседников решительно было на стороне Марьи Алексеевны: «Куда против нее Федьке? Валяй, барыня, валяй Федьку! Так ему, подлецу, и надо!» Тут уже было много зрителей, кроме первоначальных собеседников: и извозчики, и сидельцы из лавок, и прохожие. Марья Алексеевна как будто опомнилась и, последним машинальным движением далеко отшатнув федькину голову, зашагала через улицу. Восторженные похвалы собеседников проводжали ее.

Она увидела, что идет домой, когда уже была против Апраксина двора, взяла извозчика и приехала, зашла к шкапчику, побила Федю, побила Матрену, опять зашла к шкапчику и пошла по комнатам, ругаясь. Но бить было уже некого: Федя и Матрена спрятались.

Долго ли, коротко ли она ругалась и кричала в пустых комнатах, определить она не могла, но, должно быть, долго, потому что вот и Павел Константинович явился из должности, — досталось и ему, — и идеально, и материально досталось. Но как всему бывает конец, то, наконец, закричала она: «Матрена, подавай обедать!»

Матрена увидела, судя по прежним подобным, хотя и слабейшим, опытам, что штурм кончился, явилась, подала обедать.

За обедом Марья Алексеевна, действительно, уже не ругалась, а только рычала, и без всяких наступательных намерений, а так, уже только для собственного употребления.

Потом молчала и ворчала, потом и ворчать перестала вовсе, а все молчала. Наконец, крикнула:

— Матрена, разбуди барина, вели ему ко мне притти.

Павел Константинович пришел.

— Ступай к хозяйке, скажи, что дочь по твоей воле вышла за этого чорта. Скажи: «я против жены был». Скажи: «я это вам в угоду сделал, потому что видел, не было вашего желания». Скажи: «моя жена одна была виновата, а я вашу волю исполнял». Скажи: «я сам их и свел». Понял, что ли?

— Да этого как же не понять, Марья Алексеевна, это ты очень умно рассуждаешь.

— Ну, ступай к ней.

Справедливость слов Павла Константиновича была так осязательна, что хозяйка поверила бы им, если бы он и не обладал даром убедительной благоговейности изложения. А убедительность этого дара была так велика, что хозяйка простила бы Павла Константиновича, если б и не было осязательных доказательств, что он постоянно действовал против жены и нарочно свел Верочку к Лопуховым, чтобы отвратить благородную женитьбу Михаила Ивановича. «Как же они повенчались?» — Павел Константинович не пожалел приданого, дал 5 тысяч рублей Лопухову; свадьбу всю сделал на свой счет; через него они и записочки передавали, — у его сослуживца на квартире, — у столоначальника Прохорова, «семейного человека, ваше превосходительство, потому что, хоть я и маленький человек, но девическая честь дочери, ваше превосходительство, мне дорога; имели при мне, ваше превосходительство, свиданья, и когда Верочка через меня, ваше превосходительство, к нему получила пристрастие, сам его в свой дом, якобы для ученья сынишки, ваше превосходительство [ввел], — а хоть наши деньги не такие, чтобы с таких лет парню учителей брать, — но якобы предлог дал, ваше превосходительство», — и так далее. Неблагодарность жены Павел Константинович изобличал в самых черных порицаниях.

Как было не убедиться и не помиловать Павла Константиновича? Главное, — великая, неожиданная радость. Радость смягчает сердце. Хозяйка начала свою отпустительную речь очень длинным пояснением глупости мыслей и поступков Марьи Алексеевны и сначала требовала, чтобы Павел Константинович прогнал жену от себя, если хочет остаться управляющим; но он умолял, да она и сама сказала это больше для острастки, чем для дела; наконец, резолюция вышла такая, что Павел Константинович оставляется управляющим, квартира на улице у него отнимается, и переводится он на задний двор с тем, чтобы его жена не смела показываться

в местах, на которые может упасть взор хозяйки; его жена обязана выходить на улицу не иначе, как третьими воротами, самыми дальними от окон хозяйки. Из 20 рублей в месяц, прибавленных к жалованью, 15 рублей отнимаются, а 5 рублей оставляются управляющему в вознаграждение как его усердия к воле хозяйки, так и его расходов по свадьбе дочери.

[XXIII]

У Марьи Алексеевны было в мыслях несколько проектов о том, как поступить с Лопуховым, когда он явится вечером: самый чувствительный состоял в том, чтобы спрятать в кухне двух дворников, они бросятся на Лопухова по данному сигналу и исколотят его; самый патетический состоял в том, чтобы торжественно провозгласить устами и своими и Павла Константиновича родительское проклятие ослушной дочери и ему, с объяснением, как оно сильно, — даже земля, как известно, не принимает праха проклятых родителями. Но это были более мечты, как у их хозяйки мысль развести Павла Константиновича с женой; такие проекты более служат для отрады сердцу бесконечными рассуждениями в будущем, что, дескать, я вот что могла (или, смотря по полу лица, мог) сделать и хотела (хотел) так сделать, да по своей доброте пожалела (пожалел).

Проект побить Лопухова и проклясть дочь был идеальной стороною мыслей и чувств Марьи Алексеевны; реальная жизнь ее ума и души имела иное направление, не столь возвышенное и более практическое, — разница, неизбежная по слабости всякого человеческого существа. Когда она опомнилась между Пажеским корпусом и Апраксиным переулком, постигла, что дочь, действительно, исчезла, вышла замуж и ушла от нее, — этот факт явился ее сознанию в форме следующих мысленных восклицаний: «убежала! мерзкая девчонка! обокрала!» И всю дорогу она продолжала восклицать мысленно, а иногда и вслух «мерзавка! обокрала!» Поэтому, излив свою скорбь на Федю и Матрену, — опять человеческая слабость, по которой всякий человек увлекается выражением чувств до того, что забывает в порыве души о житейских интересах минуты, — она и пробежала в комнату Верочки, тотчас же бросилась в ящики туалета, в гардероб, окинула все торопливым взглядом, — нет, кажется, все цело, — потом принялась поверять это первое успокоительное впечатление подробным, внимательным пересмотром; оказалось, что действительно, все вещи и платья остались у нее, кроме пары простеньких золотых серег, которые носила Верочка дома, да простенького платья и старого бурнуса, в которых она пошла из дому. По этому вопросу реального направления Марья Алексеевна ждала, что Верочка даст Лопухову список своих вещей, и он будет требовать их. Она твердо решилась из золотых и тому подобных вещей [не давать] ничего, но из платьев дать два, которые попроще, и дать несколько белья, которое побольше изно-

шено, — ничего не дать нельзя, благородное приличие не дозволяет, а Марья Алексеевна всегда строго соблюдала благородное приличие.

Другой вопрос реальной жизни был: отношения к матери Мишки-дурака; мы уже видели, что Марье Алексеевне удалось разрешить его удачно.

Теперь третий вопрос: что делать с мерзавкою и с подлецом, то есть с дочерью и непрошеным зятем? Проклясть? Это нетрудно, но годится только как десерт к чему-нибудь существенному. Существенное возможно только одно: подать просьбу, начать дело, отдать под суд. Сначала, в волнении страстей, Марья Алексеевна смотрела на это решение идеально, и с идеальной точки зрения оно представлялось очень привлекательным. Но по мере того [как] кровь успокаивалась от утомления бурей, дело стало представляться в другом виде: никто не знал так хорошо, как Марья Алексеевна, что дела ведутся деньгами и деньгами, а такие дела, как обольщавшее ее своею идеальною прелестью, тянутся очень долго и кончаются совершенно ничем, если не тратить на них очень много денег.

Что же делать? В конце концов оказалось, что предстоят только два занятия: ругаться с Лопуховым до последней степени удовольствия и отстоять от его требований верочкины вещи, а средством к тому употребить угрозу подачею жалобы. Но поругаться надобно очень сильно.

Не удалось и этого. Пришел Лопухов и начал в том роде, что — мы с Верочкою просим вас, Марья Алексеевна и Павел Константинович, извинить нас, что мы решились...

Марья Алексеевна на этом слове закричала:

— Я прокляну ее, негодницу...

Но слова «негодница» она не договорила, потому что Лопухов сказал очень громко:

— Вашей брани я слушать не стану. Я пришел говорить о деле. Вы сердитесь и не можете говорить спокойно, так мы поговорим одни с Павлом Константиновичем, а вы, Марья Алексеевна, пришлите Федю или Матрену позвать нас, когда успокоитесь. — И говоря это, уже взял Павла Константиновича за руку и уже вел его из залы в его кабинет, а говорил так громко, что перекричать его не было возможности, и потому пришлось остановиться в своей речи.

Довел он Павла Константиновича до дверей залы, тут остановился, обернулся и сказал:

— А то, Марья Алексеевна, теперь же и с вами буду говорить, — только ведь о деле надобно говорить спокойно.

Она опять было готовилась закричать, — он опять перебил:

— Ну, не можете говорить спокойно, так мы уходим.

— Да ты зачем уходишь, дурак? — прокричала Марья Алексеевна.

— Да он меня ведет, матушка!

— А вы зачем, Павел Константинович, позволяете называть себя такими бранными именами? Марья Алексеевна дел не знает, она думает, что с нами может бог знает что сделать, — а вы чиновник, вы деловой порядок должны знать, вы скажите, что теперь она с Верочкою ничего не делает, а со мною и того меньше.

«Знает, подлец, что ничего с ним не сделаешь», — подумала Марья Алексеевна и сказала Лопухову, что в первую минуту погорячилась как мать, а теперь может говорить хладнокровно.

Лопухов возвратился с Павлом Константиновичем; сели; Лопухов попросил ее слушать, пока он доскажет, что начнет; что ее речь будет впереди; и начал говорить, сильно возвышая голос, когда она хотела перебить его, и таким образом благополучно довел до конца свою речь, которая состояла преимущественно в том, что Верочка никогда не хотела идти за Сторешникова и не пошла, что, стало быть, нечего и огорчаться Марье Алексеевне расстройством дела, которое никогда не могло устроиться, а что девушку, во всяком случае, надобно отдавать замуж, а это вообще дело убыточное для родителей: надобно приданое, да и свадьба сама по себе много денег стоит, — а главное, приданое, — стало быть, еще можно считать выгодною, что дочь вышла замуж без всяких расходов и убытков, — и так далее, в этом роде.

Когда он кончил, то Марья Алексеевна видела, что с таким разбойником нечего говорить, и потому перешла к чувствам: что она была огорчена собственно тем, что Верочка вышла замуж, не испросивши согласия родительского, что это для материнского сердца огорчительно, — ну, а когда дело пошло о материнских чувствах и огорчениях, то уже, натурально, разговор стал представлять для обеих сторон более только тот интерес, что, дескать, нельзя же не поговорить и об этом, так приличие требует. — Ну, удовлетворили приличию, поговорили; Марья Алексеевна — что она, как любящая мать, была огорчена, Лопухов — что она, как любящая мать, может и не огорчаться. Когда приличие было удовлетворено надлежащею длиннотою рассуждений по этому пункту о чувствах, перешли к другому пункту, требуемому приличием, что, дескать, мы всегда желали своей дочери счастья, — это с одной стороны, а с другой стороны отвечалось, что это, конечно, вещь несомненная; тоже разговор был доведен до приличной длинноты и по этому пункту; тогда стали прощаться — тоже с объяснениями такой длинноты, какая требуется благородным приличием, — и результатом всего оказалось, что Лопухов, понимая расстройство материнского сердца, не просит Марью Алексеевну теперь же дать дочери позволение видаться с нею, потому что теперь это, может быть, еще было бы тяжело для Марьи Алексеевны, а что вот Марья Алексеевна будет слышать, что Верочка живет счастливо, в чем, конечно, всегда и состояло единственное желание Марьи Алексеевны, и что когда Марья Алексеевна совершенно убедится в этом, тогда, конечно, и материнское сердце ее совершенно успокоится; стало быть, тогда она будет в состоянии видаться с дочерью, не огорчаясь.

Так на том и порешили — и расстались миролюбиво.

— Ну, разбойник, — сказала Марья Алексеевна, проводив зятя.

Ночью даже приснился ей сон такого рода: что сидит она под окном и видит — по улице едет карета, самая отличная, и оставливается эта карета, и выходит из кареты пышная дама, и мужчина с дамою, и входят они к ней в комнату, и дама говорит: «посмотрите, мамаша, как меня муж одевает», — и дама эта Верочка, — и смотрит Марья Алексеевна, материя на платье у Верочки самая дорогая, — и говорит Верочка: «одна материя 500 целковых стоит, а это для нас, мамаша, пустяки, у меня таких целая дюжина, а вот, мамаша, это дороже стоит — вот, на пальцы посмотрите», — смотрит Марья Алексеевна на пальцы Верочки, и на пальцах перстни крупных бриллиантов, — «этот перстень, мамаша, стоит 2 000 рублей, а этот, мамаша, дороже, 4 000 рублей, а вот на грудь посмотрите, мамаша, — эта брошка еще дороже: она стоит 10 000 рублей»; а мужчина говорит: «а это все для нас еще пустяки, милая маменька, Марья Алексеевна, а настоящая-то важность вот у меня в кармане, вот, милая маменька, посмотрите, бумажник какой толстый и набит все одними сторублевыми бумажками, и этот бумажник я вам, мамаша, дарю, потому что и это для нас пустяки, а вот этого бумажника, который еще толще, милая маменька, я вам не подарю, потому что в нем бумажек нет, а все банковые билеты да векселя, и каждый билет или вексель дороже стоит, чем весь бумажник, который я вам подарил, милая маменька». — «Умели вы, милый сын, Дмитрий Сергеевич, составить счастье моей дочери и всего нашего семейства; только откуда же, милый сын, вы такое богатство получили?» — «Я, милая маменька, по откупной части пошел».

И проснувшись, Марья Алексеевна думает про себя: «истинно, ему бы по откупной части идти».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗАМУЖЕСТВО И ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

II

Прошло два месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопуховых шли хорошо. Он успел [получить] два хороших урока, достал работу у какого-то книгопродавца — перевод учебника географии. Вера Павловна также имела урок, — пока еще только один и не очень завидный. Но все-таки нужды не пришлось испытать, — напротив, Лопуховы уже рассчитывали, что скоро — через полгода или даже меньше — могут обзавестись своим хозяйством. Доходы были очень скромные, но и расходы тоже.

Порядок их жизни устроился, конечно, не совсем в том виде, как полушутя, полусерьезно устраивала его Верочка в день своей фантастической помолвки, но все-таки очень похоже на то. Старик и старуха, жильцами которых они были, много толковали между

собою о том, как странно живут молодые, — будто вовсе и не молодые, — даже и не муж и жена, а так, точно бог знает что.

— Как бы тебе это сказать, Сидоровна: на то похоже, ежели бы, примерно, она ему сестра была, али он ей брат.

— Нашел чему приравнять! Между братом да сестрою никакой церемонности нет, а у них как? Он, как встал, пальто надевает, и сидит, ждет, покуда самовар принесешь. Ну, сделает чай, кликнет ее, она тоже уж одета выходит. Какие тут брат с сестрою? а ты так скажи: вот, бывает тоже, что небогатые люди по два семейства живут в одной квартире, вот к этому можно приравнять

— И как это, Сидоровна, чтобы муж к жене войти не мог, — значит, не одета, нельзя. Это на что похоже?

— А ты то лучше скажи: как они вечером-то расходятся? [Она] говорит: «прощай, миленький, спокойной ночи», — разойдутся, оба по своим комнатам, сидят, книжки читают, ну, он тоже пишет. Ты слушай, что раз было. Легла она спать, лежит, читает книжку; только слышу через перегородку-то, на меня сна-то тоже что-то не было, — слышу, встает. Только что же ты думаешь? слышу, одевается; ну, думаю, что дальше? Слышу, перед зеркалом стала, значит, волосы пригладить. Ну, вот как есть, точно в гости собирается. Ну, слушаю. Слышу, пошла. Ну, и я в коридор вышла, стала на стул, гляжу в его-то комнату через стекло-то. Слышу, подошла. «Можно войти, миленький?» — ведь у ней другого имени ему нет. А он: «сейчас, Верочка, минутку погоди», — лежал тоже. Платишко натянул, пальто застегнул, — ну, думаю, галстук надевать станет, нет, галстуха не повязал, — оправился, говорит: «теперь можно, Верочка». «Я, говорит, вот в этой книжке не понимаю, ты растолкуй». Он сказал. «Ну, говорит, извини, миленький, извини, что я тебя побеспокоила». А он говорит: «Ничего, Верочка, я, говорит, так лежал, ты не помешала». Ну, она и ушла.

— Так и ушла?

— Так и ушла.

— И он ничего?

— И он ничего. Да ты не тому дивись, что ушла, а ты тому дивись, — оделась, пошла, — он говорит: «погоди», оделся, — тогда говорит: «войди». Ты про это говори: какое это заведение?

— А вот что, Сидоровна: это секта такая, значит.

Другой разговор:

— Петрович, а ведь я ее спросила про ихнее заведение. Говорю: «вы, говорю, Вера Павловна, не рассердитесь, что я вас спрошу: вы какой веры?» — «Обыкновенно какой, русской», говорит. «А супругник ваш?» — «Тоже, говорит, русской» — «А секты никакой не изволите содержать?» — «Никакой, говорит: а почему так вздумалось?» — «Да вот почему, сударыня, — барыней, барышней ли, не знаю как назвать: вы с муженьком-то живете ли?» Засмеялась: «Живем», говорит. «Так отчего же у вас заведение такое, что вы его не одетая не принимаете, точно вы с ним не живете?» — «Да это, говорит, для того, что зачем же растрепанной показы-

ваться? А секты тут никакой нет». — «Так что же такое?» — говорю. «А для того, говорит, что так-то любви больше, и размолвок нет».

— А это точно, Сидоровна, что на правду похоже. Значит, всегда в своем виде.

— Да она мне еще какое слово сказала: «Ежели, говорит, я не хочу, чтобы другие меня в безобразии видели, так мужа-то, говорит, я больше люблю, значит, ему-то и вовсе не приходится, не умывшись-то, на глаза лезть».

— А и это на правду похоже, Сидоровна: отчего же на чужих-то жен зарятся? Оттого, что их в наряде видят, а свою в безобразии. Так и в писании говорится, в притчах Соломоных. Премудрейший царь был.

Говорится ли это в притчах Соломоных, или нет, не знаю.

(III)

Хорошо шла жизнь Лопуховых. Вера Павловна была всегда весела. Но однажды, — это было месяцев через пять после свадьбы, — Лопухов, возвратившись с урока, нашел жену в каком-то особенном настроении духа: она была как-то особенно довольна чем-[то], как будто необыкновенным, в ее глазах была и гордость, и радость. Тут Лопухов припомнил, что уже несколько дней можно было замечать в ней признаки приятной тревоги, улыбающегося раздумья, нежной гордости.

— Друг мой, у тебя есть какое-то веселье, что же ты не поделишься со мною?

— Кажется, есть, мой милый. Но погоди еще немного, я скажу тебе тогда, когда это будет верно. А то еще, пожалуй, понапрасну похвастаешься и тебя обманешь. Но кажется, что это верно.

— Но что же такое?

— А ты забыл наш уговор, мой миленький, не расспрашивать? Скажу, когда будет верно. Но, чтобы было верно, надобно подождать еще несколько дней. А это будет мне большая радость! Да и ты будешь рад, я знаю.

Прошло еще с неделю.

— Мой миленький, стану тебе рассказывать свою радость, только ты мне [посоветуй] — ты ведь все это знаешь. Видишь ли что, мой друг, мне давно хотелось что-нибудь делать, — для твоей невесты, помнишь? — для страшной; только она для меня вовсе не страшная. Я и придумала, давно уж, что можно завести мастерскую, швейную, а, ведь это хорошо?

— Ну, мой друг, у нас был уговор, чтобы я твоих рук не целовал, — да ведь то говорилось про другие дела, а на такой случай уговора не было. Давайте руку, Вера Павловна.

— После, мой миленький, когда удастся сделать.

— Когда удастся сделать, тогда и не мне дашь руку поцеловать, — тогда и Кирсанов, и Алексей Петрович, и все поцелуют, — а теперь пока я один, — и намерение стоит этого.

— Насилие? я закричу.

— А кричи.

— Миленький мой, я застыжусь и не скажу ничего; будто уж это такая важность!

— А вот какая важность, мой друг: мы все говорим, а ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом, а раньше всех решилась приняться за дело.

— Миленький мой, ты захвалил меня,—она покраснела и припала лицом к его груди, — спряталась. Он поцеловал ее голову.

— Умная головка!

— Миленький мой, перестань. Вот тебе и сказать нельзя. Видишь, ты какой.

— Перестану, говори, моя добрая.

— Не смей так называть.

— Ну, злая.

— Эх, какой ты, все мешаешь. Ты слушай. Ведь тут, мне кажется, [главное] то, что с самого начала, когда выбираешь немногих, нужна осмотрительность: чтобы это были люди в самом деле хорошие, честные, не легкомысленные, не шаткие, и настойчивые, и вместе мягкие, чтобы от них не выходило пустых ссор и чтобы они [умели] выбирать других. Так?

— Так, мой друг.

— Теперь я нашла трех таких девушек, — ах, сколько я перебирала, — ведь я, мой миленький, уж месяца три заходила в магазины, знакомилась. И нашла, — такие славные девушки. Я с ними хорошо познакомилась.

— И надобно, чтобы они были хорошие мастерицы своего дела, — ведь надобно, чтобы дело шло собственным достоинством, — ведь все должно быть основано на торговом расчете.

— Ах, еще бы нет, мой миленький, это разумеется.

— Так что же еще? О чем со мною советоваться?

— Да подробности, мой миленький.

— Ну, рассказывай подробности — да, верно, ты сама все обдумала и сумеешь приспособиться к обстоятельствам. Ты знаешь, тут главное — принцип, да характер, да уменье. Подробности определяются сами собою, по особенным условиям каждой обстановки.

— Так, знаю, — но все-таки, когда ты скажешь, что так, я буду более уверена.

Толковали долго. Лопухов не нашел ничего поправить в плане жены, но для нее самой план развился и прояснился оттого, что она рассказывала его.

На другой день Лопухов отнес в контору «Полицейских ведомостей» объявление, что «Вера Лопухова принимает заказы на шитье дамских платьев, белья» и т. д. «по сходным ценам» и т. д.

В то же утро Вера Павловна отправилась к Жюли.

— «Нынешней моей фамилии она не знает, — скажите, что m-lle Расальская».

— Дитя мое, вы без вуаля, открыто, ко мне, и говорите свою фамилию слуге? — но это безумство, — вы губите себя, мое дитя!

— Я замужем и могу теперь быть везде и делать, что хочу.

— Но ваш муж, — он узнает.

— Он через час будет здесь.

Верочка коротко рассказала свою [историю]. Жюли была в восторге, обнимала Верочку, целовала, плакала. Когда пароксизм прошел, Вера Павловна начала разговор о цели своего визита.

— Вы знаете, старых друзей не вспоминают иначе, как тогда, когда имеют в них надобность. У меня к вам большая просьба. Я завожу швейную мастерскую — давайте мне заказы и рекомендуйте меня вашим [знакомым]. Я сама хорошо шью, и помощницы у меня хорошие, — вы знаете одну из них (действительно, Жюли знала одну из них за отличную швею), — а вот вам образцы моей работы. И это платье я делала сама себе: вы видите, как оно хорошо сидит.

Жюли очень внимательно рассмотрела, как сидит платье, рассмотрела шитье платка, рукавчиков и осталась довольна.

— Мое дитя, вы могли бы иметь хороший успех, у вас есть мастерство и вкус. Но для этого надобно иметь пышный магазин на Невском.

— Да, я заведу современем, это будет моя цель. Теперь я принимаю заказы на дому.

Кончили дело, начали болтать опять о замужестве Верочки.

— А этот Сторешник — он две недели кутил ужасно, но потом помирился с Аделью, — я очень рада и за Адель, — он добрый малый, только жаль, что Адель не имеет характера.

И, оборвавшись на этой теме, Жюли пустилась болтать о похождениях Адели и других, — теперь m^{lle} Расальская была дама, следовательно, Жюли не считала нужным сдерживаться; сначала она говорила рассудительно, потом увлеклась, увлеклась и стала говорить о кутежах с восторгом, с легкомыслием, и пошла, и пошла. Вера Павловна сконфузилась, Жюли ничего не замечала. Вера Павловна оправилась и слушала уже с тем тяжелым интересом, с каким рассматриваешь черты милого лица, искаженные болезнью. Но вошел Лопухов, и Жюли мгновенно обратилась в солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта. Но и эту роль она выдержала недолго; начав поздравлять Лопухова с женою, такую красавицею, она опять разгорячилась: — «нет, мы должны праздновать вашу свадьбу», — велела подать завтрак на скорую руку, подать шампанское. Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли, и у нее закружилась голова. Поднялся крик, шум, гам, Жюли ушипнула Верочку, вскочила, побежала, Верочка за ней, — поднялась бегом по комнатам, прыганье по стульям; Лопухов сидел и смеялся; кончилось тем, что Жюли вздумала хвалиться силою: «я вас одною рукою подниму на воздух», «не поднимете», — принялись бороться, упали обе на диван

и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать — и обе уснули.

С давнего времени это был первый случай, когда Лопухов не знал, что ему делать. Будить? Жалко, испортишь все веселое свиданье неловким концом, — подумал, подумал, стал искать книги, — попалась книга *Chroniques de l'Oeil de Boeuf* — вещь, перед которою Фоблас кажется вял, — уселся на другой диван, стал читать и через четверть часа сам заснул, — не от шампанского, — на него и ром мало действовал, — а от скуки.

Лизетта разбудила Жюли часа через два — было время обедать. Пообедали; Верочка и Жюли опять покричали, опять посолидничали, при прощанье стали вовсе солидны; Жюли вздумала спросить, — прежде не случилось вздумать, — зачем Верочка заводит мастерскую: ведь если она думает о деньгах, то гораздо легче ей сделаться певицею, — у ней такой сильный и уже обработанный голос. Опять уселись, Верочка стала рассказывать свои мысли, и Жюли опять пришла в энтузиазм, и посыпались благословения, перемешанные с тем, что она, Жюли ле Телье, погибшая женщина, — и слезы, — но что она знает, что такое «добродетель», — и опять слезы, и опять благословения.

Дня через четыре Жюли приехала к Вере Павловне и дала довольно много заказов от себя, дала несколько адресов своих приятельниц, которые также сделают заказы. Она привезла с собою Сержу, сказав, что без этого нельзя: «Лопухов был у меня, ты должен теперь сделать ему визит». Жюли держалась очень солидно и выдержала солидность без малейшего отступления, хотя просидела у Лопуховых долго. В патетизм не приходила, а впадала больше в буколическое настроение, с восторгом вникая во все подробности бедноватой обстановки быта Лопуховых и находя, что именно так следует жить, что иначе нельзя жить, что только в скромной обстановке возможно истинное счастье и т. д., и даже объявила Сержу, что они отправятся с ним жить в Швейцарию, поселятся в маленьком сельском домике, будут любить друг друга, пить сливки, удить рыбу, ухаживать за своим огородом. Серж сказал, что он совершенно согласен, но посмотрит, что она будет говорить часа через три-четыре.

Гром изящной кареты и топот пары удивительных лошадей Жюли произвели сильное впечатление в население 5-й линии между Средним и Малым проспектами. Много глаз смотрело, как у запертых ворот одноэтажного деревянного домика в пять окон вышла из кареты удивительно великолепная дама, с видным офицером, важное достоинство которого не подлежало сомнению. Всеобщее огорчение было произведено тем, что через минуту ворота отворились, карета въехала на двор, и любознательность лишилась надежды видеть еще раз величественного офицера и еще величественнейшую даму вторично при их отъезде. Когда Петрович возвратился домой с своей торговли, у Сидоровны с ним произошел разговор:

— Петрович, а видно, что наши жильцы-то из важных людей. Приезжали к ним генерал с генеральшею. Генеральша так одета, что и рассказать нельзя, а на генерале две звезды.

Каким образом [Сидоровна] видела звезды на Серже, который если бы и имел их, то, вероятно, не носил бы при простых визитах к знакомым, а пока еще и не имел, — это довольно удивительно. Но действительно, не подлежит ни малейшему сомнению то, что Сидоровна видела на нем две звезды, — действительно видела; это мы знаем, что их на нем не было, но у него был такой вид, что с точки зрения Сидоровны нельзя было не увидеть на нем двух звезд.

— И на лакее ливрея какая, Петрович, — сукно аглицкое, рублей по 5 аршин, — видно, что денег-то куры не клюют. И сидели они у наших, Петрович, часа два, и наши с ними говорят просто, вот как я с тобою, и не кланяются, и смеются, и наш-то сидит с генералом, и оба развалились в креслах-то, и курят, — так и курит при генерале, и развалился, — да чего, — папироска погасла, так он взял у генерала, да и закурил свою-то. А уж с каким почтением генерал ручку целовал у нашей, так и рассказать нельзя. Как же теперь это дело рассудить, Петрович?

— Все от бога, значит, и знакомство али родство такое от бога.

— Так, Петрович, от бога, слова нет, — ну, а я так думаю, что либо наш, либо наша приходится либо братом, либо сестрой либо генералу, либо генеральше.

— Как же это будет по-твоему, Сидоровна? Не похоже что-то. Как бы так, у них бы деньги были.

— А так, Петрович, что значит, не в браке мать родила, либо отец не в браке родил.

— Это может статься, Сидоровна; бывает.

Сидоровна на три [дня] приобрела большую важность в мелочной лавочке. Все обращались к ней с душами, жаждавшими знания.

Следствием всего этого было, что через неделю явился к дочери и зятю Павел Константинович.

Марья Алексеевна собирала сведения о жизни Веры Павловны, не то чтобы постоянно и заботливо, а так, вообще, тоже больше из чисто отвлеченного научного инстинкта любознательности; поручила одной из мелких своих кумушек, жившей на Васильевском, справляться о ее дочери, когда случится итти мимо, и кумушка доставляла ей сведения иногда раз в месяц, иногда и чаще, как случится. Лопуховы живут между собою в ладу. Дебоша никакого нет. Одно только: молодых людей много бывает, — да все мужнины приятели, и скромные. Живут небогато, но видно, что деньги есть. Не то что продавать, а покупают. Шелковое платье себе сшила. По случаю два дивана, стол к дивану, полдюжины кресел купили, заплатили 40 рублей, — а мебель хорошая, рублей 100 надо дать. Сказывали хозяевам, чтобы новых жильцов искали, — «мы, говорит, через месяц на свою квартиру съедем».

Марья Алексеевна утешалась этими слухами. Женщина очень грубая и в своем роде очень дурная, она много мучила дочь, готова была и убить, и погубить ее для своей выгоды; это так; и проклинала ее, потерпев через нее ужасное расстройство отличного плана обогатиться. Но следует ли из этого, что она не имела к дочери никакой любви? Нисколько не следует. Когда дело было кончено, когда дочь решительно отбилась от рук, — что ж делать? что с возу упало, то пропало. А все-таки дочь, — и теперь, когда уже не могло представиться никакого случая, чтобы для выгоды Марьи Алексеевны мог случиться какой-нибудь вред дочери, — мать желала ей добра. И опять — не то чтобы желала уж бог знает [как], все равно, как вы могли бы, пожалуй, подумать, что она бог знает как заботилась шпионить за ней, — как меры для слежения за дочерью были так, между прочим, потому что согласиться, нельзя же не следить, — так и желание добра было между прочим, потому что, согласитесь, все-таки дочь. Почему ж и [не] помириться? тем больше, что разбойник зять, как по всему видно, человек основательный, делец, выйдет в люди, пробьет себе дорогу, стало быть, современем и пригодится. Таким образом, Марья Алексеевна и шла понемногу к мысли возобновить сношения с дочерью. Понадобилось бы еще с полгода, пожалуй, с год на то, чтобы доплестись до этого, — нужды не было торопиться, время терпит, — но слух о генерале с генеральшей разом двинул дело вперед через всю остававшуюся половину дороги. Разбойник, действительно, оказывался шельмецом: как? отставной студентик, без чина, с двумя грошами денег, вошел в дружбу с богатым генералом и подружил свою жену с его женою — такой человек далеко пойдет! Или это Вера с генеральшей подружилась и мужа подружила с генералом? Все равно, значит, Вера далеко пойдет!

Потому, немедленно по получении сведения о визите, отправлен был отец объявить дочери, что мать простила ее и зятя и зовет к себе. Вера Павловна [и муж] отправились с Павлом Константиновичем и просидели [начало] вечера с ним и Марьей Алексеевною. Свидание было, конечно, холодное и натянутое. Кое-как досидев до чаю, Лопуховы спешили отправиться домой.

Полгода Верочка жила спокойно, чисто, и странное впечатление произвел на нее подвал. Грязь, цинизм, пошлость всякого рода, — как это поразительно резко бросается теперь ей в глаза, уже отвыкшие от таких картин.

«Как это у меня доставало силы жить в этих тяжелых и гадких стеснениях? Как я могла дышать в этой атмосфере? И не только жила, даже осталась здорова. Удивительно, непостижимо! Как могла я тут вырасти с любовью к добру? Удивительно!» — думала Вера Павловна.

Когда они возвратились домой, к ним через несколько времени заехали Алексей Петрович с Марьей Андреевной, зашел и Кирсанов. Как вдвойне отрадна показалась Вере Павловне ее новая жизнь, с этими чистыми мыслями, в обществе чистых людей! По

обыкновенно, шел и веселый разговор со множеством воспоминаний, шел и серьезный разговор обо всем на свете, от тогдашних дел, — междоусобная война в Канзасе, предвестница великой нынешней войны юга с севером, занимала собою этот маленький кружок: теперь о политике толкуют все, тогда интересовались ею очень немногие, и в числе их были Лопухов, Кирсанов, их знакомые, — до тогдашнего спора о химических основаниях земледелия по теории Либиха, и о законах исторического прогресса, без которых не обходился ни один разговор в подобных кружках, и о важности различия реальных желаний, которые ищут и находят удовлетворение, от фантастических, которым невозможно, да и не было бы приятно найти себе удовлетворения, — важности, которая тогда была выставлена антропологической философией, — и обо всем тому подобном или и не подобном, но родственном. Дамы по временам и вслушивались в эти учености, рассказывавшиеся очень просто, будто и не учености, и вмешивались в них со своими вопросами, а больше не слушали, шутили, — даже обрызгали водою Алексея Петровича и Лопухова, когда они уж очень восхитились важностью минерального удобрения, — но Алексей Петрович и Лопухов толковали о своих ученостях непоколебимо; Кирсанов плохо помогал им, — был больше на стороне дам, и они втроем играли, пели, хохотали до глубокой ночи, когда, уставши, развели, наконец, и непоколебимых ревнителей серьезных разговоров. И вот, Вера Павловна засыпает, и снится ей сон.

[III]

[ВТОРОЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ]

Поле, и [по] полю ходят муж, — то есть миленький, — и Алексей Петрович; и миленький говорит:

«Вы интересуетесь знать, Алексей Петрович, почему из одной грязи родится пшеница, — такая белая, чистая и нежная, а на другой грязи не может родиться. Эту разницу вы сейчас сами увидите. Посмотрите [на] корень этого прекрасного колоса, — видите, это грязь свежая, — она, можно сказать, чистая грязь, — вы знаете, на языке нынешней философии это называется реальная грязь. Она грязна, это правда, — но всмотритесь в нее хорошенько, — вы видите, что все элементы, из которых она состоит, сами по себе здоровы. Они составляют грязь в этом соединении, но пусть немного переменится расположение атомов, — и выйдет что-нибудь другое, — и все другое, что выйдет, будет также здоровое, потому что основные элементы здоровы. Отчего это? Обратите внимание на положение этой поляны, — вы видите, что вода здесь имеет сток, и потому гнилости не может быть».

«Да, движение есть реальность, — говорит Алексей Петрович, — потому что движение — это жизнь, а жизнь и реальность одно и то же. Но движение есть труд, потому труд есть реальность».

«Так видите, Алексей Петрович, что если из этой грязи вырастет колос, он будет здоровый?»

«Да, потому что это грязь реальной жизни», говорит Алексей Петрович.

«Теперь перейдем на эту поляну. Берем и здесь растение, рассматриваем также его корень. Он также загрязнен, — обратите внимание на характер этой грязи. Нетрудно видеть, что это грязь гнилая».

«То есть фантастическая грязь, по научной терминологии», говорит Алексей Петрович.

«Итак, элементы этой грязи находятся в нездоровом состоянии; натурально, что как бы они ни перемещались, и какие бы другие вещи, не похожие на грязь, ни выходили из этих элементов, все эти вещи будут нездоровые, дрянные».

«Да, потому что самые элементы нездоровы», говорит Алексей Петрович.

«Нам нетрудно будет открыть причину этого нездоровья».

«То есть этой фантастической гнилости», говорит Алексей Петрович.

«Да, гнилости этих элементов, если мы обратим внимание на положение этой поляны. Вы видите, вода не имеет стока из нее, застаивается и потому гниет. Да, отсутствие движения есть недостаток труда, потому что труд и движение представляются в антропологическом анализе понятиями тождественными. А без движения нет жизни, следственно нет и реальности; итак, это есть грязь фантастическая, то есть грязь гнилая. Вы видите теперь, почему никакого хорошего растения не может возникнуть из этой грязи?»

«Да, потому что это грязь фантастическая, или гнилая, между тем как очень натурально, что на грязи реальной являются хорошие растения, так как она есть грязь здоровая. Что и требовалось доказать, как говорится по-латыни».

Как говорится по-латыни «что и следовало доказать», — Вера Павловна не может расслушать.

«А у вас, Алексей Петрович, осталась привычка к кухонной латыни и к силлогистике», говорит миленький, то есть муж.

Вера Павловна подходит к ним и говорит: «Да полноте вам толковать о своих анализах, тождествах и антропологизмах, — пожалуйста, что-нибудь другое, чтоб и я могла участвовать в разговоре».

«Давайте исповедываться», говорит Алексей Петрович.

«Давайте, давайте, это будет очень весело, — говорит Вера Павловна. — Но вы подали мысль, вы и подайте пример исполнения».

«С удовольствием, сестра моя, — говорит Алексей Петрович. — Но вам сколько лет, милая сестра? Восемнадцать?»

«Скоро будет девятнадцать».

«Но еще нет; потому положим восемнадцать, и будем все исповедываться за жизнь только до восемнадцати лет, потому что нужно равенство условий. Я буду исповедываться за себя и за жену. Мой отец был дьячок в губернском городе и занимался переплет-

ным мастерством; моя [мать] пускала на квартиру семинаристов. С утра до ночи и мать, и отец все толковали о куске хлеба. Отец выпивал, — но только оттого, когда приходилась нужда невтерпёж, — это реальное горе, — или, когда доход был порядочный, он отдавал матери все деньги и говорил: «ну, матушка, теперь, слава богу, на два месяца нужды не увидишь, а я себе полтинничек оставил, на радости выпью» — это реальная радость. Моя мать часто сердилась, иногда бивала меня, но тогда, когда у ней, как она говорила, поясница отнималась от тасканья корчаг и чугунов и мытья белья на нас пятерых и на пять человек семинаристов, и мытья полов, загрязняемых нашими двадцатью ногами, не носившими калош, и ухода за коровой, — это реальное раздражение нервов чрезмерною работою без отдыха, — и когда при всем при этом «концы с концами не сходились», как она говорила, то есть, не хватало денег на сапоги кому из нас, братьев, или на башмаки сестрам, — это реальное горе. Она ласкала нас, но только тогда, когда мы, хоть и глупенькие дети, сами вызывались пособить ей в работе, или когда мы делали что-нибудь другое умное, или когда выдавалась ей редкая минута отдохнуть, и ее поясницу «отпускало», как она говорила, — это все реальные радости».

«Ах, довольно ваших реальных радостей и горестей!»

«В таком случае, позвольте начать исповедь за жену».

«Не хочу слушать, в ней точно такие же реальные горести и радости».

«Совершенная правда».

«Но, быть может, вам интересно будет выслушать мою исповедь», говорит Серж, неизвестно откуда взявшийся.

«Посмотрим».

«Мой отец и мать, хотя были люди богатые, точно так же вечно толковали о деньгах, — и богатые люди не свободны от таких же забот».

«Вы не умеете исповедываться, Серж, — любезно говорит Алексей Петрович: — вы скажите, почему же они толковали о деньгах? Какие расходы их беспокоили? Каким потребностям затруднялись они удовлетворять?»

«Да, конечно, я понимаю, к чему вы спрашиваете. Но оставим этот предмет. Обратимся к другой стороне их мыслей. Они также заботились о детях».

«А кусок хлеба был обеспечен их детям?»

«Конечно, но надобно было позаботиться».

«Не исповедуйтесь, Серж, — говорит Алексей Петрович, — мы знаем вашу историю: заботы об излишнем, мысли о ненужном, — вот почва, на которой вы выросли, это почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и неглупый, и очень хороший, — а к чему вы пригодны, на что, кому вы полезны?»

«Пригоден к тому, чтобы провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить», отвечает Серж.

«Из этого мы видим, — говорит Алексей Петрович, — что фантастическая или нездоровая почва...»

«Ах, как вы надоели с вашею реальностью и фантастичностью, — давно все понятно, а они продолжают толковать», говорит Вера Павловна.

«Так не хочешь ли потолковать со мною? — говорит Марья Алексеевна, тоже неизвестно откуда взявшаяся: — вы, господа, удалитесь, потому что мать хочет поговорить с дочерью».

Все исчезают. Вера видит себя наедине с Марьею Алексеевною. Лицо Марьи Алексеевны принимает насмешливое выражение.

«Вера Павловна, вы образованная дама, вы такая чистая и благородная, — говорит мать, и голос у нее дрожит от злобы: — вы такая добрая, — как мне, грубой и злой пьянице, разговаривать с вами? У вас злая и дурная мать, — а позвольте вас спросить, об чем эта мать заботилась? О куске хлеба, — это по-вашему, по-ученому, реальная, истинная человеческая забота — не правда ли? Вы слышали ругательства, вы видели дурные дела и низости, но какую цель они имели? пустую, вздорную? Нет, сударыня, какова бы ни была жизнь вашего семейства, но это была не пустая, фантастическая жизнь. Видите, Вера Павловна, я выучилась говорить по-вашему, ученому. Но вам, Вера Павловна, прискорбно и стыдно, что ваша мать злая женщина? Вам угодно было бы, чтоб я была доброю и честною женщиною? Я колдунья, Вера Павловна, я могу исполнить ваше желание. Извольте смотреть, Вера Павловна, ваше желание исполняется, — я, злая, исчезаю — смотрите на добрую вашу мать и ее дочь».

Кровать. На кровати женщина — да это Марья Алексеевна, только добрая, — зато, какая она бледная, дряхлая в свои 45 лет, какая изнуренная! У кровати девушка лет восемнадцати, — да это я сама, это я, Верочка, — только какая же оборванная, — да что это? У меня и цвет лица какой-то желтый. Да и комната какая бедная! Мебели почти нет. «Верочка, друг мой, ангел мой, — говорит Марья Алексеевна, — приляг, отдохни, мое сокровище — ну, что на меня смотреть, я и так полежу, — ведь ты третью ночь не спишь».

«Ничего, маменька, я не устала».

«А мне все нет лучше, Верочка. Как-то без меня останешься? У отца жалованьишко маленькое, ты девушка красивая, злых людей на свете много, предостеречь тебя будет некому, — боюсь я за тебя».

Верочка плачет.

«Милая моя, ты не огорчись, я тебе не в укор это скажу, а в предостережение: ты зачем в воскресенье вечером из дому уходила, за день перед тем, как я занемогла?»

Верочка плачет.

«Он тебя обманет, Верочка, брось ты его».

«Нет, маменька».

Два месяца, — как это, в одну минуту два месяца прошли?

Сидит офицер, на столе перед офицером бутылка, на коленях у офицера она, Верочка.

Еще два месяца прошли. Сидит барыня. Перед барынею стоит Верочка.

«А гладить умеешь, милая?»

«Умею».

«А из каких ты, крепостная или вольная?»

«У меня отец был чиновник».

«Так из благородных, милая? Так я тебя нанять не могу. Какая ты будешь слуга? Ступай, моя милая, не могу».

Верочка на улице.

«Мамзель, а мамзель, — говорит какой-то пьяноватый юноша: — вы куда идете? Я вас провожу».

Верочка бежит к Неве.

«Что, моя милая, насмотрелась, какая ты у доброй-то матери была? — говорит прежняя, настоящая Марья Алексеевна: — хорошо я колдовать умею? Али не угадала? Что молчишь? Язык-то есть? Да я из тебя слова выжму, — вишь ты, не идут с языка-то. По магазинам ходила?»

«Ходила», говорит Верочка, а сама дрожит.

«Видала? Слыхала?»

«Да».

«Хорошо им жить? Ученые они? Книжки читают, об новых ваших порядках думают, как бы людям добро делать? Думают, что ли, говори!»

Верочка молчит.

«Эк из тебя слова нейдут. Хорошо им жить, спрашиваю?»

«Нет», отвечает Верочка.

«Такой хотела бы быть, как они? Молчишь, рыло-то гнешь, видно, невкусно. Слушай же, Вера, что я скажу:

Ты ученая — на мои воровские деньги учена. Ты об добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и знала, что такое добром называется! Понимаешь? Всем своим хорошим моему дурному обязана. Все от меня. Меня не будь, и тебя бы не было. Я бы не такая была, и ты бы такая не была».

Как пристыжена, как опечалена Верочка!

«Маменька, это правда, но я все-таки не могу любить вас».

«А я разве прошу тебя об этом, Вера?»

«Мне хотелось бы, по крайней мере, уважать вас, но я и этого не могу».

«А я разве нуждаюсь в твоём уважении, Вера?»

«Что же вам нужно, маменька, зачем вы пришли ко мне так страшно говорить со мною, чего вы требуете?»

«Будь признательна. Не люби, не уважай, — я зла и к тебе, — что меня любить? — я все делаю дурно, — что меня уважать? Но ты пойми, что без меня, дурной, ты не была бы хорошей».

«Уйдите, Марья Алексеевна, теперь я поговорю с сестрицею».

Марья Алексеевна исчезает, — невеста своих женихов, сестра своих сестер берет за руку Верочку.

«Верочка, я хотела быть с тобою всегда — ведь ты всегда добрая, а я такая, какой сам человек, с которым я говорю. Но ты теперь грустная — видишь, и я грустная — посмотри, хороша я грустная?»

«Все-таки лучше всех на свете».

«Поцелуй меня, Верочка, — мы вместе огорчены. Ведь твоя мать говорила правду. Я ее не люблю, но она мне нужна».

«Разве без нее нельзя вам?»

«После будет можно, когда не нужно будет людям быть злыми. А теперь нельзя. Видишь, добрые не могут сами стать на ноги, — злые сильны, злые хитры. Но видишь, Верочка, злые бывают разные. Одним нужно, чтобы на свете становилось хуже, а другим нужно, чтобы становилось лучше, — так нужно для их пользы. Видишь, твоей матери было нужно, чтобы ты была образованная, — ведь она брала у тебя деньги, которые ты получала за уроки; ведь она хотела, чтобы ее дочь поймала богатого зятя ей, а для этого нужно было ей, чтобы ты училась. Видишь, у ней были дурные мысли, но выходила из них польза человеку, — ведь тебе вышла польза? А у других злых не так. Если бы твоя мать была Анна Петровна, разве ты училась бы так, чтобы стала образованная, узнала добро, полюбила его? Нет, тебя бы не допустили узнать что-нибудь хорошее, тебя бы сделали куклою, так? Такой матери нужна дочь кукла, потому что она сама кукла и все играет с куклами в куклы. А твоя мать человек дурной, а все-таки человек. Видишь, Верочка, как злые бывают разные? Одни мешают мне, — ведь я хочу, чтобы люди стали людьми, а они хотят, чтобы люди были куклами. А другие злые помогают мне. Они не хотят помогать мне, но они дают простор людям становиться людьми, они собирают средства людям становиться людьми, а мне только этого и нужно. Да, Верочка, теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других злых. Мои злые злы, но под их злою рукою растет добро. Да, Верочка, будь признательна к своей матери. Не люби ее — она злая; но не осуждай ее — без нее не было бы тебя».

«И всегда так будет?»

«Нет, Верочка, когда добрые будут сильны, тогда мне не нужны будут злые. Это скоро будет, Верочка. Тогда злые увидят, что нельзя им быть злыми, и те злые, которые были людьми, станут добрыми, — ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми, а ведь они знают, что добро лучше зла, — они полюбят его, когда можно будет любить его без вреда».

«А те злые, которые были куклами, что с ними будет? Мне и их жаль».

«Они будут играть в другие куклы, — только в безвредные куклы. Но ведь у них не будет таких детей, как они, — ведь у меня

все люди будут людьми, и их детей я выучу быть не куклами, а людьми».

«Ах, как это хорошо будет!»

«Да; да и теперь хорошо, потому что теперь готовится это хорошее; когда ты, Верочка, помогаешь кухарке готовить обед, — ведь в кухне душно, чадно — а ведь тебе хорошо, нужды нет, что чадно и душно? Всем хорошо сидеть за обедом, но лучше всех тому, кто помогал готовить его — тому он вдвое вкуснее. Правда. Верочка?»

«Правда».

«Так о чем же грустить? Да ты уж и не грустишь».

«Какая вы добрая!»

«И веселая, Верочка, — я всегда веселая, — и когда грустная, все-таки веселая, правда?»

«Да, вы всегда прогоняете грусть, — когда мне грустно, вы придете тоже грустная, а сейчас прогоните грусть».

«Помнишь мою песенку: Dons vivons?..»

«Помню».

«Давай петь!»

«Давайте!»

— Верочка! Да я разбудил тебя? Впрочем, уж чай готов. Я, было, испугался — слышу, ты стонешь, вошел, — слышу, ты уж поешь.

— Нет, мой миленький, я сама проснулась. [А какой я сон видела] я тебе расскажу за чаем. Ступай, я оденусь. А как вы смели войти без позволения в мою комнату, Дмитрий Сергеевич? Вы забываетесь. А ты испугался за меня? Миленький, подойди, я тебя поцелую за это. Ну, поцеловала, — ступай же, ступай, мне надо одеваться.

— Да уж так и быть, давай я тебе прислужу вместо горничной.

— Ну, пожалуй, миленький — только как это стыдно!

[IV]

Мастерская Веры [Павловны] устроилась. Основания были просты, вначале даже так просты, что нечего о них и говорить. Вера Павловна не сказала трем первым швеям ровно ничего, кроме того, что дает им плату несколько больше той, какую получают швеи в магазинах, — дело не представляло ничего необыкновенного, швеи видели, что Вера Павловна женщина не пустая, не легкомысленная, и ее предложение не возбуждало никаких недоумений. Они приняли его с охотой. Эти три девушки выбрали других, трех или четырех, с тою осмотрительностью, о которой просила их Вера Павловна; в условиях выбора тоже не было ничего возбуждающего недоверие: молодая и скромная женщина хочет, чтобы работницы ее мастерской были девушки прямодушного, доброго характера, рассудительные, уживчивые, — что же тут такого особенного? Не хочет ссор и только. Она сама познакомилась и с этими вы-

бранными; хорошо познакомилась, прежде чем сказала, что принимает их; это, натурально, тоже рекомендует ее как женщину основательную, — и только.

Таким порядком проработали месяц, получая в свое время условленную плату. Вера Павловна сама постоянно бывала в мастерской и вошла в полное доверие у швей как женщина основательная.

Но когда кончился месяц, Вера Павловна пришла в мастерскую с какою-то счетною книгой, попросила своих швей прекратить работу и послушать, что она будет говорить.

Стала говорить она самым простым языком в таком роде:

— Вот, мы теперь хорошо знаем друг друга. Я могу про вас сказать, что вы и хорошие работницы, и хорошие девушки. А вы про меня [не скажете], чтобы я была дура или какая-нибудь хитрая обманщица. Значит, можно мне с вами поговорить теперь откровенно, и если мои слова покажутся вам странны, то вы об них подумаете хорошенько, а не скажете с первого же раза, что у меня какие-нибудь невозможные или обманчивые мысли. Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские, чтобы швеям было в них много выгоднее работать, чем в таких, какие мы все знаем. Вот мне и захотелось попробовать. Судя по первому месяцу, кажется, что, точно, можно. Вы получали плату исправно, а вот я вам скажу, сколько, кроме той платы, осталось у меня денег в прибыли.

Вера Павловна прочла счет прихода и расхода за месяц. В расходе были поставлены, кроме выданной платы, все другие издержки: на наем комнаты, на освещение, даже издержки Веры Павловны на извозчика по делам мастерской — около рубля.

— Так вот, у меня в руках остается, как видите, столько-то денег. Теперь, что делать с этими деньгами? Я завела мастерскую затем, чтобы эти прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получены. Потому и раздаю их вам — на первый раз всем поровну, — после посмотрим, так ли лучше распоряжаться ими, или можно как иначе, еще выгоднее для вас. — Она раздала деньги.

Швеи несколько времени не могли опомниться от удивления, потом начали благодарить. Вера Павловна дала им несколько поговорить о их благодарности за полученные деньги, чтобы не обидеть отказом, похожим на пренебрежение к их мнению или расположению, потом продолжала:

— Теперь надобно мне рассказать вам самую трудную вещь из всего, о чем придется нам когда-нибудь говорить, и не знаю, сумею ли рассказать ее хорошенько. А все-таки попробовать надобно. Зачем я эти деньги не оставила у себя, какая охота была мне заводить мастерскую, если не брать от нее дохода? Мы с мужем живем без нужды, — люди, как вы знаете, не богатые, но все-го у нас довольно. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, — да и говорить бы не нужно, он бы сам заметил,

что мне нужно больше денег, и было бы у меня больше денег. Он теперь занимается не такими делами, которые выгоднее, а которые ему приятнее. Но мы с ним друг друга очень любим, и ему всего приятнее делать то, что для меня приятно, все равно, как и мне для него. Поэтому, если бы у меня не доставало денег, он занялся бы делами, которые выгоднее нынешних его занятий, — он сумел бы найти, потому что он человек умный и оборотливый. А если он этого не делает, значит, мне довольно и тех денег, сколько у нас с ним есть. Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам, — ведь оно не у всех же людей, — вы знаете, у людей есть разные пристрастия: у одних пристрастия к балам или к театру, у других к нарядам или картам, — а у меня вот к этому, чем я с вами пробую заняться. А почему это пристрастие у меня? Вот почему. Добрые и умные люди много книг написали о том, как надобно жить на свете, чтобы всем хорошо было, и самое главное, по их словам, то, чтобы мастерские завести по новому порядку, вот мне и хочется посмотреть, сумеем ли мы с вами завести такой порядок, какой нужно. Это все равно, как иному хочется хороший дом выстроить, другому развести хороший сад или оранжерею, — так вот мне хочется завести хорошую швейную мастерскую, чтобы весело было на нее любоваться.

Оно, конечно, уж и то было бы порядочно, если бы я стала каждый месяц раздавать вам прибыль, как теперь. Но добрые люди говорят, что можно сделать еще гораздо лучше, так что и прибыли будет больше, и употребление из нее можно делать выгоднее. Говорят, будто можно очень хорошо устроить. Вот мы посмотрим. Я вам буду понемногу рассказывать, что еще можно сделать, по словам умных людей, да вы и сами будете присматриваться, так будете замечать; и, как вам что покажется можно сделать хорошее, мы и будем пробовать это делать, — понемножку, как будет можно. Но только то надобно сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить, — только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят сделать.

А теперь вот мое последнее хозяйское распоряжение без вашего совета. Вы видите, надобно вести счета и смотреть за тем, чтобы не было лишних расходов. В прошлый месяц я одна это делала, а теперь одна делать не хочу. Выберите двух из себя, чтобы они этим занимались вместе со мною и по вашему желанию. Я без них ничего не буду делать. Ведь ваши деньги, а не мои, стало быть, вам и смотреть за ними надобно. Теперь это дело еще новое, неизвестно, кто из вас к нему больше способен, так для пробы надобно сначала выбрать на короткое время, — а через неделю посмотрите, других ли выбрать, или оставить прежних в этой должности.

Долгие разговоры были возбуждены этими странными словами. Но доверие было уже приобретено Верою Павловною, да и гово-

рила она просто, не [забегая]¹ далеко вперед, не рисуя никаких особенно заманчивых перспектив, которые возбуждают после во-сторга недоверие. Потому девушки не сочли ее помешанною, — а только это и было нужно, чтобы не сочли помешанною. Дело пошло понемногу.

Конечно, понемногу, — вот короткая история мастерской за целые два года, в которые эта мастерская [составляла] главную сторону истории самой Веры Павловны:

Девушки, из которых составилась корень мастерской, были выбраны осмотрительно, были хорошие швеи, были прямо заинтересованы в успехе работы, потому, натуральным образом, работа шла очень успешно. Мастерская не теряла никого из тех, которые раз пробовали сделать ей заказ. Пробудилась небольшая зависть со стороны некоторых модных магазинов и швейных. Между прочим, для избежания всяких придинок, очень скоро понадобилось Вере Павловне получить право иметь на мастерской вывеску. Скоро заказов стало получаться больше, чем сколько могли исполнять девушки, с самого начала вошедшие в мастерскую, и состав ее увеличивался. Через полгода в ней было до двадцати девушек, потом и больше.

Одно из первых последствий того, что окончательный голос по всему управлению дан был самим швеям, состояло в решении, которого и надобно было ожидать: в первый же месяц управления через своих выборных девушки определили, что не годится самой Вере Павловне работать без вознаграждения. Когда они объявили ей об этом, она сказала, что и действительно так следует. Хотели дать ей третью часть прибыли, — она несколько времени и откладывал ее в сторону, пока растолковала девушкам, что это противно главной мысли их порядка. Они довольно долго не могли понять этого, но потом согласились, что, действительно, Вера Павловна отказывается от особенной доли из прибыли не из самолюбия, а потому, что так нужно по сущности дела. К этому времени мастерская имела уже такой размер, что одна Вера Павловна не успевала быть закройщицею, и надобно было иметь двух закройщиц. Ей положили такое же жалованье, как им.

Как делить прибыль? Вере Павловне хотелось довести до того, чтобы прибыль делилась совершенно поровну между всеми. До этого дошли только в конце второго года, а прежде того перешли через несколько ступеней от раздела прибыли пропорционально заработной плате. Сначала увидели, что если какая-нибудь девушка пропускала без работы несколько дней по болезни или другим уважительным причинам, то нехорошо за это уменьшать ее долю из прибыли. Потом согласились, что закройщицы и другие девушки, получающие особую плату по развозу заказов и другим должностям, уже достаточно вознаграждаются своим особенным жалованьем, и что несправедливо брать им больше других также и из

¹ В оригинале: говорила. — *Ред.*

прибыли. Простые швеи, не занимавшие должностей, были так деликатны, что не требовали этой перемены, когда заметили несправедливость прежнего порядка; сами должностные лица почувствовали неловкость пользоваться лишним и отказались от него, когда вместе со всей мастерской достаточно поняли дух нового порядка. Труднее всего было развить то понятие, что простые швеи должны получать одинаковую долю из прибыли, хотя одни успевают зарабатывать больше жалованья, чем другие; что швеи, работающие успешнее других, уже достаточно вознаграждаются за успешность своей работы платою за работу. Это и было последнее изменение распределения прибыли, сделанное уже только в конце второго года, когда мастерская поняла, что прибыль — не вознаграждение за искусство той или другой личности, а результат общего характера мастерской, результат ее устройства, ее цели, а цель эта — всевозможная одинаковость пользы от работы для всех участвующих в работе, каковы бы ни были личные особенности; что от этого характера мастерской зависит все участие работающих в прибыли. А характер мастерской, ее дух составляется единодушием всех, и для этого единодушия одинаково важна всякая участница: и молчаливое согласие самой застенчивой или наименее даровитой участницы не менее важно для сохранения единодушной гармонии, для развития и сохранения порядка, полезного для всех, для всего успеха дела, чем деятельная хлопотливость самой бойкой или самой даровитой.

Я пропускаю множество подробностей, потому что не описываю мастерскую, а только рассказываю лишь в той степени, в какой нужно это для обрисовки деятельности Веры Павловны. Если и упоминаются некоторые подробности, то лишь затем, чтобы видно было, как действовала Вера Павловна, как она вела дело шаг за шагом, и терпеливо, и неотступно, и как твердо выдерживала свое правило: не порсяжаться ничем, а только советовать, предлагать свое содействие и помогать исполнению решенного ее компаниею.

Прибыль делилась каждый месяц. Сначала девушки брали всю ее, — быть может, это и было лучше всего вначале, потому что у каждой из них были безотлагательные надобности, которые следовало удовлетворить как можно скорее, а девушки еще не были привычны действовать дружно. Когда от постоянного участия в делах они приобрели навык соображать весь ход работ в мастерской, Вера Павловна обратила их внимание на то, что в их мастерстве количество заказов распределяется очень неровно по разным месяцам, и что в месяцы, особенно выгодные, недурно отлагать часть прибыли для уравнивания месяцев, когда работа не так выгодна. Это было первою мерою по делу об умении самым выгодным образом употреблять прибыль. Разумеется, велись очень точные счета, и девушки знали, что, если кто из них покинет мастерскую, то не встретит затруднений тотчас же получить свою долю, остающуюся в кассе. Образовался небольшой запасный капитал, понемногу рос, и начали приискивать употребление ему. С первого же

раза было всеми понято, что из этого капитала можно делать ссуды девушкам, у которых встречается какая-нибудь особенная, чрезвычайная надобность, и никому не пришло в голову, что надобно присчитывать проценты на занятые деньги, — бедные люди имеют понятие, что хорошее денежное пособие бывает без процентов. За учреждением этого небольшого банка последовало основание коммиссионерства для покупок: девушки нашли выгодным покупать чай, сахар, кофе, обувь, многие другие вещи через посредство мастерской, которая брала товары по более дешевой цене. От этого через несколько времени пошли дальше, — сообразили, что выгодно будет устроить таким же порядком покупку хлеба и других вещей, которые берутся в булочных и мелочных лавочках. Но вместе с тем рассудили, что для оптового, дешевого получения этих мелких ежедневных покупок надобно всем жить по соседству, — постепенно стали собираться по несколько на одну квартиру и выбирать квартиры подле мастерской. Тогда у мастерской явилось свое агентство по делам с мелочною лавочкою, а года через полтора почти все девушки уже жили на одной большой квартире, имели общий стол и покупали провизию совершенно тем порядком, как делается в больших хозяйствах. Половина девушек были существа одинокие. У некоторых были старухи-родственницы, матери или тетки; две содержали стариков-отцов; у многих были маленькие братья или сестры. По этим родственным отношениям три девушки не могли поселиться на общей квартире: у одной мать была неуживчивого характера, у другой мать была чиновница и не хотела жить вместе с мужичками, у третьей отец был пьяница. Но все остальные девушки, имевшие родственников на своих руках, жили на общей квартире. Сами они жили в одних комнатах с другими девушками, их родственники или родственницы расположились по своим удобствам: у двух старух были особые комнаты у каждой; остальные старухи жили вместе. Для маленьких девочек была своя комната, для маленьких мальчиков [тоже]. Положено было, что мальчики могут оставаться тут до 8 лет; тех, кому было больше 8 лет, размещали по разным мастерствам.

Всему велся очень точный счет, чтобы вся компания жила твердою мыслью, что никто не остается в обиде, никто никому не в убыток. Расчеты одиноких девушек по квартире и столу были просты; после нескольких колебаний определили, что за маленькую сестру или брата до 8 лет надобно считать четвертую долю расходов против расходов взрослой девушки, потом содержание девочки до 12 лет считали за половину содержания взрослой ее сестры. Эти девушки поступали в ученицы в мастерскую, если сестры не находили случая пристроить их иначе, и положено было, что с 16 лет они становятся полными участницами компании, если будут признаны выучившимися хорошо шить. За содержание взрослых родственников было, конечно, положено столько же, как за содержание швей. За отдельные комнаты была особая плата. Почти все старухи и все три старика, жившие в квартире, зани-

мались делами по кухне и другими хозяйственными вещами — за это, разумеется, считалась им плата.

Все это рассказывается скоро и легко, да и показалось очень легко, просто, натурально, когда устроилось. Но устраивалось медленно, постепенно, каждая новая мера стоила долгих рассуждений. Каждый переход был следствием целого ряда хлопот. Было бы слишком долго и сухо рассказывать о других сторонах мастерской так же подробно, как о разделе прибыли и устройстве квартиры, да это и не нужно, ведь в этом рассказе не описывается самая мастерская, а только характеризуется жизнь Веры Павловны. Потому обо многом вовсе можно не говорить, об ином довольно будет сказать по два, по три слова, — например, что мастерская завела свое агентство продажи готовых вещей, работающих во время, не занятое заказами; отдельного магазина она еще не могла иметь, но вошла в сделку с одной из лавок Гостиного двора и завела маленькую лавочку на толкучем рынке, — две из старух были приказчиками в этой лавочке.

Но надобно хоть несколько строк уделить на умственную сторону жизни мастерской. Вера Павловна с первых же дней стала приносить книги; сделав свои распоряжения при начале работы, спросив обо всем и ответив на все по работам, она принималась читать вслух, читала полчаса, час, если раньше не прерывала ее надобность опять заняться распоряжениями; потом девушки отдыхали от слушанья, она от чтения, потом опять чтение — и опять отдых. Нечего и говорить о том, что с первых же дней девушки пристрастились к чтению; некоторые из них были охотницы до него и прежде. Через две-три недели это чтение во время работы приняло регулярный вид. Через три-четыре месяца явилось между девушками несколько мастериц читать вслух, и девушки положили, что эти мастерицы будут сменять Веру Павловну; они получили право читать по полчаса, и этот получас засчитывался им за работу. Когда число мастериц читать увеличилось, с Веры Павловны и вовсе была снята обязанность читать вслух. Вера Павловна уже и прежде заменяла иногда чтение рассказами; теперь, освободившись от обязанности читать, она стала рассказывать больше, чаще; постепенно рассказы обратились во что-то, похожее на легкие курсы разных знаний. Потом — это было очень большим шагом вперед — Вера Павловна увидела возможность завести и правильное преподавание: девушки стали так любознательны, а работа их шла так успешно, что они решились делать среди рабочего дня, перед обедом, большой перерыв для слушания уроков.

— Алексей Петрович, у меня есть к вам просьба, — сказала Вера Павловна, бывши однажды у Мерцаловых. — Машенька уж на моей стороне. Моя мастерская становится лицеем всевозможных наук, — будьте одним из профессоров.

— Что же я стану преподавать им, — латинский или греческий язык, или логику и риторику? — сказал, смеясь, Алексей Петрович, — ведь нынешняя моя специальность не очень интересна по

вашему мнению и по мнению еще одного человека, про которого уже я знаю.

— Нет, вы необходимы именно как специалист — вы будете служить щитом благонравия и отличного направления наших наук.

— А ведь это правда. Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру.

— Да вот вам кафедра: русская история, очерки из всеобщей истории.

— Превосходно. Но это я буду читать, а будет предполагаться, что я специалист. Отлично. Две должности: профессор и щит.

Мерцалова, Кирсанов, Лопухов, два-три студента, сама Вера Павловна были другими «профессорами», как они в шутку называли себя.

Вместе с преподаванием устраивались и развлечения. Были вечера, загородные прогулки; изредка, — потом, когда уже бывало побольше денег, то и чаще, — брали логи в театре. На третью зиму было абонировано десять мест в галлерее итальянской оперы.

Сколько было радости, сколько счастья Вере Павловне, — очень много трудов и хлопот, — были и огорчения. Особенно сильно подействовало не только на нее, но и на весь кружок несчастье одной из лучших девушек мастерской. Сашенька Кожухова была одна из тех трех швей, которых нашла сама Вера Павловна. Она была девушка очень талантливая, очень недурна собою, чрезвычайно деликатна. У ней был жених, добрый, хороший молодой человек, — чиновник. Однажды она [шла] по улице довольно поздно. К ней пристал какой-то господин. Она ускорила шаг. Он за нею. Схватил ее за руку. Она рванулась и вырвалась, но быстрым движением вырывавшейся из его рук руки задела его по груди, — на тротуаре зазвенели оторвавшиеся золотые часы любезного господина. Любезный господин схватил Кожухову уже с апломбом и чувством законного права и закричал: «воровство! будочник!» Прибежали два будочника и отвели Кожухову на съезжую. В мастерской три дня ничего не знали о ее судьбе и не могли придумать, как и куда могла она пропасть. На четвертый день добрый солдат, один из служителей при съезжей, принес Вере Павловне записку от Кожуховой. Тотчас же Лопухов отправился хлопотать. Ему наговорили грубостей, и только. Это было давно, лет восемь тому назад, с тех пор полиция очень много переменялась в обращении с людьми, одетыми порядочно; переменялась ли в обращении с народом и переменялась ли в сущности, я не знаю, но очень может быть, что переменялась даже и в этом; тогда было другое, господствовала еще полная грубость. Лопухов отправился к Сержу. Серж и Жюли были на каком-то далеком и большом пикнике, возвратились только на третий день. Через два [часа] после того как возвратился Серж, частный пристав очень вежливо извинился перед Кожуховой, потом поехал извиняться перед ее женихом. Но жениха он уже не застал: он уже был у Кожуховой на съезжей, узнал от арестовавших ее будочников имя франта, пришел к нему,

вызвал его на дуэль; до вызова на дуэль франт извинялся перед ним в своей ошибке довольно насмешливым тоном, а услышав вызов, расхохотался; чиновник сказал: «так вот от этого вызова не откажешься», и дал ему пощечину; франт схватил револьвер, чиновник толкнул его, чтоб отвести от себя удар, франт упал, а между тем раздался выстрел, на выстрел прибежала прислуга, барин лежал мертвый: он был ударен о землю сильно и попал виском на какой-то острый выступ резной подножки стола. Чиновник очутился в остроге, началось дело, и не предвиделось конца этому делу. Что ж дальше? Дальше ничего, только с той поры жалко было смотреть на Кожухову.

Было в мастерской еще несколько историй, не таких абсолютно уголовных, но тоже невеселых, — истории обыкновенные, — те, от которых девушкам бывают долгие слезы, а молодым, или средних лет, или старым людям недолгое, но приятное развлечение. Вера Павловна знала, что эти истории пока неизбежны, что при нынешних понятиях и обстоятельствах не предохранит от них никакая заботливость других о девушке, никакая осторожность и строгость девушки к самой себе; это то же, что в старину была оспа, пока не выучились, как охранять от нее. Теперь, кто пострадает от оспы, так уже виноват сам, а гораздо больше виноваты его близкие; а прежде было не то: некого было винить, кроме гадкого поветрия, или гадкого климата, или гадкого города да того человека, который, страдая оспой, прикоснулся к другому, а не заперся в карантин, покуда выздоровеет. Так теперь с этими историями, — когда-нибудь и от этой оспы люди избавят себя, даже и средство известно, — только еще не хотят принимать, как долго не хотели, очень долго не хотели принимать и средство против оспы. Знала Вера Павловна, что пока это гадкое поветрие еще неотвратимо, непобедимо, носится по городам и селам и хватает жертв даже из самых заботливых рук; но ведь это еще плохое утешение, если знать только, что «я в твоей беде не виновата, и ты, друг мой, в ней не виновата», — все-таки каждая новая из этих обыкновенных историй приносила Вере Павловне много огорчения, а еще гораздо больше дела: иногда нужно бывало искать, чтобы помочь; чаще искать не было нужды, надобно было только помогать, успокаивать, восстанавливать бодрость, восстанавливать гордость, вразумлять, что: «перестань плакать, — как перестанешь, так и не о чем будет плакать».

Но гораздо больше, — о, гораздо больше — было радости, — да все было радость, кроме огорчений, — а ведь огорчения были только отдельными случаями: ныне, через три-четыре месяца, огорчишься за одну, а в то же время радуешься за всех других, а пройдет две-три недели, и за эту тоже уж можно радоваться. Светел и весел был весь обыденный ход дела, постоянно радовал Веру Павловну. А если и бывали в нем иногда тяжелые нарушения от огорчений, за них вознаграждали и особенные радостные случаи, которые, бывало,

встречались чаще огорчений: вот удалось пристроить маленького брата девушки, вот, во второй год, две девушки выдержали экзамен на домашних учительниц, — это было какое счастье для них! Было несколько разных таких хороших случаев. Но чаще всего причиною веселья для всей мастерской и радости для Веры Павловны бывали свадьбы. Их было довольно много, — в два года до десяти, — и все были удачны. Свадьбы праздновались очень весело: много бывало вечеров и перед свадьбою, и после свадьбы, много бывало сюрпризов невесте от ее подруг по мастерской, — из резервного фонда, — мастерская делала ей приданое. Но опять и сколько бывало хлопот Вере Павловне, — полны руки, разумеется. Одно только сначала казалось мастерской не деликатно со стороны Веры Павловны: она, вместе с другими, и одевала, и провожала в церковь невесту, но посаженною матерью чаще всего бывала Мерцалова или ее мать, тоже хорошая дама, Вера Павловна — никогда. Первая невеста просила ее быть посаженною матерью, просила очень много и не упростила, вторая — тоже просила и не допросилась. В первый раз подумали, что это недовольство чем-нибудь — объяснились — нет, видно, что она очень рада была приглашению, хоть и не приняла его; во второй раз поняли: это просто была скромность: Вере Павловне не хотелось парадно являться патроншей невесты, она всячески избегала всякого вида превосходства или влияния, старалась всегда [не] выходить вперед других — и, действительно, успевала в этом так, что многие из дам, бывавших в мастерской для заказов, не видели в ней ничего отличного от двух других закройщиц; иные обращались к ней же самой с вопросом, кем заведен такой порядок в мастерской, — и Вера Павловна чувствовала едва ли не самую приятную из всех своих радостей от мастерской, когда получала через это случай объяснить не столько спрашивающей даме, сколько самой себе, что все это устроено самими девушками. Впрочем, в желании убедиться, что ее личная роль не очень значительна, действовала не одна скромность; тут было и другое чувство, — ей хотелось думать, что мастерская могла бы итти без нее, что могут возникать другие такие же мастерские совершенно самостоятельно, и даже, — почему же нет? вот было бы хорошо! это было бы лучше всего! — даже без всякого руководства со стороны кого-нибудь не из разряда швей, а исключительно мыслью и умением самих швей. Это была самая любимая мечта Веры Павловны.

[V]

И вот таким образом прошло гораздо более двух лет со времени основания мастерской, несколько более трех лет со времени замужества Веры Павловны. Как тихо и деятельно прошли эти годы, как полны были они и спокойствия, и радости, и всего доброго!

Путру Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в посте-

ли, — она любит нежиться, — и немножко как будто дремлет, и думает, что надобно сделать, и так полежит, не дремлет и не думает, — нет, думает: «ах как тепло, мягко, хорошо, — славно нежиться поутру!» — Так и нежится, пока из средней, нейтральной, комнаты муж, то есть «миленький», не [спросит]: ¹ «Верочка, проснулась?» «Да, миленький». Это значит, что муж может начинать делать чай и что Вера Павловна — нет, в своей комнате она не Вера Павловна, а Верочка — начинает одеваться. Ах, как же долго она одевается — нет, она одевается скоро, в одну минуту, — но она долго умывается, она любит плескаться в воде и потом долго причесывает волосы; да и не то чтобы причесывала, а любит возиться с ними; впрочем, иногда долго надевает и ботинки — у ней отличные ботинки, — она очень скромно одевается, но ботинки — ее страсть.

Вот и выходит к чаю, в нейтральную комнату, обнимает мужа, «миленький, каково почивал?», толкует ему за чаем о разных пустяках и не-пустяках, впрочем, Вера Павловна — нет Верочка, она и за утренним чаем еще Верочка — пьет не столько чай, сколько сливки, — чай только предлог для сливок, — сливок больше половины чашки, сливки — это тоже ее страсть. Трудно достать хорошие сливки в Петербурге, но Верочка отыскала действительно отличные сливки, без всякой подмеси. У ней есть мечта: иметь свою корову. Что ж, если дела пойдут, как шли, через год, через полтора это можно будет сделать.

Но вот чай кончен; 10 часов. «Миленький» уходит на уроки или на занятие, — у него есть занятие в конторе одного фабриканта, — или возвращается в свою комнату работать. Вера Павловна — теперь она уже окончательно Вера Павловна до следующего утра — хлопочет по хозяйству, — ведь у ней одна служанка, обыкновенно молоденькая девочка, которую всею надобно учить, — а только выучишь, надобно приучать новую к порядку — служанки не держатся у Веры Павловны, все выходят замуж, — полгода, немножко побольше, — смотришь, Вера Павловна уж и шьет себе какую-нибудь пелеринку или что-нибудь в этом роде, готовясь быть посаженною матерью; тут уж нельзя отказаться: «как же, Вера Павловна, ведь вы сами все устроили», разные благодарности, и Вера Павловна дуется за эти благодарности, — «так уж некому быть, кроме вас». Да, много хлопот по хозяйству, хоть оно и маленькое. — Надобно отправляться в мастерскую, надобно отправляться на уроки, — у Веры Павловны довольно много уроков, — часов 10 в неделю, больше было бы тяжело, да и некогда, с уроков надобно опять заглянуть в мастерскую. — А вот обед с миленьким; довольно часто за обедом бывает кто-нибудь, — один, много двое, потому что больше нельзя: и так, если обедают двое, надобно несколько хлопотать, делать новое блюдо, чтобы достало кушанья. Когда Вера Павловна возвращается домой усталая, обед

¹ В оригинале: говорит. — Ред.

бывает проще, — она перед обедом сидит в своей комнате, отдыхая, и обед остается, какой был начат при ее помощи, а докончен без нее; если же она возвращается не уставши, в кухне начинает кипеть дело, и к обеду является прибавка вроде какого-нибудь печенья, а чаще всего вроде чего-нибудь такого, что едят со сливками, то есть, что может служить предлогом для сливок. За обедом опять Вера Павловна рассказывает и спрашивает, но больше рассказывает, — да как же не рассказывать! сколько нового надобно сообщить об одной мастерской! После обеда сидят еще с четверть часа с миленьким, — «до свиданья», — и расходятся опять по своим комнатам, и Вера Павловна опять на свою кроватку, и читает, и нежится, — частенько даже спит, — даже очень часто, — даже чуть ли не наполовину дней спит час, полтора часа, — это слабость и даже слабость едва ли не дурного тона, — но Вера Павловна спит после обеда, когда заснет, и даже любит, чтобы заснулось, и не чувствует ни стыда, ни раскаяния от этой слабости дурного тона. Просыпается, или, если не спала, то так полежавши и понежившись часа полтора, встает, опять одевается, идет в мастерскую, остается там до чаю. Если вечером никого не бывает, то опять за чаем рассказы миленькому, и с полчаса сидят в нейтральной комнате; потом: «до свиданья, миленький», и целуются и расходятся до завтрашнего чаю. Тогда Вера [Павловна] — иногда и довольно долго — работает, читает, отдыхает от чтения за фортепьяно, — рояль стоит в ее комнате, рояль недавно куплен, прежде был абонированный, — это было тоже порядочное веселье, когда завелся свой рояль: да ведь это и дешево; абонемент стоит 6 рублей в месяц, отличный рояль куплен по случаю за 100 рублей, — маленький Эраровский, старый, весь избитый, — починка стоила 40 рублей, — но зато, действительно, рояль очень хорошего тона; вот и проходит вечер: чтение, игра, пение. Это — когда никого нет. Но очень часто по вечерам бывают гости — большую частью молодые люди, моложе «миленького» и моложе самой Веры Павловны, — из их числа и преподаватели в мастерской, — они очень уважают Лопухова,¹ считают его одной из лучших голов в Петербурге; может быть, они и не ошибаются, и настоящая связь их с Лопуховыми в этом: они находят полезными для себя разговоры с Лопуховым. К Вере Павловне они [питают] беспредельное благоговение, — она даже дает им целовать [руку], не чувствуя себе унижения от этого, — держит себя с ними, как будто пятнадцатью годами старше их, — то есть, когда не дурачится; но, по правде сказать, большую частью шалит, бегаёт, дурачится с ними, и они в восторге; и тут бывает довольно много вальсирования и галопирования, довольно много простой беготни, много игры на фортепьяно, много хохотни и болтовни и чуть ли не всего больше пения; но беготня, хохотня и все

¹ Зачеркнуто: и отчасти — но так, в душе только — рожают перед ним, но нет, это не робость, дело в том, что они просто — Рад.

нисколько не мешают этой молодежи совершенно, безусловно и безгранично благоговеть перед Верою Павловною, уважать ее так, как дай бог уважать старшую сестру, как не всегда уважается мать, даже хорошая. Не очень редко бывают гости и постарше, ровня Лопуховым, — большою частью, бывшие товарищи Лопухова, знакомые его бывших товарищей, человека два-три из молодых профессоров, — почти все люди бессемейные. Из семейных людей почти только Мерцаловы. Лопуховы бывают в гостях не так часто, — почти только у Мерцаловых, да у матери и отца Мерцаловой, — у этих стариков есть множество сыновей, занимающих довольно важные места, и потому в доме стариков, живущих с некоторым изобилием, Лопухова видит довольно многообразное и разнокалиберное общество.

Вольная, просторная, деятельная жизнь, и не без некоторого сибаритства, — лежание поутру в постели нежась, — славная жизнь — она очень нравится Вере Павловне.

[VI]

Однажды — это было уже под конец лета, около половины августа — девушки собрались по обыкновению в воскресенье на загородную прогулку. Летом они ездили чаще всего на лодках на острова. Вера Павловна почти всегда ездила с ними, на этот раз поехал и Дмитрий Сергеевич, — вот почему и была замечательна прогулка — его спутничество было редкостью, и в то лето он ехал только еще во второй раз. Мастерская, узнав об этом, осталась очень довольна: Вера Павловна будет еще веселее обыкновенного, и надобно ждать, что прогулка будет особенно одушевлена. Некоторые, располагавшие провести воскресенье иначе, изменили свой план и присоединились к собравшимся ехать на острова. Понадобилось взять вместо трех больших ящиков четыре, — и того оказалось мало, прибавился пятый. Компания имела человек сорок народа, в том числе около пятнадцати швей, — только пять не участвовали в прогулке, — три пожилых женщины, пять маленьких девочек, четыре маленьких мальчика, матери, сестры и братья швей, три молодые человека, женихи, — один из них был подмастерье часовщика, другой — мелкий торговец, оба мало уступали манерами третьему жениху, учителю уездного училища, — человек пять других молодых людей таких же разнокалиберных званий, в том числе даже молодой офицер, человек пять университетских и медицинских студентов.

Взяли с собою четыре большие самовара, целые груды разных булочных изделий, огромные куски холодной телятины и тому подобного, — народ молодой, движенья будет много, даже еще на воздухе, — на аппетит можно рассчитывать; было и с полдюжины бутылок вина; на сорок человек, в том числе 15 человек [молдых] людей, кажется, не много.

И действительно, прогулка удалась как нельзя лучше. Тут всего было: танцовали в 12 пар, танцовали в 14 пар, танцовали

только и в 10 пар; играли в горелки, чуть ли не в 20 пар, импровизировали трое качелей между деревьями; в промежутках всего этого пили чай, закусывали. Чуть не половина компании даже слушала с полчаса спор двух студентов, самых усердных поклонников Дмитрия Сергеевича, с Дмитрием же Сергеевичем, которого его любители постепенно избличали в неконсеквентности, остатках прокислой гегелевщины, модерантизме, консерватизме, и что уже хуже всего — в буржуазности — и что еще хуже самой буржуазности — в скептицизме. Из других студентов один стал было вступаться за Дмитрия Сергеевича, — тогда и двое других пристали к нападающим, пристал к ним и офицер. Дело пошло так горячо, что один из нападающих сказал холодным и важным тоном: «я приведу слова, сказанные мне на днях одним порядочным человеком, женщиной очень умной: «только до 25 лет человек может сохранять честный образ мыслей». Другой нападающий захохотал: «Да я знаю, кто эта дама — она при мне сказала это — это m-me N, отличный человек, только ей самой теперь уж 26-ой год, — помнишь, ведь за полчаса же она сама это говорила». Тогда все расхохотались, принялись считать, сколько лет кому осталось иметь честный образ мыслей; большинство решило, что пока еще имеют лета честного образа мыслей, то надобно играть в горелки, и спорить с Дмитрием Сергеевичем остались опять только два, его постоянные противники и упорнейшие поклонники. После чаю и они бросили спор: танцовать не танцовали, но в горелки играли, качались, а когда мужчины вздумали бегать взапуски, прыгать через канаву и бороться, то эти три мыслителя оказались самыми усердными состязателями мужественных упражнений: один из противников-поклонников получил первенство в прыганье через канаву, другой, действительно атлет, поборол всех, даже Дмитрия Сергеевича, который был очень силен, — даже офицера, который был еще сильнее. Дмитрий Сергеевич был очень раздосадован на себя, что не может побороть офицера, — превосходство атлета, своего противника, признавал и прежде, — схватывался с офицером пять раз, и все пять раз был побежден. Измучившись до последней невозможности, офицер, Дмитрий Сергеевич и один из противников — отличившийся в прыганье — прилегли на траву и пустились рассуждать о системе Огюста Конта, в которой видели очень много верного, но слишком много непоследовательной примеси средневековых понятий, что уже совершенно непростительно Конту, идущему от математических принципов и начинающему с понятий, выработанных естествознанием; тут не было разногочерия, противник-поклонник остался доволен Дмитрием Сергеевичем и сказал, что за его строго логический разбор непоследовательностей Конта примиряется с ним.

Отправились домой в 11 часов. Старухи и дети так и уснули в лодках, — хорошо, что запасено было много теплой одежды, — зато остальные говорили безумолку, и много было шуток и смеху.

[VIII]

Через два дня Вера Павловна за утренним чаем заметила мужу, что цвет его лица ей не нравится. Он сказал, что, действительно, эту ночь он проспал не совсем хорошо и вчера с вечера чувствовал себя дурно, но что это ничего: немного простудился на прогулке, — конечно, в то время, когда после беганья и борьбы долго лежал на земле, побранил себя за эту неосторожность, но уверил Веру Павловну, что это пройдет, — ничего. Он отправился на свои обыкновенные занятия; за вечерним чаем сказал, что, кажется, все прошло; но поутру сказал, что ему надобно будет несколько дней посидеть дома. Вера Павловна, сильно встревожившаяся и вчера, теперь серьезно испугалась и потребовала, чтобы Дмитрий Сергеевич пригласил медика. «Да ведь я сам медик, я и сам сумею лечиться, если понадобится, а теперь пока еще не надобно» — отговаривался он. Но Вера Павловна была неотступна, и муж написал записку к Кирсанову. Он говорил, что болезнь пустая и что он просит его только в угождение жене. Поэтому Кирсанов не поторопился: пробыл в госпитале до самого обеда, пообедал, покурил после обеда и приехал к Лопуховым уже часу в шестом вечера.

— Нет, Александр, я хорошо сделал, что тебя позвал, — сказал Лопухов: — опасности нет и, вероятно, не будет, но у меня воспаление в легких. Конечно, я и без тебя вылечился бы, но все-таки будь консультантом. Нельзя, нужно для очищения совести: ведь я не бобыль, как ты.

Долго они вдвоем щупали бока одному из себя, Кирсанов слушал грудь, и нашли оба, что Лопухов не ошибся: опасности, вероятно, не будет, но воспаление в легких довольно сильное. Придется пролежать недели полторы. Но опасного ничего нет. Немного запустил Лопухов свою болезнь, но все-таки еще ничего.

Кирсанову пришлось долго толковать с Верой Павловной, успокаивая ее. Наконец, она поверила вполне, что ее не обманывают, что, по всей вероятности, опасного ничего нет; но ведь только «по всей вероятности», а мало ли что бывает и против всякой вероятности.

Кирсанов стал бывать по два раза в день у больного, — не для больного, они оба видели, что болезнь проста и не представляет опасности, но для Веры Павловны. Так прошло три дня. На четвертый день поутру Кирсанов сказал Вере Павловне:

— Дмитрий — ничего, хорош, еще дня три-четыре будет тяжело, но не тяжелее вчерашнего, а потом станет уж и поправляться. Но об вас, Вера Павловна, я хочу поговорить с вами серьезно: вы дурно делаете, — зачем не спать по ночам? Ему совершенно не нужна сиделка, да и я не нужен, но себе вы можете повредить, и совершенно без надобности; ведь у вас и теперь уж нервы довольно расстроены, и совершенно напрасну.

Долго он урезонивал Веру Павловну, но без всякого толку.

«Никак», и «ни за что», и «я бы сама рада, да не могу», — то есть спать по ночам и оставлять мужа без караула. Наконец, сказала: «да ведь все, что вы мне говорите, он уж мне говорил, вы знаете, много раз говорил. Ведь его бы я скорее послушалась, чем вас, — значит, не могу».

Против такого аргумента нечего было возразить.

— Правда ваша, Вера Павловна, — сказал Кирсанов, — только я вижу, что с вами надобно принять крутые меры. Вот увидите, каково не слушаться двух медиков; давайте два листа бумаги: один весь испишу микстурами для вас я, другой испишет он, и скажем, что пока вы все микстуры не выпьете, до тех пор Дмитрий не выздоровеет, — а микстуры будут самые противные на вкус.

— Ах, не смейтесь, Александр Матвеевич, я вовсе не хочу смеяться. — А сама все-таки засмеялась, потому что лицо Кирсанова выражало всю отвратительность вкуса микстур, которые принуждена она будет пить, и он делал жесты, показывавшие, как рука не хочет подносить микстуру к губам, и как микстура льется с ложки от дрожания руки, и как весь корпус вздрагивает и пожимается от ужасной микстуры.

— Вот увидите вечером. А теперь—до свиданья, нужно в госпиталь; ради бога, скажите, зачем вы заставляете меня отнимать время у действительно больных людей? Но когда меня будут за это на том свете посылать в ад, я скажу: «нет, извольте посылать Веру Павловну, ее грех!» — И опять жесты, как он уперся и не идет в ад, а рекомендует тащить туда ее. Нельзя не рассмеяться, потому что очень смешные гримасы, но Вера Павловна рассердилась на него. До шуток ли, в самом деле?

Зато как же и совестно ей было, когда Кирсанов, приехавши к больному в десятом часу вечера и просидев подле него вместе с нею с полчаса, сказал: «Вера Павловна, отдохните, мы оба просим вас; я останусь здесь ночевать». Ведь она сама наполовину — больше чем наполовину — знала, что как будто бы и нет необходимости сидеть всю ночь подле больного, и вот заставляет Кирсанова, человека занятого, терять время; что ж это в самом деле? — Да, «как будто не нужно», — «как будто», — а кто знает? Нет, нельзя оставить миленького одного, мало ли что может случиться? Да, наконец, если пить захочется, чаю захочется, как же тут? Ведь он деликатный, будить не станет, значит, и нельзя не сидеть подле него; но Кирсанову сидеть не нужно, она не позволит. Все это передумалось в одну минуту, и она сказала, что не уйдет, а что «вам, Александр Матвеевич, нужнее отдыхать, чем мне, ведь вы с утра до ночи работаете, отправляйтесь вы домой, я вас прошу». Перекорились таким образом раза два — «нет, вы отдохните», — «нет, вы уезжайте домой», — тогда Кирсанов встал, сказал Лопухову: «ну, брат Дмитрий, ты не у места делкатничашь со мною, что не просишь Веру Павловну отдохнуть, — ведь ты должен видеть...» «Вижу, Александр, да мне в самом деле стыдно по пустякам отнимать у тебя ночь — ведь ты ошибаешься,

если думаешь проводить ее да заснуть — ведь она будет приходить справляться, и если застанет тебя сонного, то, все равно, твое присутствие не поможет». «Да разве я этого не знал? Конечно, знаю, — так уж я поступлю и за тебя и за себя. Вера Павловна, простите, — невежда, быть может, но с истинною преданностью и чувством глубочайшего уважения имею честь». Говоря это, он стоял подле нее, предлагая ей руку, как любезные кавалеры предлагают дамам для прогулки; она не брала руки, отстраняла ее; но при словах: «глубочайшего уважения» он очень плавно взял ее за талью и повел из комнаты, продолжая: «имею честь быть вашим спутником. Серьезно, Вера Павловна, как медик, прошу вас лечь. Вот вам, на всякий случай, пилюли из морфия; если не заснете через четверть часа, примите две». Он ввел ее в ее комнату, затворил за нею дверь и возвратился к больному.

— Мне, право, перед тобою совестно, Александр: какую смешную роль [ты играешь], сидя ночь у больного, болезнь которого вовсе не требует этого. Но благодарю тебя, очень благодарю. Я решительно начинал беспокоиться за нее. Нервы у ней очень расстраивались.

Нервы Веры Павловны, действительно, были утомлены. Три ночи без душевной тревоги ничего бы не значили для нее: здоровье у ней было крепкое. Но она очень боялась за мужа. Да, нервы были так расстроены, что она как дошла до кровати, как упала на кровать, так и лежала, — не могла раздеться, не могла заснуть, не могла и принять сонных пилюль: рукам так тяжело было подняться, почти спала, и глаза почти закрылись, но не спала. Долго, долго она так лежала неподвижною. — «Только, что ж это? сплю я или нет? в бреду я или нет? — нет, не в бреду, — что ж это он так долго стоит в дверях? Он думал, что надобно взглянуть на меня, сплю ли я, здорова; так ведь должно казаться, что я сплю и здорова; господа, что это он стоит в дверях и все смотрит на меня? какой чудак!» Наконец, он ушел от дверей. Опять прошло сколько-то времени — должно быть, много — вот он опять в дверях, и опять стоит долго, долго, и так пристально смотрит, — наконец, опять ушел. Через несколько времени Вера Павловна заснула крепко и проспала до тех пор, пока [не] услышала из-за дверей голос Кирсанова:

— Вера Павловна, до свиданья. Мне пора в госпиталь, вставайте скорее, а то совесть будет мучить, что оставили беспомощным. «Ах, как я заспалась. Десять часов?!»

Вера Павловна чувствовала себя бодрою и была, по правде сказать, очень благодарна Кирсанову за то, что он дал ей возможность отдохнуть. Потому она не рассердилась на его шуточный тон. Он продолжал из-за двери:

— А видели вы, я четыре раза приходил посмотреть на вас, Вера Павловна? двойная цель была, Вера Павловна: взглянуть, что с вами, — ведь я немножко трусил за вас; показать вам себя, что я не сплю; да была и третья цель — о ней говорю только по

секрету — помолиться на вас, чтобы бог послал мне вашу добродетель ухаживать за кем не нужно.

— Да, я видела два раза.

— Неужели? я не полагал. Если видели, да еще два раза, то это, значит, вам в самом деле надобно кое-что выпить, — я вам оставляю рецепт. Эти капли будут довольно вкусны; до свиданья.

— До свиданья.

И на этот вечер Кирсанов приехал ночевать и еще пять ночей провел у постели Лопухова, чтобы не допустить Веру Павловну проводить их без сна; в самом деле, довольно утомлялась она заботами о больном и во время дня. Через шесть дней она убедилась, наконец, что больной почти вовсе перестал быть болен и что дежурить подле него нет надобности: да и нельзя было не убедиться, — в этот вечер они втроем играли в карты, Лопухов уже полулежал на подушках и говорил уже очень хорошим голосом.

— Александр Матвеевич, почему вы совершенно забыли меня? — именно меня, потому что с Дмитрием вы хороши попрежнему, — он бывает у вас часто, вы у нас перед этим временем, кажется, с полгода не были; да и раньше тоже; а помните, мы были с вами дружны вначале, — между прочим сказала Вера Павловна во время этой игры.

— Мне казалось... казалось, Вера Павловна, простите за откровенность, мне... казалось, что вы несколько не долюбливаете меня. («Как это глупо! как это низко! как это я не нашелся!»)

— Я? вас? Ну с чего вы это взяли? Да когда же не была я вам рада?

— Эх, добрая Вера Павловна, вы и послушали — это я хочу только поинтересничать, а истинная причина гораздо проще: я в эти два года был сильно занят. Я почти нигде не бываю. Я страшно работаю, а потом хочется полежать на диване с сигарой. Из мундира и фрака в халат, — иной переход невозможен. А халатная жизнь так привлекательна.

VIII]

Ясно, к чему идет дело. Опытный в романах читатель видит, что начинается новый роман в жизни Веры Павловны и что Кирсанов будет играть роль в этом романе, — счастливую или несчастную, это пока еще не видно, но видно, что он влюблен в Веру Павловну, что он поэтому давно и перестал бывать у Лопуховых. Является в истории Веры Павловны новое лицо, надобно описать его.

Но описывать почти нечего. Он был друг Лопухова, — и уже было говорено, что между ними было гораздо больше сходства, чем разницы, — а это и почти все, что нужно сказать о нем: говорить подробнее значило бы повторять то, что мы знаем о Лопухове. Лопухов был сын мещанина, зажиточного по мещанскому

сословию, то есть довольно часто имеющего мясо во шах. Кирсанов был сын писца уездного суда, то есть человека, часто не имеющего мяса во шах, — значит и наоборот, часто имеющего мясо во шах. Лопухов с очень ранней молодости, почти с детства, добывал деньги на свое содержание; и Кирсанов тоже с третьего класса гимназии давал уроки. Оба грудью, без связей, без знакомств, пролагали себе дорогу. Лопухов был какой человек? — В гимназии по-французски не выучивались, а по-немецки выучивались склонять *der, die, das* с небольшими ошибками, — а поступивши в Академию, Лопухов скоро увидел, что на русском языке далеко не уедешь в науке; он взял французский словарь да какие случились французские книжонки, — а случились «Телемак» да один том «Рассуждения о красноречии» старика Роллена, да несколько разрозненных ливрезонов нашего умнейшего журнала *Revue étrangère*, — книги все не очень вкусные; взял их — а сам был, разумеется, страстный охотник читать — да и сказал себе: «не раскрою ни одной русской книги, пока не стану свободно читать по-французски», — ну, и стал свободно читать; а с немецким языком обошелся иначе: нанял угол в квартире, где было много немцев-мастеровых, да и жил с ними, пока стал порядочно говорить по-немецки. Угол был мерзкий, немцы скучны, в Академию ходить очень далеко, а он все-таки выжил, сколько ему было нужно. У Кирсанова было иначе: он немецкому учился по разным книгам с лексиконом, как Лопухов французскому, а по-французски выучился не так, а вот как: евангелие — книга очень знакомая; он достал Новый завет на французском языке, да и прочел его 8 раз; на девятый раз уже все понимал, — значит, готово. Лопухов был какой человек? Вот какой: шел он в оборванном мундиришке по Каменноостровскому проспекту с урока, — по 50 коп. за урок получал, верстах в трех за Лицеем, — идет навстречу ему какой-то туз да, разумеется, прямо на него, не сторонится, а у Лопухова было в то время правило: «кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь»; ну, и задела друг друга плечами. Туз, полуобернувшись, сказал: «Что ты за свинья, скотина!» и поправил звезду, готовясь продолжать назидание, а Лопухов сделал полный оборот к тузу, взял туза за руки подле плеч, да и положил его в канаву, очень осторожно, да и стоит над ним и говорит: «Ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь глубже». Ну, и постоял над ним. Проходили два мужика, заглянули, похвалили; проходил чиновник, заглянул, не похвалил, но сладко улыбнулся; проезжали мимо экипажи, ну, из тех не было видно, что в канаве; ну, так и постоял Лопухов, потом опять взял туза за руки подле плеч, поднял и говорит: «Ах, ваше превосходительство, как это вы изволили оступиться? не повредились? позвольте вас обтереть». И стал обтирать. Подошли два мужика — уж другие, — подошел мешанин, помогали обтирать, обтерли и разошлись. Так с Лопуховым. С Кирсановым [не] случилось этому быть, а был такой случай. Дама, у которой тузы бывали на посылаках, вздумала, что на-

добно составить каталог библиотеки, оставшейся после ее мужа — вольтерьянца, умершего лет за 15 перед тем. Зачем именно через 15 лет понадобился каталог, неизвестно. Подвернулся составлять каталог Кирсанов, взялся за 80 р., работал месяц и переписал уже 7 шкапов из 12. Вдруг дама вздумала, что каталог не нужен, вошла в библиотеку и говорит: «не трудитесь больше, я передумала, а вот вам за ваши труды», и подала Кирсанову 10 р. «Я, ваше-ство, — назвал даму по ее титулу, очень хорошему, — сделал уже больше половины работы». — «Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas, поди сюда, переговори с этим господином». Влетел Nicolas. «Ты как смеешь грубить маман?» «Да ты, молокосос (выражение неосновательное со стороны Кирсанова, потому что Nicolas был старше его годами десятью), выслушал бы прежде». «Люди!», крикнул Nicolas. «Ах, люди? Вот я покажу тебя людям». Во мгновение ока Nicolas постиг, что не может пошевелить левою рукою, потому что она притиснута к боку Кирсанова его собственным боком, а притиснута так крепко потому, что правая рука Кирсанова, грациозно обогнув его талью, держит его правую руку, как в клещах, а в то [же] время прижимает его стан к стану все того же Кирсанова не столь нежно, сколь усердно; а левая рука все того же Кирсанова, дернув его за вихор более в назидание, нежели в вырывание, уже держит его за горло, уже подавила горло, так что оно захрипело, и уже Кирсанов сказал: «видишь, как легко задушить!» — точно, видно, что легко, — и уже отпустила горло, так только придерживает, да как ловко, — все в то же самое мгновение; дама испустила визг и упала в обморок, и поспешно вступили в комнату несколько голиафов, — и все-таки опять в то же самое мгновение Кирсанов проревел голиафам: «Стой! ни с места! кто из вас пошевелится, этому парню оплеуха! и задушу его прежде, чем до меня добежите! Ну, теперь проводите-ка меня до лестницы», сказал Кирсанов, и Nicolas несколько помавает носом в знак того, что, дескать, слушайтесь, он правильно рассуждает; и Кирсанов пошел с Nicolas по комнате и прошел в переднюю, и сошел с лестницы, напутствуемый издали голиафами с умиленными лицами, и на последней ступени отпустил горло Nicolas и оттолкнул его слегка, так деликатно, и пошел в лавку покупать шляпу, вместо той, которая осталась в добычу Nicolas.

Ну, что же различного скажете вы о таких людях? Все их резко выдающиеся черты — черты не индивидуумов, а типа, типа, [столь] различного от привычных нам, что его общими особенностями закрываются от нас личные разности в нем, как будто несколько человек европейцев в Китае, которых не могут различить одного от другого китайцы, — во всех видят одно, что они «красноволосые варвары, не знающие церемоний», — да китайцы и правы: в отношениях с ними все европейцы — как один европеец — не индивидуумы, а представители племени, больше ничего: одинаково не едят тараканов и мокриц, одинаково не режут в мел-

кие кусочки людей, одинаково пьют водку и виноградное вино, а не рисовое вино, и единственную вещь, которую видят в них свою родную китайцы, питье чаю, делают вовсе не так, — с сахаром, а не без сахара. Так и люди того типа, к которому принадлежали Лопухов и Кирсанов, кажутся все одинаковы людям не того типа. Каждый из них человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, не унывающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не ускользнет из рук; каждый — человек безукоризненной честности, такой, что даже не приходит в голову и вопрос: «можно ли положиться на этого человека во всем, безусловно?» Это ясно, как то, что он дышит грудью; пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна, — смело кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть. Эти общие черты так резки, что за ними сглаживаются личные особенности.

Недавно зародился этот тип — в мое время его еще не было, хотя я и не очень старый человек, даже вовсе не старый человек, — и быстро расплождается. Это признак времени. Он рожден временем, и сказать ли? пройдет с ним. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью, — она переживается быстро. Шесть лет тому назад этих людей не видели, три года тому назад презирали, — теперь боятся; через несколько лет будут благословлять, еще через немного, очень немного лет — быть может, и не лет, а месяцев — их станут проклинать, и они будут согнаны со сцены ошканные, срамимые, — так что же? шикай и срами, проклинай и гони, но ты получил пользу от них, этого довольно для них, и сойдут [они] со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, нежные, как были. И не останется их на сцене? — Нет. — Как же будет без них? — Плохо, но после них все-таки лучше, чем до них. И скажут: «после них стало лучше, но все-таки осталось плохо»; и когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде, и так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «ну, теперь нам хорошо»; тогда не будет этого отдельного типа, потому что уже все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурою всех людей.

[IX]

Но как европейцы между китайцами все на одно лицо и на один манер только по отношению к китайцам, а на самом деле между европейцами несравненно больше разнообразия, чем между китайцами, так и в этом одном, повидимому, типе разнообразие личностей развивается на большее число разностей и более отличающихся друг от друга, чем все разности всех остальных типов разнятся между собою. Тут есть всякие люди: и сибариты, и аскеты, и суровые, и нежные, и всякие. Только, как самый жестокий европеец очень кроток, самый сладострастный очень нравствен —

ред китайцем, так и они: самые аскетичные из них считают нужным для человека больше комфорта, чем воображают люди не их типа; самые чувственные строже в нравственных правилах, чем ригористы не их типа. Но все это представляется им как-то посвоему; и нравственность, и комфорт, и добро, и чувственность понимают они на особый лад, и все на один лад, и не только все на один лад, но и все это как-то на один лад, так что и нравственность и комфорт, и добро, и чувственность, — все это выходит по их как будто одно и то же. Но все это опять только по отношению к понятиям китайцев, — между собою они находят очень большие разности понимания по разности натур. Но как теперь уловить эти разности натур и понятий между ними?

В разговорах и делах между собою — но только между собою, а не с китайцами — выказывают свою разницу европейские натуры. Так и у людей этого типа видно бывает очень большое разноеобразие, когда дела ведутся между ними, но только между ними, а не с посторонними. Мы имели перед собою двух людей этого типа: Веру Павловну и Лопухова, и видели, как устроились отношения между ними. Теперь входит третий человек, — посмотрим, какие разности обнаружатся от возможности одному из них сравнивать двух других; перед Верою Павловною стоят Лопухов и Кирсанов. Прежде ей не было выбора, теперь есть.

[X]

Но надобно же сказать два-три слова о внешних отношениях Кирсанова.

И у него, как у Лопухова, были правильные, красивые черты лица. Одни находили, что из них красивее тот, другие — этот. Лопухов, более смуглый, с темными каштановыми волосами, имел орлиный нос, толстые губы, лицо более овальное, карие сверкающие глаза; Кирсанов имел прямой греческий нос, маленький рот, более продолговатое [лицо], темноглубые глаза, был очень бел лицом; [его] волосы, русые волосы [были] довольно темного оттенка. Оба они были люди довольно высокого роста, стройные, Лопухов несколько шире костью, Кирсанов несколько выше.

Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша. Он уже был профессором; огромное [большинство] избравших было против него, ему бы не только не дали кафедры, его бы не выпустили доктором [медицины], да нельзя было: два-три молодые человека да один немолодой человек из его бывших профессоров, его приятели, давно наговорили остальным, что будто бы есть на свете какой-то Вирхов и какой-то Клод Бернар, да еще какие-то такие же, которых и не упомнишь, и что будто бы эти какие-то Вирхов, Клод Бернар да еще кто-то — светила медицинской науки; все это было до крайности неправдоподобно, потому что светила науки нам известны: Бургав, Гуфеланд, — Гарве тоже был великий ученый, открыл обращение крови, — тоже Дженнер, который выучил оспопрививанию, — а этих разных Вирховов да Клодов Бернаров мы

не знаем, какие они светила? а впрочем, чорт их знает! так вот этот самый Клод Бернар отзывался с уважением о работах Кирсанова, когда тот еще оканчивал курс, — ну, и нельзя: дали Кирсанову докторство, дали года через полтора кафедру. Студенты говорили, что с его поступлением партия хороших профессоров заметно усилилась. Практики он не имел и говорил, что бросил практическую медицину, но в госпитале бывал очень подолгу; бывали дни, что он там и обедал, и пил чай вечером; иной раз даже и ночевал. Что же он там делал? Он говорил, что работает для науки, а не для больных: «Я — говорит — не лечу, а делаю наблюдения и опыты», студенты говорили то же, служители госпиталя говорили иначе между собою: «Ну, этого Кирсанов берет в свою палату, — видно, труден», а потом больному: «Будь благонадежен, супротив этого лекаря редкая болезнь может устоять».

[XI]

В первое время замужества Веры Павловны Кирсанов бывал у Лопуховых очень часто — почти через день, иногда и каждый день. Он скоро стал чрезвычайно дружен с Верой Павловной. Так продолжалось с полгода. Однажды они сидели вдвоем, — он, муж и она, разговор шел, как обыкновенно, без всяких церемоний; Кирсанов болтал больше всех, но вдруг замолчал.

— Что с тобою Александр?

— Так что-то, нашла хандра.

— Это с вами редко случается, Александр Матвеевич, — сказала Вера Павловна.

— Без причины даже никогда, — сказал Кирсанов каким-то натянутым голосом.

Через несколько времени — гораздо раньше обыкновенного — он встал и ушел, простившись, как всегда, просто.

Дня через два Лопухов сказал Вере Павловне, что он заходил к Кирсанову и, как ему показалось, встречен был несколько странно: Кирсанов как будто хотел быть с ним любезен, что было вовсе лишнее между ними. Лопухов, посмотрев, посмотрев на него, сказал прямо: «Ты, Александр, что-то дуешься, — на кого? — на кого, на меня, что ли?» — «Нет». — «На Верочку?» — «Нет». — «Так что же с тобою?» — «Нет, ничего, что тебе показалось?» — «Да это вздор, ты нехорош ныне со мною, натянут, любезен, и видно, что дуешься». Кирсанов начал расточать уверения, что нисколько — и тем окончательно выказал, что дуется. Потом ему стало как будто стыдно, он стал прост, хорош, как следует, даже очень мил. Лопухов, воспользовавшись этим, опять спросил: «Ну, Александр, скажи же, за что ты дулся?» — «Я не думал дуться», — и опять стал натянут, приторен и противен.

Что за чудо? Лопухов не мог вспомнить ничего, чем бы мог оскорбить его, да это и было невозможно при их глубоком уважении друг к другу, при горячий, безусловной дружбе их. Вера Павловна тоже очень усердно вспоминала, не она ли чем оскорбила

его, — тоже ничего не могла отыскать и тоже знала по той же самой причине, как у мужа, что это невозможно с ее стороны.

Прошло еще дня два; не быть четыре дня сряду у Лопуховых было делом необыкновенным для Кирсанова. Вера Павловна даже вздумала, здоров ли он; Лопухов зашел посмотреть, не болен ли в самом деле. Какое нездоров! — продолжает дуться. Лопухов стал приступать к нему настойчиво, — он, после долгих отнекиваний, начал говорить какой-то нелепый вздор о своих чувствах к Лопухову и Вере Павловне, что он очень любит их; но из всего этого следовало, что они к нему невнимательны; — ну, видно было, что человек вломался в амбицию. Все это было так дико видеть в человеке, за какого Лопухов знал Кирсанова, что гость сказал хозяину: «Послушай, ведь мы с тобою приятели, — ведь это, наконец, должно быть совестно тебе». Кирсанов с изысканною переносливостью отвечал, что, действительно, это, с его стороны, может быть, мелочность, но что ж делать, если [он] многим обижался. «Ну чем же?» Он начал высчитывать множество случаев, которыми обижался в последнее время, — все в таком роде: «Ты сказал, что [чем] светлее у человека волосы, тем он ближе к бесцветности; Вера Павловна сказала, что нынче чай вздорюжал, — это колкость на мой цвет волос, это намек, что я вас объедаю». У Лопухова опустились руки: человек помешался на амбиционности или, вернее сказать, просто стал дураком и пошляком.

Лопухов возвратился домой просто опечаленный: тяжело было увидеть такую сторону в человеке, которого он так любил. На расспросы Веры Павловны, что же он такое узнал, он отвечал грустно, что лучше об этом не говорить, что Кирсанов говорил неприятный вздор, что он, вероятно, болен.

Через три-четыре дня Кирсанов, должно быть, сам увидел дикую пошлость своих выходов, пришел к Лопуховым, был как следует, потом стал говорить, что он был пошл, — из слов Веры Павловны он заметил, что она не слышала от мужа его глупостей, искренно благодарил Лопухова за эту скромность, стал сам, в наказание себе, рассказывать все Вере Павловне, расчувствовался, извинялся, говорил, что был болен — и опять выходило как-то дрянно. Вера Павловна стала было говорить, чтобы он бросил толковать об этом, что это пустяки; он привязался к слову «пустяки» и начал нести такую же пошлую чепуху, как в разговоре с Лопуховым: очень деликатно и тонко стал развивать ту тему, что, конечно, это «пустяки», потому что он понимает свою маловажность для Лопуховых, но что он большего и не заслуживает, и т. д. Все это говорилось темными намеками, в самых любезных выражениях глубокого уважения и преданности и т. д. Вера Павловна, слушая это, точно так же опустила руки, как прежде Лопухов. Когда он ушел, они припомнили, что несколько дней до своего явного опошления он был несколько не в своей тарелке, очевидно, было что ¹

¹ Фраза не кончена в оригинале. — Ред.

После этого Кирсанов стал бывать опять часто, но продолжение прежних простых отношений было уже невозможно: из-под маски порядочного человека высовывалось несколько дней такое длинное ослиное ухо, что Лопуховы потеряли бы слишком значительную долю расположения к нему, если б ухо это и спряталось навсегда, — его нельзя было бы забыть; но оно по временам продолжало выказываться, выставлялось — не так длинно, и торопливо пряталось, — но жалко, дрянно, пошло.

Скоро к нему в самом деле стали холодны. Через несколько времени он, действительно, имел причину не находить удовольствия у Лопуховых и перестал бывать.

Лопухов иногда заходил к нему. Он был ничего, как следует. Через год он даже возобновил посещения к Лопуховым и был опять прежним отличным Кирсановым, простым и честным, но бывал редко, — видно было, что ему неловко вспоминать о глупой истории, какую он разыграл. Лопухов почти забыл ее, Вера Павловна тоже. Но раз порванные отношения не возобновлялись. По наружности, он и Лопухов были друзья, да и на деле Лопухов стал почти попрежнему уважать его; Вера Павловна также возвратила ему часть прежнего расположения, но она очень редко его видела.

[XII]

Теперь болезнь Лопухова, лучше сказать, чрезвычайная привызанность Веры Павловны к Лопухову принудила его быть более недели в коротких ежедневных отношениях с ними. Он понимал, что ступает на опасную для себя дорогу, решаясь сидеть ночи у Лопухова — ведь он был так рад и горд тем, что в первый раз заметил в себе признаки страсти так рано, умел так твердо сделать, что было нужно для остановки ее развития. Ему было так хорошо от этого: две-три недели его тянуло тогда к Лопуховым, но и тут было больше приятности от сознания своей твердости в борьбе, чем боли от лишения; а через две-три недели боль вовсе прошла, осталось одно довольство своею честностью, — так спокойно, так мило было у него на душе. А теперь опасность была больше, чем тогда: Вера Павловна много изменилась в эти три года. Если красота женщины настоящая красота, — у нас на севере женщина долго хорошеет с каждым годом. Еще важнее была нравственная перемена, резко бросившаяся в глаза Кирсанову, который больше двух лет почти не говорил с Верой Павловною. Три года жизни в эту пору жизни развивают много хорошего, если человек хорош и жизнь хороша. Опасность была большая, не только [для] Кирсанова; Вере Павловне какая же опасность? Она любит мужа, да и смешно было бы ему считать себя опасным соперником ее мужу — это глупо. «Ну, что ж? Отойти для собственного спокойствия недели через полторы, через две теперь будет несколько больнее, чем тогда было через полгода, но серьезной боли и теперь не будет. Неужели из-за такого вздора давать женщине рас-

478

страивать нервы, рисковать болезнью от сиденья по ночам у кровати больного?» Так рассуждал Кирсанов.

Надобность заменять Веру Павловну у его постели прошла. Кирсанов думал для соблюдения благовидности еще два-три раза навестить Лопуховых, потом не быть у них недели две, отговариваясь занятиями, потом не быть месяц, потом полгода.

[XIII]

Все шло у него хорошо, как он и думал. Привязанность возобновилась, и сильнее прежнего, но борьба с нею не представляла никакого серьезного мучения, была еще легка. Вот Кирсанов уже был два раза у Лопуховых по окончании болезни Дмитрия Сергеевича, — довольно, благовидность соблюдена, он начинает отходить. Прошло две недели, — ну, теперь надобно побывать еще раз, а потом можно будет пропустить уже месяц. В эти две недели уже наполовину заглушено развитие чувства, — и прекрасно, через месяц он уже будет совершенно в своей тарелке. Вот он сидит у Лопуховых и участвует в разговоре так непринужденно, что сам радуется своим успехам, и от этого довольства непринужденность еще увеличивается. Лопухов собирался завтра выйти в первый раз из дому, Вера Павловна была от этого в особенно хорошем настроении, радовалась чуть ли не больше — да наверное больше, — чем сам бывший больной. Разговор коснулся болезни, смеялись над нею, восхваляли шутливым тоном самоотверженность Веры Павловны, чуть не расстроившей себя тревогой из-за того, о чем не стоило тревожиться. «Смейтесь, смейтесь, — говорила она: — я сама знаю, что это забавно, но ведь и вы сами поступали бы точно так же на моем месте».

— А какое влияние имеет заботливость других на человека, — сказал Лопухов: — ведь он и сам отчасти подвергается обольщению, что нужна ему бог знает какая осторожность, когда видит, что другие из-за него тревожатся. Ведь вот я — мог бы выходить из дому уже дня четыре, а все продолжал сидеть. Ныне поутру хотел выйти — и еще отложил на день для большей безопасности.

— Да, тебе давно было можно выходить, — подтвердил Кирсанов.

— Вот это я называю геройством, — и правду сказать, страшно надоело оно, — сейчас бы так и убежал.

— Милый мой, да ведь это ты все для моего успокоения геройствовал. А убежим сейчас же в самом деле, если тебе так хочется поскорее кончить карантин. Я скоро пойду в мастерскую, отправимся все вместе, это будет с твоей стороны очень мило, что ты первый визит после болезни сделаешь нашей компании. Она заметит это и будет рада такой внимательности.

— Хорошо, отправимся вместе.

— Вот хозяйка с тактом, — сказала Вера Павловна: — и не по-

думала, что у вас, Александр Матвеевич, вовсе может не быть желания идти с нами.

— Нет, это очень любопытно. Я давно собирался. Ваша мысль очень счастлива.

Точно, мысль Веры Павловны была удачна. Девушки, действительно, нашли очень милым, что Дмитрий Сергеевич сделал им первый визит после болезни. Кирсанов, действительно, очень интересовался мастерскою, — да и нельзя было не интересоваться ею человеку с тем образом мыслей, который был общий у него с Лопуховым. Если бы особенная его причина не удерживала его, он с самого начала был бы одним из самых усердных преподавателей в ней. Полчаса, может быть, час, пролетели незаметно. Вера Павловна водила его по разным комнатам мастерской и общих комнат, в которых девушки обедали, собирались по вечерам. Осмотревши все, они возвращались в мастерскую через столовую, когда к Вере Павловне подошла девушка, которой не было в мастерской; девушка и Кирсанов взглянули друг на друга: «Настенька!» «Саша!» и обнялись.

— Сашенька, друг мой, как я рада, что встретила тебя! — и все целовала, и смеялась, и плакала. Опомившись от радости, она сказала: — нет, Вера Павловна, о делах уж не стану говорить теперь, не могу расстаться с ним. Пойдем, Сашенька, в мою комнату.

Кирсанов был не меньше ее рад, но Вера Павловна заметила, что в первом же его взгляде, как он узнал ее, было много печали; да это было и неудивительно: у девушки была чахотка в последней степени развития.

Крюкова поступила в мастерскую с год тому назад уже очень больная; если бы она оставалась в магазине, где была до той поры, она давно бы уже умерла от швейной работы; но в мастерской нашлась для нее возможность прожить несколько подольше, чем было бы иначе. Девушки совершенно освободили ее от шитья, — можно было найти довольно другого занятия для нее, — она заменила половину прежних дежурств по мелким надобностям швейной, вела счета, которые не требовали много письма, участвовала в заведывании некоторыми кладовыми, принимала заказы, — [для] работы было полезно, и никто не мог сказать, что Крюкова менее других приносит пользы мастерской.

Лопуховы ушли, не дождавшись окончания свидания Крюковой с Кирсановым.

[XIV]

На другой день, рано поутру, Крюкова пришла к Вере Павловне.

— Я хочу поговорить с вами о том, что вы вчера видели, Вера Павловна, — сказала она; она несколько времени затруднялась, как ей продолжать: — мне не хотелось бы, чтобы вы дурно подумали о нем, Вера Павловна.

— Что это, как вы сами дурно думаете обо мне, Настасья Борисовна!

— Нет, если бы это была не я, а другая, я бы не подумала этого. А ведь я, вы знаете, не такая, как другие.

— Нет, Настасья Борисовна, вы не имеете права говорить о себе [так]. Мы знаем вас год. Да и прежде вас знали многие из нашего общества.

— Так, я вижу, вы ничего обо мне не знаете?

— Конечно, знаю очень многое; вы были служанкою в последнее время у актрисы N; когда она вышла замуж, вы отошли от нее, чтобы избежать ухаживаний отца ее мужа; поступили в магазин N, из которого перешли к нам; я знаю это со всеми подробностями.

— А больше вы ничего не знаете? Да, в самом деле, Вера Павловна, ведь у нас не любят сплетен; и за Максимову и Шенину, которые знали меня прежде, я была уверена, что они не станут рассказывать. Но все могло как-нибудь со стороны быть рассказано вам или другим. Как я рада, что они ничего не знают, как я рада! значит, не нужно оправдывать его перед вами в том, что он был знаком со мною; но я вам все-таки расскажу, чтобы вы знали, какой он добрый. Я была очень дурная девушка, Вера Павловна.

— Вы, Настасья Борисовна?

— Да, Вера Павловна, была. И я была очень дерзкая, у меня не было никакого стыда, и я была всегда пьяная, — у меня оттого и болезнь, Вера Павловна, что я при своей слабой груди слишком много пила.

Вере Павловне уже раза два или три случалось видеть примеры, что девушки, которые уже давно держали себя самым безукоризненным образом, когда начиналось ее знакомство с ними, прежде когда-то вели самую дурную жизнь. На первый раз она была удивлена такою исповедью, но, подумав над нею несколько дней, она рассудила: «А моя жизнь? грязь, в которой я выросла, ведь тоже была очень дурна, — однако же не прилипла она ко мне, как остаются от нее чисты сотни, тысячи женщин, выросших в семействах не лучше моего. Что ж удивительного, если из этого унижения так же могут выходить неиспорченными те, которым счастливый случай поможет избавиться от него?» И вторую исповедь она слушала, уже не изумляясь тому, что девушка, ее делавшая, сохранила все благородные свойства человека: и бескорыстие, и способность верной дружбы, и даже сохранила довольно много наивности.

— Настасья Борисовна, я имела такие разговоры, какой вы хотите начать. Той, которая говорит, и той, которая слушает, обоим тяжело. Я вас буду уважать не меньше, скорее больше прежнего, услышав, что вы много перенесли; но я понимаю все, и не слышав, — не будем говорить об этом, — передо мною не нужно объясняться. У меня самой много лет жизни прошло в очень больших

огорчениях, я стараюсь не думать о них и не люблю говорить о них — это тяжело.

— Нет, Вера Павловна, у меня другое чувство: я вам хочу сказать, какой он добрый, — мне хочется, чтобы кто-нибудь знал, как я ему обязана, — а кому сказать, кроме вас? Мне этот рассказ будет облегчением. О том, какую жизнь я вела, разумеется, нечего говорить: она у всех таких бедных одинакова. Я хочу рассказать только о том, как я с ним познакомилась: об нем так приятно говорить мне. И ведь я переезжаю к нему жить, надобно же вам знать, почему я бросаю мастерскую.

— Позвольте же, я возьму работу. Если так, если для вас рассказ будет приятен, Настасья Борисовна, я рада вас слушать.

— Да, а вот мне и работать нельзя. Какие добрые эти девушки, — нашли возможность успокоить меня, — я их буду всех благодарить, каждую. Скажите и вы, Вера Павловна, что я просила вас благодарить их за меня.

Я ходила по Невскому, Вера Павловна; только что вышла, было еще рано, — идет студент; я привязалась к нему; он ничего не сказал, а перешел на другую сторону улицы. Смотрит, я опять подбегаю к нему, схватила его за руку: «Нет, я говорю, я не отстану от вас, вы такой хорошенький» — «А я вас прошу об этом, оставьте меня», говорит. «Нет, пойдемте со мною». — «Незачем». — «Ну, так я с вами пойду. Вы куда идете? Я уж от вас ни за что не отстану». Ведь я была такая бесстыдная, хуже других.

— Оттого, Настасья Борисовна, что, может быть, на самом деле были застенчивы, совестились.

— Да, это, может быть, правда. По крайней мере на других я это видела, не тогда, разумеется, а после поняла. Так когда я ему сказала, что непременно пойду с ним, он перестал сердиться, а сказал: «Когда хотите, идите, только напрасно будет», и засмеялся — он хотел меня проучить, как после сказал, — ему было досадно, что я так пристаю. Я и пошла с ним, и говорила ему всякий вздор, — он все молчал. Вот мы пришли. По-студенческому, он уж и тогда жил хорошо, он был тогда во втором курсе, у него были хорошие уроки, он получал больше 20 рублей в месяц. Тогда он жил один. Я развалилась на диване и говорю: «Ну, давай вина» — «Нет, говорит, вина я вам не дам, а чай пить, пожалуй, давайте» — «С пуншем», — я говорю. «Нет, без пунша». Стала делать глупости, бесстыдничать. Он сидит и смеется, да так обидно, смотрит, но не обращает никакого внимания. Теперь встречаются такие молодые люди; ведь я, Вера Павловна, осталась приятельница с одной из тогдашних моих подруг: очень добрая и хорошая, только никак не может отстать от вина, такая несчастная; теперь есть такие молодые люди, много лучше стали с того времени. А тогда это было диковиной. Мне стало даже обидно, я начала ругать его: «Когда ты такой деревянный, — и выругала его — так я уйду» — «Теперь что ж уходить, — он говорит, — уж напейтесь чаю, хозяйка сейчас принесет самовар. Только не ругайтесь, — и все говорил мне

«вы»,—вы лучше расскажите-ка мне, кто вы, и как с вами это случилось». — Я ему стала рассказывать, что про себя выдумала — ведь мы сочиняем себе разные истории, и от этого никому из нас не верят, а у многих — в самом деле есть такие, у которых эти истории не выдуманы: ведь между нами бывают и образованные, и благородные. Он послушал, послушал, и говорит: «Нет, у вас плохо придумано, я бы вам хотел верить, да нельзя. Зачем вы лжете?» А мы уж пили чай. Вот он и говорит: «А знаете, что я по вашему сложению вижу? что вам вредно пить вино. У вас чуть ли уж грудь-то от него не расстроена, дайте-ка я вас осмотрю». — Что же, вы не поверите, Вера Павловна, ведь мне стыдно стало, а в чем моя жизнь была, перед этим как бесстыдничала! И он заметил: «Да нет, говорит, ведь только грудь послушать», он во втором курсе тогда еще был, а уже много знал по медицине, он вперед заходил в науках, — стал слушать грудь. «Да, — говорит, — вам вовсе не годится пить. У вас грудь плоха» — «А как же нам не пить, — я говорю, — нам без этого нельзя». И точно, нельзя, Вера Павловна. «Так вы бросьте такую жизнь» — «Стану я бросать, ведь она веселая» — «Ну, говорит, мало веселья. Ну, теперь я делом займусь, а вы идите. Вот вам целковый, чтобы вы не жаловались, что у вас вечер пропал». — А я швырнула ему целковый, — ведь из нас тоже обидчивые в этом: «За что я возьму, за кого ты меня принимаешь? Чтоб я стала даром деньги брать?» Право, так и сказала: «За кого принимаешь?» — ведь вам это смешно покажется: «За кого принимаешь!» — и пошла. А он говорит: «Ну, так я вам вот что скажу: ежели когда так заходите посидеть, только чтобы не ругаться, так заходите»; — разумеется, ему честно показалось, что я денег не взяла. «А зачем я к вам приду?» — И ушла, рассерженная, что вечер пропал, да и обидно мне было, что он такой бесчувственный. Вот, через месяц этак, случилось мне быть в тех местах; дай, думаю, зайду к этому деревянному, потешусь над ним. А это было перед обедом, я с ночи-то выпалась и не была пьяная. — Он сидел с книгою. «Здравствуй, деревянный», я говорю. «Здравствуйте. Что скажете?» — «Зашла тебя проведать». Опять стала дурачиться. «Я, говорит, вас прогоню, если вы станете эти глупости делать. Ведь я вам говорил, что не люблю. Теперь вы не пьяная, можете понимать. А вы лучше вот что подумайте: у вас лицо-то больнее прежнего, вам надо бросить вино. Поправьте одежду-то, да поговорим хорошенько». — А у меня, точно, грудь-то уж начинала болеть. «Да как же с тобой говорить, когда ты такой бесчувственный, ты обижаешь». «Нет, говорит, я не бесчувственный, да лучше об вас поговорим, обо мне нечего говорить». — Стал спрашивать про грудь, опять слушал, сказал, что расстроена больше прежнего, что мне нельзя так жить; — ну, знаете, много говорил об этом, да и грудь-то у меня болела — я и расчувствовалась, заплакала, ведь умирать-то не хотелось, а он все чахоткою пугал; я и расплакалась и говорю: «Да как же я такую жизнь брошу? Ведь меня хозяйка не выпустит, — я ей 17 целковых должна, — ведь нас всегда

в долгу держат, чтобы мы безответны были». «Ну, говорит, у меня 17 целковых не наберется, а послезавтра приходите». Так это мне странно показалось — ведь я вовсе не к тому сказала, да и как же этого ждать было? — Да я и ушам своим не поверила, расплакалась еще больше, думала, что это он надо мной насмехается. «Грешно, — я говорю, — вам, — уж наглость бросила и стала его называть «вы», — грешно вам обижать бедную девушку, когда видите, что я плачу». Ну, разумеется, ведь долго ему не верила, когда он стал уверять, что говорит не в шутку. И что вы думаете, ведь набрал денег и отдал мне, когда я через два дня пришла. Мне и тут все еще как будто не верилось. «Да как же, говорю, да за что же, когда вы не хотите иметь со мною дела?» Выкупилась от хозяйки. Наняла особую комнату, но делать я ничего не умела, а наняться мне было нельзя никуда, потому что ведь у нас особые билеты, — куда с таким билетом покажешься? А денег нет, и жила попрежнему, — то есть не попрежнему, какое сравнение, Вера Павловна, ведь я к себе уж принимала только своих знакомых, хороших, таких, которые не обижали, и вина у меня не было, потому какое же сравнение, и знаете? мне это уж легко было перед прежним, — только нет, все-таки тяжело, — и что я вам скажу? Вы подумаете, потому тяжело, что у меня много приятелей было, человек пять? Нет, ведь я ко всем к ним имела расположение, так это мне было ничего; вы меня простите, Вера Павловна, что я так говорю, только я с вами откровенна: я и теперь так думаю. Вы меня знаете, Вера Павловна, развратная ли я теперь какая-нибудь или нескромная ли? Кто, Вера Павловна, слышал теперь что-нибудь, кроме самого хорошего? ну, скажите, Вера Павловна, если бы у вас дочь была, а я была бы здоровая, — не побоялись бы взять меня в няньки, что я буду ее дурному учить?

— Нет, Настасья Борисовна, не побоялась бы.

— Я знаю, что не побоялись бы. Ведь я в мастерской сколько вожусь с детьми, и все меня любят, и старухи не скажут, чтобы я не учила их самому хорошему, — это верно, и никто от меня нескромного слова не услышит, — только я и теперь так думаю: если расположение имеешь, это все равно, Вера Павловна, потому что тут обману нет; другое дело, если бы обман был; — так я не этим стыдилась, Вера Павловна, а тем, что все-таки деньги брала; это мне очень стыдно было. А только, Вера Павловна, вы простите меня, что я вам скажу: ведь почти что всем женщинам, по-моему, также должно быть стыдно, которые и благородные женщины, замужние, и мужа не обманывают, не заводят любовников себе, — ведь они тоже за деньги живут с мужьями, — да еще я скажу вам больше: я — про себя скажу, — ведь я, когда так стала жить, вперед денег не брала, должна никому не была, когда у меня расположения не было, я и говорила: «Ты ступай, я не хочу, чтобы ты нынче тут был»; а если не то, что по времени у меня не было расположения, а к человеку не было расположения, ведь я его вовсе отсылала, что «я не буду с тобою знакома»; значит, Вера Павловна,

я еще меньше была им обязана перед ними за себя иметь стыд. А как у нас замужние женщины живут, Вера Павловна? Я не про наших простых женщин говорю, из простого звания, — те незадаром мужниными деньгами кормятся: ведь она работница в доме, и обшивает, и обмывает мужа, и есть ему готовит, и за детьми смотрит, все она: и швея, и прачка, и судомойка, и кухарка, и нянька, и все, — этой нет стыда с мужем жить; я говорю про ваше звание, Вера Павловна, да не про бедных, — что бедные, они все так живут, как и простые, хоть и благородные. Бедная жена тоже и из благородных людей тоже полезный человек в доме: за свою заботу, за свои труды имеет содержание от мужа, — ей не стыдно, Вера Павловна, — она, вы меня извините, что я так скажу, — она с ним как с мужем живет не за плату, она свою плату не за это берет; я говорю, мужнин хлеб ест, мужнино платье носит, от мужа комнату получает не за это, Вера Павловна, что с ним как жена живет, а за то, что она ему полезная помощница, — ей не стыдно, — а я говорю про достаточных людей, про тех жен, которые так живут, ни на что в доме не нужны, кроме как для прихоти да для похвальбы мужу; эти, Вера Павловна, за что свое содержание имеют? Им, по-моему, так же должно быть стыдно, как мне тогда было, — вы меня простите, что я так говорю, может быть, это потому так мне кажется, что я прежде вела дурную жизнь, так, может быть, это от нее дурные мысли остались. Да нет, Вера Павловна, опять как же это сказать? Что дурно, так ведь то я осуждаю самыми строгими словами, — вино, или бесстыдство какое, или если кто-нибудь обижает, или учит вредному, — это я очень осуждаю, Вера Павловна; отчего же у меня такие мысли? Верно, это не от дурной моей жизни развратные мысли остались, а должно быть, что это верные мысли и что если другим они не представляются, так разве потому, что они меньше горечи испытали, не могут так правильно судить о жизни. Видите, какая я гордая в своих мыслях, Вера Павловна, — ну, да недолго мне погордиться.

— Так вот как я и жила, Вера Павловна; это мне не стыдно было, Вера Павловна, что у меня не один человек бывает, — простите меня, что я так сказала, что я этого и теперь не осуждаю, потому что я без расположения никого не принимала; дружна была с ними, потому что были хорошие люди, не обижали. Только тем я очень стыдилась, что плату от них брала, что я по расположению к себе их принимала, а по виду как будто за деньги им себя продавала. Вот так и прошло, Вера Павловна, месяца три, и много уж я отдохнула в это время, потому что моя жизнь в это время была уже спокойная, и — извините, Вера Павловна, что я так скажу, — совестилась я по причине денег, а дурной девушкой себя не считала. Но совестно было из-за денег.

— Только, Вера Павловна, и он, Сашенька, бывал у меня в это время, и я его навещала; вот я опять к тому подошла, об чем одному надобно было говорить, а что рассказывала я об себе, ведь без этого можно было обойтись; только, Вера Павловна, кому же

про свою жизнь не хочется рассказать так, чтобы после, когда, знаете, в живых не будешь, чтобы те, кого уважал, помнили тебя в настоящем твоём виде: как ты была и как чувствовала. Что же, Вера Павловна, вам нечего говорить, какие мои чувства к вам; конечно, Вера Павловна, не то, что к Сашеньке, — как можно сравнить, и тени той нет, потому что этого, Вера Павловна, никак нельзя, — ну, а все-таки вас больше всех люблю после него. Вот я стала говорить, Вера Павловна, что Сашенька меня навещал, — только не за тем, как другие, а так, будто имел за мною наблюдение, чтобы я к своей прежней слабости не возвратилась, вина бы не пила. И точно: в первые дни он меня поддерживал, потому что я совестилась; ну, как он зайдет да увидит, — а в первое время тянуло, потому что у меня уж была привычка, и должно быть, что без него я не устояла бы, потому что мои приятели, хоть и были добрые, хорошие люди, но тоже говорили: «Я, говорит, пошлю за вином». — А как я его совестилась, я и говорила: «Нет, никак нельзя». — А то, знаете, соблазнилась бы, одной той мысли было бы не довольно, что это для моей болезни вредно. А потом, Вера Павловна, этак недели через две я уж сама укрепилась, прошел позыв к вину, и уж отвыкла я от пьяного обращения. Только, Вера Павловна, я все собирала деньги, чтоб ему отдать, и месяца через два отдала все. И он был так рад, что я ему их отдала, и только я тогда же это поняла, что ему не деньги понравились, а что у меня эти деньги лежали на душе; и на другой день он мне принес кисей на платье, две пары ботинок, цветов купил; «я, говорит, вас не хотел обидеть, чтобы от ваших денег отказаться».

— Вот он опять бывал и после этого с месяц, все также, будто лекарь за больным смотрит. А потом, — это уж через месяц было после того, как я с ним расплатилась, — он тоже сидел у меня, и сказал: «вот теперь, Настенька, вы мне стали нравиться». — И точно, от вина лицо портится, и вдруг это не могло пройти, а тогда уж прошло, и цвет лица у меня стал нежный, и глаза стали ясные, — и опять то, что от прежнего обращения отвыкла, и стала говорить скромно, — знаете, мысли-то у меня скоро стали скромные, когда я перестала пить, а в словах-то я еще путалась, — ну, этак бывало, или сяду да забуду платье оправить хорошенько, по прежнему, знаете, неряшеству, а к этому времени я уж попривыкла и держать [себя], и говорить гораздо скромнее. Вот, как он это сказал, что я ему стала нравиться, я так обрадовалась, что хотела ему на шею броситься да поцеловать, да не посмела, остановилась, а он говорит: «Вот видите, Настенька, я не бесчувственный». — И долго сидел и говорил, что я стала хорошенькая и скромная, — только, потом он и стал ласкаться ко мне, — и так это мне странно показалось от него, когда он начал ласкаться, и как же ласкаться? Взял руку и положил на свою, и стал так нежно гладить другою рукой, и смотрит на эту руку, — а точно, руки у меня тогда были уж беленькие, нежные, — все смотрит на руку, и иногда в глаза посмотрит; так вот, как он взял мою руку, вы не поверите, Вера

Павловна, я так и покраснела, — после моей-то жизни, Вера Павловна, — будто какая-нибудь самая невинная барышня, ведь это странно, Вера Павловна, а так было, — но при всем моем стыде, — смешно сказать, Вера Павловна: при стыде моем, а ведь правда, все-таки сказала: «Как это вы захотели приласкать меня, Александр Матвеевич?» — А он сказал: «Потому, Настенька, что вы теперь честная девушка», — эти слова так меня обрадовали, что он назвал меня честною девушкою, что я так и залилась слезами; а он стал говорить: «Что это с вами, Настенька?» — и поцеловал меня. Что же вы думаете, Вера Павловна, от этого поцелуя у меня голова закружилась, я себя не помнила, — можно ли этому поверить, Вера Павловна, чтобы это могло быть после такой моей жизни?

— Вот, Вера Павловна, на другое утро сижу я, да и плачу: что мне теперь делать бедной, как я жить стану? Только мне и остается, что в Неву броситься, потому что чувствую я: не могу я того, что я делаю, зарежьте меня, с голоду буду умирать, не стану делать. Видите, Вера Павловна, значит, у меня давно была к нему любовь, но как он не показывал ко мне никакого чувства и у меня надежды никакой не было, чтобы я могла ему понравиться, то эта любовь и замирала во мне, и я сама не понимала, что она во мне есть. А теперь все и обнаружилось. А это, разумеется, когда такую любовь чувствуешь, то как же можно на кого-нибудь и смотреть, кроме того, кого любишь? Это и вы по себе чувствуете, что нельзя. Тут уж все пропадает, кроме одного человека. В этом и похвалы никакой нет, потому что иначе и [не] можешь чувствовать. Вот сижу я и плачу: «что я теперь буду делать? нечем мне теперь жить». Я уж в самом деле думала: «пойду к нему, увижусь еще с ним, да пойду после того и утоплюсь». Так все утро и проплакала. Только вдруг вижу, он вошел и бросился меня целовать, и говорит: «Настенька, об чем я тебя хотел спросить? Хочешь ты со мною жить?» — Я ему и сказала, что я думала. И стали мы с ним жить.

— Вот было счастливое время, Вера Павловна! я думаю, мало кто таким счастьем пользовался. И все-то он на меня любовался, Вера Павловна, — сколько раз случалось: проснусь, а он сидит, да и смотрит, — знаете, он изнежил меня, я иной раз лягу рано, а он привык заниматься, сидит за книгой, — да и не усидит, — подойдет [взглянет] на меня, да так и забудется, — все сидит да смотрит. Но только, какой же он скромный был, Вера Павловна; ведь я после уже умела понимать, не то что по сравнению, как другие со мною были, это, разумеется, какое сравнение, — а ведь я стала читать, узнала, как в романах любовь описывают, поэтому могла судить, — но только, Вера Павловна, уж как он любовался на меня; и какое в это время чувство, Вера Павловна, когда любимый человек на тебя любит, это такая нега, Вера Павловна, о какой я и понятия никакого не имела; уж на что, когда он меня в первый раз поцеловал, у меня даже голова закружилась, я так

и опустилась к нему на руки, кажется, сладкое должно быть чувство — но все не то, Вера Павловна, — то, знаете, кровь кипит, тревожное что-то, и в сладком чувстве есть как будто какое-то мученье, — так что тяжело это даже, хотя нечего и говорить, какое блаженство, что за такую минуту можно, кажется, жизнью пожертвовать, — да и жертвуют, Вера Павловна, значит, большое блаженство, — а все не то, не то, это все равно, как если когда замечтаешься, сидя одна, просто думая: «ах, как я его люблю»; — так ведь когда так задумаешься, тут уж ни тревоги, ни боли никакой нет в этой приятности, а так ровно, тихо чувствуешь; так вот то же самое, только в тысячу раз сильнее, когда этот любимый человек на тебя любит, — и как это спокойно чувствуешь, и не то что сердце сильнее бьется, нет, — то уж тревога была бы: этого не чувствуешь, а только грудь шире становится, дышится легче, — вот это так, это самое верное: дышишь очень легко! Ах, как легко, — так что и час, и два пролетят, будто одна минута, — как одна минута, — нет, ни минуты, ни секунды нет, вовсе времени нет, все равно как уснешь и проснешься, — проснешься, чувствуешь, что много времени прошло с той поры, как уснул; а как это время прошло, — это и ни одного мига не составило, Вера Павловна; и тоже опять все равно, как после сна: не то что утомление, а напротив, свежесть, бодрость, будто отдохнул, — да так и есть, что отдохнул: я сказала: «очень легко дышится» — это и есть самое настоящее. Какая сила во взгляде, Вера Павловна; никакие другие ласки так не ласкают, не дают такой неги, как взгляд. Все остальное, что есть в любви, все не так нежно, как эта нега.

— И все, бывало, любит; все, бывало, любит, — ах, что это за наслаждение такое, — это никто не может представить, кто не испытывал, — да вы это знаете. Вам не нужно этого рассказывать; а как подумаешь об этом, то не можешь оторваться от этой мысли. Нет, я уж уйду, Вера Павловна, больше и говорить ни об чем нельзя. Я только хотела сказать, какой Сашенька добрый.

[XV]

Крюкова досказала свою историю Вере Павловне уже в другие дни. Они с Кирсановым прожили около двух лет; признаки начинавшейся болезни как будто исчезли; но на третью весну чахотка вдруг обнаружилась уже в сильном развитии. Жить с Кирсановым было бы для Крюковой обрекать себя на скорую смерть; но отказавшись от этой связи, она могла еще рассчитывать, что болезнь опять заглухнет надолго. Они решились расстаться. Заниматься какою-нибудь усидчивою работою также значило бы губить себя. Надобно было искать должности горничной, экономки, няньки, что-нибудь в этом роде; и должности, и такой госпожи, при которой не было бы ни утомительных обязанностей, ни, в особенности, неприятностей. Условия довольно трудные. Но нашлось

место. У Кирсанова были знакомства между начинающими артистами; через них Крюкова определилась в горничные к одной из актрис русского театра, отличной женщине. Долго расставались и не могли они расстаться с Кирсановым. «Завтра отправлюсь на свою должность» — и одно завтра проходило за другим. Плакали, плакали, и все сидели, обнявшись, пока уже сама актриса, зная, по какому случаю поступает к ней горничная, [не] приехала за нею сама, догадавшись, почему она долго не является, и зная, что это продление разлуки очень вредно для бедной больной девушки. Пока актриса оставалась на сцене, Крюковой было очень хорошо жить у ней: актриса была женщина деликатная, Крюкова была привязана к своему месту — другое такое трудно было бы найти; актриса была довольна горничною; горничная, за то, что не имеет от нее неприятностей, привязалась и к ней самой; актриса, увидев это, стала еще добрее; Крюковой было очень спокойно, и болезнь ее, действительно, не развивалась или почти не развивалась. Но актриса вышла замуж, покинула сцену и поселилась в семействе мужа; тут, как и прежде слышала Вера Павловна, привязался к горничной отец мужа актрисы, — добродетель Крюковой, положим, и не подвергалась никакому искушению, но начались домашние сцены: бывшая актриса стала стыдить старика, старик стал сердиться; Крюкова не хотела быть причиной семейного раздора, да если бы и хотела, то уже не имела бы прежней спокойной жизни на прежней должности, и бросила ее.

Это было года через полтора после разлуки с Кирсановым. Она уже не виделась с ним в это время. Сначала он навещал ее, но радость свиданья так вредно действовала на нее, что он вытребовал у нее позволение не бывать у ней, для ее же пользы. Крюкова пробовала жить горничною еще в двух-трех семействах, но везде было столько тревог и неприятностей, что уж лучше было поступить в швеи, хоть это и было прямым обречением себя на быстрое развитие болезни, — ведь болезнь все равно развивалась бы и от неприятностей; пусть же будет она подвергаться той же судьбе без огорчений, только от одной работы. Год швейной работы окончательно подрезал Крюкову. Когда она поступила в мастерскую Веры Павловны, Лопухов, бывший там домашним доктором, делал все возможное, чтобы задержать ход чахотки, сделал много, то есть по трудности того небольшого успеха, который получал; но успех сам по себе был невелик.

Крюкова до последнего времени находилась в обыкновенном заблуждении чахоточных, воображая, что ее болезнь еще не бог знает [как] развилась. Поэтому она сама не хотела отыскивать Кирсанова, зная, что свидания с ним были [бы] для нее ядом. Но уже месяца два-три она очень настойчиво спрашивала Лопухова, долго ли остается ей жить. Зачем это нужно знать ей, она не говорила, и Лопухов, конечно, не почел себя вправе прямо говорить ей о близости развязки, не видя в ее вопросах ничего, кроме обыч-

новенной привязанности к жизни. Он считал своим долгом успокаивать ее. Но как чаще всего случается, она не успокаивалась, а только удерживалась от исполнения мысли, которая могла доставить отраду ее концу. Сама она видела, что ей недолго жить, и чувства ее определялись этой мыслью; но медик уверял ее, что она еще должна дорожить своим здоровьем, и она знала, что должна верить ему больше, чем себе, потому и слушалась его в своих поступках и не отыскивала Кирсанова.

Разумеется, это недоразумение не могло быть продолжительно: с приближением кризиса расспросы Крюковой о состоянии ее болезни сделались бы настойчивее, определеннее; если бы она и не высказала, что имеет еще особенную причину узнать истину, кроме обыкновенного интереса всех больных, то Лопухов или Вера Павловна заметили бы это, дело разъяснилось бы, и двумя-тремя неделями, быть может, несколькими днями позже, все-таки дело пришло бы к тому же самому, к чему пришло несколько раньше благодаря неожиданному для Крюковой появлению Кирсанова в мастерской. Но теперь недоразумение было прекращено не дальнейшим ходом расспросов, а этим случайным обстоятельством.

— Как я рада, как я рада, ведь я все собиралась к тебе, Сашенька, — с восторгом сказала Крюкова, когда ввела его в свою комнату.

— Да, Настенька, я не меньше тебя рад, — теперь не расстаемся, переезжай жить ко мне, — сказал Кирсанов, увлеченный чувством сострадательной любви, — и, сказавши, тотчас же вспомнил: «как же я сказал ей это, — ведь она, вероятно, еще не догадывается о безнадежности и близости развязки».

Но она или не поняла в первую минуту смысла, который выходил из его слов; или если поняла, так не до того ей было, чтоб обращать внимание на этот смысл, и радость возобновления любви заглушала в ней скорбь мысли о близком конце, — она только радовалась и говорила: «Какой ты добрый, ты все попрежнему любишь меня».

Но, когда он ушел, она поплакала: только теперь она или поняла, или могла заметить, что поняла смысл возобновления любви, — тот смысл, что «теперь мне уж нечего беречь тебя, не сбережешь, по крайней мере, пусть ты порадуешься»...

И действительно, она порадовалась: он не отходил от нее ни на минуту, кроме тех часов, которые брали у него госпиталь и должность; так прошло около месяца, и болезнь быстро развивалась; был уже очень недалек конец, и они все время были вместе, — и сколько было рассказов обо всем, что было с каждым во время разлуки, и еще больше было воспоминаний о прошлой жизни вместе, — и сколько было удовольствий: они гуляли вместе; он нанял коляску, и они по целым вечерам каждый день ездили по окрестностям Петербурга; она многих из этих окрестностей вовсе еще не видала и так восхищалась ими, — ей не часто приводилось бывать за городом, а теперь половину времени проводила среди зелени, — а чело-

веку так мила природа, что даже этою жалкою, презренною, хоть и стоившею миллионы и десятки миллионов, природою окрестностей [Петербурга] радуются люди, которым не была [знакомой] природа, более живая и радостная. Они читали, они играли в дурачки, они играли в свои козыри, играли в лото; она даже стала учиться играть в шахматы, «потому что Сашенька любит шахматы», как будто имела время выучиться; но больше всего он просто любовался на нее, и ей, как она говорила, «было очень легко дышать».

Вера Павловна несколько раз просиживала у них вечера, еще чаще заходила к Крюковой по утрам, чтобы развлечь ее, когда она оставалась одна; и когда они были одни вдвоем, у Крюковой только и было все одно и то же содержание бесконечных рассказов, — то, «какой Сашенька добрый», и как он любит ее на нее, и как легко дышится от этого, и как жарко он целует ее, и тут она смеялась: «Как это он не устанет целовать, — начнет, Вера Павловна, целовать глаза, потом руки, потом станет целовать грудь, потом ноги, — и ведь мне не стыдно, право, не стыдно, а ведь я уж совсем отвыкла от мужских взглядов, — ведь я, Вера Павловна, женского взгляда стыжусь, — право стыжусь, — вы спросите наших девушек, какая я застенчивая, ведь я ни при одной из них не одевалась, ведь я поэтому и жила в особой комнатке, Вера Павловна, потому что я очень застенчива, Вера Павловна, я очень стыдливая, Вера Павловна; а как это так странно, Вера Павловна, вы не поверите, что когда он на меня любит и целует, мне не стыдно, а только так приятно и легко дышится; отчего это, Вера Павловна, — ведь вот, я даже вас стыжусь, отчего же его взгляда не стыжусь? — это, я думаю, Вера Павловна, не оттого ли, что уж он мне и не кажется другим человеком, а кажется, как будто мы оба один человек; как будто это не он на меня смотрит, а я сама на себя смотрю; и будто это не он меня целует, а сама целую, — право, так мне представляется, — это оттого и не стыдно».

[XVII]

Прошло месяца четыре. Заботы о Крюковой, потом воспоминания о ней обманули Кирсанова, — ему казалось, что теперь он безопасен от мыслей о Вере Павловне, и он не избегал ее, когда она, навещая Крюкову, встречалась и говорила с ним; потом не избегал, когда она старалась развлечь его, — он очень грустил по бедной своей приятельнице. Пока он грустил, оно, точно, в его сознательных чувствах к Вере Павловне не было ничего, кроме дружеской признательности за ее участие.

Но — читатель уже знает вперед смысл этого «но», как всегда будет вперед знать, о чем будет говориться после страниц, им прочтенных — но, разумеется, чувство Кирсанова к Крюковой было при их второй встрече вовсе не то, как у Крюковой к нему —

любовь к ней давным давно прошла в Кирсанове, — он только остался расположен [к ней] как женщине, которую когда-то любил.

То была жажда юноши полюбить кого-нибудь; когда Кирсанов перестал быть юношей, он мог только жалеть Крюкову, не больше, — он был дружен с нею по воспоминанию, не больше. Грусть по ней скоро сгладилась, но когда она рассеялась на самом деле, ему еще помнилось, что он занят этою грустью; а когда он заметил, [что] уже не имеет грусти, а только вспоминает о прошлой грусти, он увидел себя в таких отношениях к Вере Павловне, что увидел, что попался в большую беду.

Вера Павловна старалась его развлекать, и что же было теперь, через два-три месяца после того, как начала она развлекать его от грусти о Крюковой? Да ничего больше, как только то, что он почти каждый вечер или проводил у Лопуховых, или провожал куда-нибудь Веру Павловну — провожал часто вместе с мужем, чаще один.

И какой был теперь характер дня Веры Павловны? До вечера тот же самый, как и прежде; но вот 6 часов; бывало, она в это время идет одна в свою мастерскую или сидит в своей комнате и работает одна. А теперь, если ей ныне нужно быть в мастерской и вечером, Кирсанову сказано об этом накануне, и он является провожать ее; по дороге туда и оттуда — впрочем, очень недалек — они толкуют о чем-нибудь, обыкновенно о мастерской; там она занята распоряжениями, и у него много дела, он сидит, болтает с детьми, тут же подсело несколько девушек и участвуют в болтовне обо всем на свете: и о белых слонах, которых так уважают в Индии, и о белых кошках, которых многие так любят у нас; Кирсанов и половина компании находят, что это безвкусие, белые слоны, кошки, лошади, коровы — все это альбиносы, это болезненная порода, — в самом деле, по глазам у них видно, что они не имеют такого отличного здоровья, как цветные; другая половина компании отстаивает белых кошек и коров, потому что они в самом деле очень милы и они вовсе не так болезненны, — это предубеждение, — главная защитница их, девочка лет 14, пришла к такому заключению; она так и говорит, что «она пришла к этому заключению»: дикие животные имеют определенный цвет шерсти, дикий белый гусь непременно серый, и если бы встретился дикий гусь с белыми перьями, он, точно, был бы альбинос и больной; а ручные, домашние животные становятся разноцветными, — и белый домашний гусь — такой же здоровый, как и темный, — ведь темный тоже не серый — однообразие цвета исчезло. Или: не знает ли Кирсанов чего-нибудь поподробнее о жизни самой Бичер-Стоу, роман которой мы все знаем? — Нет, теперь Кирсанов не знает этого, а в следующий раз он будет знать, ему самому это интересно, а теперь пока он может рассказать кое-что о Вильберфорсе, — и в этом роде идут то рассказы Кирсанова, то споры Кирсанова с компаниею, детская половина которой каждый раз одна и та же, пото-

му что всегда в полном комплекте, а взрослая половина каждый раз новая.

Они возвратились домой к чаю и сидят вдвоем после чаю очень долго, — теперь Вера Павловна и Дмитрий Сергеевич проводят гораздо больше времени вместе, чем когда не было тут же Кирсанова: наполовину вечеров, которые они проводят вдвоем, устраивается музыка, даже больше, чем наполовину: Дмитрий Сергеевич играет, Вера Павловна поет, Кирсанов сидит и слушает, иногда тоже играет, — тогда Дмитрий Сергеевич поет вместе с женою, а иногда Кирсанов поет вместе с нею; но теперь они очень часто бывают в опере, — наполовину вдвоем, наполовину один Кирсанов с Верою Павловною. У Лопуховых чаще прежнего стали бывать гости, — прежде бывали почти только Мерцаловы, — теперь Лопуховы сблизилась с двумя-тремя такими же милыми семействами; Лопуховы, Мерцаловы и два другие семейства положили каждую неделю поочередно устраивать маленький вечер с танцами в своем кругу, бывает по 6, иногда даже по 8 пар танцующих. Лопухов без Кирсанова не бывает почти никогда ни в опере, ни в знакомых семействах, но Кирсанов часто провожает одну Веру Павловну в этих выездах; Лопухов часто говорит, что хочет оставаться в своем пальто на своем диване; иногда этот диван оттягивает его из зала, где фортепьяно, когда у Лопуховых нет никого, кроме Кирсанова, но это мало спасает его: через полчаса, много через час Вера Павловна и Кирсанов уж тоже бросили фортепьяно и сидят подле его дивана, — впрочем, Вера Павловна недолго сидит подле дивана, — она скоро устраивается полуприлеж на диване так, что мужу все-таки просторно сидеть, — ведь диван широкий, — то есть не совсем уже просторно, но она обняла мужа одною рукою, и поэтому сидеть ему все-таки ловко.

Вот таким-то образом прошли месяца три из тех четырех, которые прошли со времени рассказа Крюковой.

Идиллии нынче не в моде, и я сам вовсе не люблю их, то есть лично я не люблю, как не люблю шампанского, не люблю гуляний, не люблю лилового цвета, не люблю спаржи, — мало ли что я не люблю, ведь нельзя же одному человеку любить все цвета,¹ все блюда, все способы развлечения, все сорта вин, — но я знаю, что эти вещи, которые не по моему личному вкусу, очень хорошие вещи, что они нравятся большему числу людей, чем то, которое, как я, предпочитает гулянию — шахматную игру, спарже — кислую капусту с конопляным маслом; знаю даже, что у большинства, вкусов которого я не разделяю, вкусы не хуже моих. Так, я знаю, что [у] огромного большинства людей, которые ничуть не хуже меня, счастье должно иметь идиллический характер. А что идиллия не в моде и потому они чуждаются ее, так это не возражение: они чуждаются ее, как лисица в басне чуждалась винограда, — кажется им,

¹ Зачеркнуто: мне нравится яркий желтый с густым, несколько оранжевым отливом. — *Ред.*

что недоступна идиллия, потому они и придумали: «пусть она будет не в моде». А хорошая вещь почти для всех людей идиллия, — и возможная, очень возможная, — только не для одного или десяти человек, а для всех, — ведь и итальянская опера, и «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя, Москва, 1861 г.» — все это вещи, невозможные для одного, для десяти человек, а для всех, как видите, очень возможная. Но пока итальянской оперы для всего города нет, можно лишь некоторым особенно усердным меломанам пробавляться домашними концертами; и пока вторая часть «Мертвых душ» не была напечатана для всей публики, только немногие, особенные поклонники Гоголя приготавливали каждый для себя, не жалея труда, рукописные экземпляры; — рукопись хуже печатной книги, домашний концерт плох перед итальянской оперой, — а все-таки хороша, все-таки хороша.

[XVIII] ¹

Если бы кто пришел посоветоваться с Кирсановым о таком положении, в каком он себя увидел, когда очнулся, а Кирсанов был бы посторонним человеком этому делу, он принял бы в равное соображение интересы всех лиц, которых оно могло коснуться, и сказал бы своему собеседнику: «Поправить дело бегством поздно; не знаю, как оно разыграется, но знаю, что бежать или оставаться одинаково опасно; делайте, как хотите, все равно».

Если б Кирсанов пришел посоветоваться с Лопуховым, Лопухов принял бы в главное соображение спокойствие Веры Павловны (по теории эгоизма, что для него самого это главное, что ее интерес составляет главную его выгоду, перед которой другие соображения для него не важны) и сказал бы: «Друг мой, бежать хуже, чем оставаться. Если ты останешься, — я тебя знаю, — ты будешь держать себя так, чтоб она как можно дольше не замечала твоего чувства; в ней самой, без вызова с твоей стороны, оно возникнет, — вероятно, уж и возникло, остается только обнаружиться ему перед нею самой; скоро или нет это будет при тебе, мы еще не знаем; но твой отъезд тотчас же вызовет это, — он только ускорит дело, которого ты хочешь избежать, — твое удаление усилит ее чувство, в этом нет сомнения. Но важнейшая вещь не в этом: если ты будешь здесь, мы всегда можем все вместе дружески обдумать, как нам поступить, но если тебя нет, не будет одного из лиц, об интересе которых пойдет дело». И как теоретик Лопухов наслаждался б наблюдением, как тут в его мыслях на практике главную роль играет «я», прикрываясь беспристрастием. Он очень основательно доказал бы, что благородная роль, которую он берет на себя, — роль, представляющая наиболее шансов для сохранения перевеса над Кирсановым в сердце Веры Павловны.

¹ Начиная отсюда черновой оригинал писан шифром. — *Ред.*

[XVIII]

Но Кирсанов, конечно, не посоветовался с Лопуховым, как ему поступить, и судил о деле не как посторонний человек, а как участник, потому он принял в главное соображение интересы Лопухова, и решил удалиться. Прежняя штука — притвориться обиженным, выставить какую-нибудь пошлую сторону характера, чтоб опереться на нее для размовки, не годилась; два раза на одном и том же не проведешь; вторая попытка только раскрыла бы смысл первой истории, показала бы его героем не только новых, но и прежних времен. Он подумал было, что лучше всего будет уехать на время из Петербурга. Но рассудил, что и это было бы слишком эффектно; лучше всего для дела, хоть труднее всех других способов удаления для него самого, было простое отступление тихим, незаметным образом, так, чтобы и не видели, что он отступает; он выбрал это и исполнял свой метод, не выдав своего намерения ни одним недо-молвленным или немолвленным словом, ни одним взглядом; по-прежнему был он свободен и шутив с Верою Павловною, попрежнему было видно, что ему приятно в ее обществе, только стали встречаться — чаще и чаще — разные помехи ему бывать у Лопуховых так часто, как раньше, оставаться у них целый вечер, как раньше, да стали делаться все одушевленное споры его с Лопуховым о всяких ученых и неученых предметах, так что все более долго из времени, проводимого им у Лопуховых, приходилось про-сидживать ему в кабинете приятеля; и все это делалось так по-степенно, что эта перемена никому не была заметна, и все помехи являлись так натурально, что иногда сами Лопуховы гнали его от себя, напоминая, что он забыл обещание быть ныне дома — ведь у него будет ныне тот и тот из знакомых; забыл обещание быть ныне у такого-то знакомого, который ведь может и оскорбиться. Кирсанов даже не всегда слушался этих напоминаний: не поедет он к этому знакомому, пусть сердится, он лучше поспорит с Лопуховым, — тоже развилась у него и Лопухова охота играть в шахматы. А помехи все накоплялись, и ученые занятия все неотступнее отнимали у него вечер за вечером — как ему иногда не хотелось возвращаться к работе, — а невозможно, поутру не успел кончить, до завтра нельзя отложить, — и зачем он навязал себе это новое знакомство и это новое знакомство. — Нет, он не должен лениться; нет, он не должен порицать себя за это и за это новое знакомство, потому что оно хорошо, — говорил ему иногда Лопухов.

Труден был маневр — на целые недели надо было растянуть этот поворот налево кругом и повертываться так медленно, так ровно, как идет часовая стрелка: смотри на нее как хочешь внимательно, не увидишь, что она поворачивается, а она себе исподтишка делает свое дело, идет и идет в сторону от первого своего положения. Зато какое ж наслаждение было ему как теоретика любоваться своею ловкостью на практике. Эгоисты и материалисты, — ведь они все делают для своего удовольствия, и он мог, положи

руку на сердце, сказать, что делает для своего удовольствия, чтоб любоваться своим искусством и молодечеством.

Так прошел месяц, и если б кто сосчитал, то нашел бы, что в месяц ни на волос не уменьшилась эта короткость с Лопуховыми, но втрое уменьшилось время, которое он проводит у Лопуховых, и в четыре раза уменьшилось время, которое проводит он с Верой Павловной. Еще два-три месяца, и при всей неизменности дружбы друзья мало будут видеться.

Зоркие глаза у Лопухова — неужели они ничего не замечают? Нет, ничего.

И Вера Павловна ничего не замечает? Ничего.

И Вера Павловна ничего не замечает в себе? Нет, ничего не замечает, только — снится ей сон.

[XIX]

ТРЕТИЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

И снится Вере Павловне сон.

Лежит она вечером на своей мягкой, теплой кровати и читает, — только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне:

«Что это в последнее время стало мне несколько скучно? или не скучно, а так — да, это не скучно, а только я вспомнила, что ныне хотела я ехать в оперу, да этот Кирсанов такой невнимательный, поздно поехал за билетами, — будто не знает, что, когда поет Бозио, нельзя достать билетов в 11 часов утра. Конечно, его нельзя винить — ведь он до 5 часов работал, а все-таки виноват, нет, я сама буду вперед ездить с Дмитрием. Через него пропустила «Норму» — ведь это неприятно. Если б у меня был такой голос, как у Бозио, я, кажется, целый день пела бы. И если б познакомиться с Бозио? Как бы это сделать? Этот артиллерист знаком с Тамберликом, нельзя ли через него? Нет, нельзя. Да и какая смешная мысль, — зачем знакомиться с Бозио? Разве она станет петь для меня? Ведь она должна беречь свой голос.

А когда ж это Бозио успела выучиться по-русски? и как чисто она произносит; но какие же смешные слова, и откуда она выкопала такие пошлые стишки? да она, должно быть, училась по той же грамматике, по которой училась я: там они приведены в пример для расстановки знаков препинания, — как это глупо приводить в грамматике такие стихи, — и хотя бы стихи-то были не так пошлы; но нечего думать о стихах, надобно слушать, как она поет их.

Час наслажденья лови, лови.

Младые лета отдай любви...

Какие смешные слова! и «младые лета» вместо молодые лета, — а еще говорят — не устарел Пушкин; но какой голос и какое чувство! какое чувство! У нее голос стал гораздо лучше прежнего, гораздо лучше. Удивительно, — вот я не знала, как с нею познако-

миться, а она сама приехала ко мне с визитом — как она узнала мое желание?

— Да ведь ты давно зовешь меня, — говорит Бозио — и все по-русски.

— Я тебя звала, Джулия? Да как же я могла звать тебя, когда я с тобою незнакома? Но я очень рада видеть тебя.

Вера Павловна раскрывает полог, чтоб подать руку Бозио, но певица хохочет — это уж скорее не Бозио, а де-Мерик в роли цыганки в «Риголетто», — и убегает, и прячется за пологом, — как досадно, этот полог прячет ее, а раньше его не было, откуда он взялся?

Бозио прячется за пологом.

— Знаешь, зачем я к тебе приехала? — и хохочет, — да, де-Мерик, только голос несравненно лучше.

— Да кто ж ты — ведь ты не де-Мерик?

— Нет.

— Ведь ты Бозио?

Певица хохочет. — Узнаешь; а нам надобно [заняться] тем, за чем я к тебе приехала. Я хочу читать с тобою твой дневник.

— У меня нет никакого дневника, я никогда не вела его, — говорит Верочка.

— Посмотри, что ж это лежит на столике у твоей кровати?

Верочка смотрит — на столике лежит толстая тетрадь с надписью: «Дневник В. Л.». Откуда взялась эта тетрадь? Верочка берет ее, раскрывает — тетрадь писана ее рукою — когда же?

— Читай последнюю страницу.

Верочка читает: «Снова мне приходится часто сидеть одной по целым вечерам — но это ничего, я так привыкла».

— И только?

— Только.

— Нет, ты не все читаешь!

— Здесь ничего больше не написано.

— Меня не обманешь, — а это что?

Из-за полога протягивается рука, — как хороша эта рука, — нет, это не рука Бозио, только у Фиорито такие руки, — и как же она протянула руку через полог, не раскрывая полога?

Рука дотрагивается до строк.

— Читай, — говорит гостья.

Что за странность? На странице выступают под ее рукою новые строки.

— Читай, — повторяет гостья.

Верочка читает:

«Нет, одной скучно теперь, это раньше мне не было скучно. Отчего это раньше мне не было скучно одной?».

— Переверни страницу назад, — говорит гостья.

Вера Павловна перевертывает страницу. «Лето нынешнего года...» Кто ж так пишет дневник? Надобно было написать 1855, положим, июль или июнь, и написать, какое число, а тут: «лето

нынешнего года». Кто ж так пишет в дневниках? «Мы едем, по обыкновению, за город. В этот раз едет с нами миленький. (Ах, так это август — какое же число; не помню, кажется, около 10, это про ту поездку, после которой бедный мой миленький захворал.) Как это приятно».

— Только? — говорит гостя.

— Только.

— Нет, ты не все читаешь. Это что?

Снова сквозь нераскрывающийся полог является рука, снова касается страницы, снова выступают новые строки.

«Миленький все время гулянья говорил с этим несносным Рахметовым — или, как они все зовут его в шутку, ригористом — и с другими его товарищами, подле меня посидел едва четверть часа, кроме того времени, когда мы сидели рядом в лодке, — да и тут больше говорил с Рахметовым. — 11 августа. У нас сидели студенты, миленький весь вечер говорил с ними. Зачем он отдает им так много времени, мне так мало? У него много занятий? так, чо ведь¹ не все [же] время он работает, — ведь он сам говорит, что и отдыхает, думает о чем-нибудь только для отдыха, почему ж он отдыхает и думает один, почему не со мною?»

— Переверни еще несколько листов назад.

«Я на-днях открываю швейную и отправилась к Жюли просить заказов. Миленький заехал к ней за мною. Она велела подать завтрак, велела подать шампанское. Заставила меня выпить почти два стакана. Мы с нею начали шалить, бегать, бороться. Так было весело».

— Будто только? — Снова рука гостя касается страницы, снова выступают новые строки.

«А миленький смотрел и смеялся. Почему ж бы ему не пошлать с нами? Ведь это было бы еще веселее. Разве это было бы неловко принять участие в нашей игре? Нисколько; но нет, у него такой характер, — он только не мешает, он одобряет, он радуется — и только».

— Переверни страницу.

«Ныне мы с миленьким были в первый раз у наших после моей свадьбы. Мне было так тяжело видеть, как я раньше жила. Миленький мой, от какой отвратительной жизни он меня избавил. Ночью мне приснился страшный сон: будто маменька упрекает меня в неблагодарности и говорит правду, но такую страшную правду, что я начала стонать; миленький услышал этот стон и вошел в мою комнату, — а я уж пела — все во сне, потому что пришла моя любимая красавица и утешала меня. Миленький был моей горничной. Так было стыдно. Но он так скромен, только поцеловал мое плечо».

Опять рука касается страницы, опять выступают новые слова.

¹ Зачеркнуто: он отдыхает же, ведь он сам говорит: «я читаю этот вздор только для отдыха, а собственно этого не стоит читать» — почему и отдых только за книгою, а не в разговоре со мной? — *Ред.*

«А ведь это даже как будто обидно».

— Переверни страницу.

«Нынче я ждала своего друга Дмитрия на бульваре подле нового моста: там живет дама, у которой думала я жить гувернанткой. Но она не согласилась. Мы воротились домой очень унылые. Я в своей комнате перед обедом думала все о том, как лучше умереть, потому что нельзя так жить, как я живу теперь; вдруг за обедом Дмитрий говорит: «Вера Павловна, прием здоровье моей невесты и вашего жениха!» — я едва могла удержаться, чтоб не заплакать тут же при всех от радости о таком неожиданном избавлении. После обеда мы долго говорили с Дмитрием о том, как мы будем жить. Как я люблю [его], он выводит меня из подвала»

— Читай же все снова.

«Так неужели я люблю его за то, что он выводит меня из подвала? Не самого его, а свое избавление из подвала?»

— Переверни, читай самую первую страницу.

«Ныне, в день моего рожденья, мы в первый раз говорили с Дмитрием, и я полюбила его. Я еще ни от кого не слышала таких благородных, утешительных слов. Как он сочувствует всему, что требует сочувствия; хочет помогать всему, что требует помощи; как он уверен, что счастье возможно, что оно должно быть, что злоба и горе не вечны, что быстро идет к нам новая, светлая жизнь! Как у меня расширялось сердце, когда я слышала эти уверения человека серьезного, ученого — ведь они подтверждали мои мысли; как добр он был, когда говорил о нас, бедных женщинах — каждая женщина полюбит такого человека. Как он умен, как благороден, как он добр!»

— Хорошо, переверни опять на последнюю страницу.

— Но эту страницу я уже прочтала.

— Нет, это еще не последняя. Переверни еще лист.

— Но [на] этом листе ничего нет.

— Читай же, — видишь, как много написано на нем.

Снова выступили от прикосновения руки гостьи строки, которых не было раньше, и Вера Павловна читает:

«Он человек благородный, он мой избавитель. Но благородство внушает привязанность, избавитель награждается признательностью, преданностью. У него натура, может быть, более пылкая, чем у меня. Когда кипит кровь, ласки его жгучи. Но есть другая потребность — потребность тихих, долгих ласк. Знает ли он ее? Сходны ли наши характеры? Сходны ли наши потребности? Он готов умереть для меня — и я для него — но довольно ли этого? Мыслями ли обо мне живет он? Мыслями ли о нем живу я? Люблю ли я его такою любовью, какая нужна мне? Раньше я не чувствовала этой потребности тихой нежности, — нет, мое чувство к нему не...»

— Гадкая, злая, зачем ты здесь? Я не звала тебя! Уйди, я не хочу читать! — Вера Павловна бросает тетрадь.

Гостья смеется тихим, добрым, таким нежным, таким увлекательным смехом: — Да, ты не любишь его.

— Проклинаю тебя!

Вера Павловна просыпается с этим восклицанием и быстрее, чем сознала, что она только видела сон и что она проснулась, уж вскочила, бежит.

— Мой миленький, ласкай меня, защити меня, мне снился страшный сон!

Она жмется к мужу. — Милый мой, ласкай меня, будь нежен со мною, защити меня!

— Верочка! Что с тобою? — Муж обнимает ее. — Ты вся дрожишь, ты бледна, босая ты бежала по холодному полу; моя милая, согрейся здесь, дай мне поцеловать эти ножки, согреть их.

— Да, ласкай меня, спаси меня, мне снился гадкий сон, мне снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешной сон.

— Да, я люблю тебя, только целуй меня, ласкай меня; я тебя буду любить, я тебя люблю! ласкай меня!

Она крепко обнимает мужа, вся жмется к нему и, успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его.

[XX]

В это утро Дмитрий Сергеевич не идет звать жену пить чай, — она здесь, прижавшись к нему, — она еще спит. Он думает, смотря на нее: «что это с нею? чем она была испугана? что снилось ей?» — Оставайся здесь, Верочка, я принесу сюда чай. Не вставай, мой дружочек, умываться. Я подам тебе, ты умоешься, не вставая.

— Да, я не буду вставать, мне так хорошо здесь, какой ты умный, миленький, как я тебя люблю! Вот я и умылась, неси сюда чай; нет, прежде обними меня, мой миленький, — и она долго не выпускает его из своих объятий. — Ах, мой миленький, какая я смешная, как я к тебе прибежала, что теперь подумает Маша? Нет, мой миленький, мы это скроем от нее, что я проснулась у тебя. Принеси мне сюда одеваться. Ласкай меня, мой миленький, ласкай меня, я очень люблю тебя, мне нужно любить — я буду любить тебя, как еще не любила.

Комната Веры Павловны теперь стоит пустая. Она, уж не скрываясь от Маши, поселилась в комнате мужа. «Как он нежен, как он ласков! Мой милый, и я могла думать, что ты не любишь меня, что я не люблю тебя? Какая я смешная!»

— Верочка, теперь ты успокоилась, моя милая, скажи же мне, что тебе приснилось третьего дня?

— Ах, мой миленький, ничего, пустяки, — мне только приснилось, что я тебе сказала, что ты мало ласкаешь меня, — а теперь мне так хорошо, мой милый. Зачем мы всегда не жили с тобою

так? Тогда мне не приснился бы этот гадкий сон, — страшный, гадкий, я не хочу помнить его.

— Да ведь без него мы не жили бы так, как теперь.

— Правда, мой миленький, я очень благодарна ей, этой гадкой, она не гадкая, она хорошая.

— Кто она? у тебя новая подруга?

— Да, мой миленький, новая, ко мне приходила какая-то женщина с таким очаровательным голосом, гораздо лучше Бозио, — и какие у нее руки, мой миленький, — ах, какая дивная красота, — только я руку и видела, мой миленький, сама она пряталась за пологом, мне снилось, что у моей кровати, — той, брошенной, — есть полог и что она прячется за ним; но какая дивная рука у нее, мой милый! и она пела мне про любовь и подсказывала мне, что такое любовь; я поняла теперь, мой миленький, — какая глупенькая была я раньше, мой миленький, я не понимала — ведь я была девочка, мой миленький, глупенькая девочка.

— Моя милая, всему своя пора: и то, как мы раньше жили с тобою — любовь, и то, как теперь живем — любовь. Одним нужна одна, другим — другая любовь; раньше тебе было довольно одной, теперь нужна другая. Да, ты стала женщиной, мой друг, и то, чего не нужно было тебе раньше, стало нужно теперь.

[XXI]

Проходит неделя, две. Верочка нежится после обеда, — ведь теперь в своей комнате бывает она только за делом, — диван вынесен из комнаты Дмитрия Сергеевича, ему нет места, он в комнате Веры Павловны, а на его месте стоит кровать Веры Павловны, — кровать узенькая, но тем лучше — ведь подушка Веры Павловны его грудь, — ей просторно, она умеет так хорошо, ловко прилечь, обнявши его; Верочка нежится после обеда на своей кровати, у кровати сидит муж и любит ее на нее.

— Ах, мой миленький, зачем ты целуешь мои ноги? Ведь я этого не люблю.

— Да? ну, значит, я обижаю тебя, — и буду обижать.

— Миленький мой! Ты во второй раз избавляешь меня — спас меня от злых людей, спас меня от себя самой! Ласкай же меня, милый, ласкай меня!

Проходит месяц.

Верочка опять нежится после обеда на своей кровати в комнате мужа, — она обняла мужа, прилегла к нему головой на грудь, — но она задумывается, задумывается — и на глазах слезы; она целует его, но не прогоняет поцелуями слез — они тихо льются.

— Верочка, милая моя, что с тобою?

Она плачет и молчит, — нет, она отерла слезы.

— Нет, не ласкай меня, мой милый. Довольно. Благодарю тебя. — Она смотрит ему в глаза. — Благодарю тебя, ты так добр ко мне.

— Добр, Верочка? Что это значит?

— Добр, мой милый; ты добрый.

Через два дня. Вера Павловна опять нежится, — нет, не нежится, а только лежит и думает, — в своей комнате на его диване. Он сидит подле нее, обнял ее, думает.

Лопухов: «Да, это не то. Во мне нет того».

Вера Павловна: «Какой он добрый. Какая я неблагодарная!»

Вот что они думают.

Она говорит:

— Мой милый, иди к себе, занимайся или отдохни.

— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? Мне здесь хорошо.

— Нет, иди, мой милый, ты довольно делаешь для меня, — иди, отдохни.

Он начинает целовать ее, и она забывает свои мысли, и ей опять так сладко и легко дышать. — Благодарю тебя, мой милый.

А Кирсанов совершенно счастлив. Трудновата была борьба в этот раз, но зато сколько и довольства собою! — Он честен. Да. Он сблизил их. Он лежит на своем диване и думает: «будь честен, и будет отлично, — какое простое правило! — Счастливы те, кто родился с наклонностью понять его. И я довольно счастлив в этом отношении. Конечно, я очень много, может быть, больше, чем натуре, обязан развитию. А постепенно будет развиваться это в обычное правило, которое будет внушаться всем воспитанием, всею обстановкою жизни. Тогда как легко будет всем жить на свете, — так, как теперь мне. Да, я очень доволен. Надобно, однако, зайти к ним. Я не был уж около месяца. Пора, хоть это уж и неприятно мне. Теперь меня уж не тянет к ним. — Но пора, — на-днях заеду на полчаса. Или лучше не быть? Кажется, можно и не быть — побываю через два-три месяца, — кажется, уж отступление сделано вполне, маневры кончены, скрылся из виду, и не заметят, две недели или три месяца не буду я у них».

А Лопухов входит в комнату жены, берет на руки свою Верочку, несет ее на ее кроватку. — Отдыхай здесь, мой друг, — и любит ее на нее. Она задремала, улыбаясь. Он сидит и читает. А она уж открыла глаза и думает:

«Как у него убрана комната: кроме необходимого нет ничего. Нет, и у него есть свои прихоти: этот ящик сигар, который я ему подарила еще в прошлом году, он еще стоит на окне, ждет своего срока. Как он любит старые сигары, — да, ведь он теперь знает в них толк, — это для него единственная роскошь, — единственная прихоть. Нет, и вот еще прихоть, — фотография этого старика, — какое благородное лицо у старика! Какая смесь наивности и пронырливости в его глазах, во всем выражении лица! Сколько хлопот было Дмитрию достать эту фотографию, — ведь портретов Овена нет нигде, ни у кого. Писал три письма, двое из бравших письма не могли отыскать старика, третий нашел. Как он был

счастливы, когда получил эту фотографию и письмо от святого старика, как он зовет его, в котором старик хвалит меня по его словам. А вот и другая роскошь: мой портрет. И только. Неужели дорого стоило бы купить какие-нибудь гравюры или фотографии, как у меня? Нет, это не потому, что дорого, а потому, что ему не нужно это. А отчего ж мне приятно, что в моей комнате стены не голые? У него нет и цветов, которых так много в моей комнате, — отчего мне нужны цветы, а ему не нужны? Неужели оттого, что я женщина? Что за пустяки! Или это оттого, что он серьезный, ученый человек? Но ведь у Кирсанова комнаты точно также убраны — у него есть и гравюры, и цветы, — а ведь он тоже ученый и серьезный человек».

«И почему ему скучно отдавать мне много времени? — думает опять Вера Павловна. — Ведь это ему стоило усилия? неужели оттого, что он ученый, серьезный человек? Но ведь Кирсанов... Нет, он добрый, добрый, он все для меня сделал, он все готов для меня сделать, — кто может так любить, как он? Я его люблю, и я готова на все для него».

— Верочка, а ты уж не спишь?

— Миленький мой, отчего у тебя в комнате нет цветов?

— Изволь, мой друг, я заведу, завтра же. Мне просто не случилось подумать об этом, что это хорошо; а это очень хорошо.

— И о чем я тебя еще просила бы: купи себе фотографии, — или лучше я тебе куплю на свои деньги и цветов и фотографий.

— Милая моя, тогда действительно они будут для меня приятны. Верочка, ты была задумчива, ты думаешь о своем сне. Мой друг, позволишь ли ты мне просить тебя, чтобы ты рассказала мне побольше об этом сне, который так напугал тебя?

— Мой миленький, мне так тяжело вспоминать его.

— Но, Верочка, может быть, полезно будет мне знать [его].

— Изволь, мой миленький. Мне снилось; что я скучаю оттого, что не поехала в итальянскую оперу, что я думаю о ней, о Бозио, и ко мне пришла какая-то женщина, которая все пряталась за пологом и велела читать мне мой дневник, — у меня там было написано все только о том, как мы с тобою любим друг друга, а когда она дотрагивалась рукою до страниц, на них выступали новые слова, говорившие, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой друг, что я еще спрошу тебя. Ты только видела во сне?

— Милый мой, неужели, если б не только, я б не сказала тебе?

Это было сказано так нежно, так искренно, так просто, что Лопухов почувствовал волнение, сладости которого всю жизнь не забудет тот, кому счастье дало испытать его, — о, как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут иметь это чувство. Все радости счастливой любви ничто перед этим чувством, — оно навсегда наполняет чистейшим довольством, самую святою гордостью грудь человека. В словах Веры Павловны, сказанных с не-

которою грустью, слышался нежный упрек, — но ведь смысл этого упрека был: «друг мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужил полное мое доверие? Жена должна скрывать от мужа тайные движения своего сердца — таковы отношения, в которых они стоят друг к другу, но ты, мой друг, держал себя так, что от тебя мне не нужно утаивать ничего, что мое сердце открыто перед тобою, как [передо] мною самой». Это великая заслуга в муже, эта награда покупается только высоким нравственным достоинством; кто заслужил ее, тот вправе считать себя человеком безукоризненного благородства; тот смело может надеяться, что совесть его чиста и всегда будет чиста; что мужество никогда не изменит ему; что во всяких испытаниях он останется спокоен и тверд; что судьба почти не властна над миром его души; что с той поры, как он заслужил эту великую честь, до последней минуты жизни, каким бы ударам ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего человеческого достоинства. Мы довольно знаем Лопухова, чтобы сказать, что он не был человек сентиментальный, — но он был так тронут словами жены, что стал на колени.

— Верочка, ты упрекнула меня, но этот упрек мне дороже всех слов любви. Прости меня, я оскорбил тебя своим вопросом, но как я счастлив, что мой дурной вопрос вызвал этот упрек! Посмотри, слезы на моих глазах, со времени детства это первые мои слезы.

Он не сводил с нее глаз весь этот вечер, и ей ни разу не понадобилось, что это он делает усилие над собою, чтобы быть нежным, и этот вечер был одним из самых радостных в ее жизни.

[XXII]

Но когда она заснула на коленях у него, он положил ее в ее постельку, стал думать о ее сне. Для него дело было не в том, любит ли она его: это уж ее дело, в котором и она не властна, и он, как он видит, не властен — его дело разобрать: из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его?

Не первую это ночь сидел он долго в раздумье, — уж несколько дней он видел, что не удержит за собою ее любви, — потеря тяжелая, конечно, но что ж делать? Если б он мог изменить свой характер, если б он мог приобрести то влечение к тихой неге любви, какого требовала ее натура, — о, тогда, конечно, было бы другое, — но он видел, что эта попытка напрасна: наклонности, которой не дала природа или не развила жизнь независимо от намерений, нельзя развить в себе усилием воли, а без влечения ничего не делается так, как надобно. Стало быть, вопрос о нем решен. Но что он может сделать для нее? Она еще не понимает, что в ней происходит, она еще не так много пережила сердцем, как он, — что ж, ведь она моложе четырьмя годами, это натурально — не может ли он, более опытный, разобрать того, чего не в силах разобрать она? Как же разгадать ее сон?

Скоро явилось у Лопухова предположение: причина ее мыслей должна заключаться в том обстоятельстве, из которого произошел ее сон. В этом поводе ко сну должна заключаться какая-нибудь связь с его происхождением. Она говорит, что скучала оттого, что не поехала в оперу. Он стал обдумывать ее образ жизни — постепенно все для него прояснялось. Большую часть времени, остающегося у нее свободным, проводила она, так же, как он, в одиночестве. Потом началась перемена, — она была постоянно развлечена, теперь опять возобновилось прежнее. Этого возобновления она уже не может принять равнодушно: оно не по ее натуре, — оно было бы не по натуре и большинству людей; особенно загадочного тут ничего нет. От этого было уже очень недалеко до предположения, что разгадка всего — ее сближение с Кирсановым и потом удаление Кирсанова. Почему ж Кирсанов удалился? Он выставлял причину недостаток времени, множество занятий. Но человека честного и развитого нельзя обмануть никакими выдумками. Он может обманываться сам от невнимательности, он может не обращать внимания на факт; так и Лопухов ошибся, когда Кирсанов удалился в первый раз, — собственно говоря, ему не было интереса доискиваться причины, по которой удалялся Кирсанов, — ему нужно было только подумать, не он ли виноват в разрыве дружбы. Нет, — так ему не о чем думать, он не дядька Кирсанову, он не педагог, обязанный направлять на путь истины стопы человека, который сам понимает вещи не хуже его. Да и какое ему дело, в сущности, до Кирсанова? Разве в отношениях с Кирсановым было что-нибудь особенно важное для него? Пока ты хорош и хочешь, чтобы я любил тебя, мне очень приятно; нет, — мне очень жаль, и ступай, куда хочешь, — не все ли равно мне? Что одним глупцом на свете больше или меньше, это составляет мало разницы; что я принимал глупца за хорошего человека, — это мне очень обидно — только и всего. Если наши интересы не связаны с поступками человека, эти поступки, в сущности, очень мало занимают человека серьезного — за исключением двух случаев, которые служат только видимым исключением только для людей, привыкших понимать слово «интересы» в узком смысле обыденного расчета — это случаи: когда мы имеем умственный интерес в поступках человека, когда они занимательны для нас с теоретической стороны, как психологическое явление, объясняющее натуру человека, или когда мы [имеем] в них интерес нашей совести. Но в тогдашних глупых выходах Кирсанова не было ничего такого, что не было бы известно Лопухову за очень обыкновенную принадлежность нынешних нравов; не редкость было и то, что человек, имеющий порядочные убеждения, поддался слабости, происходящей от нынешних нравов.

Другой случай исключения — когда судьба человека зависит от нас. Тут мы были бы виноваты перед собою, если б были невнимательны к нему, — но Лопухову не могло же представляться тогда, что он может играть важную роль в судьбе Кирсанова.

Следовательно, ступай, мой друг, от меня, куда тебе угодно, какая мне надобность!

Но теперь не то: действия Кирсанова представлялись в связи с интересами женщины, которую Лопухов любил, — он не мог не подумать о них внимательно; подумать внимательно о факте и понять его причины, это почти одно и то же для человека с тем образом мыслей, какой был у Лопухова — и сам Лопухов находил, что его теория дает безошибочные средства к анализу движений человеческого сердца, и я, признаюсь, согласен с ним в этом: в те долгие годы, как я считаю ее за истину, она ни разу не вводила меня в ошибку и ни разу не отказывалась легко открывать мне истину, как бы глубоко ни была затаена истина какого-нибудь человеческого дела.

Через какие-нибудь полчаса раздумья для Лопухова было ясно все в отношениях Кирсанова к Вере Павловне. Но он долго все сидел и думал все о том же, все о том, — предмет был слишком занимателен; разьяснять было уже нечего, но открытие было так любопытно, что довольно долго не давало уснуть.

Однако с чего ж, в самом деле, расстраивать свои нервы бессонницею? ведь уже три часа: если не спится, надо принять морфию; он и принял две пилюли, «вот только взгляну еще на Верочку». Но вместо того, чтобы подойти и взглянуть, Лопухов подвинул кресла к ее постельке и уселся в них, взял ее руку и поцеловал. «Миленький мой, ты заработался, все для меня; какой ты добрый, как я тебя люблю», проговорила она впросонках. Против морфия не устоит никакое крушение духа: на этот раз двух пилюль оказалось достаточно, вот уж одолевает дремота. Следовательно, крушение сердца приблизительно равнялось, по материалистическому взгляду Лопухова, своей силою четырем стаканам крепкого кофе, против которых одной пилюли мало, трех уже много. Он заснул, смеясь над этим сравнением.

[XXIII]

На другой день Кирсанов только что лег читать для отдыха после своего довольно позднего обеда по возвращении из госпиталя, как вошел Лопухов.

— Не во-время гость хуже татарина, — сказал Лопухов шутливым тоном, но тон выходил не совсем удачно шутлив. — Я тревожу тебя, Александр; но есть чего потревожиться. Мне надобно поговорить с тобою серьезно. — Эти слова были сказаны уже без шуток. («Что это значит? Неужели догадался?» думал Кирсанов). — Поговорим-ка. Погляди мне в глаза.

(«Да, он говорит об этом, нет никакого сомнения»).

— Слушай, Дмитрий: — мы с тобою друзья. Но есть вещи, которых не должны позволять себе и друзья. Я прошу тебя прекратить разговор. Я не расположен теперь к серьезным разговорам. И никогда не бываю расположен. — Глаза Кирсанова [смот-

рели], как будто перед ним человек, которого он подозревает в намерении совершить злодейство.

— Нельзя не говорить, Александр, — продолжал Лопухов спокойным, но несколько глухим тоном: — Я понял твои маневры.

— Молчи. Я запрещаю тебе говорить, если ты не хочешь иметь меня своим вечным врагом, если не хочешь потерять моего уважения.

— Ты не боишься терять мое уважение, — помнишь? Теперь всдъ это ясно. Я тогда не обратил внимания.

— Дмитрий, я прошу тебя уйти, или я уйду.

— Не можешь уйти. Как ты полагаешь, твоими интересами я занят?

Кирсанов молчал.

— Мое положение выгодно. Твое в разговоре со мною — нет. Я представляюсь совершающим подвиг благородства, но это все вздор. Мне нельзя поступать иначе, по здравому смыслу. Я прошу тебя, Александр, прекратить эти маневры. Они ни к чему не ведут.

— Как? Неужели было уж поздно? — сказал Кирсанов и сам не [мог] отдать себе отчета, радость или огорчение волнует его от этих слов: «они ни к чему не ведут». Но лицо его вспыхнуло.

— Нет, ты не так меня понял. Вовсе не было поздно. До сих пор еще ничего нет; что будет, мы увидим. Но теперь видеть еще нечего. И притом, Александр, я не знаю, о чем ты говоришь, и ты точно так же не знаешь, о чем я говорю. Правда? Мы не понимаем друг друга. Правда? Нам и незачем понимать друг друга. Так? Тебе эти загадки, которых ты не понимаешь, неприятны. Их не было. Я ничего не говорил. Я ничего не имею тебе сказать. Давай сигару: я забыл свои в рассеянности. Закурим и начнем рассуждать об ученых вопросах, я только за этим к тебе и пришел, — поболтать, от нечего делать, об этих странных опытах искусственного произведения белковины. Давай же сигару. — Лопухов закурил сигару, пододвинул кресла, чтобы положить ноги, разлегся поспокойнее и продолжал: — да, это великое открытие, если оправдается. Ты повторял опыты?

— Нет еще, но надобно.

— Пожалуйста, повтори внимательнее. Ведь полный переворот всего вопроса о пище, — фабричное производство главного питательного вещества из неорганических элементов. Величайшее дело, — стоит Ньютонова открытия. Ты согласен?

— Конечно. Только сильно сомневаюсь в верности опытов; раньше или позже мы до этого дойдем несомненно; но теперь еще едва ли дошли.

— Ты так думаешь? И я точно так же. Значит, наш [разговор] кончен. До свиданья, Александр. Но, прощаясь, я прошу тебя бывать у нас часто. До свиданья.

Глаза Кирсанова вспыхнули. — Ты, кажется, хочешь, Дмитрий, чтоб я предположил в тебе низкие мысли?

— Все я этого не хочу. Но ты должен бывать у нас. Что тут особенного? Разве мы с тобою не приятели? Что особенного в моей просьбе?

— Я не могу, Дмитрий. Ты затеваешь дурное или безрассудное дело.

— Я не понимаю, о каком ты деле говоришь, и должен тебе сказать, что этот разговор мне вовсе теперь не нравится, как тебе не нравился он за две минуты.

— Я требую объяснения, Дмитрий.

— Незачем. Ничего нет, и объяснять нечего, и понимать нечего. Ты понимаешь.

— Нет, я не могу отпустить тебя. — Кирсанов взял Лопухова за руку. — Садись. Ты начал говорить, когда не было нужно; ты требуешь от меня бог знает чего; ты должен выслушать.

Лопухов сел.

— Какое право имеешь ты требовать от меня того, что для меня тяжело? Чем я обязан перед тобою? И к чему это? Это нелепость. Постарайся выбить романические бредни из твоей головы. То, что мы с тобою признаем за нормальную жизнь, будет так, когда переменятся понятия, обычаи общества. Его надобно перевоспитать, это так. Оно перевоспитывается развитием жизни. Но пока оно не перевоспиталось, не изменилось совершенно, мы не имеем права рисковать чужою судьбою. Ведь это страшная вещь, — ты понимаешь?

— Нет, я ничего не понимаю, Александр. Я не знаю, о чем ты хотел говорить. Тебе угодно видеть какой-то удивительный смысл в простой просьбе твоего приятеля, чтоб ты не забывал его, потому что [ему] приятно видеть тебя у себя. Я не вижу, отчего тут приходится в азарт.

— Нет, Дмитрий, в таких разговорах ты не отделаешься от меня шутками. Мало ли чего мы с тобою не признаем? Ты не видишь ничего оскорбительного в пощечине, — и я тоже. Но ведь ты был бы бесчестный человек, если бы дал кому-нибудь пощечину, потому что этим делом, в сущности, пустым, ты отнял бы спокойствие у человека. По-нашему, этот человек должен засмеяться и назвать обидчика глупцом, больше ничего. Но ведь он не в силах сохранить это благоразумие против общественного мнения, говорящего ему, что он смертельно обесчещен, — и ты сам, может быть, — я почти наверное — потерял бы спокойствие от этой обиды, которую сам вовсе не считаешь обидою. Ты понимаешь меня? Это такое же дело. Я, ты теперь знаем, что это — вздор. Но тот человек, — положим, женщина, — на кого обращаются укоризны, она не может оставаться спокойною, она мучится мелкими ежедневными неприятностями, гадкими преследованиями со стороны общества. Подвергать им человека — положим, мы говорим о женщине — бесчестно. Слышишь ли? Я говорю, что у тебя бесчестные мысли.

— Друг мой, ты говоришь совершенную правду, только я не

знаю, к чему ты ее говоришь. Я ничего тебе [не] говорил о своем намерении подвергать опасности или неприятностям со стороны общества или каким-то преследованиям какого-то человека, которого ты еще вдобавок признаешь за женщину. Ты фантазируешь и больше ничего. Я прошу тебя, своего приятеля, не забывать меня, потому что мне, как твоему приятелю, приятно проводить время с тобою, — только. Исполнишь ты мою приятельскую просьбу?

— Она бесчестна, я сказал тебе, я не делаю бесчестных дел.

— Это похвально. Но ты разгорячился из-за каких-то фантазий, которых я совершенно не понимаю. Поговорим об ученых предметах. Это успокоит нас обоих, и ты, может быть, взглянешь на мои слова, как следует рассудительному человеку. Очень полезно было бы повторить опыты Сегена, который в маленьком раз- мере производит осуществление Лапласовой теории возникновения солнечной системы, — я советовал бы тебе похлопотать об этом и постараться упростить их, чтоб в гимназиях можно было давать ученикам это наглядное подтверждение истины, очень важной.

— Ты бесишь меня, Дмитрий.

— Бешу, потому что ты хотел беситься. Но, видно, в самом деле ты стал фантазером, и надобно вразумлять тебя. А я сделаю тебе несколько вопросов. Если мы без неприятности себе можем доставить какое-нибудь удовольствие человеку, то расчет, по моему мнению, требует, чтоб мы доставили его, потому что мы сами получим от этого удовольствие. Так?

— Это вздор, Дмитрий. Ты говоришь не то.

— Я ничего не говорю, Александр. Я только занимаюсь теоретическими вопросами. Вот еще один: если в ком-нибудь пробуждается какая-нибудь потребность, — какая бы то ни было, все равно, — ведет к чему-нибудь хорошему наше старание заглушить в нем эту потребность? По моему мнению, нет: она только примет утрированный размер, — это будет дурно, или примет какое-нибудь фальшивое направление, — это будет вредно, или, заглушаясь, будет заглушать жизнь, — это будет жаль.

— Дело не в том, Дмитрий, — я поставлю этот теоретический вопрос в другой форме: имеем ли мы право подвергать человека риску, если ему и без риска хорошо? Будет время, когда все потребности натуры каждого человека будут удовлетворяться вполне, — это мы с тобою знаем; но мы оба одинаково твердо знаем, что это время еще не пришло. Теперь благоразумный человек доволен и тем, если ему привольно жить, хотя бы не все стороны развивались тем положением, в котором ему привольно жить: от добра добра не ищут. Благоразумный человек — положим, что это женщина, положим, что это привольное положение — замужество, — это все равно, я говорю только для примера, — благоразумный человек должен довольствоваться таким положением. Кто смеет подвергать его риску потерять хорошее, которым он, может, доволен, чтоб посмотреть, не удастся ли приобрести ему лучшее, без

которого ему легко обойтись? Золотой век еще впереди, Дмитрий, — мы еще на грани, железный — проходит, почти прошел, но золотой еще не настал¹. Если бы потребность, — положим, потребность любви, я опять говорю только к примеру, это все равно, — если б она вовсе не удовлетворялась, если б она удовлетворялась плохо, тогда я не имел бы возражений против риска. Но если она удовлетворяется хорошо, — человек может не рисковать; я нахожу, что он прав и благоразумен, если он не хочет рисковать; и я говорю, что дурно и безумно поступит тот, кто станет нежелающего рисковать подвергать риску. Что ты можешь возразить против этого? Ничего! Пойми же, что ты не имеешь права.

— Я на твоём месте, Александр, говорил бы точно то же, что ты, — я говорю, как ты, только для примера, что у тебя есть какое-нибудь место в этом теоретическом вопросе, — я знаю, что он никого из нас не касается, мы говорим только как ученые о любопытных сторонах общих научных воззрений, — по этим воззрениям, каждый судит о всяком деле с своей точки, по своим личным отношениям к делу, — я только в этом смысле и говорю о тебе, что на твоём месте я стал бы говорить точно так же, как и ты. Ты на моём месте говорил бы точно так же, как я. С общей научной точки зрения ведь это бесспорная истина: А на месте В есть В, если б оно на месте В не было В, оно еще не было бы на месте В, ему бы недоставало чего-нибудь, чтоб быть на месте В, — так ведь? Следовательно, и против этого нечего тебе возразить, как мне нечего возразить против твоих слов. Но я тебе предложу еще один ученый вопрос, тоже общий вопрос, не имеющий никакого житейского применения ни к кому из нас. Предположим, что есть три человека — предположение, не заключающее в себе невозможного. Предположим, что у одного из них есть тайна, которую он желал бы скрыть от двух остальных; что один из этих двух угадывает тайну первого и говорит ему: ты должен сделать то, о чем я просил тебя, или я открою эту тайну третьему. Как ты думаешь об этом случае?

Кирсанов побледнел и долго тер лоб рукою.

— Дмитрий, ты поступаешь со мною дурно, — проговорил он наконец.

— Это все равно, хорошо или дурно. И притом я не понимаю, о чем ты говоришь, — я говорю с тобою как ученый с ученым, мы предлагали друг другу разные отвлеченные задачи, мне, наконец, удалось предложить тебе такую, над которой ты задумался, и мое ученое самолюбие удовлетворено. Поэтому я прекращаю этот теоретический разговор. У меня много работы, не меньше, чем у тебя. Итак, до свиданья, не претендуй, что не сидел у тебя долго. Кстати, чуть было не забыл: что ж, Александр, ты исполнишь мою просьбу бывать у нас, твоих добрых приятелей, которые

¹ Зачеркнуто: теперь еще не время, еще надобно различать потребности, современем каждый будет есть только те блюда, которые наиболее ему по вкусу. Но мы еще не достигли такого изобилия. — Ред.

всегда рады тебя видеть, бывать так же часто, как в прошлые месяцы? — Лопухов встал.

Кирсанов долго сидел, потирая лоб. Лопухов опять присел и закурил сигару.

— Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрий, — я не могу не исполнить твоей просьбы, но в свою очередь я налагаю на тебя одно условие: я буду бывать у вас; но ты обязан сопровождать меня из своего дома повсюду, куда я должен буду отправляться. Слышишь? я без тебя не делаю ни шагу ни в оперу, ни к кому из знакомых.

— Не обидно ли это условие, Александр? Разве такой человек, как я, может иметь сомнение в таком человеке, как ты?

— Благодарю тебя, Дмитрий, но я вовсе не об этом и думал. Я такой обиды не нанесу тебе. Свою голову я бы положил в твои руки без всякой оглядки; надеюсь, что имею право ждать этого и от тебя. Нет, я думал не об этом. У меня совершенно другая цель.

— Теперь угадываю. Да, ты много сделал в этом смысле и хочешь еще заботливее хлопотать об этом. Что ж, в этом случае ты прав. Да, меня надобно принуждать. Но, мой друг, как я ни благодарен тебе, из этого ничего не выйдет. Я сам пробовал принуждать себя. У меня есть воля, ты знаешь. Но то, что делается по расчету, по чувству долга, по усилию воли, а не по влечению натуры, выходит безжизненно. Благодарю тебя. А что, ведь мы с тобою никогда не целовались, — теперь, может быть, и у тебя есть охота?

Они горячо поцеловались.

[XXIV]

Возобновление частых посещений Кирсанова объяснялось очень натурально: пять месяцев он был слишком отвлечен от занятий и запустил много работы. Потому он должен был долго сидеть над нею, не разгибая спины; теперь он справился с нею и может свободнее располагать своим временем.

И действительно, это было прекрасно и не возбуждало никаких сомнений в Вере Павловне. И, с другой стороны, Кирсанов выдерживал свою роль с прежней безукоризненной артистичностью. Он боялся за себя, что когда он войдет к Лопуховым после ученого разговора с своим другом, [то] несколько сконфузится или покраснеет от волнения, или в глазах его отразится его волнение, когда он в первый раз взглянет на Веру Павловну, или что он будет слишком заметно избегать смотреть на нее в весь вечер. Нет. Он остался и имел полное право остаться доволен собою за минуту встречи с нею: приятная дружеская улыбка человека, который очень рад, что возвращается к старым приятелям, от которых должен был отрываться на несколько времени; спокойный взгляд, бойкий и любезный разговор человека, на душе у которого нет никакой заботы, нет никаких мыслей, кроме тех, которые бесечно льются у него с языка; если бы вы были самая злая сплетница и

смотрели на него с величайшим желанием найти что-нибудь не так, вы не увидели бы в нем ничего другого, кроме как человека, который очень рад, что может приятно убить, от нечего делать, вечер в обществе своих хороших знакомых.

А если первая минута была так хорошо выдержана, то что значит выдержать себя в остальной вечер? А если первый вечер он умел выдержать себя, то будет ли трудно ему держать себя в следующие вечера? Ни одного слова, которое не было бы совершенно свободно и беззаботно, ни одного взгляда, который не был бы хорош и прост, прям и дружествен — и только.

Но если он держал себя не хуже прежнего, то глаза, которые смотрели на него, уже были расположены замечать многое, чего не замечали прежде, чего и не могли бы заметить никакие другие глаза, да, никакие другие глаза не могли бы заметить: сам Лопухов удивлялся непринужденности, которая ни на один миг не изменила Кирсанову, — но гостя недаром пела и заставляла читать дневник. Слишком зорки становятся глаза, когда эта гостя шепчет на ухо.

Даже и эти глаза не могли увидеть ничего, — но они не видели многих мелочей, которые увидели бы теперь, — и то, что они не видели их, что этих мелочей, незаметных ни для кого другого, не было, — этого уже было довольно, чтобы глаза заметили: тут что-то не так.

Вот, например, Вера Павловна с мужем и Кирсановым отправились на маленький очередной вечер к Мерцаловым. Почему Кирсанов не вальсирует на этой бесцеремонной вечеринке, где сам Лопухов вальсирует, потому что здесь такое правило: если ты семидесятилетний старик, но попался сюда, дурачься вместе с другими, — ведь никто здесь ни на кого не смотрит, у каждого одна мысль: побольше шуму, побольше движения, то есть побольше веселья каждому и всем. Кирсанов начал вальсировать, — но зачем он несколько минут не начинал? Неужели стоило думать: решиться или не решиться на такой подвиг? Если б [он] не стал вальсировать, дело было бы наполовину открыто тут же; если бы он стал вальсировать и не вальсировал с Верою Павловною, дело вполне раскрылось бы тут же; но он был слишком ловкий артист в своей роли, — ему не хотелось вальсировать с Верою Павловною, поэтому вздумал было он вовсе не вальсировать; но — вальсировал и с нею точно так же, как с другими, потому от его недолгого колебания, не имевшего никакого видимого отношения ни к Вере Павловне, ни к кому на свете, осталась в ее уме только маленький, самый легкий вопрос, — вопрос, который сам по себе был бы [не] замечен даже для нее, несмотря на шопот гостыи-певицы, если б та же певица не нашептывала беспрестанно таких же самых маленьких, самых ничтожных вопросов.

Почему, например, когда они на другой день условились ехать в оперу на «Пуритан» и когда Вера Павловна сказала мужу: «миленький, ты не любишь этой оперы, ты будешь скучать, я поеду
512

с Александром Матвеевичем, — ведь для него всякая опера наслаждение, — кажется, если б я или ты написали оперу, он и ту стал бы слушать», — почему Кирсанов не поддержал мнение Веры Павловны, что «в самом деле, Дмитрий, я не возьму тебе билета» — почему это? То, что миленький все-таки едет, это, конечно, ничего, ведь он теперь повсюду провожает жену по ее же просьбе, раз она его попросила: «отдавай мне больше времени», и он с той поры никогда не забывает этого, — это так; но ведь Кирсанов не знает этой причины; почему ж он не поддержал мнения Веры Павловны? Конечно, это пустяки, и Вера Павловна не помнит их, почти не замечает, но эти пустяки, почти незаметные, все-таки производят и производят свое дело, — и, например, такой разговор уж весьма много подвигает дело:

Между другим разговором сказали несколько слов о Мерцаловых, у которых были накануне, похвалили их согласную жизнь, заметили, что это редкость — это говорили все, и в том числе Кирсанов заметил: «как я уважаю такого мужа, как Мерцалов, перед которым жена может совершенно свободно раскрывать свою душу, — как счастлива должна быть такая жена, у которой никогда не было и не будет мысли, что она должна сколько-нибудь опасаться мужа или остерегаться перед ним!»

Только [это] сказал Кирсанов — и каждый из них троих думал сказать то же самое, но случилось сказать Кирсанову, — но зачем он это сказал? Что это такое значит? Ведь если понять это с известной стороны, что такое это? Это похвала Лопухову, это прославление счастья Веры Павловны с Лопуховым. Конечно, это совершенно применяется к Мерцаловым; конечно, это может сказать человек, совершенно не думающий ни о ком, кроме них, — а предположим, что он думает и о Мерцаловых и вместе еще о ком-нибудь другом? Тогда, конечно, он говорил это о Лопухове и о Вере Павловне и сказал это для Веры Павловны, — зачем же он это сказал?

Это всегда так бывает, это повторение басни о волке и ягненке: если явилось в человеке настроение искать чего-нибудь, он находит во всем то, чего ищет; пусть не будет никакого следа, а он все-таки видит след; пусть незаметно и тени, а он все-таки видит не только тень того, что ему нужно, он видит все, что ему нужно, видит уже в самых несомненных чертах, и эти черты с [каждым] новым взглядом, с каждой новой мыслью ему делаются все яснее. А тут, кроме того, был, действительно, очень осязательный факт, который раскрывал все: ясно, что Кирсанов уважает Лопуховых, — зачем же он слишком на два года расхотелся с ними? Ясно, что он человек вполне порядочный, — каким же образом он выставлялся тогда человеком пошлым? Пока Вере Павловне не было надобности думать об этом, она и не думала, как не думал Лопухов; теперь ее влекло думать.

[XXV]

Медленно, незаметно для нее самой зрело в ней это открытие. Все накоплялись мелкие, почти забывающиеся впечатления слов и поступков Кирсанова, на которые никто другой не обратил бы внимания, которых она сама почти не замечала, а только подозревала, предполагала; медленно росла занимательность вопроса: «почему же он почти три года избегал ее?» Медленно укреплялась мысль: «такой человек не мог удалиться по чувству мелочного тщеславия, которого в нем решительно нет», — и за всем этим, неизвестно к чему думающимся, еще смутнее и медленнее поднималась из немо́й глубины жизни в сознание мысль: «почему же я думаю о нем? что он такое для меня?»

И вот однажды, после обеда, Вера Павловна сидела в своей комнате, шила и думала. Начала она думать спокойно, но являлись воспоминания, вопросы, мелкие, немногие, — росли, умножались, — и вот они тысячами роятся перед ее мыслью и все растут, все растут и все сливаются в один вопрос, роковой, форма которого все проясняется: «что ж это такое со мной? о чем я думаю, что я чувствую?» — и пальцы Веры Павловны забывають шить, и шитье опустилось из опустившихся рук, и Вера Павловна немного побледнела, вспыхнула, побледнела больше, огонь коснулся ее запылавших щек, и они побелели, как снег; она вскочила и, вся дрожа, с блуждающими глазами вбежала в комнату мужа, бросилась на колени к нему, судорожно обняла его, склонила голову к нему на плечо, чтоб поддержало оно ее голову, чтоб скрыло оно лицо ее, и задыхающимся голосом проговорила:

— Милый мой, я люблю его, — и зарыдала.

— Что ж такое, моя милая Верочка, чем же тут огорчаться тебе? — сказал Лопухов, лаская жену.

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Что ж, постарайся, посмотрим, — если можешь, прекрасно; дай итти времени, успокойся. Ты не можешь обидеть меня — ведь ты ко мне очень сильно расположена; как же ты можешь обидеть меня? — Он стал гладить ее волосы, поцеловал ее в голову, стал пожимать ее руку; она долго рыдала, но постепенно успокаивалась.

Лопухов давно уж ждал этого признания, потому и принял его с видимым хладнокровием; но как бы ни были мы приготовлены к тяжелому для нас событию, оно все-таки тяжело действует на нас, когда совершается.

— Я не хочу с ним видиться, я скажу ему, чтоб он перестал бывать у нас, — говорила Вера Павловна.

— Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделай. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями. Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо? — Каждое из этих слов говорилось после долгого промежутка, а промежутки были наполнены тем, что он целовал ее волосы, ласкал ее, как брат огорченную сестру. — Помнишь, мой друг, что ты мне сказала, когда мы с то-

бою стали женихом и невестою? «Ты выпускаешь меня на волю!» — Опять молчание и ласки. — Помнишь, как мы с тобою говорили в первый раз, что значит любить человека — [это значит] радоваться тому, что хорошо для него, делать все, что нужно, чтоб ему было лучше — так? — Опять молчание и ласки. — Что тебе лучше, — то и меня радует, — но ты посмотришь, как тебе лучше. — Опять молчание и ласки. — Зачем же огорчаться? Если с тобою нет беды, какая беда может быть со мною?

В этих тихих, отрывочных словах, повторявшихся по многу раз, прошло много времени, одинаково тяжелого и для Лопухова, и для Веры Павловны. Но, постепенно успокаиваясь, Вера Павловна стала, наконец, дышать легче. Она обняла мужа крепче прежнего и все твердила: «Я хочу тебя любить, мой милый, тебя одного, не хочу любить никого, кроме тебя».

Он не говорил ей, что это теперь уж не в ее силах, — надобно было дать пройти времени, чтоб ее силы восстановились успокоением на какой-нибудь мысли, все равно [какой].

Лопухов успел написать и отдать служанке записку к Кирсанову, на случай если он придет: «Прошу тебя, Александр, не приходи теперь; не будь и завтра; если не получишь от меня новой записки, приезжай послезавтра. Особенного ничего нет и не будет, но мне надобно отдохнуть дня два». Ему надобно отдохнуть! И нет ничего важного!

Вечер прошел спокойно, повидимому. Вера Павловна половину времени тихо плакала одна, отсылая мужа из своей комнаты, половину времени он сидел подле нее и успокаивал ее все теми же немногими словами, — конечно, не словами, а тем, что голос его был ровен и спокоен, если не весел, то и не грустен, и лицо тоже. — Наконец, она стала сама как будто наполовину думать, что важного ничего нет, что она приняла за сильную страсть просто неважную мечту, которая рассеется в несколько дней, не оставив никакого следа, — нет, она не думала этого, она чувствовала, что это не так, но это думалось ей, глядя на спокойное лицо мужа, слушая его тихий, ровный голос, говорящий, что нет ничего важного, и она несколько ободрялась тем, что ей думалось это. Утомленная волнением, она крепко спала, заснув поздно, — и проснувшись, чувствовала бодрость.

[XXVI]

«Лучшее развлечение от мыслей — работа», думала Вера Павловна, и совершенно справедливо: «буду проводить целый день в мастерской, пока вылечусь; это мне поможет».

Она стала проводить целый день в мастерской. В первый день, действительно, несколько отвлеклась от мыслей, во второй — только устала, но уж мало отвлеклась, в третий — и вовсе не отвлеклась от мыслей. Так прошло с неделю.

Борьба была тяжела; цвет лица Веры Павловны стал бледен. Но по наружности она была совершенно спокойна, старалась даже

казаться веселой, и это удавалось ей. Но если никто другой не замечал ничего, то муж, конечно, очень хорошо видел все.

— Верочка, — начал он через неделю: — мы с тобою живем, исполняя старое поверье, что сапожник всегда без сапог, платье на портном сидит дурно. Мы учим других жить по нашим экономическим принципам, а сами не думаем устроить по ним свою жизнь. Ведь одно большое хозяйство выгоднее нескольких мелких? Я желал бы применить это правило к нашему хозяйству. Если [бы] мы стали жить с кем-нибудь, мы и те, кто с нами стал бы жить, могли бы сберегать почти половину своих расходов. Надобно только сходиться таким людям, которые могут ужиться. Как ты думаешь об этом?

Вера Павловна давно уж смотрела на него точно такими же подозрительными, разгорающимися от гнева глазами, как Кирсанов в день их ученого разговора. Когда он кончил, ее лицо горело.

— Я прошу тебя прекратить этот разговор. Он неуместен.

— Почему же, Верочка? я рассчитываю денежные выгоды. Люди небогатые, как мы с тобою, не должны пренебрегать ими.

— Со мною нельзя так говорить; я не позволю говорить со мною темными словами. Смей сказать, что ты хотел сказать!

— Я хотел сказать, Верочка, что, принимая в соображение наши общие выгоды, было бы нам хорошо...

— Опять то же? молчи! Кто дал тебе право опекуновствовать надо мною? Я возненавижу тебя!

Она быстро встала, ушла в свою комнату и заперлась.

Это была первая и последняя их ссора.

До позднего вечера Вера Павловна просидела запершись, потом пошла в комнату мужа.

— Мой милый, я сказала тебе такие суровые слова. Но не сердись на них. Ты видишь, я борюсь. Вместо того, чтоб поддерживать меня, ты хочешь помогать тому, против чего я борюсь, надеясь — да, надеясь — устоять.

— Прости меня, друг мой, за то, что начал так грубо. Но — ведь мы помирились? — поговорим.

— О да, помирились, мой милый, только не действуй против меня. Мне и против одной себя трудно бороться.

— Верочка, и напрасно. Ты дала себе время рассмотреть свое чувство, — ты видишь, что оно серьезнее, чем хотела ты думать вначале, зачем мучить себя?

— Нет, мой милый, я хочу любить тебя и не хочу, не хочу обижать тебя.

— Друг мой, ты хочешь добра мне. Что ж ты думаешь, мне приятно или нужно, чтоб ты продолжала мучить себя?

— Мой милый, но ведь ты так любишь меня!

— Конечно, Верочка, что об этом говорить. Но в чем же состоит любовь? Не в том ли, чтоб желать хорошего человеку, ко-

того любишь, чтоб не быть для него причиною страданья? Вот мое чувство. Мучая себя, ты будешь мучить меня.

— Так, мой милый, но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое непонятно зачем родилось, которое я проклинаю.

— Как оно родилось, зачем оно родилось, это все равно. Этого переменить уже нельзя. Теперь остается только один выбор: или чтоб ты страдала и я страдал через это, или чтоб ты перестала страдать и я тоже.

— Но, мой милый, я не буду страдать, это пройдет. Ты увидишь, это пройдет.

— Благодарю тебя за твои усилия. Но знай, Верочка, они нужны кажутся только для тебя, не для меня. Я смотрю со сторон, мне яснее, чем тебе, твое положение. Я знаю, что это будет бесполезно. Борись, пока достает силы; но обо мне не думай, что ты обидишь меня. Ведь ты знаешь, как я смотрю на это. Разве ты обманешь меня, разве ты перестанешь уважать меня? Можно сказать больше: разве твое расположение ко мне, изменив характер, ослабеет? Напротив, не усилится ли оно оттого, что [ты] не нашла во мне врага? Не жалея меня, моя судьба насколько не будет жалка оттого, что ты не лишишься через меня счастья. Но довольно. Об этом тяжело говорить. Только помни, Верочка, что я теперь сказал. Прости, Верочка. Иди думать или почивать. Не думай обо мне, думай о себе, — только думая о себе, ты можешь не делать и мне напрасного горя.

[XXVII]

Через две недели, когда Лопухов сидел поутру в своей конторе, Вера Павловна провела все время в чрезвычайном волнении: она бросалась в постель, закрывала лицо руками и через четверть часа вскакивала, бросалась ходить по комнате, опускалась в кресла и опять ходила неровными, порывистыми шагами, и останавливалась, и опять ходила, и опять бросалась в постель, и несколько раз подходила к письменному столу, и стояла у него, и отбегала, и, наконец, села, написала несколько слов, запечатала; через полчаса схватила письмо, изорвала, сожгла, и опять написала, и опять изорвала и сожгла, и опять написала, и, быстро, быстро запечатав, побежала с ним в комнату мужа, бросила его на стол — и побежала в свою комнату, и бросилась в кресло, сидела, закрыв лицо руками, час, полтора часа. — И вот звонок: «это он», — она побежала в кабинет схватить письмо, изорвать, сжечь, «где ж оно? его нет, где ж оно?» — она торопливо перебирала бумаги — «где ж оно?» Но Маша уж отворяла дверь, и Лопухов видел, как промелькнула Вера Павловна из его кабинета в свою комнату, расстроенная, бледная.

Он прошел в кабинет, холодно и медленно осмотрел стол, — да, уж несколько дней он ждал чего-нибудь подобного, — вот письмо,

без адреса, но ее печать, да, это она его искала теперь, или только-что бросила — нет, искала, бумаги в беспорядке — но где ж ей было найти, когда она, еще бросая его, была в таком волнении, что оно, судорожно брошенное, проскользнуло через весь стол и упало на окно за столом.

«Мой милый, никогда не была я так сильно привязана к тебе, как теперь. Если б я могла умереть для тебя! Как рада была бы я умереть, если б ты стал от этого счастливее! Но прости меня, мой милый, я не могу жить без него. Я обижаю тебя, я убиваю тебя — мой друг, я не хочу этого, я делаю против своей воли. Прости меня, прости меня!»

С четверть часа, а может быть, и побольше Лопухов простоял перед столом, потирая лоб, — оно, хотя удар и предвиденный, а все-таки больно, хоть и обдуманно и решено вперед все, что надобно сказать и сделать после такого письма или разговора, а все-таки не вдруг соберешься с мыслями. Но собрался же, наконец, пошел прежде всего в кухню объяснить с Машею:

— Маша, вы, пожалуйста, погодите подавать на стол, пока я опять не скажу. Мне что-то нездоровится, надобно принять лекарство перед обедом. Я потом скажу, когда подать. А сами вы не ждите, пообедайте себе, да не торопясь; успеете, пока мне будет можно.

Из кухни пошел к жене. Она лежала, спрятавши лицо в подушки, и при [его] входе встрепенулась:

— Ты нашел его, прочитал его? — боже мой, какая я сумасшедшая! Это неправда, что я написала, это горячка.

— Конечно, мой друг, этих слов нельзя принимать серьезно, потому что ты была слишком взволнована. Эти вещи так не решаются тобою. Мы успеем много раз подумать и поговорить спокойно, как о деле важном для нас. А я, мой друг, хочу рассказать тебе покуда о своих делах. Я успел в них сделать довольно много перемен, — все, какие было нужно, и очень доволен. Да ты слушаешь?

Разумеется, она и не знала, слушает она или не слушает, она могла бы только сказать, что, как бы там ни было, слушает или не слушает, но что слышит, только не до того ей, чтоб понимать, что это ей слышно, однако же все-таки слышно, и все-таки слышно, что дело о чем-то другом, не имеющем никакой связи с письмом; и постепенно она стала нехотя слушать, потому что это успокаивает, и хоть долго ничего не понимала, но все-таки успокаивалась холодным и довольным тоном голоса мужа. А муж довольно подробно рассказывал — да ведь она три четверти этого уж знает, но все-таки пусть он рассказывает; как он добр! — он довольно подробно рассказывал, что уроки давно ему надоели — и почему, в каком семействе или с какими учениками надоели, и как занятие в конторе ему не надоело, потому что оно важно, дает влияние на народ целого завода, и как он кое-что успел там сделать, — развел охотников учить грамоте, выучил их, как учить

грамоте, и вытянул от фирмы плату этим учителям — самую пустую, конечно — и помогает им, и как он старается оттягивать рабских от пьянства, и насколько это ему удается, и мало ли что такое? А главное в том, что он порядком установился у фирмы как человек дельный и оборотливый, так что — заключение рассказа — самая приятная для него вещь: он получает место помощника управляющего заводом; управляющий будет только почетное лицо, с почетным жалованьем — один из товарищей фирмы — а управлять будет он; это и сам управляющий говорит, что, дескать, куда же мне, вы лучше; мне [жалованье], а я так только буду. Но и не в этом важность, а в том, что он получает 3 500 р. жалованья, — почти на 1 000 руб. больше, чем получал раньше всего: и от литературной работы, и от уроков, и от места в конторе, стало быть, можно бросить все, кроме завода — и превосходно. И рассказ продолжается почти полчаса, и при окончании его Вера Павловна уж может сказать, что, действительно, это хорошо, и уж может приглаживать волосы и итти обедать.

А после обеда Маша отправляется на извозчике с запискою от Лопухова, и через несколько времени является Рахметов,¹ а потом один за другим еще несколько студентов, и начинается ожесточенная ученая беседа с непомерными обличениями каждого чуть не всеми остальными во всяких неконсеквентностях, а некоторые изменники ученому прению помогают Вере Павловне кое-как убить вечер. И все это, разумеется, оттого, что Маша отвезла к Рахметову и двум-трем другим диспутантам записки: «Друзья, нынешний вечер у меня совершенно свободен, и я рад был бы погрызться с вами и с теми из наших общих приятелей, которым нечего делать». Да, в этот раз Вера Павловна была безусловно рада своим молодым друзьям, хотя и не дурачилась с ними, а сидела смирно.

Гости разошлись в два часа — и прекрасно сделали, что так поздно. Вера Павловна, утомленная волнением дня, только что улеглась, как вошел муж.

— Друг мой Верочка, рассказывая про завод, я забыл сказать тебе одну вещь о своем новом месте, — это, однако, неважно, и говорить об этом не стоит, но все-таки скажу. Только прежде просьба: мне хочется спать, тебе тоже, так, если чего не договорю о заводе, отложу до завтра, а нынче скажу только в двух словах. Видишь, какое условие выговорил я себе, когда принимал место помощника управляющего: что я могу вступить в должность, когда захочу, — хоть через месяц, через два. Вот я [и] хочу воспользоваться этим временем, чтоб навестить своих родных, которых не видал уж пять лет, — пора навестить стариков, они соскучились. До свиданья, Верочка, спокойной ночи.

¹ В оригинале Рахманов. — Ред.

[XXVIII]

Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, Маша с Лопуховым уже набивали его вещами чемодан. И все время Маша тут была неотлучно, — Лопухов давал ей [столько] вещей свертывать, завертывать, что — куда справиться Маше! «Верочка, помоги нам с нею и ты!» И чай пили тут же, все трое, все разбирая и укладывая вещи — некогда. А вот и половина одиннадцатого — пора ехать на железную дорогу.

— Милый мой, я еду с тобою.

— Верочка, я буду держать два чемодана, негде сесть. Ты садись с Машей.

— Не то, я говорю — в Рязань.

— А, если так, то Маша поедет с чемоданами, а мы сядем вместе.

Едут. На улице не слишком расчувствуешься в разговоре. И притом такой стук от мостовой: Лопухов многого не дослышит, потому на многое и не отвечает.

— Я еду с тобою в Рязань, — твердит Вера Павловна.

— Да ведь у тебя не приготовлены вещи, как же ты поедешь? Собирайся, если хочешь, только я тебя прошу вот о чем: подожди моего письма, оно придет завтра же, я отдам его на дороге.

Как она его обнимала на галлерее станции, с какими слезами целовала, отпуская в вагон!

А он все толковал про свои заводские дела да про то, как будут рады ему его старики, и только на прощанье [сказал]:

— Ты написала вчера, что никогда еще так не была привязана ко мне, как теперь, — это правда, мой друг. И я привязан к тебе не меньше, чем ты ко мне. А расположение к человеку — желание счастья ему. А счастья нет без свободы. Ты не хотела бы стеснять меня — и я тебя тоже. И если б ты стала стесняться меня, ты бы меня огорчила. Так не делай этого, а пусть будет с тобою, что тебе лучше. А там посмотрим. Когда мне воротиться, ты напиши. Я пришлю адрес. До свиданья, мой друг, второй звонок, слишком пора. До свиданья, мой друг.

[XXIX]

Это было в конце апреля. В половине июня Лопухов возвратился. Пожил недели три в Петербурге, потом опять уехал в Москву, по заводским делам, 9 июля, а 11 июля поутру произошло недоумение в гостинице на станции железной дороги по случаю невставанья приезжего, и сцена на каменноостровской даче. Теперь проницательный [читатель] уж не промахнется в отгадке того, кто это застрелился или не застрелился. «Лопухов», говорит проницательный читатель. — «Как?» — «Да он и не застрелился» — «Так куда ж он девался? и как фуражка его оказалась простреленною по околышу?» — «Нужды нет, я знаю, что не застрелился», ломит себе проницательный читатель. Ну, бог с тобою, как знаешь, — ведь тебя ничем не урезонишь.

[XXX]

Часа через три после того, как ушел Кирсанов, Вера Павловна опомнилась, и одною из ее первых мыслей было: «нельзя же так оставить мастерскую». Да, хотя Вера Павловна и обольщала себя мыслью, что мастерская идет сама собою, но ведь, в сущности, знала, что только обольщает себя этим, а в самом деле для мастерской необходима руководительница. Но теперь дело уж почти установилось, и хлопот по руководству им можно было иметь довольно мало. У Мерцаловой было двое детей, но час-два в день она могла уделить на мастерскую — она наверное не откажется, ведь она и теперь много занимается ею. Вера Павловна начала разбирать свои платья, свои вещи для продажи, а сама послала Машу — сначала к Мерцаловой, просить ее приехать к ней, потом к торговке старым платьем Рахели, очень ловкой торговке, одной из самых оборотливых евреек, но доброй знакомой Веры Павловны, с которой — как со всеми порядочными людьми почти все еврейские мелкие торговцы и торговки — Рахель была безусловно честна.

Когда Маша выходила из ворот, ее встретил Рахметов¹, уже с полчааса бродивший около дачи.

— Вы уходите, Маша? Надолго?

— Часа на два.

— Вера Павловна остается одна?

— Да.

— Так я зайду, посижу вместо вас, может быть, ей случится какая-нибудь надобность.

Кроме Маши и равнявшихся ей или превосходивших ее простотою души и платья, все немного побаивались Рахметова, но Маша и подобные ей и превосходившие ее простотою души и платья сильно благоволили к нему. Он вошел, раскланялся с Верою Павловною, сказал, что он знает все и приехал посидеть у нее вечер — на всякий случай, не понадобятся ли его услуги. Услуги были нужны, пожалуй, хоть сейчас: помогать в разборке вещей, и всякий другой на его месте и был бы приглашен, и сам вызвался бы в одну и ту же секунду и занялся бы этим; но Вера Павловна поблагодарила его за внимательность, не попросила пособить ей разбирать вещи, и он не вызвался, а сказал: «так я буду сидеть в кабинете, если что будет нужно, позовите», преспокойно ушел в кабинет, долго выбирал, какую книгу ему взять, наконец, выбрал из полного собрания сочинений Ньютона тот том, где было «Толкование на Апокалипсис», и принялся очень внимательно читать: «да, эта сторона знания до сих пор оставалась у меня пробелом. Ньютон писал это толкование, когда был наполовину человеком в здравом уме, наполовину помешанным. Книга классическая по вопросу о смещении безумия с умом, — ведь оно почти во всех книгах и почти во всех головах, но здесь оно должно быть в образцовой форме: во-первых, гениальнейший ум — образцовый, во-вто-

¹ В оригинале — Рахманов. — Ред.

рых, и примешанное к нему безумие — признанное, бесспорное безумие. Значит, книга капитальная по своей части. Черты общего явления должны выказаться здесь рельефнее, чем где бы то ни было, и никто не может сомневаться в том, что это черты именно того явления, которому принадлежат — смещения безумия с умом. Надобно изучить».

Если б я был художником вроде наших великих художников, я бы не должен был упоминать о появлении Рахметова, потому что он не принял существенного участия в ходе рассказываемого мною дела. Если б я был истинным художником, я взял бы предметом для рассказа те стороны жизни,¹ в которых Рахметов был главным действующим лицом. Но с такою великою задачею я не справился бы, потому что я не художник, а без Рахметова все-таки не обойдется в моем рассказе, потому что я все [таки] уж не такой же писатель, как наши великие художники, которые имеют куафферские и фокуснические понятия о требованиях искусства, — я рассказываю все, что нужно для оттенения главных лиц и положений моего рассказа, а Рахметов полезен для этого.

Главные лица моего рассказа — Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов — огромному большинству читателей будут представляться лицами идеальными, пожалуй, даже невероятными. А те читатели, которые сами близко знают людей этого типа, скажут, что все трое они — люди нисколько не выше общего уровня своего типа, — так на них и смотрят все хорошие их знакомые, то есть сами люди в их роде. Но Рахметов и в их кругу считался человеком особенным. Таких людей немного, но знать их тоже не мешает, — они и оттеняют собою массу людей своего типа, таких, как Вера Павловна, Кирсанов и Лопухов, да и сами по себе важны: это двигатели двигателей, что теин в чаю, букет в благородном вине, это соль соли земли. Я встречал человек шесть таких людей.

Тот из них, которого я встречал в кругу Лопухова и Кирсанова и о котором поэтому говорю здесь, служит живым доказательством, что рассуждения Лопухова и Алексея Петровича во втором сне² Веры Павловны о полянах и почвах требуют оговорки: в самой гнилой поляне выделяются маленькие клочки, на которых можно вырасти здоровому колосу. Генеалогия Веры Павловны, Кирсанова, Лопухова не восходит никак дальше дедушек с бабушками. Рахметов был из фамилии, известной с XIII века. В числе татарских «темников» (корпусных начальников), вырезанных в Твери вместе с их войском за покушение обращать народ в магометанство, был Рахмет³; у него был сын Латыф — Михаил; рожденный от жены — русской, насильно взятой им, племянницы тверского «дворского» (нечто вроде французских майордомов и коннетаблей); за мать был пощажен и сын, и от него пошли Рах-

¹ Зачеркнуто: кружка, описываемого мною, кружка Лопухова и Кирсанова. — *Ред.*

² В оригинале описка — в третьем. — *Рсд.*

³ В оригинале — Рахман. — *Ред.*

метовы. Они в Твери были боярами, в Москве стали окольными, в Петербурге в прошлом веке бывали генерал-аншефами, — конечно, не все, потому что фамилия разветвилась очень многочисленная, — генерал-аншефских чинов не достало бы на всех. Прапрадед нашего Рахметова был приятелем И. И. Шувалова, который и восстановил его из опалы, постигшей [его] за дружбу с Минихом. Прадед поссорился за рысаков с А. Орловым и опять попал в немилость. Дед провожал Александра в Тильзит и пошел бы дальше всех, но потерял карьеру за дружбу с Сперанским. Отец служил без удачи и без падений, в сорок лет вышел в отставку генерал-лейтенантом и поселился в одном из своих поместий, разбросанных по верховью Медведицы; поместья были, однако, не очень велики — всего душ тысячи три, а детей на деревенском досуге явилось много, человек восемь, потому наш Рахметов был человек небогатый: он получил около 400 душ да тысяч восемь десятин земли. Как он распорядился с душами и с землею, это не было никому известно, да и то, что у него есть поместье, почти никому не было известно, не было известно и то, что из 8 000 десятин земли он удержал за собою 1 000 десятин и имел до 3 000 рублей дохода от отдачи их в аренду. Известно было только, что он из тех Рахметовых, все бывавших предводителями¹, между которыми есть богатые помещики, но что он сам проживает в год рублей 400, — для студента тогда это было очень много, но для помещика из Рахметовых слишком уж мало; потому думали, что [он] из какой-нибудь захиревшей и обеспоместившейся ветви их.

Теперь ему было 22 года, а студентом он был с 16 лет, — но на три года он покидал университет — вышел из второго курса, поехал в свое поместье, распорядился, победив сопротивление опекуна, потом скитался по России и, между прочим, отвез двух человек в Казанский, пять человек в Московский университет — это были его стипендиаты. А сам он хотел жить в Петербурге, потому в Петербург не привез никого, и потому никому не было известно, что у него не 400, а больше 2 000 руб. дохода. Теперь это стало известно, и как стало известно, это мы сейчас увидим. — Итак, за два года до той поры, как теперь сидел он за толкованием Ньютона на Апокалипсис, он возвратился в Петербургский университет, поступил на филологический факультет — раньше был на естественном — и оставался в Петербурге в университете еще два года.

Но если никому не были известны родственные и денежные отношения Рахметова, зато все, кто его знал, знали его под двумя прозвищами: одно уже попадалось в этом рассказе: «ригорист» — его он принимал с обыкновенною своею легкою улыбкою мрачного удовольствия; но когда его называли Никитушкою, или Ломовым, или по полному прозвищу Никитушкою Ломовым, он улыбался широко и сладко, — и имел полное [основание], потому что

¹ Зачеркнуто: и попечителями гимназий в трех уездах трех губерний. — Ред.

не получил от природы, а приобрел силою воли право носить это славное между миллионами людей имя. Но из 60 губерний только 8 знают это славное имя, читателям [из] остальных [губерний] надобно объяснить. Никитушка Ломов был бурлак, ходивший на на Волге лет 20—15 тому назад; это был гигант геркулесовской силы: 15 вершков ростом, он был так широк в груди и в плечах, что весил 15 пудов, хотя не был толст, а только плотен; какой он был силы, об этом довольно сказать одно: он получал плату за четырех человек. Когда судно приставало к городу и он шел по улице, по дальним переулкам раздавались крики парней: «Никитушка Ломов идет, Никитушка Ломов идет», и все бежали на улицу, идущую от пристани к рынку, по-волжски — базару, и толпа народа валила за своим богатырем.

Рахметов в 16 лет был юношею обыкновенным, довольно большого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе; из десяти встречных юношей его лет наверное трое были сильнее его. Но на половине 17-го года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и он начал работать над собою: стал заниматься гимнастикой, — но ведь это только школа, это хорошо, но ведь этого мало; вдвое больше времени — на несколько часов в день — он становился чернорабочим по работам, требующим силы: таскал дрова, рубил дрова, тесал камни, ковал железо; много работ он менял, получая из каждой новой работы новое развитие каких-нибудь мускулов, и принял боксерскую диету: стал пить и есть все, что имеет репутацию укреплять мускулы, стал питаться почти исключительно бифштексом, почти сырым, и с тех пор жил так до той поры, как мы его видим. Через год после начала этих занятий он отправился в свое странствование, и тут еще занимался развитием силы: был пахарем и раз прошел всю Волгу от Дубовки до Рыбинска бурлаком; сказать, что он хочет быть бурлаком, показалось бы хозяину судна и бурлакам верхом нелепости, и его не приняли бы, он не так и сел на судно, а как пассажир, но, подружившись, [он] стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему. Скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силы: он перетягивал четверых, пятерых не всегда, тогда ему было 20 лет, и товарищи по лямке прозвали его младшим братишкой Никитушки Ломова. На следующее лето он ехал на пароходе; один из простонародья, толпившегося на палубе, оказался его прошлогодним товарищем по лямке, и таким-то образом его спутники-студенты узнали, что его следует звать Никитушкою Ломовым. Действительно, он приобрел непомерную силу. «Так нужно, — говорил он, — это полезно, это может пригодиться, сила дает уважение и любовь у простых людей».

Это ему засело в голову с половины семнадцатого года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность. Шестнадцати лет он приехал в университет в Петербург обыкновенным хорошим кончившим курс гимназистом, обыкновенным хорошим юношею и прожил месяца три-четыре по-обыкновенному,

как живут начинающие студенты первого курса. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные головы, которые и думают не так, как другие, и занимаются, как воля, — тогда таких людей между студентами было очень мало, — и узнал с десятком имен этих людей. Они заинтересовали его, он стал искать знакомства с кем-нибудь из них, и ему случилось сойтись с Кирсановым, — и началось его перерождение в человека особенного, в будущего Никитушку Ломова и ригориста. Жадно слушал он в первый вечер Кирсанова, плакал, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить. «Какие же книги мне начать читать?» Кирсанов указал. Он на другой день с 8 часов ходил по Невскому, от Адмиралтейства до Полицейского моста, выжидая, какой немецкий или французский книжный магазин первый отперется, взяв, что нужно, и читал больше трех суток сряду — с 11 часов утра четверга до 7 часов вечера воскресенья — 80 часов. Первые две ночи не спал так, на третью выпил 8 стаканов крепчайшего кофе; до четвертой ночи нехватило силы ни с каким кофе, — он повалился и проспал на полу часов 15. Через неделю он пришел к Кирсанову требовать указаний на новые книги и объяснений и подружился с ним; потом через него подружился с Лопуховым. Через полгода, хотя ему было только 17 лет, а [им] уже по 22 года¹, они не считали его молодым человеком сравнительно с собою, и уже он был особенным человеком.

Какие задатки для того лежали в прошлой его жизни? Не очень большие, но лежали. Отец его был человек деспотического характера, очень умный, образованный и ультраконсерватор — в том же смысле, как Марья Алексеевна, но честный. Это бы еще ничего. Но мать, женщина довольно деликатная, страдала от тяжелого характера мужа. И это было еще ничего, — было еще вот что: на пятнадцатом году он влюбился в одну из любовниц отца; произошла свирепая история; ему было жалко женщину, сильно пострадавшую через него. Мысли стали бродить в нем, и Кирсанов был для него тем, чем Лопухов для Веры Павловны. Задатки в прошлой жизни были; но чтоб стать таким особенным человеком, конечно, главное — натура.

Незадолго перед тем временем, как вышел он из университета и отправился в свое поместье, потом скитаться по России, он уже принял оригинальные принципы и нравственной, и умственной жизни. Он сказал себе: «я не пью ни капли вина; я не прикасаюсь к женщине» — а натура была, конечно, кипучая. «Зачем ты так делаешь, этой крайности вовсе не нужно». «Нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, — мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не потому, что лично мы хотим удовлетворения своим страстям, что не для себя лично мы этого требуем, а для человека вообще, — что мы гово-

¹ В оригинале описка — часа. — Ред.

рим только по принципу, по убеждению, а [не] по личному пристрастию». Поэтому же он стал и вообще вести самый суровый образ жизни. Чтобы стать и продолжать быть Никитушкой Ломовым, ему нужно было есть говядину — и много: он ел ее много. Но он жалел каждой копейки на какую-нибудь пищу, кроме мяса, — кроме мяса, он ел только все самое дешевое, — от белого хлеба он отказался, ел только черный; у него было положено: есть свежие огурцы только с того времени, как они начинали продаваться в Петербурге по 50 коп. за сотню. У него по несколько месяцев не было во рту куска сахара, никакого фрукта, куска телятины или пулярки. На свои деньги он ничего подобного не покупал: «не имею права тратить деньги на прихоть, без которой можно обойтись», а ведь он был воспитан на роскошном столе и имел гастрономический вкус, но, однако, когда ему случалось обедать за чужим столом, он ел многие из этих блюд, — других не ел и за чужим столом, — причина различия была основательная: «то, что ест хотя по временам простой народ, и я могу есть при случае. Того, что никогда не доступно простому народу, я не должен есть». Поэтому он абсолютно не ел абрикосов, яблоки ел абсолютно, апельсины ел в Петербурге, в провинции не ел, потому что в Петербурге ест, в провинции не ест их простой народ; паштеты ел, потому что хороший пирог не хуже паштета, и слоеное тесто знакомому вкусу простого народа, но сардинок не ел. Одевался он очень бедно и в остальном вел спартанскую жизнь; между прочим, не допускал даже тюфяка и спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое.

Было у него угрызение совести: не бросил курить. Это была единственная его слабость. Из 400 р. его расхода до 150 выходило у него на сигары; «гнусная слабость», как он выражался. Только это и давало некоторую возможность отбиваться от него: если уж начинал он слишком доезжать [кого] своими обличениями за гнусные прихоти, тот ему говорил: «да ведь ты же куришь сигары», тогда Рахметов приходил в двойное ожесточение, но половина его укоризн уже обращалась на себя, и противнику все-таки доставалось меньше.

Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении временем наложил на себя такое же обуздание всяких прихотей, как в материальных вещах: ни четверти часа не пропадало у него на развлечения, отдыха ему не было нужно по целым месяцам. Все было рассчитано, каждый шаг должен был иметь свое законное оправдание. В кругу приятелей, сборные пункты которых были у Лопухова и у Кирсанова, он бывал никак не чаще, чем сколько нужно, чтоб оставаться в тесных отношениях к этому кругу. «Это нужно, — говорил он, — нужно на всякие случаи иметь тесную связь с каким-нибудь довольно большим кругом людей». Кроме того, он никогда [ни] у кого не бывал иначе, как по делу, и ни пятью минутами больше, чем нужно по делу, и у себя никого не принимал и не держал иначе, как на том же пра-

виле: он без околичностей объявлял гостю: «мы переговорили о вашем деле, теперь позвольте мне заняться другими делами, потому что надобно дорожить временем». Когда началось его возрождение, он почти все время проводил в чтении, но это продолжалось лишь немного больше полугода: когда он увидел, что приобрел систематический образ мыслей в духе, принципы которого нашел справедливыми, он тотчас же сказал себе: «Теперь чтение стало делом второстепенным. Я с этой стороны готов для жизни». И он стал отдавать чтению только время, свободное от других дел, а такого времени оставалось у него мало. Но, несмотря на это, он расширял свои знания с изумительною быстротою — в 22 года он был человеком очень основательной учености, потому что и тут поставил себе правилом: роскоши и прихоти никакой; только то, что нужно. А что нужно? Он говорил: «По каждому предмету капитальных сочинений очень немного. Во всех остальных повторяется, разжижается, портится то, что все заключено в этих немногих. Надобно читать только их, всякое другое чтение — напрасная трата времени. Я читаю только такие книги, из которых каждая делает ненужным для меня чтение сотни книг, читаемых другими. Я читаю только самобытное, и лишь настолько, чтоб знать эту самобытность». Поэтому, например, нельзя было никакими силами заставить его читать Маколея, — четверть часа посмотревши на различные страницы разных томов его, он сказал: «ничего самобытного. Я знаю все материи, из которых набраны эти лоскутья». Два романа Жорж Занда он прочитал с наслаждением; посмотрев на третий, он сказал: «видно, что в остальных не найду ничего, кроме того, что уже есть в двух, мною прочтенных. Поэтому больше читать не нужно». Из Теккерея — только «Ярмарку суеты», начал читать «Пенденниса», сказал: «видно, что больше ничего не нужно: будет только повторение».

Гимнастика и чтение были личными занятиями Рахметова, но они занимали разве четвертую часть его времени, в остальное время он занимался чужими делами, постоянно соблюдая то же правило, как в чтении: не тратить время для второстепенных людей и дел, заниматься только капитальными, забота о которых уж избавляет от надобности заниматься второстепенными, изменяющимися от главных. Например, кроме своего круга, он знакомился только с людьми, имеющими влияние на других; кто не занимал самостоятельного положения, не был авторитетом для какого-нибудь круга, тот никакими способами не мог даже войти в разговор с ним; он говорил: «вы меня извините, мне некогда», и уходил. Но точно так же никак не мог избежать знакомства с ним тот, с кем познакомиться хотел он — он приходил к вам и говорил: «Мне нужно познакомиться с вами. Если у вас теперь нет времени для разговора, то назначьте». На мелкие ваши дела он не обращал никакого внимания, хотя бы вы были ближайшим его знакомым и упрасивали его вникнуть в какое-нибудь затруднение. «Мне некогда», говорил он и отворачивался; но в важные дела,

когда было нужно, по его мнению, он вмешивался без всяких околичностей, хотя бы никто этого не желал. «Я должен», говорил он. Какие вещи он делал и говорил в этих случаях, уму непостижимо. Да вот, например, мое знакомство с ним.

Я в первый раз увидел его у Кирсанова. Прежде я не слышал его фамилии — он только что вернулся тогда в Петербург из своего странствия. Он мою фамилию знал. Он вошел после меня. Я был единственный незнакомый ему человек в обществе. Он, как вошел, отвел Кирсанова в сторону и, указав глазами, сказал несколько слов. Кирсанов отвечал тоже несколько слов и был отпущен. Через минуту Рахметов сел прямо против меня и начал смотреть мне в лицо. Я был раздосадован — он рассматривал меня без церемонии, как будто перед ним не человек, а портрет; я нахмурился, — ему не было никакого дела; так прошло минуты две. После того он сказал мне: «Г-н N, мне нужно с вами познакомиться. Я вас знаю, вы меня нет. Прошу вас спросить обо мне у хозяина и у других, кому вы наиболее доверяете из этой компании». Встал и ушел в другую комнату. «Что это за чудак?» «Это Рахметов, он хочет, чтоб вы спросили, заслуживает ли он доверия — безусловно; и стоит ли внимания — он поважнее всех нас здесь вместе взятых», сказал Кирсанов; другие подтвердили. Через пять минут он опять вернулся в комнату, где сидели все мы. В весь вечер не сказал со мною ни слова, да и с другими не говорил почти ничего — разговор шел не ученый и не важный. — «Десять часов? В десять часов у меня есть дело в другом месте. Мне пора уйти. N, — он обратился ко мне, — я должен сказать вам несколько слов. Когда я отвел Кирсанова в сторону спросить его, кто вы, я указал на вас глазами, потому что ведь вы и без того должны были бы заметить, что я спрашиваю о вас, кто этот один; следовательно, не делать жестов, натуральных при таком вопросе, было бы напрасно. Когда вы будете дома, чтоб я мог зайти к вам?» Я тогда не любил новых знакомств, а эта навязчивость уж вовсе не нравилась мне. «Я только ночую дома, весь день мой занят», сказал я. «Но ночуете дома? так можно в то время, как вы воротитесь ночевать». — «Я возвращаюсь поздно». — «Например?» — «Часа в два, в три» — «Это все равно, назначьте время» — «Если вам непременно угодно, завтра в половине четвертого» — «Конечно, я должен принимать ваши слова за насмешку и грубость, но это все равно; а может быть, и то, что у вас есть свои причины, может быть, даже заслуживающие одобрения. Хорошо, я буду у вас завтра в половине четвертого». Я пришел в трепет. «Нет, уж если вы так решительны, то я завтра весь день дома. Заходите когда вам удобнее». — «Хорошо. Например, в десять часов утра вы будете один?» — «Да» — «Я зайду». Он пришел и точно так же без околичностей приступил прямо к делу, по которому почел нужным познакомиться со мною. Мы поговорили с пол[часом]; о чем мы говорили, — это неважно для читателя, довольно того, что он говорил «да», я говорил «нет», он говорил

«вы обязаны», я говорил «нисколько». Через полчаса он сказал: «Вижу, что продолжать бесполезно. Ведь вы сами знаете, что я человек, заслуживающий безусловного доверия?» — «Да, мне это сказали и это я сам вижу теперь» — «И вы все-таки остаетесь при своем?» — «Остаюсь» — «Знаете вы, что из этого следует?» — то, что вы или лжец, или дрянь». Что бы вы сделали с другим за такие слова? А он говорил таким тоном судебного приговора, без всякого личного чувства, да и сам был так странным, что смешно было обижаться. «Да, одно из двух, может быть, то и другое вместе», отвечал я, засмеявшись. «Нет, только одно из двух. Если вы говорили искренно, — вы дрянь; но я полагаю, что у вас на душе не то, что на языке, — и что вы [не] фальшивый человек» — «Как вам угодно» — «Прощайте. В том и в другом случае знайте, что я совершенно доверяю [вам], и когда вы найдете нужным, я готов возобновить наш разговор».

А между тем он был чрезвычайно деликатен, и свои ужасные вещи говорил так, что рассудительный человек, действительно, никак не мог ими обижаться. Например, всякое щекотливое объяснение он начинал так: «Вам известно, что я буду говорить без всякого личного чувства; если мои слова будут неприятны, вперед прошу извинить их, но я сам не обижаюсь ничем, что говорится добросовестно, по убеждению, с желанием пользы, без намерения оскорблять; требую того же и от других. Впрочем, как скоро вам покажется бесполезно продолжать слышать мои слова, я остановлюсь: мое правило — предлагать мое мнение, не навязывать его никому». И действительно, он не навязывал. Никак нельзя было спастись от того, чтоб он, когда ему казалось нужным, не высказал вам своего мнения настолько, чтобы вы могли понять, о чем и в каком смысле он хочет говорить. Но он делал это в двух-трех словах и после того спрашивал: «Теперь вы знаете, каково было бы содержание разговора. Угодно вам иметь его?» Если вы говорили «нет», он откланивался и уходил.

Года через два после того, как мы видим Рахметова сидящим у Веры Павловны, читая Ньютоново толкование на Апокалипсис, он уехал из Петербурга, сказав нескольким ближайшим из своих знакомых, что ему здесь нечего больше делать, что он сделал все, что мог. Он продал свою землю, получил за нее около 35 000, захватил в Казань и Москву, роздал около 5 000 своим семи стипендиатам, чтобы они имели средства для окончания курса. Тем и кончается его достоверная история. Куда он девался из Москвы — неизвестно. Когда прошло несколько месяцев и не было никаких слухов о нем, люди, знавшие о нем что-нибудь, кроме известного всем, перестали скрывать эти вещи, о которых по его просьбе молчали, пока он жил между нами. Тогда-то мы узнали и то, что у него были стипендиаты, и вообще многое из того об его личных отношениях и домашней жизни, что рассказано мной; узнали и множество других [историй], поразивших нас своей чрезвычайностью или несоответственностью с нашим прежним мнением о

Рахметове как о человеке, чрезвычайно сухом. Рассказывать все было бы здесь неуместно, довольно будет двух анекдотов, открытых нам Кирсановым.

За год перед тем как исчезнуть, Рахметов сказал Кирсанову: «дайте мне порядочное количество мази для заживления ран от острых орудий». Кирсанов дал огромную банку, думая, что Рахметов хочет отнести это лекарство в какую-нибудь артель плотников или других рабочих, которые часто подвергаются порезам. На другое утро хозяйка Рахметова в страшном испуге прибежала к Кирсанову. «Батюшка, лекарь, не знаю, что с моим жильцом сделалось — вся кровать в крови, а он говорит: «ничего», — спаси, батюшка, боюсь смертного случая. Ведь он такой для себя безжалостный». Кирсанов поскакал. Рахметов отпер дверь без противоречия, — и Кирсанов увидел удивительную вещь. Спина и бока рубахи Рахметова были облиты кровью, войлок, на котором он спал, тоже, — в войлоке были натканы сотни мелких гвоздей остриями вверх, высовываясь из него на полвершка: Рахметов пролежал на них ночь. «Что это вы делаете?» — «Так, пробую. Нужно. Неправдоподобно, но на всякий случай нужно. Вижу — могу». Из этого видно, что хозяйка тоже могла бы кое-что порассказать о Рахметове, — но в качестве простодушной и простоплатной, старуха [была] без ума от него, и уж, конечно, от нее нельзя было ничего добиться. Она и в этот-то раз побежала к Кирсанову только потому, что сам Рахметов позволил ей это для ее успокоения: она слишком плакала, думая, что он хочет убить себя.

Месяца через два после этого, — дело было в мае, — Рахметов пропадал на неделю. Этого тогда никто не заметил, потому что так бывало нередко. Но заметили после того, что он довольно долго был угрюм, — не раздражался против себя напоминаниями о гнусной его слабости, о сигарах, и даже не улыбался широко и сладко при имени Никитушки Ломова. Теперь Кирсанов рассказал, что Рахметов был влюблен. Любовь началась событием, достойным Никитушки Ломова. Рахметов шел из первого Парголова в город, по соседству Лесного института. Он шел, задумавшись, глядя в землю, и был пробужден из глубокого раздумья отчаянными криками женщины — взглянул: лошадь, почти уже поровнявшаяся с ним, испуганно несла шарабан, в котором сидела дама; он бросился на середину дороги, но уж не успел схватить за повод, — лошадь была уже впереди, — он успел только схватиться за заднюю ось шарабана и остановил лошадь, но упал. Подбежал народ, остановил лошадь, поднял его, — у него были довольно сильно разбиты локти, грудь, — но главное, колесом вырвало у него порядочный кусок мяса из правой ноги. Дама уж опомнилась и приказала отнести его к себе. Он согласился, потому что чувствовал большую слабость, сказал, чтоб послали непременно за Кирсановым, не за каким-нибудь другим доктором. Кирсанов нашел его очень ослабевшим от потери крови. Он пролежал дней десять. Спасенная дама, конечно, ухаживала за ним сама; ему было нечего делать по слабо-

сти, оттого он говорил с нею — ведь все равно время пропадало бы даром. Дама была вдова, лет 19, женщина не бедная и вообще совершенно независимого положения, умная, порядочная. Речи Рахметова очаровали ее. Он в нее тоже [влюбился]. Она считала его по платью и по всему человеком, не имеющим решительно ничего, потому первая призналась ему и предложила венчаться. «Я с вами был откровеннее, чем с другими, — вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своею» — «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться», и отдавалась ему. «Нет, и этого я не могу принять, — сказал он: — я должен подавить в себе любовь: привязанность к вам связала бы мне руки, я не должен любить». Эта сцена продолжалась с утра до вечера в последний день, когда он уже мог встать. Когда Кирсанов рассказал [это], стали припоминать многое, показывающее, как сильно он страдал: например, в разговорах со мною — он, вскоре после нашего первого разговора, полюбил меня за то, что я смеялся над ним — ведь смех смеху рознь — и около этого времени, да и потом нам с ним нужно было иногда видаться — итак, в разговорах со мною вырвались у него в ответ на мои насмешки такого рода слова: «Да, вы правы: меня надобно жалеть, — жалейте, жалейте: ведь и я тоже не отвлеченная идея, а человек, которому хотелось бы жить. Ну, да это пройдет», прибавил он, — и, действительно, прошло.

Проницательный читатель, может быть, догадается по этому что я знал о Рахметове больше, чем говорю — может быть; я поставил себе правилом не противоречить проницательному читателю, — но мало ли что я знаю, да ему этого не нужно знать, потому что он проницателен. Но, действительно, я не знаю, где он теперь, и что с ним, и увижу ли я его когда-нибудь. Об этом я знаю только, что знают все его знакомые, именно вот что. Когда прошло три-четыре месяца после того, как он пропал из Москвы, и не было никаких слухов о нем, все мы предположили, что он отправился путешествовать. И эта догадка, кажется, верна, по крайней мере, она подтверждается вот каким случаем:

Через год после того, как он пропал, один из знакомых Кирсанова встретил в вагоне по дороге из Вены в Мюнхен [пассажира], который говорил ему, что проехал славянские земли, везде сближался со всеми классами, в каждой земле оставался столько, сколько было ему нужно, чтоб иметь достаточное понятие о нравах, понятиях, образе жизни, степени благосостояния всех главных составных [частей] населения; жил для этого в городах и в селах, ходил пешком из деревни в деревню; старался потом точно так же познакомиться с населением северной Германии, теперь за тем был в немецких частях Австрии, за тем же едет в Баварию, оттуда поедет по Вюртембергу и Бадену; потом точно так же займется другими европейскими странами; для знакомства с Францией, Испанией, Италией, Англией, по его расчету, нужно ему будет года два, потом он поедет в Америку, потому что Северо-

Американские штаты всего больше на земном шаре интересуют его; что не знает, возвратится ли он в Россию, или найдет себе дело в Северо-Американских штатах; если найдет, то, может быть, и не возвратится, — но вероятнее, что возвратится, потому что, кажется, в России будет он, — через несколько времени, теперь нет, — полезнее, чем в Северной Америке.

Все это очень похоже на Рахметова. Наружность, лета этого проезжего, насколько мог припомнить рассказчик, тоже сходились с Рахметовым; но наш рассказчик не обратил тогда особенного внимания на своего собеседника и мог описывать его только общими выражениями, так что полной достоверности нет; по всей вероятности, это был Рахметов, а впрочем, кто ж знает? Очень может быть, что и не он.

Так вот какой был господин, сидевший в кабинете Кирсанова над толкованием на Апокалипсис.

[XXXI]

«Ну, — думает проницательный читатель: — теперь главным лицом будет Рахметов и заткнет за пояс всех, и Вера Павловна в него влюбится, и начнется с Кирсановым та же история, как было с Лопуховым». Ничего этого не будет, проницательный читатель: Рахметов посидит вечер и поговорит с Верой Павловной, которая нисколько не подумает влюбиться в него, и потом уйдет, и после того о нем уже не будет никакого упоминания в романе, и то, что он поговорит с нею, будет разделяться на две половины: одну половину его слов, которую я тебе не передам, мог бы сказать ей всякий из товарищей Рахметова, мог бы сказать Мерцалов, могла бы сказать Мерцалова, которая вот уже и подъезжает к даче, а другую половину того, что он сказал ей, я передам тебе, и ты сам увидишь, что от этой половины уж ровно ничего не может и не должно будет произойти. Так что Рахметов только и сделает, что посидит вечер, да и уйдет, а действующим лицом, ни главным, ни не-главным — никаким не будет он в моем романе.

Зачем же мною он выведен в романе и так подробно описан? — Вот, ты попробуй, проницательный читатель, угадаешь ли это? А это будет сказано тебе на следующих страницах, когда Рахметов уйдет, в самом конце этой главы — угадай-ка, что там будет скорей? Угадать не трудно, если ты имеешь хоть малейшее понятие о художественности, о которой ты так любишь толковать; Рахметов выведен для исполнения главного требования художественности. Нутко, отгадай, какое это требование, и зачем он выведен? Читательница и простой читатель, не толкующие о художественности, они знают, а попробуй-ка отгадать ты.

Приехала Мерцалова, потужила, поутешила; сели пить чай, — obedать так и не обедала Вера Павловна, — к чаю позвали Рах-

метова, он с четверть часа посидел с ними, покуда пили чай, послушал, как они убиваются, высказал два раза мнение, что это безумие, то есть не то, что они убиваются, а застрелиться от чего бы то ни было, кроме слишком мучительной физической болезни или для предупреждения какой-нибудь мучительной неизбежной смерти; высказал это мнение раза три-четыре в [не] многих, но сильных словах, по своему обыкновению, потом поклонился и ушел опять в кабинет дочитывать свою занимательную книгу.

Через несколько времени после чаю приехал полицейский чиновник сообщить жене застрелившегося дело, которое теперь уж было совершенно разъяснено. Рахметов сказал, что жена уже знает и толковать с нею нечего; чиновник был очень рад, что избавился от раздражительной сцены, и уехал. Потом явилась Маша и Рахель, началась разборка и оценка платья и вещей — Рахель нашла, что за все, кроме хорошей зимней шубы, которую не советовала ей продавать — ведь понадобится, может быть, через три месяца делать новую, — можно дать 450 руб.; действительно, больше не стоило и по внутреннему убеждению Мерцаловой; таким образом, часам к десяти торг был кончен, Рахель заплатила 200 рублей — больше у нее не было, остальные она пришлет через три дня через Мерцалову, — забрала вещи и уехала. Мерцалова посидела еще с час, — но пора домой кормить грудью ребенка, и уехала, пожалевши, что не может оставаться дольше, и сказавши, что приедет завтра проводить на железную дорогу.

Когда Мерцалова уехала, Рахметов сложил «Толкование на Апокалипсис», поставил на место и послал Машу спросить Веру Павловну, может ли он войти к ней. — Может. — Он вошел.

— Вера Павловна, я могу теперь в значительной степени утешить вас, — теперь это уже можно. Таков будет общий результат моего посещения, смею вас уверить; вы знаете, я не говорю на-прасных слов. Да, я могу в очень значительной степени утешить вас. Предупредив вас об этом, начинаю излагать дело в порядке. Я вам сказал, что встретился с Александром Матвеевичем и что знаю все. Это, действительно, правда. С Александром Матвеевичем я, точно, встретился; и, точно, я знаю все; но я не говорил, что знаю все от Александра Матвеевича; и, действительно, я знаю все не от него. Дмитрий Сергеевич, который просидел у меня часа два после того, как написал записку, столько огорчившую вас — он-то и просил меня посидеть у вас этот вечер, зная, что вы будете очень огорчены, и дал мне к вам поручение. Меня он выбрал посредником потому, что знает меня как человека, который с безусловной буквальностью исполняет поручение, за которое возьмется, и не может быть отклонен от исполнения обязанности никаким чувством, никакими просьбами. Он предвидел, что вы будете умолять о нарушении его воли, и надеялся, что я не тронусь вашими мольбами, исполню его поручение. Оно состоит в следующем: он, уходя для того, чтоб «сойти со сцены» — ведь он так выражается в записке, полученной вами? — будем употреблять это

выражение, потому что оно совершенно верно и очень счастливо выбрано, — уходя от меня, чтобы сойти со сцены, он оставил мне другую записку к вам.

Вера Павловна вскочила:

— Давайте, где она?

— Ее содержание успокоительно. Но — вот в этом и заключается мое поручение — я должен только показать вам ее, чтобы вы прочли, но в ваши руки я ее не отдам, потому что она не должна остаться в ваших руках; и, чтоб не иметь надобности отнимать ее у вас силою, я покажу вам ее только тогда, когда вы сядете, сложите руки на коленях и дадите мне слово не поднимать их, — тогда я положу записку на стол перед вашими глазами.

Если бы тут был кто-нибудь посторонний, он, каким бы чувствительным сердцем ни был одарен, не мог бы не рассмеяться над этою торжественною обрядностью. Но Вере Павловне, конечно, не до того было, чтобы забавляться забавною стороной приготовлений Рахметова, — она терпеливо села, сложила руки и сама не менее забавным, то есть раздирающим душу, безумным голосом вскрикнула: «клянусь!»

Рахметов положил на стол лист почтовой бумаги, на котором было только десять-двенадцать строк.

Вера Павловна, едва бросила на них взгляд — вспыхнула, вскочила и, совершенно забывая о всяких клятвах, бросилась рукою схватить записку — но записка была уже далеко, в поднятой руке Рахметова.

— Я предвидел это, и потому, как вы могли заметить, не отпускал своей руки от записки, — точно так же я буду продолжать держать этот лист за угол все время, пока он будет лежать на столе. Потому все ваши попытки схватить его будут напрасны.

Вера Павловна опять села и сложила руки. Рахметов опять положил перед ее глазами записку. Она двадцать раз перечитывала, вся дрожа от волнения. Рахметов стоял очень терпеливо; так прошло с четверть часа. Наконец, Вера Павловна подняла руки:

— Как он добр, как он добр!

— Я не вполне разделяю ваше мнение. И почему, мы объяснимся. Это уже не будет исполнением его поручения, но выражением моего собственного мнения, которое я выразил и ему в это последнее наше свидание. Его поручение состояло в том, чтобы я показал вам эту записку и потом сжег ее. — Вы довольно видели ее?

— Еще, еще.

Она опять уселась, сложа руки, он опять положил записку и стоял с прежним терпением, может быть, целые полчаса; она впиалась глазами в записку, потом опять закрыла лицо руками: «как он добр, как он добр!»

— Насколько могли вы изучить его записку, вы изучили ее. Если б вы были в спокойном состоянии духа, то не только вы

знали бы ее наизусть, — форма каждой буквы навеки врезалась бы в вашей памяти, так долго и внимательно смотрели вы на нее. Но в таком волнении, в каком вы были, законы запоминания нарушаются, и память скоро может изменить вам. Предусматривая этот шанс, я списал копию с записки, и вы всегда можете видеть у меня эту копию, когда вам будет угодно. Современем я, вероятно, даже найду возможным отдать вам ее. А теперь, я полагаю, уже можно сжечь записку, и тогда мое поручение мне будет совершенно кончено.

— Покажите еще.

Он опять разложил записку. Вера Павловна на этот раз беспрестанно поднимала глаза от записки — видно было, что она заучивает ее наизусть и поверяет, твердо ли выучила. Через несколько минут она вздохнула и перестала поднимать глаза от записки.

— Теперь, как я уж вижу, достаточно. Пора. Уж поздно — около 12 часов, а я еще хотел изложить вам свой взгляд на это дело, потому что считаю полезным для вас выслушать мое мнение. Вы согласны?

— Да.

Записка в ту же секунду запылала в огне свечи.

— Ах! — вскрикнула Вера Павловна, — я не то сказала, зачем?

— Да, вы сказали, что согласны слушать меня. Но уж все равно. Надобно же было когда-нибудь сжечь. И притом осталась копия. Теперь, Вера Павловна, я выражу вам свое мнение о деле. Я начну с вас. Вы уезжаете. Почему?

— Мне будет тяжело оставаться здесь, вид мест, которые напоминали бы прошлое, расстраивал бы меня.

— Да, это чувство неприятно. Но неужели так много легче было бы вам в другом месте? Ведь очень немногим легче. Что же сделали [вы]? Для получения ничтожного облегчения себе вы бросили на произвол случая 50 человек, судьба которых от вас зависела. Хорошо ли это?

Куда девалась скучная торжественность тона Рахметова! Он говорил легко, просто и свободно.

— Да, но ведь я хотела просить Мерцалову.

— Это не так. Вы не знаете, в состоянии ли Мерцалова заменить вас в мастерской. Ведь ее способность к этому еще не испытана. А ведь тут требуется способность довольно редкая. Десять шансов против одного, что вас некому заменить и что ваш отъезд губит мастерскую. Хорошо ли это? Какая нежная заботливость о маленьком облегчении для себя и какое бесчувствие к судьбе других! Вы лишили благосостояния 50 человек. Из-за чего? Из-за маленького удобства для себя. Как это вам нравится?

— Почему же вы не остановили меня?

— Ведь вы бы не послушались, и потом я знал, что вы скоро возвратитесь, стало быть, дело не будет иметь ничего важного, и

его ведь вы уже решили, еще даже не зная, согласится ли Мерцалова. Она, вероятно, согласилась?

— Да, с удовольствием, — сказала Вера Павловна, думая, что это служит некоторым извинением ей перед обличителем.

— Значит, дело решено — она заменяет вас?

— Решено.

— Без всякой справки о том, согласны ли те 50 человек на такую перемену — не хотят ли они чего-нибудь другого, не хотят ли они чего-нибудь лучшего? Какой деспотизм! Вы кругом виноваты. Эта история еще не кончена. Но, мимоходом, еще одна ваша вина по другому случаю. Вы теперь спокойны?

— Почти.

— Как вы думаете, спит Маша? Нужна она вам теперь?

— Нет.

— Не надобно ли вспомнить, что, может, ей хочется спать? Ведь уж первый час, а ей вставать рано. Кто должен был вспомнить об этом: вы или я? Я пойду скажу ей, что вы сказали, что она может ложиться. Кстати, соберу что там есть вам поужинать, — ведь вы ныне не обедали? А теперь, я думаю, аппетит уже есть?

— Да, — сказала Вера Павловна, уж улыбнувшись.

— С моей стороны это не подвиг, что я вспомнил о вашем аппетите — мне самому хочется есть, я сам тоже плохо пообедал.

Рахметов принес холодное кушанье, оставшееся от обеда, приборы, все. Сели ужинать.

— Ах, Рахметов, каким добрым ангелом вы для меня стали с этою запискою; но зачем же вы так долго мучили меня?

— Надобно было, чтоб видели, в каком вы расстройстве, и чтоб известие разнеслось для достоверности события, вас расстроившего. Теперь Мерцалова, Рахель, Маша — три источника достоверности события. Из-за этого можно потерпеть несколько часов — неправда ли? Ведь вы [не] захотели бы притворяться, да и невозможно подделаться под натуру. Натура всегда действует вернее. Так казалось Дмитрию Сергеевичу.

— Это он придумал? Ах, как [он] добр и умен!

— Да, это дело он обдумал хорошо. Но о нем мы после, надобно ли его хвалить вообще. Теперь пока еще о вас. А, кстати, о вас: ведь у вас, вероятно, найдется бутылка вина? Где она? Вам не мешает выпить.

— В той комнате, в буфете.

Рахметов стал угощать Веру Павловну хересом; заставил ее выпить две рюмки.

— Рахметов, да ведь вы совсем не такой, как я думала; отчего вы всегда такое мрачное чудовище, а теперь вы очень милый, веселый человек?

— Вера Павловна, ведь теперь я исполняю веселую обязанность — отчего же мне не быть веселым? Но ведь этот случай большая редкость. Вообще видишь невеселые вещи — вот и бы-

ваешь мрачным чудовищем. Только, Вера Павловна, уж если у нас дошло до таких откровенностей обо мне, — пожалуйста, пусть будет секрет, что я не мрачное чудовище. Мне легче исполнять мои обязанности, когда вообще не замечают этой стороны моего характера. Да, Вера Павловна, хотелось бы быть веселым. А, однако, это пустяки — ведь следствие о ваших преступлениях еще не кончено.

— Докончите, их уж три — невнимательность к Маше...

— Это не преступление: Маша не погибала оттого, что потирала сонные глаза лишний час, и она, бедняжка, делала это с приятным чувством, что исполняет свой долг, — это не преступление, а проступок, — но два великих преступления в [одном] деле: безжалостность и деспотизм. — Да? — Да, Вера Павловна, и в том же деле с мастерской еще третье преступление, самое тяжелое. Учреждение, которое более или менее хорошо соответствует здравым идеям об устройстве быта, которое служит более или менее важным подтверждением совершенной практичности их — а ведь этих доказательств еще так мало, они так драгоценны, — это учреждение вы подвергали риску погибнуть — обратиться из доказательства практичности в доказательство непрактичности ваших убеждений, — убеждений, благотворных для человечества; вы подавали аргумент против святых ваших убеждений защитникам мрака и зла. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против духа святого, о котором говорится, что все другие грехи могут быть отпущены человеку, но этот — никак, никогда. Правда ли, преступница? Но хорошо, что это все так кончилось и что ваши грехи совершены только вашим воображением. А ведь вы покраснели, Вера Павловна? — хорошо, я вам доставляю утешение: если б вы не страдали тогда очень сильно, вы не совершили бы их и в воображении, — значит, настоящий преступник и по этому делу тот, кто так сильно расстроил вас. Кто это такой, как вы думаете? вы все твердите: «как он добр, как он добр!»

— Как, по-вашему, он виноват в том, что я страдала?

— А кто же? и все это дело — он вел его очень хорошо, но как оно могло возникнуть, зачем оно возникло? Зачем весь этот шум? Этому ничему вовсе не следовало быть.

— Да, я не должна [была] иметь этого чувства, но ведь я не звала, я старалась подавить его.

— Я вовсе не о том говорю; ему необходимо надобно было возникнуть, как скоро даны характеры ваш и Дмитрия Сергеевича; не в той, так в другой форме оно все равно развилось бы; видите, ведь любовь к другому здесь уже только последствие, причина в несходстве характеров; ведь он сам теперь говорит это; вы не могли надолго остаться довольны вашими отношениями; он старше вас, он опытнее вас, он должен был это предвидеть и заранее приготовить вас к этому, чтоб вы не пугались и не убивались, а он понял это лишь тогда, когда последствие уже явилось.

— Рахметов, я не должна слушать вас, — вы осыпаете предомногу упреками человека, которому я чрезвычайно обязана.

— Нет, Вера Павловна, прежде не было должно слушать, теперь это полезно для вас, — почему, вы сами увидите через несколько времени; ведь до сих пор молчал же; ведь вы знаете, что нельзя было бы избежать, чтоб я не сказал и раньше, если бы считал нужным, но я молчал, хотя сильно досадовал; я говорю не потому, что мне хочется, я говорю только то, что нужно, и не раньше того, чем нужно. Верьте этому. Вы видели, как я выдержал записку целых девять часов в кармане, хотя мне и жалко было смотреть на вас. Было нужно молчать о ней — я и молчал. Значит, если я теперь не молчу об этом, то нужно говорить.

— Почему ж нужно? Если вы не скажете, я не буду слушать вас.

— Решительно?

— Решительно.

— Хорошо. Я предвидел и этот шанс и принял свои меры. Ну, записку, которая сожжена, написал он сам, — а вот эту он написал по моему совету. Эту я могу оставить вам, потому что она не документ. Извольте. — Рахметов передал Вере Павловне записку:

«Милый друг, Верочка, выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов. Я не знаю, что такое будет он говорить, но я знаю, не будет говорить ничего, кроме того, что нужно будет тебе выслушать. Твой Д. Л.»

Вера Павловна бог знает сколько раз целовала эту записку.

— Зачем же вы не отдавали мне ее? У вас, может быть, есть еще что-нибудь от него?

— Нет, больше ничего нет, потому что больше ничего не было нужно. Почему не отдавал? Пока не было надобности в ней, зачем же было отдавать ее?

— Боже мой, да для доставления мне удовольствия иметь несколько строк от него после нашей разлуки.

— Через несколько времени вы увидите причину. Так я могу теперь говорить?

— Да, я обязана слушать.

— Он не замечал того, что должен был заметить; это произвело дурные последствия, но он не виноват, что не замечал — что же делать? — я хочу сказать: пусть он не замечал, — это все равно, он все-таки должен был на всякий случай приготовить вас к чему-нибудь подобному — просто как делу случайности, которой нельзя желать, которой незачем ждать, но которая может случиться, — ведь за будущее никак нельзя ручаться, какие случаи могут в нем представиться; как же он оставлял вас в таком состоянии мыслей, что, когда произошло это, вы не были приготовлены? это уж прямо дурная вещь. Положим, он делал бессознательно, не по расчету, но ведь натура и сказывается в том, что делается бессознательно, само собою, приготовить вас к этому не соответство-

вало его выгодам, ведь это ослабляло ваше сопротивление чувству, которое было бы несогласно с его интересами; в вас возникло такое сильное чувство, что сильнейшее ваше сопротивление осталось напрасно; но ведь это опять случайность, что представилось с первого же раза именно такое сильное чувство, — именно такого сильного чувства могло вовсе не представиться никогда; будь чувство внушено вам человеком, менее заслуживающим его, хотя все-таки достойным, чувство было бы слабее, — и вы тогда при сохранении полной силы к сопротивлению могли бы одолеть это чувство. Но такое сильное чувство, против которого всякое сопротивление бесполезно, — редкое исключение, гораздо больше шансов такого чувства, которое можно одолеть, если сила сопротивления совершенно не ослаблена. Вот он для этих-то вероятных шансов и не хотел ослаблять его. Как вам это нравится?

— Это неправда, Рахметов, он не скрывал от меня своего об-
раза мыслей. Его убеждения так же хорошо известны мне, как
вам.

— Конечно, Вера Павловна. Скрывать — это было бы уж
слишком. Мешать развитию у вас убеждений, которые соответ-
ствовали его собственным убеждениям, для этого притворяться
думающим не то, что думаешь — это было бы уж прямо бесчест-
ным делом. Я вовсе не хотел этого сказать. Он человек очень хо-
роший, — как же не хороший? Я сколько вам угодно буду хва-
лить его. Он очень благородный человек. Я только говорю, что он
кое-что просмотрел и что это кое-что было очень важно. Из-за
чего вы мучились? Он говорил мне — да тут нечего и говорить,
это было ясно и само по себе — из-за того, чтоб не огорчать его.
Как же могла оставаться в вас эта мысль, что это огорчит его?
Ей не следовало оставаться. Какое тут огорчение? Это глупо. Что
за ревности такие?

— Вы не признаете ревности, Рахметов?

— В развитом человеке ей не следует быть. Это искаженное
чувство, это фальшивое чувство.

— Но, Рахметов, если не признавать ревности, из этого вы-
ходят страшные последствия.

— Для того, кто имеет ее, они страшны; для того, кто не
имеет ее, в них нет ничего не только страшного, даже важного.

— Но вы проповедуете безнравственность, Рахметов.

— Вам так кажется после четырех лет жизни с ним? Вот
в этом-то он и виноват. Скажите, сколько раз в день вы обедаете?

— Один.

— Был бы кто-нибудь в претензии на то, что вы стали бы обедать
два раза? Вероятно, нет. Отчего же вы этого не делаете? Вы
боитесь огорчить кого-нибудь? Вероятно, просто потому, что это
вам не нужно, что этого вам не хочется. А ведь обед — ведь это
приятно. Но вам довольно одного. А если б вам пришла фантазия
или болезненная охота обедать по два раза, удержало бы вас от
этого опасение огорчить кого-нибудь? Нет, если бы кто огорчался

этим или запрещал бы вам это, вы стали бы только скрываться — стали бы только кушать блюда в плохом виде, кушать кое-как, пачкали руки от торопливого хватания кушанья, пачкали б ваше платье оттого, что прятали бы его в карманы — только. Вопрос тут вовсе не о нравственности или безнравственности, а просто о [том] только, хорошая ли вещь контрабанда. Что мне не нужно, того я не стану делать, хотя бы это никого не огорчало; что мне нужно, я сделаю, не останавливаясь тем, что это кому [-то] неприятно. Вот вам и все. Конечно, бывают исключения, — но ведь вы знаете жизнь, знаете, что этих исключений очень мало и что те люди, которые удерживаются чувством долга, — только люди благородные, для которых всего менее нужно беречь фальшь из опасения, чтоб они не стали безнравственны. Фальшь никого не удерживает от поступка, она только ведет к тому, что и поступки становятся фальшивы. Разве вам не известно это?

— Конечно, известно.

— Где ж вы после этого отыщете нравственную пользу в поддержке понятия о ревности?

— Боже мой, да ведь это я все знаю.

— И все-таки мучились бог знает сколько месяцев? И из-за чего? Из-за каких пустяков какие тяжелые мученья, сколько расстройств для всех! Очень спокойно могли бы вы все трое жить попрежнему, как жили за год — или как-нибудь переместиться на одну квартиру, или разъехаться на три квартиры — или как там вам вздумалось [бы], — и попрежнему пить чай втроем, и ездить в оперу втроем. К чему этот шум? К чему эти катастрофы? И все оттого, что у вас оставалось понятие: «я убиваю его», чего вовсе не было бы тогда; и теперь, действительно, всем трем было [бы] много приятней.

— Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи.

— Опять — ужасные вещи? Для меня ужасны — шум из-за пустяков и неприятности из-за вздора. Вот что ужасно, и во всем этом он виноват.

— Но вы говорите то, что говорят проповедники безнравственности. Вы проповедуете то, что было во времена Регентства.

— Вера Павловна, времена Регентства вовсе не были безнравственнее других. Раньше было гораздо больше безнравственности, чем при регенте: при Людовике XIV — больше, при Людовике XIII — еще больше, и чем дальше назад, тем все больше и больше; а [чем] ближе к нашему времени, тем все меньше, а чем дальше будет идти время, тем все меньше будет ее оставаться, и отчего? оттого, что положение женщины улучшается, она больше сознает свое достоинство и лучше охраняет его. Дело в том, чтоб развивать в людях чувство человеческого достоинства, а не в том, чтобы поддерживать предрассудки. Разве вы этого не знаете? Дело в том, чтобы не было обмана; дело в том, чтоб не [было] вертопрашества — то и другое зависит оттого, чтоб человек был развит;

развивайте человека, не забивайте ему голову вздором, вздор ничему не помогает.

— Итак, по вашему мнению, вся наша история — глупая мелодрама?

— Да, только с трагическим содержанием. И в том, что вместо простых, обыкновенных разговоров самого спокойного содержания вышла раздирательная мелодрама, виноват Дмитрий Сергеевич. Ну, да он довольно поплатился за нее. Мир его памяти — выпейте еще рюмку за его память и ложитесь спать, — я достиг своей цели: теперь уж три часа, — если вас не будить, вы теперь проспите долго; я и сказал Маше, чтоб она не будила вас раньше половины одиннадцатого, так что завтра вы едва успеете напиться чаю, как уж вам пора будет на железную дорогу; ведь если и не успеете уложить всех вещей, не беда, скоро вам привезут их, да и воротитесь скоро; а ведь теперь вам будет тяжело с Машей: ведь вы не должны же показывать, что вы совершенно спокойны; еще хуже было бы с Мерцаловой, — я зайду к ней рано завтра и скажу, чтоб она не приезжала сюда, потому что вы долго не спали и не надо вас будить, а ехала бы прямо на железную дорогу — кажется, устроить таким образом будет всего легче для вас.

— А какой же и вы добрый, Рахметов!

[XXXII]

— Ну, скажи же теперь, проницательный читатель, зачем выведен Рахметов, который теперь ушел и уж больше не явится в моем рассказе? Ты уже знаешь от меня, что это фигура, не принявшая никакого участия в действии.

— Неправда, — говорит самодовольно проницательный читатель, — Рахметов принес записку, от которой...

— Уж очень ты плох в знании художественности, о которой столько толкуешь; после этого, по-твоему, и Маша действующее лицо в романе? Ведь она в самом начале его принесла письмо, от которого пришла в ужас Вера Павловна? И Рахель действующее лицо, потому что купила вещи и дала деньги, без которых Вера Павловна ведь не могла бы уехать? И Матрена действующее лицо, потому что сходила купить вина, без которого Марья Алексеевна не пришла бы в умиление, помнишь, после возвращения [Веры Павловны] с Конногвардейского бульвара? И профессор Н действующее лицо, потому что рекомендовал Веру Павловну в гувернантки г-же Б., без чего не вышло бы сцены возвращения с Конногвардейского бульвара? Может быть, и Конногвардейский бульвар действующее лицо, потому что без него ведь не было [бы] сцены свидания на нем и возвращения с него? И Гороховая улица действующее лицо, потому что ведь без нее не было бы и дома Сторешникова, — значит, и всего романа не было бы? Плох, плох ты, братец мой, в художественности-то. Говори, объясни, какие же это действующие лица? Ну, положим, что все это, по-твоему, дей-

ствующие лица, так ведь о них же и было сказано по пяти слов или того меньше, потому что действие-то их такое, которое больше пяти слов не стоит; а посмотри-ка, сколько страниц отдано Рахметову?

— А, теперь знаю, — говорит пронизательный читатель: — Рахметов выведен затем, чтоб произнести приговор о Вере Павловне и Лопухове, — он нужен для разговора с Верою Павловною.

— Все-таки ты плох, государь мой, — как раз наоборот понимаешь дело, — разве нужно было выводить особенного человека затем, чтоб он сказал свое мнение о действующих лицах? Это, может быть, делают твои великие художники, — я не знаю, — а у меня все-таки побольше смысла в голове и побольше понимания условий художественности. Я так не сделаю, чтоб родить на свет божий дармоеда только затем, чтоб он говорил. Нет, государь [мой], для этого вовсе не было нужно Рахметова. Сколько раз сама Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов выражали мнение о своих отношениях и действиях? Ведь они люди не глупые, они могут рассудить, что хорошо, что нет, — и неужели ты думаешь, что сама Вера Павловна, когда на досуге стала бы припоминать все, что наделала в этот день суматохи, не осудила бы свою забывчивость о мастерской точно так же, как осудил ее Рахметов? И неужели ты думаешь, что Лопухов сам не думал о своих отношениях к Вере Павловне всего того, что говорил Вере Павловне Рахметов? Он все это думал, государь мой, — порядочные люди сами думают о себе все то, что может кто бы то ни было другой сказать в осуждение им, потому-то они и порядочные люди; ведь это только ты, государь мой, этого [не] знаешь. Очень плох ты, государь мой, по части художественных соображений; я тебе скажу больше: неужели ты полагаешь, что Рахметов, разговаривая с Верою Павловною, действовал независимо от Лопухова? Нет, государь мой, он был в этом случае только орудием Лопухова и сам очень хорошо знал, что он тут только орудие Лопухова, — и Вера Павловна догадалась об этом через день или через два, — и в ту самую минуту догадалась [бы], как только Рахметов раскрыл рот, если б не была так взволнована. Вот как на самом-то деле были вещи, — неужели ты и этого-то не понял? Конечно, Лопухов во второй записке говорил совершенно справедливо, что ни он Рахметову, ни Рахметов ему ни слова не говорил о том, каково будет содержание разговора Рахметова с Верою Павловною, да ведь Лопухов хорошо знал, какой человек Рахметов, и что Рахметов думает о каком деле, и как Рахметов будет говорить в каком случае; ведь порядочные люди очень хорошо понимают друг друга, и не объяснившись между собою: Лопухов мог бы вперед чуть не слово в слово написать все, что будет говорить Рахметов с Верою Павловною, — именно потому-то он и поручил именно Рахметову быть посредником. Видишь ли, я еще дальше посвящу тебя в психологические тайны: Лопухов очень хорошо знал, что все, что теперь думает про себя он, Лопухов, будет через [несколько] времени думать о нем

и сама Вера Павловна, как только пройдет ее первая горячка восторженной благодарности; так вот видишь ли, следовательно, в окончательной развязке он ничего не проигрывает оттого, [что] посылает к ней Рахметова, который будет ругать его, — все равно она и сама ведь должна будет очень скоро [дойти] до такого же мнения; напротив, он от этого выигрывает в ее уважении: ведь она очень скоро сообразит, что он предвидел содержание разговора Рахметова с нею и нарочно устроил этот разговор, — вот она и подумает: «ах, какой он благородный человек — не отвлиивал от появления в моем уме тех мыслей о нем, которые не могли не явиться раньше или позже, а, напротив, позаботился, чтоб они были вызваны в моем уме как можно поскорее, именно в этот день суматохи, потому что в этот день мне были полезны; ведь хотя я и сердилась на Рахметова, что он бранил его, а ведь я понимала, что Рахметов, в сущности, говорит правду, — а я тогда очень была подавлена слишком тяжелой признательностью к его великодушию; вот он позаботился поскорее облегчить мне это иго и послал Рахметова снять его; благородный человек!» Видишь, государь [мой], какие хитрецы благородные-то люди, — не такие, как ты, — видишь, государь мой, как играет в них эгоизм-то, — не так, как в тебе, государь мой, — потому что удовольствие-то они находят не в том, в чем ты, государь мой, — они, видишь ли, высшее наслаждение свое находят в том, чтоб люди, которых они уважают, думали о них, как о благородных людях, и для этого, государь мой, они по своему эгоизму хлопочут и придумывают всякие штуки так же усердно, как ты для своих целей; только цели-то у тебя и у них разные, потому и штуки-то придумываются неодинаковые тобою и ими: ты придумываешь пошлые и гадкие, вредные для других штуки, а они придумывают честные, полезные для других штуки.

— Так видишь, государь мой, зачем же после этого те мысли о Вере Павловне, которые скоро были бы сами собою в голове Веры Павловны, и те мысли о Лопухове, которые тогда уже были в голове Лопухова и скоро были бы сами собою в голове Веры Павловны, сообщил я тебе не как их мысли, а сообщил тебе разговор Рахметова с Верой Павловной? Понимаешь ли ты теперь, что если сообщается тебе этот разговор, то значит, нужно сообщить тебе не только те мысли, которые составляли сущность разговора, но именно разговор? Зачем же нужно сообщать именно разговор? Затем, [государь] мой, что он разговор Рахметова с Верой Павловною — понимаешь ли ты теперь? Все нет еще? Хорош, однако, ты, — плох по части здравого-то смысла, плох. Ну, если [говорят] два человека, то из этого разговора бывает более или менее виден характер этих людей — понимаешь теперь, к чему идет дело? Характер Веры Павловны был ли тебе достаточно знаком до этого разговора? Конечно, был — из того, как она в нем держала себя, ты не узнал о ней ничего нового; ты знал, что она и вспыхивает, и шутит, и что [не] прочь она покушать, когда [есть] аппетит, и,

пожалуй, выпить рюмку хереса, — значит, разговор нужен для характеристики не Веры Павловны, — а кого же? Ведь только двое разговаривают-то — она да Рахметов, так кого ж из двух? — Для характеристики Рахметова, — говорит проникательный читатель. — Ну, вот, молодец, угадал, — за это люблю. Так видишь ли, совершенно наоборот против того, как представлялось, было, тебе: не Рахметов выведен для [того, чтоб] был веден разговор, а разговор сообщен только для того, чтоб еще более познакомить тебя с Рахметовым, — из этого разговора ты увидел, что Рахметову хотелось бы выпить хереса, а хереса он не пьет; что Рахметов не безусловно «мрачное чудовище», — напротив, когда он может, когда он за каким-нибудь приятным делом забывает на минуту свои грустные думы, свои жгучие заботы, то он и шутит, и весело болтает; — «да только, говорит, редко это мне удается, и горько, говорит, мне, что мне это так редко удается, я, говорит, сам не рад, что я мрачное чудовище, да уж обстоятельства-то таковы, что человек с моею пламенной любовью к добру не мог бы не быть мрачным чудовищем, — а кабы не это, говорит, так я был бы, может быть, такой веселый человек, что целый бы день шутил, да пел, да плясал — вот, говорит, каковы мои обстоятельства, и вот, говорит, каков мой характер».

— Понял ли ты теперь, проникательный читатель, что хотя много страниц употреблено на прямой рассказ о том, какой человек был Рахметов, но нужно, в сущности, еще гораздо больше страниц употребить на то, чтоб только познакомить тебя с этим лицом, которое вовсе не действующее в романе — ведь и длинный разговор этот с Верою Павловною нужен только для этого. Скажи же мне теперь, зачем выведена и так подробно описана эта фигура?

— Я все пристаю к тебе с прежним вопросом. Помнишь, что я тогда тебе сказал: «для удовлетворения главному требованию художественности», — додумался ли теперь¹? Видно, что нет, а то не говорил бы такого вздора. Видишь ли, в чем оно состоит: первое требование художественности состоит вот в чем: надобно изображать предметы так, чтоб читатель представлял себе предметы в истинном их виде. Например, если хочешь изобразить дом, то надобно достичь того, чтобы он читателю представлялся домом, а не лачужкою и не дворцом; если я хочу изобразить обыкновенного человека, то надобно мне достичь того, чтоб он не представлялся читателю ни гигантом, ни карликом. Прекрасно. Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения и изобразил троих таких людей — Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Такими я считаю, такими они сами себя считают, такими считают их все их знакомые, то есть такие же люди, как они, такими же увидят их в моем рассказе все порядочные люди: хорошие люди, очень хорошие люди, но нет в них ничего высокого

¹ В оригинале: тогда. — *Ред.*

и превыспренного. Но ты, пронизательный читатель, сбился бы с толку, тебе они показались бы лицами идеализированными до неправдоподобия, до невозможности. Ты так низок перед ними, что хотя они просто-напросто ходят по земле, но тебе показались бы парящими на облаках, потому что ты смотришь на них из преисподней трущобы. Сколько я тебя ни уверял бы в противном, они тебе показались бы героями. Где я говорил о них это? Что я рассказывал о них такого? Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения, — но где я преклонялся перед ними? Я люблю их, и только, — чего же их не любить? Это еще не значит, что уж выше и прекраснее их я не знаю никого и ничего, что они для меня — идеалы людей, что я хотел выставить их идеальными людьми. А тебе, пронизательный читатель, показалось бы это. Что они делают превыспренного? — не делают подлостей, не трусят, стараются поступать честно, насколько достаёт сил, — они делают только то, что делают все обыкновенные люди их типа, — мне хотелось и представить их такими, не больше. Надеюсь, что мне это удалось.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВТОРОЕ ЗАМУЖЕСТВО И ДРУГАЯ СВАДЬБА

[I]

[Берлин, 20 июля 1856 г.]

Милостивая государыня, Вера Павловна!

Близость моя к погибшему Дмитрию Сергеевичу Лопухову, а еще больше самое содержание моего письма, даёт мне надежду, что вы благосклонно примете в число ваших знакомых человека, совершенно вам неизвестного, но глубоко уважающего вас. Во всяком случае смею думать, что вы не обвините меня в навязчивости: начиная эту корреспонденцию, я исполняю желание покойного Дмитрия Сергеевича, и те сведения, которые я сообщаю о нем, вы можете считать совершенно достоверными, потому что я буду передавать его мысли собственными его словами, как бы говорил он сам. Вот его слова о деле, объяснение которого составляет цель моего письма.

«Мысли, которые произвели развязку, встревожившую некоторых людей, мне близких, созрели во мне постепенно, и мое намерение менялось много раз, прежде чем получило свою окончательную форму. То обстоятельство, которое было причиною моих мыслей, было замечено мною совершенно неожиданно для меня — только в ту минуту, когда она с испугом сказала мне о сне, ужаснувшем ее. Сон показался мне очень важным, и как человек, смотревший на состояние ее чувств со стороны, я в тот же миг понял, что в ее жизни начинается эпизод, который на время, более или менее продолжительное, изменит ее прежние отношения ко мне. Но человек всегда до последней крайности старается сохранить отноше-

ния, с которыми сжился, — в глубине нашей природы лежит консервативный элемент, от которого мы отступаем только по необходимости, — в этом, по моему мнению, заключается объяснение моего предположения — мне хотелось думать и подумалось, что этот эпизод через несколько времени минует, и тогда наши прежние отношения могут восстановиться».

Вы хотели избежать самого эпизода, через теснейшее сближение с ним. Это увлекло его, и несколько дней он не считал невозможным исполнение вашей надежды. Скоро он увидел, что она напрасна. Причина тому, как вы, конечно, знаете, заключалась в его характере. Он откровенно признал это:

«Я не порицаю своего характера, я понимаю его так: у человека, проводящего жизнь как должно, — говорил он, — время разделяется на три части: труд, наслаждение и отдых, или развлечение. Наслаждение точно так же требует отдыха, как и труд. В труде и в наслаждении общечеловеческий элемент берет верх над личными особенностями: в труде мы действуем под преобладающим определением внешних рациональных надобностей, в наслаждении под преобладающим определением других, тоже общих потребностей человеческой природы. Отдых, или развлечение — элемент, в котором личность ищет восстановления сил от этого возбуждения, более или менее истощающего запас ее жизненных материалов; это элемент, вводимый в жизнь уже самою личностью, тут личность хочет определяться уже собственными своими особенностями, своими индивидуальными удобствами. В труде и в наслаждении люди влекутся к людям общею могущественною силою, которая выше их личных особенностей: расчетом выгоды в труде, [в наслаждении] — одинаковыми материальными потребностями организма. В отдыхе не то — это не дело общей потребности, более или менее сглаживающей личные особенности; отдых есть наиболее личное дело, тут натура просит себе наиболее простора, тут человек наиболее индивидуализируется. Характер человека всего более выражается в том, какого рода развлечение или отдых легче и приятнее всего для него. В этом отношении люди распадаются на два главных отдела. Для одних отдых или развлечение приятнее в обществе других. Уединение нужно каждому, но для них нужно, чтоб оно было исключением, а правило для них — жизнь с другими. Насколько я мог заметить, этот класс гораздо многочисленнее другого, которому нужно наоборот: людям этого второго отдела в уединении просторнее, чем в обществе других. Эта разница замечена и общим мнением, которое обозначает ее названиями: «человек общительный» и «человек замкнутый». Я принадлежу к людям необщительным, она — к людям общительным. Вот и вся тайна нашей истории. Это единственная причина, по которой мы разошлись. В этой причине нет ничего предосудительного для кого-нибудь из нас. Нисколько не предосудительно и то, что ни у одного из нас не достало силы отворратить эту причину: против своей природы человек бессилён.

Каждому из нас довольно трудно понять особенности других

натур, — каждый представляет себе людей по своей индивидуальности, и нужна большая внимательность, чтоб отчетливо представить себе, как могут существовать индивидуальности другого характера. Что не нужно мне, то кажется мне ненужным и для других: необходимы слишком яркие признаки, чтобы я вспомнил о противном. И наоборот: то, что служит мне облегчением и простором, может быть другим бременем и стеснением. Вот мое извинение в том, что я слишком поздно заметил разницу между натурою моею и ее. Ошибке много помогло и то, что, когда мы сошлись жить вместе, она слишком высоко ставила меня: между нами тогда не было равенства, с ее стороны было слишком много уважения ко мне, мой образ жизни казался ей образцовым; она принимала за общечеловеческую черту и то, что было уж [моею] личною особенностью: в жизни всех таких людей уединение должно занимать больше места, чем допускается натурою большей части людей.

Была и другая причина к тому, — может, еще более сильная. Между неразвитыми людьми вообще мало уважается неприкосновенность внутренней жизни: каждый из семейства, особенно из старших, без церемонии сует лапу в вашу интимную жизнь. Дело не в том, что это нарушает, например, наши тайны: тайны — более или менее крупные драгоценности, их не забывают прятать, их не забывают стеречь, да не у всякого и есть они; часто человеку и ровно нечего прятать от близких. Но вообще каждому хочется, чтоб и в его внутренней жизни был уголок, куда никто не залезал бы к нему, как хочется каждому иметь свою комнату, в которой он был бы спокоен от всяких посещений. Люди неразвитые не смотрят ни на то, ни на другое: если у вас и есть особая комната, в нее лезет каждый, — не из желания подсмотреть или быть навязчивым, — нет, без всякого предположения, что это может беспокоить вас, — он [не] думает, что вы не желали бы его видеть вдруг, ни с того ни с сего и без всякой нужды являющимся у вас под носом, — что вы не желали бы этого, что вам неприятно было бы это только в том случае, когда бы вам вообще было неприятно его видеть; он не понимает, что может надоедать, может мешать человеку, хотя он и мил ему. Святыня порога, через который не имеет права переступить никто без воли живущего за ним, у нас признается только в одной комнате, комнате главы семейства, потому что глава семейства может выгнать в шею всякого, выросшего у него под носом без его спроса. У всех остальных вырастает под носом, когда только вздумает, всякий, кто старше их или равен им по семейному положению. То же, что с комнатою, и с миром внутренней жизни. В него без всякой надобности, даже без всякой мысли, что, может быть, делает неприятное вам, залезает всякий, кому вздумается, за всяким вздором, а чаще всего не более, как за тем, чтобы почесать язык о вашу душу. У девушки есть два будничных платья, розовое и белое. Она надела розовое, — вот уж и можно чесать язык о ее душу. «Ты надела розовое платье, Анюта, чего ты его надела?» Анюта сама не знает, чего она его надела, просто ей вздумалось

надежь его, — ведь нужно же было надеть какое-нибудь, и если б она надела белое, повторилась бы та же история. «Так, маменька», (или «сестрица»). — «А ты бы лучше надела белое». Почему «лучше»? Этого не знает та, которая беседует с Анютой, она просто чешет язык. «Что ты ныне как будто невесела?» Анюта совершенно ни весела, ни невесела, но ведь надо спросить, чтоб почесать язык. «Я не знаю, нет, кажется, ничего». — «Нет, ты что-то как будто невесела. А ты бы, Анюта, села за фортепьяно», — зачем, неизвестно советчице, «что ты не села за фортепьяно?» Анюта, может быть, хотела сесть за фортепьяно через пять минут. «Я не знаю, так, не вздумалось». — «Нет, ты бы села». И так далее, целый день. Ваша душа — будто улица, на которую поглядывает каждый, кто сидит подле окошка, не за тем, что ему нужно увидеть там что-нибудь, — он и знает, что не увидит ничего ни нужного, ни любопытного, — а так, от нечего там делать, — ведь все равно, так почему же не поглядывать, когда есть окошко? Улице, точно, все равно; но человеку вовсе нет удовольствия оттого, что пристают к нему.

Натурально, это приставанье без всяких целей и мысли, просто по непониманию того, что приставание скучно для того, к кому пристают, — натурально, что оно может вызвать реакцию, и как только человек станет в такое положение, что может уединиться, он на некоторое время находит удовольствие в уединении, хотя бы по натуре был общительным, а не замкнутым.

Она с этой стороны находилась до замужества в исключительно резком положении: к ней приставали, к ней лезли в душу не просто от нечего делать, случайно и только по не деликатности, а систематически, неотступно, ежеминутно, слишком грубо, слишком нагло, — лезли злобно и злонамеренно, — лезли не просто бесцеремонными руками, а руками очень жесткими и чрезвычайно грязными; оттого и реакция в ней была очень сильна.

Поэтому нельзя строго осуждать мою ошибку. Несколько месяцев, может быть, год, я и не ошибался: ей действительно нужно и приятно [было] уединение. А в это время успело у меня составиться понятие о ее потребностях. [Ее] сильная временная потребность сходилась с моею постоянною потребностью — что ж удивительного, что я принял временное явление за постоянную черту ее характера? Каждый так расположен судить о других по себе!

Я не могу сильно винить себя за ошибку. Но ошибка была, и очень большая. Я не виню себя в ней. Но мне все хочется оправдываться, — мне думается, что другие не будут так снисходительны ко мне, как я сам. Чтобы смягчить порицание, я должен несколько побольше сказать о своем характере с этой стороны, которая для нее и для большей части других людей довольно чужда, — потому без объяснений представлялась бы слишком неясно.

Я не понимаю отдыха иначе, как в уединении. Быть с другими для меня значит уже чем-нибудь заниматься: или работать, или на-

слаждаться. Я чувствую себя совершенно на просторе, мне совершенно легко тогда только, когда я один. Как это назвать? Отчего это? У одних — это от скрытности; у других — от застенчивости; у третьих — от расположения задумываться, хандрить; у четвертых — от недостатка симпатии к людям. Во мне ничего этого, кажется, нет: я прямодушен и откровенен, я всегда готов быть весел и вовсе не хандрю; смотреть на людей для меня приятно, но это для меня наслаждение, уж нечто, требующее после себя отдыха, то есть, по моему, уединения. Отчего ж во мне это? Сколько я могу понять себя, во мне это просто от слишком особого развития влечения к независимости, свободе (от особого склада фантазии).

И вот сила реакции против прежнего, слишком тревожного положения в семействе заставила ее на время принять образ жизни, несообразный с ее постоянной склонностью, а уважение ко мне поддерживало ее в этом временном расположении дольше, чем было бы само собою; а я в это долгое время составил себе мнение о ее характере, принял временную черту его за постоянную, — от общей всем нам привычки судить о других по себе, — и успокоился на этом мнении, — вот и вся история. С моей стороны была ошибка, но и в этой ошибке было мало дурного, а уж с ее стороны — ровно нисколько. А сколько страдания вышло из этого для нее, и какую катастрофою кончилось это для меня!»

Когда он увидел свою ошибку в ее испуге от страшного сна, поправлять эту ошибку было во всяком случае поздно.

«Но если бы мы заметили это раньше, может быть, мне и ей постоянными усилиями над сближением наших характеров [удалось бы] сделать так, чтобы мы опять остались довольны друг другом? По моему мнению, даже и в этом случае не могло бы выйти ничего особенно хорошего. Очень может быть, что мы успели бы каждый переделать себя настолько, чтоб ей не осталось причины тяготиться своими отношениями ко мне. Но переделки характеров хороши только тогда, когда направлены против каких-нибудь дурных сторон, а те стороны, которые пришлось бы переделывать в себе ей и мне, не имели в себе ничего дурного — чем общительность лучше или хуже склонности к уединению, или наоборот? Ровно ничем. А ведь переделка характера во всяком случае насильование, ломка, а в ломке многое теряется от насильования, многое замирает. Результат, которого я и она, может быть (но только может быть), достигли бы, не стоил такой потери. Мы оба отчасти обесцветили бы себя и более или менее заморили бы в себе свежесть жизни, — для чего же? для того только, чтобы сохранить известные места в известных комнатах. Дело другое, если б у нас были дети, — тогда надобно было бы много подумать о том, как изменится их судьба от нашей разлуки: если к худшему, то дело предотвращения этого стоит самых великих усилий, и результат — радость, что сделал нужное для сохранения наилучшей судьбы тех, кого любишь, — этот результат вознаграждал бы за усилия. А теперь, какую разумную цель имело бы это?»

Поэтому, при данном положении моя ошибка, повидимому, даже повела к лучшему, — благодаря ей нам обоим не пришлось более ломать себя. Она принесла много горя, но без нее наверное было бы больше, да и результат не был бы так удовлетворителен. — Из этого всего видно, что мои мысли очень заняты оправданием себя, чувствуя, что я, вероятно, покажусь не совсем правым тем, кто стал бы разбирать это дело без сочувствия ко мне. Но своим глазам я представлялся совершенно прав. Вот мое мнение о времени, которое было до ее сна. Теперь я расскажу свои чувства и намерения после того, как было мною замечено ее недовольство.

Я сказал, что с первого же ее слова о страшном сне я понял неизбежность для нее какого-нибудь эпизода, различного от наших прежних отношений. Я ждал, что этот эпизод будет иметь значительную силу, потому что иначе было невозможно при энергии ее натуры и при тогдашнем состоянии ее чувства недовольства своим образом жизни, которое уж имело очень большую силу от слишком долгой затаенности. Но все-таки ожидание представлялось мне сначала в самой легчайшей и выгодной для меня форме. Я рассуждал так: она увлечется на несколько времени страстной любовью к кому-нибудь; пройдет два-три года, я буду ждать, и она возвратится ко мне. Я очень хороший муж, шансы иметь другого такого хорошего мужа очень редки (я говорю прямо, что о себе думаю, во мне нет нисколько лицемерного желания умалять свои достоинства). Удовлетворенное чувство любви утратит часть своей стремительности, а между тем мы оба станем старше, то есть спокойнее: она увидит, что хотя одна сторона ее натуры и менее удовлетворяется жизнью со мною, но что в общей сложности ее натуре просторнее, легче жизнь со мною, чем с другим, — и все восстановится попрежнему. Я, наученный опытом, буду внимательнее к ней; она приобретет новое уважение ко мне, то есть еще больше привязанности ко мне, и мы будем жить лучше прежнего.

Но — это вещь, объяснение которой очень щекотливо для меня, однако же, оно должно быть сделано, — но как же представлялась мне перспектива того, что наши отношения с нею восстановятся? Радовало ли это меня? — Конечно; но только ли [радовало]? Нет, это представлялось мне и обременением, — конечно, приятным, очень приятным, но все-таки обременением, — в нем было много тяжелого. Я очень сильно люблю ее и буду ломать себя, чтобы приспособиться к ней. Это будет доставлять мне приятное чувство исполнения долга, но все-таки моя жизнь будет стеснена — так представлялось это мне минуту. И я увидел, что не обманывался. Испытать это она дала мне, когда хотела, чтобы я постарался сохранить ее любовь. Этот месяц угождения был самым тяжелым месяцем в моей жизни. Тут не было никакого страдания, — такое выражение не шло бы к делу, было бы тут нелепо, — с этой стороны, положительных ощущений, я не чувствовал ничего, кроме радости, угождая ей, — но мне было скучно. Вот тайна того, что ее попытка удержаться в любви ко мне осталась неудачна: я скучал с ней.

На первый раз может показаться странно, почему я не скучал, отдавая бесчисленные вечера студентам, которым уж, конечно, не был расположен жертвовать ничем важным и [для которых] не стал бы нисколько беспокоить себя, и почему я сильно утомился, когда отдал всего лишь несколько вечеров женщине, которую любил больше, чем себя, на смерть, и не только на смерть, — на всякое мучение для которой я был совершенно готов? Это может казаться странно, но только для того, кто не вникнет в сущность моих отношений к молодежи, которой я отдавал столько времени. Во-первых, разговоры с ними были совершенно отвлеченные, и с ними у меня не было никаких личных отношений: когда я сидел с ними, я не чувствовал перед собою людей, а видел несколько отвлеченных типов, которые обмениваются мыслями; разговор с ними для меня мало отличался от раздумья наедине; тут была занята во мне лишь одна сторона человека, — [та], которая всего менее требует отдыха, — мысль; все остальное спало. Тут разговор имел практическую, полезную цель — содействие развитию умственной жизни других; это был труд, но труд такой легкий, что походил на развлечение от другого труда: не утомляющий, а освежающий силы, но все-таки труд, поэтому личность и не имела тут тех требований, которые делала для отдыха; тут я делал дело, а не отдыхал; тут я искал пользы, а не успокоения; тут я давал сон всем сторонам моего существа, кроме мысли; а мысль действовала без всякой примеси личных отношений к людям, с которыми я говорил, поэтому чувствовала себе такой же простор, как наедине; поэтому эти разговоры, можно сказать, не выводили меня из уединения. Это было почти время дремоты, в которой мне снилось несколько разговаривающих людей. Тут не было ничего общего с отношениями, в которых участвует весь человек.

Я чувствую, как щекотливо выговорить перед нею это слово «скука»; но добросовестность не позволяет мне утаить его. Да, при всей моей любви к ней я почувствовал облегчение себе, когда потом убедился, что между нею и мною не может установиться тех отношений, при которых мы могли бы жить вдвоем. Я стал в этом убеждаться около того же времени, когда она начала замечать, что угождение ее желанию обременительно для меня. Тогда будущее стало представляться мне в новой форме, которая была мне приятнее. Увидев эту невозможность, я стал думать, как бы поскорее, — опять я должен употребить это выражение, которое щекотливо, — стал думать, как бы поскорее отделаться, отвязаться от этого положения, которое было мне скучно; вот тайна того, что должно было казаться великодушием человеку, который захотел бы ослепляться признательностью к внешности дела, или не был бы так близок, чтобы рассмотреть самую глубину его побуждений. Да, мне просто хотелось отделаться от скучного положения. Не лицемерствуя отрицанием в себе хорошего, я не стану отрицать того, что одним из моих мотивов было желание добра ей, но это был уже второй мотив, положим, очень сильный, но все-таки далеко уступавший силую

первому — желанию избавиться от скуки; настоящим двигателем было оно; под влиянием этого желания я стал внимательно соотносить ее образ жизни и легко увидел, что в перемене ощущений от перемен в образе жизни главную роль играет появление и удаление Александра Матвеевича. Это заставило меня думать о нем, — я понял причину его странных действий, на которые раньше не обращал внимания, и после этого мои мысли получили новый вид: когда я понял, что в ней уж не то, что только еще искание страсти, а уж сама любовь, только еще несознаваемая ею, что это чувство обратилось на человека вполне достойного и по благородству своему совершенно достойного вообще вполне заменить ей меня, и что этот человек сам страстно любит [ее], — я чрезвычайно обрадовался. Первое впечатление от этого открытия было тяжело, — всякая важная перемена соединена с некоторою скорбью, — я видел, что не могу по совести считать себя лицом, необходимым для нее, а ведь я уж привык к этому, эта сторона открытия была тяжела мне, но только в течение первого времени она преобладала над другою стороною, которая радовала меня. Теперь я был уверен в ее счастье и спокоен за ее судьбу. Это было источником большой радости. Но напрасно было бы думать, [что] в этом заключалась главная приятность; нет, опять личное чувство было гораздо важнее: я видел, что становлюсь совершенно свободным от принуждения. Мои слова не имеют того смысла, будто для меня бессемейная жизнь кажется свободнее или легче семейной, — нет, если мужу и жене не нужно несколько стеснять себя для угождения друг другу, если они довольны друг другом без всяких усилий над собою, если они угождают друг другу, вовсе не думая угождать, — им вместе еще гораздо легче и просторнее, чем было бы при одинокой жизни. Но ведь отношение между нею и мною не было таково. Поэтому разойтись с нею значило для меня стать свободным. Когда жена и муж совершенно идут друг к другу, это наоборот: они теряют свободу от разлуки. Но тут было не так, мне возвращалась свобода.

Из этого видно, что я действовал в собственном интересе, когда решился не мешать ее счастью, — благородная сторона была в моем деле, но движущею силою ему служило влечение собственной моей натуры к лучшему для меня, — поэтому-то я имел силу действовать, могу сказать, хорошо: не пошатываться туда и сюда, не делать лишней суеты и неприятностей другим, не изменять своей обязанности. Это легко, когда обязанность — влечение собственной натуры.

Я уехал в Рязань. Через несколько времени она вызвала меня, говоря, что теперь мое присутствие уже не будет мешать ей.

Я увидел, что оно все-таки мешает.

Сколько я могу понять, тут были две причины: ей было тяжело видеть человека, которому она считала себя бесконечно обязанною, — положим, она ошибалась в этом, не была несколько обязана мне, потому что я действовал гораздо больше для себя, нежели для нее. Но ей представлялось иначе, и она чувствовала чрезвычайно

сильную признательность ко мне, — это чувство тяжелое, — в нем есть приятная сторона, но она имеет верх только тогда, когда оно не сильно; когда сильно, — оно стеснительно. Другая причина, — это опять несколько щекотливое объяснение, — ей неприятна была ненормальность ее положения в смысле общественных условий, тяжело то, что недоставало со стороны общества формального признания ее права занимать это положение. Я не скрою, в этом новом открытии была для меня сторона, гораздо более тяжелая, чем все чувства, которые я испытывал в прежних периодах дела. Я сохранял к ней очень сильное расположение: мне хотелось оставаться человеком, очень близким к ней. Я надеялся, что после так [и] будет; и когда увидел, что этого не должно быть, мне было очень прискорбно. И тут уж не было вознаграждения прискорбию ни в каких личных расчетах, — я могу сказать, что тут решение мое было принято уж единственно по привязанности к ней, из желания лучшего для нее, исключительно по побуждениям несвоекорыстным. Зато никогда никакие отношения к ней в самое лучшее время этих отношений не доставляли мне такого внутреннего наслаждения, как эта решимость. Тут я уже поступал, собственно, под влиянием того, что называется благородством; и я тут узнал, какое высокое наслаждение чувствовать себя благородным человеком. Нет надобности объяснять ту сторону моего образа действий, которая была бы величайшим безрассудством в обыкновенных случаях, но слишком ясно оправдывается характером лица, которому уступал я. В то время как я уезжал в Рязань, не было ни слова сказано между нею и Кирсановым; в то время как я принимал свое последнее решение, не было ни слова сказано ни между мною и ею, ни между мною и г. Кирсановым. Но я слишком хорошо — так хорошо знал его, что мне не было надобности узнавать его мысли, чтоб знать их».

Я человек совершенно чужой вам, но корреспонденция, в которую вступил я с вами, исполняя желание покойного Дмитрия Сергеевича, имеет такой интимный характер, что, вероятно, вам надобно узнать, кто такой неизвестный корреспондент, так глубоко посвященный во внутреннюю жизнь покойного Дмитрия Сергеевича и в ваши отношения к нему. Я отставной медицинский студент — больше я не умею ничего сказать вам о себе. В последние годы я жил в Петербурге, и несколько дней тому назад я вздумал пуститься путешествовать и искать себе новой карьеры за границею. Я уехал из Петербурга на другой день после того, как вы узнали о гибели Дмитрия Сергеевича. По странному случаю я не имел в руках документов, и мне пришлось взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из моих знакомых, но с тем условием, чтобы я исполнил по дороге некоторые его поручения. Когда вам случится видеть г. Рахметова, потрудитесь сказать, что все порученное мною исполнено, как должно. Он знает. Теперь я буду пока бродить по Германии, наблюдая нравы, знакомясь с людьми. У меня есть несколько сотен рублей, и мне хочется погулять. Когда праздность надоест, я буду искать себе дела, како-

го? — все равно, где? — где случится. Я волен, как птица, и могу быть беззаботен, как птица. Такое положение восхищает меня.

Очень может быть, что вам угодно будет удостоить меня ответом. Но я не знаю, где я буду через неделю, — может быть, в Италии, может быть, в Англии, может быть, в Праге, — я теперь могу жить по своей фантазии, и куда она унесет меня, я не знаю. Поэтому делайте на ваших письмах только следующий адрес: Berlin, Agentur H. Schweigler, Friedrichstrasse, № 21. Под этим конвертом будет ваше письмо в другом конверте, на котором вместо всякого адреса будут выставлены только цифры: 1 2 3 4 5: они будут означать для конторы агентства Швейглера, что это письмо должно быть отправлено ко мне.

Примите, милостивая государыня, уверение в глубоком уважении от человека, совершенно чуждого вам, но безгранично преданного вам, который будет называть себя

отставным медицинским студентом.

Милостивый государь Александр Матвеевич. По желанию покойного Дмитрия Сергеевича я должен передать вам уверение в том, что счастливейшим для него обстоятельством казалось [ему] именно то, что свое место он должен был уступить вам. При тех отношениях, которые повели к этой перемене, — отношениях, которые постепенно образовались в течение почти трех лет, когда вы почти вовсе не бывали его гостем, следовательно, при отношениях, возникших без всякого вашего участия, — единственно из несходства характеров между двумя людьми, которых вы потом напрасно старались сблизить, — при этих отношениях была неизбежна та развязка, какая произошла. По твердому мнению Дмитрия Сергеевича вы нисколько не должны приписывать ее себе. Он почти уверен, что это объяснение излишне, но на всякий случай поручил мне сделать его. Так или иначе, тот или другой должен был занять место, которого не мог занимать он, на которое только потому и мог явиться другой, что Дмитрий Сергеевич не мог занимать его. То, что на этом месте явились именно вы, составляет, по мнению покойного Дмитрия Сергеевича, большое счастье как для вас, так и для лица, интересы которого были особенно ему драгоценны. Примите уверение в глубоком моем уважении.

— А я знаю...

Что это? Знакомый голос и в особенности знакомая ослиная интонация этого голоса — оглядываюсь, — так и есть! он! он, пронизательный читатель, так недавно изгнанный с позором за непонимание ни аза в глаза по части художественности, — уж он опять тут, и опять с своею прежнею пронизательностью, — он уж опять что-то знает!

— А я знаю, — ревет он в телячьем восторге от своей догадливости, — знаю, кто это такой пишет в...

Я торопливо хватаю первое, что удобно для моей цели, что

попалось под руку, — попалась салфетка, потому что я, переписав письмо «отставного студента», сел завтракать — итак, я схватываю салфетку и затыкаю ему рот: «Ну, знаешь, так и знай; чего ж орать на весь город?»

[Ш]

[Петербург, 25 августа 1856 г.]

Милостивый государь,

Вы поймете, до какой степени я была обрадована вашим письмом. От всей души благодарю вас за него. Ваша близость к покойному Дмитрию Сергеевичу дает мне право считать и вас моим другом. Позвольте мне употреблять это название¹.

Характер Дмитрия Сергеевича виден в каждом из его слов, передаваемых вами: он постоянно отыскивает самые затаенные причины своих действий, и ему доставляет удовольствие подводить их под свою теорию эгоизма, — впрочем, это общая привычка всей нашей компании. Мой Александр также охотник разбирать себя в этом духе. Если бы вы послушали, как он объясняет свой образ действий в течение трех лет относительно меня и Дмитрия Сергеевича! Все, по его словам, происходило по эгоистическому расчету, для его собственного удовольствия. И я уж давно приобрела эту привычку. Только это несколько меньше занимает меня и Александра, чем Дмитрия Сергеевича; мы с ним совершенно сходимся, но у него больше влечения к этому. Словом сказать, мы все трое, если послушать нас, такие эгоисты, каких до сих пор свет еще не производил. А, может быть, это и правда? Может быть, прежде не было таких эгоистов? Может быть, раньше не знали, что человек именно тогда лучше всего соблюдает свою выгоду, когда действует благородно? Кажется, так, — по крайней мере и Дмитрий Сергеевич говорил это, и мой Александр так говорит: да, мы новые люди, конечно, далеко не из лучших новых людей, но все-таки новые люди.

Но кроме этой черты, общей всем нам троим, в словах Дмитрия Сергеевича, которые передает мне ваше письмо, есть и другая черта, уж, собственно, принадлежащая его положению: очевидная цель всех его объяснений — успокоить меня. Мой друг, я очень признательна за это, но ведь и я эгоистка — я скажу: напрасно он столько заботится о моем успокоении, — мы сами себя оправдаем гораздо легче, чем оправдают нас другие, и я, если сказать правду, не считаю себя ни в чем виноватою перед ним. Скажу больше: я даже не считаю себя обязанною быть признательной к нему. Я ценю его благородство, но ведь я знаю, что он был благороден не для меня, а для себя. Ведь и я, если не обманывала его, то не обманывала его не для него, а для себя — не потому, что обманывать было бы несправедливостью к нему, а потому, что это было бы противно мне самой. Покойный Дмитрий Сергеевич наверное одоб-

¹ Зачеркнуто: и потом к чему это «вы»? не могу я говорить вам проще, называя вас «ты»? — Ред.

рил бы такой способ понимания вещей. Мой Александр одобряет его.

Я сказала, что не виню себя, — так же, как и он. Но так же, как и он, я чувствую влечение оправдаться, то есть, по его словам, имею предчувствие, что другие не так легко могут извинить меня от порицания за некоторые стороны моих действий, как извиняю я. Я не чувствую никакой охоты оправдываться в той части дела, в которой оправдывается он, — и, наоборот, мне хочется оправдаться в той части, в которой он не находит нужды оправдываться. В том, что было до моего сна, никто не назовет меня сколько-нибудь виноватою, это я знаю; но потом — не я ли была причиною, что дело имело такой мелодраматический вид и привело к такой эффектной катастрофе? Не должна ли я была гораздо проще смотреть на ту перемену отношений, которая была уж неизбежна, когда этим сном в первый раз раскрылось мне и Дмитрию Сергеевичу положение мое и Дмитрия Сергеевича? Вечером того дня, [когда] погиб Дмитрий Сергеевич, я имела длинное объяснение с свирепым Рахметовым, — какой это мягкий и добрый человек! — он говорил мне бог знает какие ужасные вещи про Дмитрия Сергеевича, но если пересказать их вместо его жесткого, как будто враждебного Дмитрию Сергеевичу тона, тоном дружеским к Дмитрию Сергеевичу — что ж, пожалуй, они справедливы. Я подозреваю, что Дмитрию Сергеевичу было очень понятно, в каком смысле будет говорить со мною Рахметов, и что это входило в его расчет. Да, для меня тогда нужно было слышать эти вещи, они меня успокоили, и кто бы ни устроил этот разговор, я очень благодарна за него вам, мой друг. Но сам Рахметов должен был сознаться, что Дмитрий Сергеевич в последней половине дела поступил отлично. Он винил его только за первую половину, в которой он и имел охоту оправдываться. Я буду оправдываться во второй половине, хотя никто не говорил мне, что я виновата в ней. Но у каждого из нас есть порицатель более строгий, чем сам Рахметов, — это наш собственный ум.

Да, я чувствую, что было бы гораздо легче для всех, если б я смотрела на дело проще, не придавала ему важного значения. Тогда Дмитрию Сергеевичу не было бы надобности прибегать к такой радикальной развязке, до которой он был доведен излишнею пылкостью моей тревоги. Так, мне кажется, должен он смотреть на дело, хотя не поручал вам передать мне это. Но ведь и у меня есть свои извинения. Вторая половина нашей истории начинается с поездкою в Рязань. Мне кажется, что если б я не придавала чрезмерной важности перемене отношений, можно было бы обойтись без этой поездки, — но ведь она не была тяжела для него, — стало быть, и не велика беда, наделанная моим экзальтированным взглядом на перемену отношений. Совершенно другое дело — гибель Дмитрия Сергеевича. Он объясняет необходимость своего решения двумя причинами: обременительностью мне признательности к нему и моим желанием стать к Александру в отношения, правильность которых признается обществом. Он гово-

рит: мне было тяжело видеть человека, которому я была, по моему мнению, бесконечно обязана,—вид его тяготил меня чрезмерным бременем признательности. Нет, это не совсем так. Надобно помнить, что человек слишком расположен приискивать мысли, которыми может облегчить себя, и в то время, когда он видел надобность погибнуть, эта причина уж давно не существовала — моя признательность к нему давно получила ту умеренность, при которой она чувство приятное. А ведь только эта причина и имела связь с моим прежним экзальтированным взглядом на дело. Вторая причина — желание придать моим отношениям к Александру характер, признаваемый обществом, — ведь она совершенно нисколько не зависела от моего взгляда на дело, она происходила из понятий общества. Против нее я была бы бессильна. Но Дмитрий Сергеевич совершенно ошибается, если думает, что его присутствие было тяжело для меня именно по этой причине. Нет. Напротив, если бы он не погибал, то ведь легко было бы устранить ее, если б только это было нужно и если бы этого было бы достаточно для меня. Если муж живет вместе с женою, этого уж совершенно довольно, чтоб общество не делало скандала жене, в каких бы отношениях ни была она к кому-нибудь другому. Это уже большой успех. Мы имеем довольно примеров тому, что благодаря благородству мужа дело устраивается таким образом, и видим, что во всех этих случаях общество оставляет жену в покое. Теперь я нахожу, что это самый лучший и легкий для всех способ устраивать дела, подобные нашему. Дмитрий Сергеевич прежде предлагал мне этот способ, — тогда я отвергла его по своей экзальтированности. Не знаю, как было бы, если б я тогда приняла его. Если б я могла остаться довольною только тем, что общество оставило бы меня в покое, не делало бы мне скандала, не хотело бы видеть моих неправильных отношений к Александру, — этого, конечно, было бы достаточно для того, чтоб Дмитрию Сергеевичу не нужно было бы решаться на гибель. Тогда, конечно, у меня не было бы никакой надобности желать, чтобы мои отношения к Александру определены были официальным образом. Но мне теперь кажется, что в нашем случае не было бы удовлетворительно такое устройство дела, совершенно удовлетворительное для большей части подобных случаев. Наше положение имело ту редкую случайность, что все три личности, которых оно касалось, были равносильны. Если бы Дмитрий Сергеевич чувствовал превосходство Александра над собою по уму, или по развитию, или по характеру, тогда, уступая свое место Александру, он уступал бы превосходству той или другой нравственной силы, его отказ не был бы отказом добровольным, а отступлением слабого перед сильным. Точно то же было бы, если бы я по уму или характеру была бы гораздо сильнее Дмитрия Сергеевича, и он до развития моих отношений к Александру был уж тем, что хорошо характеризует анекдот, которым, помнишь, мой друг, я забавлялась целых три вечера, — как встретились в фойе Большой итальянской

оперы два господина, разговорились, понравились друг другу, захотели познакомиться: «так будем же знакомы», сказал один: «я поручик такой-то». — «А я муж г-жи Тедеско», — отрекомендовался другой. Если бы Дмитрий Сергеевич был «муж г-жи Тедеско», о, тогда, конечно, точно так же не было бы надобности в его гибели, как и в случае решительного превосходства Александра над ним, он опять уступал бы силе, покорялся бы, смирялся бы, — и если бы был человек благородный, не видел бы в этом своем смирении ничего обидного для себя — и все было бы прекрасно. Но его отношения ко мне и к Александру были вовсе не таковы. Он не был ни на волос ниже или слабее кого-нибудь из нас, — и мы это знали, и он это знал. Его уступка не была следствием бессилия — о, вовсе нет! — она была чисто делом его доброй воли. Так ли, мой друг, — вы не можете отрицать этого? Поэтому в каком же положении видела я себя? — вот в этом, мой друг, вся сущность дела. Я видела себя в положении зависимости от его доброй воли, — вот почему мое положение было тяжело мне, вот почему он увидел надобность в благородном решении погибнуть. Да, мой друг, причина чувства, которое принудило его к этому, скрывалась гораздо глубже, нежели объясняет он в вашем письме. Обременительный размер признательности уже не существовал; удовлетворить претензиям общества было бы легко тем способом, какой он сам предлагал мне, — да ведь претензии общества и не доходили до меня, живущей в своем очень маленьком кругу, который совершенно не имеет их. Но я оставалась в зависимости от него, мое положение имело своим основанием только его добрую волю, оно не было самостоятельно — вот причина того, что мне было тяжело. Судите же теперь, могла ли эта причина быть отвращена каким бы то ни было спокойным взглядом моим на перемену наших отношений. Тут важность не в моем взгляде, а в том, что Дмитрий Сергеевич был человек самобытный, поступавший так или иначе по доброй воле — по доброй воле! Понимаете ли вы, мой друг, какой глубокий эгоизм скрывается в моем чувстве: я не хочу зависеть от доброй воли кого бы то ни было, хотя бы самого преданного мне человека, хотя бы самого уважаемого мною человека, в котором я не менее уверена, чем в самой себе, о котором я положительно знаю, что он всегда будет с радостью делать все, что мне нужно, что он дорожит моим счастьем не меньше, нежели я сама, — можете ли вы измерить, мой друг, как глубок эгоизм в моем чувстве? И однако же, к чему все это говорится? к чему этот анализ, раскрывающий самые тайные мотивы чувства, — такие мотивы, которых не доискался бы никто другой и которые вовсе ведь не приносят же особенной чести? все-таки и это самоизобличение делается только в свою же пользу, чтоб можно было сказать: «я тут не виновата, дело зависело от такого факта, изменение который было не в моей власти».

Но довольно об этом. Если вы имели столько симпатии ко мне, что не пожалели потратить так много времени на ваше длинное
558

письмо, то, конечно, я должна быть уверена, что вам интересно будет узнать, что было со мною после гибели Дмитрия Сергеевича. Вы, конечно, знаете от Рахметова, что я была в отчаянии, прочитав записку, в которой Дмитрий Сергеевич говорил, что «сходит со сцены». Конечно, знаете от него, что я решила навсегда расстаться с Александром и уехать из Петербурга, что, дав мне помучиться весь день до поздней ночи, Рахметов показал мне записку моего доброго, доброго друга, которая совершенно изменила мои мысли (видите, какая я дипломатка, как осторожны мои выражения, вы должны быть довольны этим). Но уехать все-таки было надобно для достижения того же самого эффекта, ради которого Дмитрий Сергеевич не пожалел оставлять меня на страшное мучение в течение целого дня, — как я благодарна ему за эту безжалостность! Вы, конечно, знаете так же, что Рахметов еще раньше, чем явился сидеть сторожем моего отчаяния, отыскал Александра и сказал ему, что было нужно для его успокоения. Ехать до Москвы мне уже не было надобности, надобно было только удалиться из Петербурга. — Я уехала в Новгород, туда приехал через несколько дней Александр, привез документы о гибели Дмитрия Сергеевича, мы повенчались через неделю после этой гибели, прожили еще с месяц в Новгороде и вчера возвратились в Петербург; вот причина, по которой я так долго не отвечала на ваше письмо: оно лежало в ящике Маши, дожидаясь меня. А вы, вероятно, бог знает чего ни передумали, не получая так долго ответа.

Обнимаю вас, милый друг. Ваша В е р а К и р с а н о в а.

Жму твою руку, мой милый — только, пожалуйста, уж хоть мне-то ты не пиши комплиментов, — иначе я изолю перед тобою сердце мое целым наводнением превознесений твоего благородства, тошнее чего, конечно, ничего не может для тебя быть. А по правде сказать, не доказывает ли присутствие порядочной дозы тупоумия как у меня, так и у тебя то, что и ты мне, и я тебе пишем лишь по несколько строк, — что мы на первое время как-то как будто несколько конфузимся в разговоре? Какая пошлость! Впрочем, мне-то, положим, это еще извинительно, — а ты-то с какой стати? В следующий раз, надеюсь, уж буду рассуждать с тобою свободно и напишу тебе здешние новости в подробном раз-
Твой А л е к с а н д р К и р с а н о в.

(III)

Переписка эта продолжалась еще три-четыре месяца, — действительно со стороны Кирсановых, довольно небрежно и скудно со стороны их корреспондента. Потом он и вовсе перестал отвечать на их письма. Оставшись пять-шесть раз без ответа, бросили писать и они.

IV

Муж в своем госпитале. Вера Павловна ждет его к обеду. Она досыта наработалась в этот день: ведь она образует другую мастерскую, в другом конце города. С Лопуховым они жили на Васильевском. Теперь она живет в Сергиевской улице, потому что Кирсанову нужно иметь квартиру ближе к Выборгской стороне. Мерцалова очень хорошо пришлось по той мастерской, которая была основана на Васильевском острове, — да и натурально: ведь она уж была хорошо знакома с мастерской и сама тоже хорошо знакома ей. Когда Вера Павловна возвратилась в Петербург, она увидела, что если ей и нужно бывать в этой мастерской, то разве изредка, больше только потому, что ее привязанность влечет ее туда и что там ее встречает привязанность. Может быть, на несколько времени еще и не вовсе бесполезны ее посещения: все-таки ведь Мерцалова иногда еще находит нужным предлагать ей вопросы о том или о другом, — но это берет так мало времени, она уж и теперь бывает там больше как любимая гостья, чем как необходимое лицо, а скоро Мерцалова приобретет столько опытности, что вовсе перестанет нуждаться в ней. Чем же заняться? Ясно чем: надобно основать другую мастерскую в другом конце города. — И новая мастерская основывается в одном из переулков, идущих между Бассейною и Сергиевскою. С нею гораздо меньше хлопот, чем с прежнею: ведь основной штат — пять человек — перешел сюда из прежней мастерской, где места их заняты новыми девушками; ведь остальной штат новой мастерской набрался из хороших знакомых тех швей, которые работали в первой мастерской. А это значит, что все уж было более чем наполовину приготовлено: цель и порядок известны всем членам компании, новые девушки прямо и поступили с тем желанием, чтобы введен был с первого же раза тот порядок, которого так медленно достигла первая мастерская. О, теперь дело устройства идет вдесятеро быстрее, чем тогда, и хлопот с ним втрое меньше; но все-таки много работы, и Вера Павловна устала ныне, как устала и вчера, как уставала уж два месяца, — (да, только еще два месяца, хотя уже около полугода прошло уже со времени ее второго замужества: что ж, надобно же было сделать себе свадебный праздник месяца на два по возвращении из Новгорода), — как будет уставать еще месяца три.

Итак, Вера Павловна устала и отдыхает, и думает — о многом, о многом, всего больше о настоящем: оно так хорошо! Часто отдаваться воспоминаниям некогда: слишком много в настоящем, воспоминания будут позже, о, гораздо позже, через несколько десятков лет, — но все-таки бывают они изредка и теперь, — вот и ныне ей вспомнилось то, что чаще всего вспоминается в этих нечастых воспоминаниях.

[V]

— Миленкий мой, я еду с тобою! Я завтра же поеду вслед за тобою, когда ты не хотел взять меня ныне с собою.

— Подумай. Посмотри. Подожди моего письма. Оно будет завтра же.

Когда она возвращается домой, и сама не знает, что она чувствует, так она потрясена этим быстрым оборотом дела: еще не прошло суток — да, только вот еще через два часа будут сутки после того, как он прочел ее письмо, — и вот, он уже удалился — как это скоро, как это внезапно! В два часа ночи она еще ничего не предвидела, — он выждал, когда она, утомленная тревогою того утра, уж не могла долго противиться сну, вошел, сказал несколько слов, — и в этих словах почти все было только непонятное предисловие к тому, что он хотел сказать, — а что хотел он сказать ей, он сказал в таких кратких словах: «я давно не видел своих стариков, съезжу к ним, как они будут рады» — только, и тотчас же ушел. Она бросилась за ним, хоть он и просил ее не делать этого, — где ж он? Маша, еще не успевшая уснуть, говорит: «Дмитрий Сергеевич ушел гулять». И она должна была лечь спать, и странно, как могла она уснуть? — но ведь она не знала же, что это будет завтра, — ведь он сказал, что они еще успеют переговорить обо всем, — и едва успела проснуться, уж ему пора ехать на железную дорогу. Да, все это только мелькнуло перед ее глазами, как будто это не было с нею, будто ей кто-то торопливо рассказывает, что это было с кем-то другим. Только теперь, возвратившись домой с железной дороги, она очнулась и стала думать: что же теперь с нею?

Да, она поедет в Рязань. Поедет. Иначе нельзя ей. Но это письмо? Что будет в этом письме? Нет, что же ждать этого письма для того, чтобы решиться? Она знает, что будет в нем. Но все-таки надобно отложить решение до письма. Да, она поедет. Это думается час, это думается два, это думается три, четыре часа. Но Маша проголодалась и уж третий раз зовет ее обедать, но в этот раз больше велит ей, чем зовет ее. Что ж, и это рассеяние. Бедная Маша, как я заставила ее проголодаться! — «Да что же вы ждали меня, — вы [бы] обедали, не дожидаясь?» — «Как это можно, Вера Павловна?» И опять думается час, два: «я поеду, — да, завтра же поеду, только дождусь его письма, потому что он просил об этом, но что бы ни было написано там, да ведь я и знаю, что в нем, — все равно, что бы ни было написано в нем, я поеду». Это думается час и два; — час это думается, но два думается ли это? Нет, хоть и думается все это же, но думаются еще четыре слова, такие маленькие слова: «он не хочет этого». И все больше и больше думаются эти четыре маленьких слова, — и вот уже солнце скоро зайдет, а все думается прежнее, и эти четыре маленьких слова — и вдруг, перед самым тем временем, как опять входит неотвязная Маша и требует, чтобы Вера Павловна пила чай, — перед самым этим временем эти четыре маленьких слова обращаются в пять¹

¹ В оригинале описка: четыре. — Ред.

других маленьких слов: «и мне не хочется этого». Как хорошо сделала эта неотвязная Маша, что вошла! Она прогнала эти новые пять маленьких слов.

Но и благодетельная Маша ненадолго отогнала эти маленькие слова. Сначала явилось опровержение им: «но я должна ехать», и в тот же миг опять стали закрываться маленькие четыре слова: «он не хочет этого», и в тот же [миг] эти четыре маленьких слова опять выросли в пять маленьких слов: «и мне не хочется этого». И думается это полчаса, и через полчаса эти четыре маленьких слова, эти пять маленьких слов уже начинают переделывать по своей воле даже прежние слова, даже самые главные, главные, и из двух слов: «я поеду» — вырастают три слова, уже вовсе не такие, хоть и те же самые: «поеду ли я?» Вот как растут и превращаются слова! Но вот, опять Маша: «я ему, Вера Павловна, уж отдала полтинник, как тут на конверте написано: это кондуктор принес, который приехал с вечерним поездом; он говорит, что, как обещался, так и сделал: для скорости приехал на извозчике». Письмо от него, да, она знает, что в этом письме: «не изди», но она все-таки поедет, она не послушается этого. Нет, в письме не то, вот что в нем, чего нельзя не слушаться: «Я еду в Рязань; но не прямо в Рязань. У меня много заводских дел по дороге; кроме Москвы, где по множеству дел мне надобно прожить с неделю, я должен быть еще в двух городах раньше Москвы, и в трех после Москвы, прежде чем попаду в Рязань. Сколько времени где я проживу, когда где буду, — не буду определять, потому что в числе других дел есть получения денег с разных наших торговых корреспондентов; а ты знаешь, милый друг мой, что если надобно получить деньги, то часто приходится ждать по нескольку дней там, где рассчитывал пробыть всего несколько часов, и поэтому я решительно не знаю, когда я доберусь до Рязани, но наверное не так скоро».

Он совершенно отнимал у нее возможность схватиться за него, чтоб удержаться подле него.

Что ж ей теперь делать? И прежние слова: «я должна ехать к нему» превращаются в слова: «все-таки я не должна видаться с ним», и этот «он» уже не тот, о котором думалось раньше. Этими словами заменяются все прежние слова, и думается час, и думается два: «я не должна видаться с ним» — и как они, когда они заменились словами: «неужели ж я захочу увидаться с ним? Нет». И когда она засыпает, эти слова: «неужели я увижусь с ним?» едва ли не выросли уж, да, выросли в слова: «неужели ж я не увижусь с ним?» И когда на другое утро она просыпается, уж вместо всех прежних слов только все борется одно слово с двумя словами: «увижусь» — «не увижусь», — и то слово, которое побольше, все хочет удержать при [себе] маленькое слово, так и льнет, так и льнет к нему, так и хватается за него, так и держится его: «не увижусь»; а маленькое слово все отбегает и пропадает, все отбегает и пропадает: «увижусь»; и так идет утро, забыто все, забыто все от этих усилий большого слова удержать подле себя маленькое, да, и оно

удерживает его и зовет на помощь себе другое маленькое слово, чтобы некуда было отбежать этому маленькому: «нет, не увижусь», — да, теперь два слова крепко держат между собою третье. самое маленькое слово, некуда ему отбежать, они сжали его между собою: «нет, не увижусь» — «нет, не увижусь» — «нет, не увижусь»; только что это делает она? Шляпа уж надета, и это она инстинктивно взглянула в зеркало, приглажены ли волосы, — да, в зеркале она увидела, что на ней шляпа; и из трех слов, которые успели было срастись так твердо, два пропадают, осталось одно, и к нему прибавились новые, совсем новые: «нет возврата». Нет возврата, нет возврата. — Маша, вы не ждите меня обедать; я не буду ныне обедать дома.

— Александр Матвеевич еще не изволили возвращаться из госпиталя, — спокойно говорит Степан, — ведь в ее появлении нет ничего особенного для Степана: пол[года] назад она так часто бывала здесь.

— Я знаю; все равно, я посижу. Вы не говорите ему, Степан, что я здесь.

Она берет какой-то журнал — да, она может читать и видит, что может читать; да, как только «нет возврата», как только принято решение, она чувствует себя гораздо спокойнее. Конечно, она мало читала, — вовсе не читала, — она осмотрела комнату, она стала прибирать ее, будто хозяйка — конечно, мало прибирала, вовсе не прибирала, но как она спокойна: и может читать, и может заниматься делом, — заметила, что из пепельницы не выброшен пепел, что этот стул остался сдвинут с места. Она сидит и думает: «нет возврата, нет выбора, начинается новая жизнь», — думает час, думает два: «как он удивится, как он будет счастлив — начинается новая жизнь. Да, как мы счастливы».

Звонок; она немного покраснела и улыбнулась. Шаги, дверь открывается, — «Вера Павловна!» — он пошатнулся, да, он пошатнулся, он схватился за ручку двери, но она уже подбежала к нему, обняла его. «Милый мой, как он благороден! как я люблю тебя! Я не могла жить без тебя!» — и потом что было? — она не помнит, — только помнит, что она поцеловала его, но как они перешли через комнату — этого она не помнит, — и он не помнит, — да, на несколько секунд у них обоих закружилась голова, потемнело в глазах от этого поцелуя; они очнулись уж через несколько секунд, увидели, что сидят рядом на диване — обнявшись, и снова поцеловались. «Верочка, ангел мой!» — «Друг мой, я не могла жить без тебя; как долго ты любил меня и молчал, как ты благороден, как он благороден, Саша!» — «Скажи, Верочка, как это было?» — «Я сказала ему, что не могу жить без тебя; на другой день он уже уехал; это было вчера, я хотела ехать за ним; весь день вчера я думала, что поеду за ним, — а теперь, видишь, я у тебя!» — «Но как ты похудела в эти две недели, Верочка, как бледны твои руки!» Он целует ее руки. «Да, мой милый, это была тяжелая борьба! Теперь я могу ценить, как много страдал ты, чтоб

не нарушить моего покоя! Как мог ты так владеть собою, что я ничего не могла видеть? Как много ты должен был страдать!» — «Да, Верочка, это было не легко!» Он целует ее руки — и вдруг она хохочет: «Ах, как же [я] невнимательна к тебе, — ведь ты устал, ведь ты голоден», — она вырывается от него и бежит. «Куда ты, Верочка?» Но она ничего не отвечает, она уж в кухне и торопливо, весело говорит Степану: «скорее давайте обед на два прибора — скорее, где тарелки и все, давайте, — я сама возьму, накрою стол, вы теперь несите [кушанье]. Александр так устал в своем госпитале». Она идет с тарелками, на тарелках звенят ножи, вилки, ложки. «Ха, ха, ха! мой милый — первая забота влюбленных при первом свидании — поскорее пообедать! Ха, ха, ха!» И он смеется и помогает ей накрывать стол — много помогает, но больше мешает, потому что все целует ее руки — ах, как бледны эти руки! и все целует их, — и они целуются и оба смеются. «За столом сиди смирно, нельзя шалить». Степан подает суп. За обедом она рассказывает ему, как все это было. «Ха, ха, ха! как мы едим, влюбленные!» Входит Степан со вторым блюдом. «Степан, кажется, от меня вы останетесь без обеда?» — «Да, Вера Павловна, придется итти прикупить для себя в лавочке». — «Ничего, Степан, вперед вы уже будете знать, что надобно готовить на двоих. Давай мне свою сигарочницу, — она сама обрезаает для него сигару, сама закуривает ее, — кури, мой милый, а я пока пойду готовить кофе — или ты хочешь чаю? чего ты хочешь? Нет, твой обед должен быть лучше, вы с Степаном слишком мало заботились об этом».

Она возвращается через пять минут, Степан несет за нею чайный прибор, и, возвратившись, она видит, что его сигара погасла. «Ха, ха, мой милый, как ты замечтался без меня!» И он смеется, они пьют чай. «Кури же, — она снова закуривает сигару и подает ему, — кури же».

И припоминая все это, она и теперь смеется: «как же прозаичен наш роман: первое свидание — и суп, головы закружились от первого поцелуя — и хороший аппетит, — вот сцена любви! — Как все это было забавно! Да, как сияли его глаза, — что ж, впрочем, они и теперь так же сияют, — и сколько его слез упало на мои руки, которые были тогда так бледны! — Этого теперь уж нет; в самом деле, у меня руки хороши, он говорит правду».

«Я сажусь, хочу разливать чай. — Степан, у вас нет сливок, как же с этим быть? можно ли где достать хороших? да нет, некогда». — «Нет, сударыня, у нас здесь нет хороших сливок». — «Ну, так и быть, но завтра мы устроим это, — кури ж, мой милый, ты все забываешь курить».

Еще не допит чай, раздается страшный звон колокольчика, и в комнату влетают два студента, — они в своей торопливости даже и не видят ее: «Александр Матвеевич, интересный субъект! сейчас привезли, скорее! чрезвычайно редкое осложнение!» — бог знает какой-то латинский термин, обозначающий болезнь интересного субъекта. — «Нужна немедленно помощь, каждые полчаса до-

роги». — «Скорее же, мой милый, спеши!» говорит она; — только тут студенты замечают ее, раскланиваются и уходят с Александром, — сборы были недолги, потому что он все еще так и оставался в своем военном сюртуке. «Оттуда ты ко мне?» говорит она, прощаясь с ним. «Да». Долго ждет она его вечером — вот и 11 часов, и час, и два, а его все нет — что это такое? Она, конечно, нисколько не беспокоится, — ведь ничего ж не может случиться, но неужели он так долго задержан больным? Да, он явился на другое утро в 9 часов — он до 4 часов оставался в госпитале, случай был очень трудный и очень интересный, — он едва заснул на три часа и поспешил к ней. Она гонит его: «отправляйся назад, сумасшедший, как это можно! сосни! послал бы ко мне Степана сказать, как это было. Отправляйся же, спи, я буду к обеду», — и она прогоняет его.

Как оригинальны два первых свидания! Но этот второй обед идет уж, как следует: они рассказывают друг другу свои истории, они и смеются, и задумываются, и жалеют друг друга, — каждому из них кажется, что другой страдал больше него... Через полторы недели уж снята маленькая дача на Каменном острове, — ведь Александру нельзя быть слишком далеко от госпиталя, — и они поселяются на ней.

[VI]

Не очень часто вспоминала Вера Павловна прошлое своей терпешней любви, — ведь в настоящем так много жизни, что не очень много места остается для воспоминаний. Но когда она вспоминала, то иногда, — сначала это было редкое, слабое, мимолетное чувство, потом развилось до очень заметной силы, — она была почему-то недовольна собою в этой истории: чем именно недовольна, это долго оставалось для нее совершенно смутным. Но она вдумывалась, вдумывалась, и ей стало казаться, что причина недовольства относится не к одному прошедшему, что она и теперь чем-то недовольна в себе.

[VII]

— Скажи, мой милый, правду, — ты медик, ты физиолог, ты натуралист: как ты думаешь, должна быть разница в характере чувств между мужчиною и женщиною?

— Это один из множества таких вопросов, на которые сама наука еще не отвечает, отвечают только ученые; один говорит «да», другой говорит «нет».

— Ну, конечно, все говорят: «да», — все, кроме очень немногих, которые обо всем говорят не то, что почти все. Ты говоришь: «нет»? Я не говорила об этом с Дмитрием, — ведь мы вообще за четыре года меньше с ним говорили, чем с тобою в эти полгода — хотя и с ним мы много говорили, то есть почти все я одна говорила, — ты говоришь «нет»?

— Да, я говорю «нет», но я ручаюсь только за то, что я так думаю и что я могу опровергнуть все возражения против этого; а за то, что это действительно полная истина, я не ручаюсь.

— (Конечно, мой милый; полная истина — то, что кровь обращается в жилах, что ее движение зависит оттого, что бьется сердце, — а отчего бьется сердце, отчего нервы заставляют беспрестанно сжиматься и разжиматься его мускулы, ведь об этом существуют только мнения, а полной истины еще неизвестно)¹. — Но все-таки ты говоришь «нет»?

— Нет, я тебе не скажу, что я думаю, это обидно для нас, мужчин.

— Знаю, ты уж говорил это, — что организация женщины совершеннее и что, очень вероятно, женщина оттеснит мужчину на второй план в высших отраслях жизни, когда исчезнет гоподство грубого насилия, которое теперь не дает женщине ни таких средств развития, ни таких мотивов для стремления к развитию, какие имеет мужчина: я сама так думаю, мой милый, — но это время еще так далеко от нас, что мужчинам еще рано обижаться. Но я [поставлю] вопрос и более частный: как ты думаешь, должны ли чувства иметь больше власти над женщиною, чем над мужчиною?

— Ведь и об этом нельзя сказать ничего положительно несомненного при нынешнем состоянии знания. Но мне кажется — скорее наоборот. Размер силы женского организма много меньше, но крепость женского организма больше. Это доказывается уже одним тем, что продолжительность средней жизни у женщин больше, чем у мужчин, несмотря даже на то, что [их] нынешний образ жизни гораздо менее здоров. Насколько я могу судить, женский организм энергичнее выдерживает впечатления, — о метеорологических влияниях погоды, климата, не совсем удовлетворительной пищи, это, кажется, можно сказать положительно, — ведь это, вероятно, прямо доказывается тем, что средняя продолжительность женской жизни больше; но из этого, по моему мнению, выходит слишком сильная вероятность того, что он должен легче выносить и нервные впечатления, потрясающие внутреннюю жизнь.

— Да, мне кажется, что это должно быть так. Отчего это не так?

— Обычай, дурная привычка, то, почему разбитая армия бежит, хотя если она вздумала бы остановиться, то ведь она остановила бы неприятеля.

— То, почему мы, женщины, способны вязать чулки и не способны читать по-гречески, хотя выучиться по-гречески вовсе не труднее, чем выучиться играть на фортепьяно, и хотя греческая грамматика не должна быть скучнее штопанья старых чулок, заниматься которым доставало же терпенья у старухи-мещанки, нашей хозяйки на Васильевском острове — помнишь? ведь мы на той квартире были дружны. Нам толкуют: женщины слабы, женщины слабы, — вот и

¹ Взятое в скобки в оригинале зачеркнуто. — Рсд

втолковали нам, чтоб мы считали себя слабыми, — а это очень много значит, как думаешь о себе, чего ждешь от себя.

— Конечно, все равно как в средние века пехота воображала о себе, что она не может устоять против конницы — и, действительно, никогда не могла устоять, и целые армии пехоты разгонялись, как овцы, какими-нибудь несколькими сотнями всадников, до той поры, когда пришли английские пехотинцы из гордых мелких самостоятельных земледельцев, у которых была собственная земля, которые никому не привыкли уступать место без боя; как только пришли эти люди, у которых не было мысли, что они должны бежать перед конным рыцарством, — рыцарская конница и была разбиваема ими каждый раз, как встречалась с ними: бежала от них и при Креси, и при Пуатье, и при Азенкуре; и та же самая история повторилась, когда швейцарские мужики вздумали, что нет им никакого основания считать себя слабее рыцарей: тысячи рыцарей стали терпеть поражения от сотен их каждый раз, как встречались с ними. Тогда все и увидели: а ведь пехота-то крепче конницы в сражениях, — и на самом деле она крепче, а ведь прошли ж целые века, когда [конница] показывалась крепче только потому, что пехота считала себя слабою.

— Да, Саша, это так. Мы слабы оттого, что считаем себя слабыми.

[VIII]

Вера Павловна думает и думает; теперь она уж знает, за что она недовольна собою в истории своей любви к Саше; она думает о том, отчего происходит в ней то, чем она недовольна — оттого ли только, о чем она уже и думала, или есть еще другая причина. Но теперь она, как и он, ведь любит думать вместе, — о чем думает он, думает вместе с нею, о чем думает она, думает вместе с ним, — и вот через неделю, через полторы новый разговор.

— Мой милый, я нашла себе ответ на то, о чем стану тебя спрашивать. Но все-таки ты отвечай мне. Может быть, ты увидишь новую сторону в деле, если я не заставляю тебя своим рассказом смотреть только на ту же, которая видна мне. Скажи, мой милый, я тогда много переменилась в две недели, как ты не видел меня? Как ты нашел меня, когда увидел меня у себя? Ты сказал, что мои руки бледны. В самом деле перемена была очень заметна?

— Да, не видя тебя тогда две недели, я удивился тому, как ты похудела.

— А ведь [и ты] любил меня очень сильно, отчего же борьба не отразилась на тебе такими явными признаками? Ведь никто не видел, чтобы ты худел, бледнел в это время и в те месяцы, как стал расходиться со мною, — отчего же ты переносил ее так легко?

— Как тебе сказать, — я не думал об этом, но ведь на это готов ответ в моем образе жизни, в том, как проходило мое время:

мне было некогда слишком много заниматься этою борьбою. Все время, когда я обращал на нее внимание, я страдал очень сильно. Но ведь на это у меня оставалось лишь менее половины времени, — в остальное время я не мог думать об этом, — ежедневная необходимость заставляла меня отдавать время мое делам. Надобно было заниматься больными, готовиться к лекциям — в это время я поневоле отдыхал от своих мыслей.

— Этим достаточно объясняется то, что силы твои не ослабевали. Так [ты] чувствовал это?

— Да; когда у меня изредка случались дни, в которые оставалось у меня много свободных часов, или когда мне было очень тяжело выносить эти дни, я чувствовал, что силы изменяют мне. Мне казалось, если б на неделю оставили меня на волю моих мыслей, я сошел бы с ума.

— Так, Саша, и мне кажется, что в этом весь секрет. Нужно такое дело, от которого нельзя отвязаться, которое нельзя отложить — тогда только можно будет выносить такие мысли.

— Но ведь у тебя есть дела?

— Ах, мой милый, какие ж это неотступные дела? Я занимаюсь ими тогда, когда хочу, сколько хочу; когда мне вздумается, я могу или очень сократить, или вовсе отложить их; чтоб заниматься ими в такое время, когда мысли расстроены, нужно новое усилие воли; только оно заставляет заниматься ими, нет опоры в необходимости. Например, я занимаюсь хозяйством, но я трачу на это лишь по своей охоте девять десятых того времени, которое употребляю на него; при порядочной прислуге разве не пойдет почти все так же, хотя б [я] гораздо меньше занималась сама? И кому это нужно, чтоб с большею тратою времени немного лучше пошло, чем шло с меньшей тратою? Тоже на это только моя охота. Когда мысли спокойны, можно заниматься этими вещами, когда мысли расстроены, бросаешь их, потому что без них можно обойтись. Ведь для важного дела бросаешь менее важное. Как только чувства разыгрываются сильно, приобретают важность, они и вытесняют эти мысли. У меня есть уроки — это уж важнее, их я не могла бросить, — но это все не то: я внимательна к ним только, когда хочу; если я и мало думаю во время урока, все-таки выходит лишь очень немногим хуже, потому что преподавание легко, — я могу вести его, почти не думая о нем, и оно идет почти все так же. И потом, разве я в самом деле живу уроками? Разве от них зависит мое положение в обществе, они доставляют главные средства к тому образу жизни, который я веду? Нет, эти средства все-таки раньше доставляла мне работа Дмитрия, теперь твоя. Опять выходит, что это только моя охота, а не необходимость. Дело не имеет для меня, говоря серьезно, такой важности, чтоб из-за него я могла забывать что-нибудь очень важное для меня. Я пробовала выгнать из своей головы мучившие меня мысли, занявшись мастерской гораздо больше прежнего, но и тут опять я чувствовала, что делаю это только по усилию одной своей воли, что мое присутствие в ма-

стерской нужно на час-полтора, а если я остаюсь в ней дольше, я уж беру на себя искусственное занятие, что оно, конечно, полезно, но вовсе не необходимо для дела, — и потом, и это дело — разве оно может служить слишком важною опорой? Даже то время, которого оно необходимо требует от меня, — разве это время отдается мною ему по необходимости для меня? это дело — не мое дело, а чужое; я занимаюсь им не для себя, а для других, — пожалуй, и для моих убеждений, — но разве человеку до других, когда ему самому очень тяжело? Разве его занимают его убеждения, когда его мучат чувства? Нет, нужно лично необходимое дело, дело, от которого зависела бы собственная жизнь — такое дело, которое лично для меня, для моего образа жизни, для моих средств к жизни, вообще для моего положения в жизни, для всей моей судьбы было бы важнее всех моих увлечений страстью, — только такое дело может служить опорой в борьбе со страстью, только оно не вытесняется из головы мыслями о страсти, а само заглушает их, дает отдых. Так я думаю, мой милый. Я должна найти себе такое дело.

— Почему ж ты видишь в этом надобность, — сказал шутя Кирсанов, — разве ты собираешься влюбиться в кого?

Вера Павловна расхохоталась.

— Нет, теперь я чувствую, что этого уж не может быть, — мы с тобою сошлись настолько хорошо, что во мне нет потребности чего-нибудь иного: ведь и тебя я полюбила тогда, когда развилась во мне новая потребность, которой не было раньше, — то, что я чувствовала к Дмитрию, не было любовью женщины. И знаешь ли, что мне кажется, мой милый: он не любил меня в том смысле, какой имеет это слово для нас с тобой. Его чувство ко мне было соединением очень сильной привязанности ко мне, как другу, с минутными порывами страсти ко мне, как женщине; дружбу он имел ко мне, лично ко мне; а эти порывы искали только женщины; ко мне, лично ко мне они имели мало отношения. И потом, разве он много занимался мыслями обо мне? Нет, они не были занимательны для него. Да, с его стороны, как с моей, в нашей жизни с ним не было настоящей любви.

— Ты несправедлива к нему, Верочка.

— Нет, мой друг, это так. В разговоре между мною и тобою напрасно хвалить его — мы оба знаем, как высоко мы думаем о нем, и что бы мы там ни говорили, а мы очень хорошо помним, что всем своим счастьем обязаны его благородству, и что бы там ни говорил он, что оно было ему легко, мы знаем, что нет; ведь и ты, пожалуй, говоришь, что тебе было легко бороться с твоей страстью, — все это хорошо, но ведь уж не в буквальном же смысле справедливы такие резкие уверения; и тебе было очень тяжело бороться с твоим чувством, и ему было очень тяжело отказываться от своих отношений ко мне. За [чем] мне говорить перед тобою, как я ценю его чувство ко мне? Если б я не умела ценить его, я не умела б ценить и той борьбы, которую ты вел с собою,

чтоб не нарушить моего спокойствия, — но, мой друг, он не имел ко мне того чувства, которое есть любовь для меня и для тебя. У него другая натура. То, что он чувствовал ко мне, для его натуры, точно, любовь; но для меня и для тебя это еще не любовь. Но ты спрашиваешь меня, Саша, зачем мне нужно дело, от которого серьезно зависела бы моя жизнь, которым я так же дорожила бы, как ты своим, которое было бы так же неотступно, так же требовало бы моего внимания, как твое от тебя? Это, мой милый, потому, что я очень горда. Меня давно тяготило и стыдило воспоминание, что борьба с чувством отразилась на мне так заметно, была так невыносима для меня, — ты знаешь, я не о том говорю, что она была тяжела, — ведь и твоя для тебя была не легка, ведь [это] зависит от силы чувства, и теперь мне не жаль, что она была тяжела; это значило бы жалеть, что чувство было сильно, — нет, но зачем против этой силы не было у меня так же твердой опоры, как у тебя? я давно думала об этом, — отчего это недовольство собою и в чем искать ограждения для своей гордости, — и я нашла это, и надобно только выбрать себе дело. Я подумаю еще несколько времени о выборе, — он уже почти и сделан, — однако, надобно еще обдумать, — и, если я решусь на то, на что думаю решиться, мне нужно будет твое содействие, Саша.

[IX]

Да, теперь было уже не то, что прежде: прежде Вера Павловна была только свободна, Лопухов ни в чем не стеснял ее, да и она его, и только. Нет, было и больше. Она была вполне уверена, что в каком бы случае ни понадобилось ей опереться на его руку, рука его в ее распоряжении. Но — только в важных случаях, в критические минуты. В важных случаях эта рука была так же надежна, как рука Кирсанова, но вообще она была от нее далеко. [Когда] Вера Павловна устраивала мастерскую, если б ей понадобилась его помощь в чем-нибудь, он с радостью сделал бы все, что нужно, — но почему ж он почти ничего не делал? Он только не мешал, он одобрял и радовался, но она не требовала его помощи, и он оставлял ее одну. У него была своя жизнь, у нее — своя; в чем было нужно, они могли вполне рассчитывать друг на друга; но их мысли не сливались постоянно. Теперь было не то. Она видела, Кирсанов не ждал надобности, чтоб делать для нее все, что нужно; он был заинтересован во всей обыденной ее жизни, как и она во всей его жизни. Это совершенно не то отношение, и потому она видела теперь у себя новые средства к деятельности, которых не было у нее раньше. Эта рука подавалась ей, и теперь она могла думать идти вперед, на дорогу, о которой раньше и не думалось ей. Вот одно из размышлений Веры Павловны:

[X]

«Нам формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам на деле закрыты очень многие даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены от нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни нам оставлено тесниться только в одной сфере семейной жизни. Быть членом семьи, и только — кроме этого занятия открыто нам почти только одно, — быть гувернантками, да еще разве давать какие-нибудь уроки, которых не захотят отнять у нас мужчины. Нам тесно на этой единственной дороге, мы мешаем друг другу, потому что слишком толпимся на ней; она почти не может давать нам самостоятельности, потому что нас, предлагающих свои услуги, так много, ни одна из нас никому не нужна, — все потому, что нас так много. Кто станет дорожить гувернанткою? Только скажите слово, что вы хотите иметь гувернантку, — сбегутся десятки и сотни нас перебивать друг у друга это место. Нет, пока женщины не станут стараться о том, чтоб разойтись на много дорог, они не будут иметь самостоятельности. Конечно, пробиваться на новую дорогу тяжело, но мое положение в этом отношении особенно выгодно. Мне стыдно было бы не воспользоваться им. Мы не приготовлены к серьезным занятиям; я не знаю, до какой степени нужно иметь руководителя в том, чтоб готовиться к ним; но до какой бы степени ни понадобилась мне его ежедневная помощь, он тут, со мною, это не будет обременением ему, это будет ему так же приятно, как мне.

Нам закрыты обычаем пути независимой деятельности, которые не закрыты законами. Но из этих, закрытых только обычаем, я могу вступить на какой хочу, если только решусь выдержать первое противодействие обычая. Один из них слишком много ближе ко мне. Мой муж медик, — он отдает мне все время, которое у него свободно; с таким мужем мне легко попытаться, не могу ли я стать медиком. Было бы очень важно, если б явились, наконец, женщины-медики. Это было бы очень полезно для всех женщин, — женщине с женщиной все-таки легче говорить, чем с мужчиной. Сколько предотвращалось бы тогда несчастий, которые происходят только оттого, что нет для женщин медиков-женщин».

[XI]

Вера Павловна кончила разговор с мужем тем, что она возобновит его, когда совершенно обдумает дело. Но это было только остатком прежней привычки думать обо всем одной, делать все по возможности одной, — эта привычка вовсе уж не шла к ее отношениям с ее Сашей, и вместо того чтоб молчать еще несколько дней, она на следующее утро сказала ему, что поедет с ним в госпиталь, если это можно, потому что хочет испытать свои нервы — может ли она видеть кровь, будет ли она в состоянии заниматься анатомиею. При его помощи в госпитале это, конечно, не представляло никакого затруднения.

Не совестясь нисколько, я уж очень много компрометировал Веру Павловну относительно поэтичности: я нисколько не скрывал того, что она каждый день обедала, и вообще с аппетитом, а кроме того, по два раза в день пила чай. Но теперь я дошел до такого обстоятельства, что на меня самого нападает робость, и думаю я: не лучше ли было бы скрыть эту вещь? Что подумают о женщине, которая в состоянии заниматься медициною? Как должны быть грубы нервы, как черства душа у нее! Но сообразив, что ведь я и не показываю своих действующих лиц идеалами совершенства, я успокаиваюсь; пусть судят, как хотят, о грубости натуры Веры Павловны: мне какое дело? груба, так груба. Поэтому я хладнокровно говорю, что она нашла очень большую разницу между праздным смотрением на вещи и деятельной работою над ними для пользы себе и другим. Я помню, как я испугался, двенадцатилетний ребенок, когда меня в первый раз разбудил слишком сильный шум пожарной тревоги: все небо пламенело, раскаленное, по всему городу — большому провинциальному городу — валит густой дым, летят головни; по всему городу страшный гвалт, беготня, крик, — я дрожал как в лихорадке; по счастью, я успел убежать на пожар, пользуясь тем, что все домашние были в суматохе. Пожар был вдоль набережной (то есть просто берега, потому что набережная какая же?); берег весь был установлен дровами и лубочным товаром; такие же мальчишки, как я, разбирали и оттаскивали все это подальше от горевших домов: принялся и я, — куда девался весь страх? работал очень усердно, пока сказали нам: «довольно, опасность прошла». С той поры я уж и знал, что если страшно от сильного пожара, то надобно бежать и работать, — и вовсе не будет страшно. Кто работает, тому некогда ни пугаться, ни чувствовать отвращение или брезгливость.

Итак, Вера Павловна занялась медициною, и в этом новом у нас деле была одною из первых женщин, которых я знал. Она занялась медициною и после этого, действительно, стала чувствовать себя другим человеком — у нее была мысль: «через несколько лет я буду уже действительно стоять в жизни на своих ногах», — это великая мысль. Это великое счастье. Бедные женщины, как немногие из вас имеют это счастье! Да, полного счастья нет [без] полной самостоятельности. Есть десятки людей, которых я настолько уважаю, что не моргну глазом, если голова моя может слететь с плеч от одного слова кого-нибудь из них, и если всех их будут пытаться как угодно, чтоб они сказали это слово; есть из них несколько человек, которых я так уважаю, что, по правде сказать, не пожалею своей головы для спасения головы кого-нибудь из них, хотя мне голова моя очень дорога. Но если б я был хоть в малейшей зависимости от кого-нибудь из них, мне опротивела бы жизнь.

[XII]

И вот проходит полгода, и пройдет еще полгода, и еще год, и два, и много лет все так же будут идти дни Веры Павловны, как идут через полгода после свадьбы с Кирсановым, — то есть они будут идти так же, если не случится ничего особенного — кто знает, что принесет будущее? Но до той поры, как я пишу это, ничего такого не случилось, и они идут так же. Как же они шли тогда, через полгода после [второго] замужества?

После той страшно компрометирующей вещи, что Вера Павловна вздумала и нашла себя способной заниматься медициной, мне уже легко говорить обо всем остальном — все остальное уж не может так ужасно повредить Вере Павловне во мнении публики. И я опять должен сказать, что попрежнему три грани ее дня составляют: чай утром, обед и вечерний чай; да, она сохранила непозитическое свойство каждый день хотеть два раз пить чай и обедать — и все другие свойства, непозитического и неизящного, и нехорошего тона свойства сохранила она.

И многое другое осталось попрежнему в это новое, спокойное время ее жизни, как было в прежнее спокойное время. Осталось и разделение комнат на нейтральные и не-нейтральные, осталось и правило не входить в не-нейтральные комнаты друг к другу без разрешения, осталось и правило не повторять вопроса, если на первый вопрос промолчали или отвечали: «не спрашивай»; и осталось правило быть довольным таким ответом, не думать о том, почему не отвечают; осталось это правило и это довольство, потому что осталась уверенность, что если б стоило отвечать, то и не понадобилось бы спрашивать, — все было бы давно сказано без всякого вопроса, и в том, о чем молчат, наверное, нет ничего любопытного. Да, все это осталось, как было в прежнее спокойное время, только в нынешнее, новое спокойное время все это несколько изменилось — или, пожалуй, и вовсе не изменилось, но выходит все-таки не совсем так.

Например, нейтральные и не-нейтральные комнаты строго различаются, — но, во-первых, у него и у нее очень часто бывает схота испрашивать себе допуск в чужую комнату; во-вторых, гораздо меньшая¹ часть времени проводится в нейтральных комнатах. Права уединения уважаются с прежнею строгостью; но прежде уединение было правилом; время, проводимое вместе, было только перерывом этого правила. Теперь — наоборот. Прежние вещи, страшно компрометирующие поэтичность моего рассказа, в котором занимают такое важное место чай и обед, продолжают быть основанием для времени, проводимого вместе; но время это вообще так раздвигается, что вещи, служащие ему основанием, занимают уж только небольшую часть его; после утреннего чаю и перед обедом почти каждый день является и другое основание проводить много

¹ В оригинале описка: большая. — Ред.

времени вместе: Кирсанов помогает жене готовиться к деятельности медика. Он ее репетитор по занятиям медициною, он облегчает ей изучение некоторых предметов гимназического курса, которые также нужны для экзамена: без него ей было бы скучно заниматься латинским языком, математикою, — конечно, заниматься ими только слегка, очень слегка, ведь для экзамена требуется очень мало. Я не ручаюсь, что Вера Павловна когда-нибудь достигнет или желает достигнуть, например, в латинском языке такого совершенства, чтоб перевести хоть две строки из Корнелия Непота, но фразы, попадающиеся в медицинских книгах, она скоро будет уметь, потому что это надобное для нее знание, но очень нетрудное знание. Нет, однако же, довольно об этом: я чувствую, что слишком компрометирую Веру Павловну, — проницательный читатель, пожалуй, уж отгадал, что она...

[XIII]

— Синий чулок, даже крайне синий чулок. Терпеть не могу, глуп и скучен синий чулок! — ревет проницательный читатель.

Как мы с проницательным читателем привязались друг к другу! Он меня раз обругал непристойными словами, я его два раза выгнал в шею, а все-таки мы не можем не обмениваться с ним нашими задушевными мыслями: тайное влечение сердец, что вы прикажете делать?

— О, проницательный читатель, синий чулок подлинно глуп и скучен, и нет возможности терпеть его, ты отгадал, — да не отгадал, кто синий чулок. Вот ты сейчас это увидишь, как в зеркале. Синий чулок с бессмысленною аффектациею самодовольно толкует о литературных или ученых вещах, в которых ни аза в глаза не смыслит; толкует не потому, что в самом деле заинтересован ими, а для того, чтоб щегольнуть своим умом (которого у него нет, не случилось получить от природы) и образованностью (которой в нем столько же, как в попугае), — видишь, чья это грубая образина или прилизанная фигура в зеркале? Твоя, приятель. Да, какую длинную бороду ты ни отпускай или как тщательно ни выбривай ее, и каким густым басом ни говори, все-таки ты несомненно и неоспоримо подлиннейший синий чулок, поэтому-то я гонял тебя два раза в шею только потому, что терпеть не могу синих чулков, которых между нашим братом — мужчинами по крайней мере — в десять раз больше, чем между женщинами. Кто с дельною целью занимается каким-нибудь делом, какое бы это дело ни было и в каком бы платье, мужском или женском, ни ходил этот человек, — это человек — просто человек, занимающийся этим делом, и больше ничего.

[XIV]

Вера Павловна много времени работает по своему приговору в медики, муж во всем помогает, но это не значит, чтоб содействие ей отнимало у него много времени. Если мы когда-нибудь жалуемся, что чье-нибудь дело отнимает у нас много времени, это

значит одно из двух: или мы занимаемся этим делом без охоты, по принуждению, или занимаемся им бестолково (в таком случае мы так же бестолково занимаемся и своими делами — уж не оттого, чье дело, наше или чужое, а от устройства нашей головы). На самом деле чужое дело служит отдыхом от своего, а всякому человеку для хорошего занятия делом в часы работы нужно так много отдыха, что рассудительная склонность передавать другим, сколько б времени ни брала у нас, никогда не будет в убыток нашей работе.

Разница нынешнего от прежнего, пожалуй, вся только в том, что с Лопуховым они проводили время врозь, насколько могут проводить врозь время те, кто живет и прекрасно живет вместе; а со вторым мужем проводят время вместе, сколько можно, не стесняя друг друга, не мешая друг другу, проводить время вместе людям, из которых у каждого много, очень много работы. Но от этого все содержание внутренней жизни Веры Павловны, конечно, уж не то.

Просыпаясь, она, по обыкновению, долго нежится в своей постельке и думает, и не думает, и дремлет, и не дремлет, — но, кроме [прежних] предметов дум, есть два новых: приятная мысль о занятии, которое даст ей полную самостоятельность в жизни, и о своем милом, — это, впрочем, такая мысль, которую и нельзя назвать особою мыслью, она прибавляется ко всему, потому что всдь во всей ее жизни участвует он, — о чем ни думаешь, все приходится думать и о нем. Сказать по правде, это прекращается тем, что он является исполнять должность горничной, и от прикосновения руки гостьи, может быть, не могут теперь прибавляться в дневнике слова: «а ведь это даже обидно», но это как бы там ни было, а во всяком случае с этою горничною много смеха.

Милый имеет обязанностью хозяйничать поутру за чаем, и до десяти часов или до одиннадцати часов идет занятие с ним, наполовину прерываемое разговором о всяких различных, уже не ученых делах; потом на несколько часов расстаются, у каждого свои дела; перед обедом очень часто опять занятие с милым, а после обеда уж постоянно долгий разговор о всем, что случилось и вздумалось нового, и вспомнилось старого, — да, это уж разговор, в котором и муж болтает едва ли меньше Веры Павловны, а не то, что, бывало, все почти только она рассказывает, а Лопухов слушает, и поддакивает, и одобряет. Где этот разговор? Конечно, никогда не в нейтральных комнатах — говорят в комнате Веры Павловны, потому что ведь она хочет нежиться после обеда, — поэтому в ее комнате стоит диван и для мужа, чтобы и он мог отдыхать, болтая. И опять тут слишком часто слышен смех, — а иногда и ничего не слышно, потому что — что таить грех? Вера Павловна часто болтает, болтает, да и задремлет, — я уж говорил, что это дурной тон, но теперь он имеет больше извинений — она теперь слишком часто ложится поздно, а горничная является прислуживать слишком рано.

Потом они спать расходятся заниматься каждый своею работою

часа на два, на три до вечернего [чаю], — за ним опять долго сидят вместе, — его пьют обыкновенно не в нейтральной комнате, где происходит утренний чай и обед, а в кабинете Александра Матвеевича; часов в десять, иногда в одиннадцать Вера Павловна уходит в свою комнату работать и работает довольно долго, до часу, иногда до двух.

Но теперь едва ли не меньше чем на половину вечеров проводят они таким образом время, наверное меньше половины обедов. За обедом три раза в неделю у них обедает по два, иногда и по три из молодежи, составляющей кружок, центром которого служит теперь уж один Кирсанов. Как они там устранивают между собою очередь, бог их знает, но, должно быть, что у них заведено что-то вроде хотя не очень полной очереди, — их человек 12—15 и без какой-нибудь очереди было бы невозможно. Человека два-три особенно близких приятелей Веры Павловны из их числа бывают иногда за обедом и по другим дням. Изредка бывает и кто-нибудь из приятелей других лет. По вечерам вся компания бывает раз в неделю, для этого назначен день; тут же бывает и человек восемь постарше, которых молодежь считает своими людьми, так что набирается компания человек в двадцать. Характер этих собраний тот же, как был раньше, — но нет, однако роль Веры Павловны в них теперь гораздо значительнее, фортепьяно и пение с криком и шалостями уже совершенно уравновешивают ожесточенные изобличения взаимных неконсеквентностей и глубокие исследования всяких неудобопостижимых вопросов. Разница в том, что раньше, бывало, составляют компанию Веры Павловны только изменники ученому разговору, а теперь раза два-три в вечер ученый разговор сам изменяет себе, и тогда подымается страшный гвалт: стук и беготня бывают такие, что была бы беда для квартиры этажом ниже, если б эту квартиру не занимала булочная, для которой эта беда незаметна.

Весь небольшой кружок знакомых, близко знакомых семейств, который теперь стал вдвое больше, начал проводить более разнообразную жизнь с более разнообразными развлечениями. Кроме прежних вечеров с танцами, которые теперь многолюднее, очень часто устраиваются различные пикники в разнообразнейших видах, даже до того, что похожи бывают на маленькие путешествия, — это зависит главным образом от состояния госпитальных дел Александра Матвеевича; редко, но все-таки в год несколько раз бывает, что не бывает слишком трудных больных, при которых не могли бы заменить его помощники; и как только это бывает, семейств 5—6 из числа 8—9 пропадают из города дня на два-три, иногда и больше, смотря все-таки по положению госпиталя.

Стало быть, кажется, одна только разница: то, что в прежнее время, перед смутным временем жизни Веры Павловны, устроила она при содействии Кирсанова, теперь развилось, — так, в этом дело. Но для нее не это главная перемена: главная перемена в том, что прежде было веселое развлечение, и только, а теперь, когда че-

ловек, который любит увлекаться тем же весельем, когда он принимает в нем участие не из-за того только, чтоб не слишком отставать от вас, а потому, что ему самому так же весело, как вам, это уже не просто веселое развлечение, это уж совсем не то: все время иначе бьется сердце, и звонче смех, и одушевление так сильно, что распространяется на всех, кто тут вместе с вами: для всех веселье становится при вас вдвое живее и радостнее, чем было бы без вас.

[XV]

— Саша, вот мы живем с тобою три года, — и все еще как будто любовники, которые видятся изредка, тайком, — а мы с тобою, кажется, имеем немало случаев видеться, — откуда это взяло, Саша, что любовь ослабевает, когда нам ничто не мешает вполне принадлежать друг другу? Эти люди не знали любви, Саша, — мои ощущения становятся сильнее с каждым годом.

— А мой?

— О, за тебя я боюсь одного: еще через три года ты начнешь забывать свою медицину, а еще через три — разучишься читать, и из всех способностей к умственной жизни у тебя останется только одна — зрение, да и то ты разучишься видеть что-нибудь, кроме меня.

— В самом деле, Верочка, это усиливается с каждым годом. Знаешь, эти сказки про людей, которые едят опиум, — это все преувеличено, опиум вовсе не так разрушителен, но, в самом деле, от него почти нельзя отстать, напротив, чем дальше, тем больше усиливается страсть к нему. Да, кто думает, что любовь ослабевает от полной возможности отдаваться ей всегда, тот не знает, что такое настоящая любовь.

Это говорится через три года, и то же будет говориться через пять, и через десять лет, и дальше, много дальше.

Нет, это еще не любовь, которая знает пресыщение, — это какая-нибудь мелкая страстишка, желание похвастаться — хоть перед собою — победою, желание поинтриговать, что-нибудь такое мелкое; нет, это [не] любовь; любовь не знает пресыщения, она знает только насыщение так же, как страсть к вину, как страсть к опиуму, с которой сравнивает ее Кирсанов, как курение табаку; насыщение на несколько часов, на время отдыха от насыщения, — и после каждого насыщения становится все сильнее, сильнее. Кто не знает этого, тот не знает настоящей любви.

— Саша, как много поддерживает меня твоя любовь, через нее я делаюсь самостоятельной, я выхожу из всякой зависимости от тебя. А для тебя что принесла моя любовь?

— Для меня? Может быть, не меньше, чем моя для тебя. Это постоянное сильное, здоровое возбуждение нервов, разве оно не развивает всякую энергию? Посмотри ты на меня, разве я такой человек, как был?

— Да, Саша, я от всех слышу, что твои глаза стали очень ясны, что твой взгляд очень силен — я прежде этого не слышала.

— Верочка, чем хвалиться и чем не хвалиться мне перед тобой? — мы как один человек. То, что замечают в моих глазах, в выражении моего лица, должно быть так. Моя мысль стала много сильнее: когда я делаю выводы из наблюдений, обзор фактов, я теперь в час кончаю то, над чем раньше должен был думать несколько часов. Если б, Верочка, во мне был какой зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением; если б без него я мог бы создать что-нибудь новое в науке, я с этим чувством приобрел бы силу пересоздать науку; если б я родился со способностью стать хоть во втором ряду великих ученых, я с этим чувством стал [бы] на первое место между всеми; но я родился быть только чернорабочим в науке, добросовестным тружеником, который разрабатывает мелкие частные вопросы, — таким я и был без тебя; теперь, ты знаешь, я уж не то; от меня начинают ждать большего; за границей думают, что я переработаю целую большую отрасль науки, — все учение об отправлениях нервной системы; и я чувствую теперь, что я исполню это ожидание; в 24 года у человека шире и смелее новизна взглядов; тогда во мне не было этого в таком размере, как теперь, и я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я уж давно бы перестал расти; я уж не рос в два последних года перед тем, как мы стали жить вместе, — ты возвратила мне первую свежесть молодости, силу идти гораздо дальше того, на чем бы я остановился без тебя.

— Милая моя!

— Милый мой!

— Как ты хороша, Верочка!

— Как я счастлива, Саша!

[XVI]

ЧЕТВЕРТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

И снится Вере Павловне сон...

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

Упоительен голос певичцы, и справедливы слова ее дивной песни: золотом отливают, сияет слегка волнующаяся нива, покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеют и тихо шепчут высокие деревья аллей сада, подымающиеся за кустарником, и во влажной тени густых деревьев сада пестреют новые цветы; аромат несется с поля, от кустов, из наполненных цветами аллей и рош сада; весело порхают по ветвям птицы, и тысяча голосов несется от ветвей вместе с ароматом, и за лесом опять виднеются такие сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники, наполненные цветами

зеленеющие леса, до дальних, дальних гор, облитых сиянием. Над вершинами сияющие, лучезарные, светлые, серебристые, золотистые, пурпуровые прозрачные облака своими радужными переливами слегка оттеняют золотом по горизонту яркую лазурь; и за теми высокими [горами] то же — всюду то же, вся земля — нива, цветник, сад, озаренные солнцем; радуется и радуется природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, радость и негу в грудь, льется песня радости и неги, любви и добра из груди:

O Erd! O Sonnel
O Glück! O Lust!
O Lieb! O Liebe,
So goldenschön.
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höh'n!

— О земля, о солнце, о счастье, о нега — о любовь, золотая, прекрасная, как светлые утренние облака над вершинами гор!

— Теперь ты знаешь меня? Да, ты знаешь, что я хороша, но ни ты, никто из вас еще не знает [меня] во всей моей красоте, — смотри, что было, что теперь, что будет.

Роскошный пир, пенится в стаканах вино, сияют глаза пирующих, шум и шопот под шум, смех и украдкой неслышный поцелуй.

«Певца, певицу, — без песни не полно веселье!»

— Пойдем к ним, они зовут меня. Я буду вам петь о себе после, — говорит она гостям, — раньше послушайте про старину.

И встает поэт, озарена вдохновением его мысль, ему говорит природа свои тайны, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий сливается в его песне в ряд картин, быстро сменяющих одна другую.

Звучит вдохновенная песнь, и возникает картина.

Шатры номадов. Вокруг шатров пасутся овцы, лошади, верблюды. Вдали лес олив и смоковниц; еще дальше, дальше, на краю горизонта хребет высоких гор; склоны гор покрыты кедрами; но стройнее кедров эти пастухи, стройнее пальм их жены, и беззаботна их жизнь в ленивой неге; у них одно дело — любовь, все дни проходят, день за день, в песнях любви.

— Нет, — говорит певица, — это не обо мне. Меня тогда не было. Эта женщина была рабыня. Где нет равенства, там нет меня. Ту женщину звали Астарта, — посмотри на нее.

Роскошная женщина; на руках и ногах ее тяжелые золотые браслеты; тяжелое ожерелье из перлов и кораллов, оправленных золотом, на шее. Сладострастие и раболепство в ее лице, сладострастие и бессмыслие в ее глазах. Ее волосы увлажнены миррою. «Повинуйся твоему господину, усладь лень его в промежутки набегов, — ты должна любить его, потому что он купил тебя, и если ты не будешь любить его, он убьет тебя», говорит она женщине, лежащей перед нею в прахе.

— Ты видишь, что это не я, — говорит певица.

Опять звучат вдохновенные слова поэта, возникает новая картина.

Город. Вдали на севере и на западе горы, вдали на западе, ближе на юге и на востоке море. Дивный город. Не высоки в нем дома и не роскошны снаружи, но сколько в нем чудных храмов,— особенно на холме, на который ведет лестница с воротами удивительного величия и красоты; весь этот холм занят храмами и общественными зданиями, из которых каждого одного было бы довольно ныне, чтоб увековечить красоту и славу великолепнейшей из столиц; и тысячи статуй в этих храмах и повсюду в городе,— статуй, одной из которых было бы довольно ныне, чтоб сделать музей, в котором стояла бы [она], первым музеем целого мира; и как прекрасен народ, толпящийся в храмах, на площадях, на улицах; каждый из этих юношей, каждая из этих молодых женщин и девушек могли бы служить моделью для статуи. Деятельный, живой, веселый народ. И эти дома, не роскошные снаружи, какое несравненное изящество внутри них! На каждую вещь из мебели и посуды можно залюбоваться. И все они, эти люди, живут для любви, красота для них выше всего.

Вот изгнанник, ненавистный народу, возвращается в этот город, чтоб повелевать ими—все знают, что ж ни одна рука не поднимается против него? На колеснице с ним едет, показывая его народу, прося народ принять его, говоря народу, что покровительствует ему, женщина чудной красоты даже среди этих красавиц,— и, склоняясь перед красотой ее, народ отдает власть над собою Писистрату, любимцу ее.

Вот суд; судьи—угрюмые старики; если кто в целом городе может холодно видеть красоту, то, конечно, они. Ареопаг славится беспощадною строгостью, неумолимым нелицеприятием,—боги и богини приходят отдавать свои дела на решение его,—и вот должна явиться перед ним женщина, обвиняемая в страшных преступлениях. Она должна умереть, она губительница Афин,—каждый из них уже решил это в душе,—и вот является перед ними эта Аспазия, эта обвиняемая, и они повергаются перед нею на землю и говорят: «ты не можешь быть судима, ты слишком прекрасна!» Это ли не царство красоты, это ли не царство любви?

—Нет,—говорит певица,—меня тогда не было. Они поклонялись женщине, но не признавали ее равною себе. Они поклонялись ей, но только как источнику наслаждений. Человеческого достоинства они еще не признавали в ней. Где нет уважения к женщине, как человеку, равному с мужчиною, там нет меня. Ту царицу звали Афродита. Посмотри на нее.

На этой царице нет никаких украшений; она так прекрасна, что всякое украшение только скрывало бы часть ее красоты; она так прекрасна, что поклонники ее не хотели, чтобы она имела одежду,—ее дивные формы не должны быть скрыты от их восхищенных глаз. Что ж говорит она красавицам, которые почти так же прекрасны, как она, бросающим финиам на алтарь ее?

«Будьте источником наслаждения для мужчины. Он господин ваш».

— И в ее глазах только нега физического наслаждения, ее осанка горда, в ее лице гордость, но гордость только своею физическою красотою. И в самом деле, как живут эти женщины? Мужчины запирают их в геникей, чтоб никто, кроме господина, не мог наслаждаться красотою, ему принадлежащею, они тут не были свободны. Были у них другие женщины, которые называли себя свободными, но те женщины продавали наслаждение своею красотою, — тут не было свободы. Где нет свободы, там нет счастья, там нет меня.

Опять звучат слова поэта. Возникает новая картина.

Арена перед замком, кругом амфитеатр для блистательной толпы зрителей. На арене рыцари. На балконе замка сидит девушка. В ее руке шарф. Кто победит, тому шарф. Рыцари бьются насмерть, чтоб получить шарф от нее. Тоггенбург победил. «Рыцарь, я люблю вас, как сестра, другой любви не требуйте. Не бьется мое сердце, когда вы приходите, не бьется оно, когда вы удаляетесь». — «Судьба моя решена», говорит он и плывет в Палестину. Сарацины трепещут его, по всему христианству разносится слава его подвигов, но он не может жить, не видя царицы души своей. Вот корабль; он плывет домой видеть ее. «Не стучитесь, рыцарь, она в монастыре»; и он строит себе хижину, из окон которой, невидимый ею, может видеть ее, когда она поутру раскрывает окно своей кельи; и вся жизнь его — ждать, когда она явится у окна, прекрасная, как солнце; нет у него другой жизни, как видеть царицу души своей, и не будет у него другой жизни, пока иссякнет в нем жизнь. И когда погасала в нем жизнь, он сидел у окна своей хижины и только думал: «увиджу ли ее еще?»

— Это уж вовсе, вовсе не обо мне, — говорит певица. — Он любил ее, пока не прикасался к ней. Когда она становилась его женою, она становилась его подданною, она должна была трепетать его, он запирает ее, он переставал любить ее; он охотился, он уезжал на войну, он пировал со своими товарищами, он насиловал своих вассалок, жена была заперта, была презрена им. Ту женщину, которой касался мужчина, мужчина уж не любил тогда. Нет, тогда меня не было. Ту царицу звали Дева. Посмотри на нее.

Скромная, кроткая, нежная, прекрасная, — прекраснее Астарты, прекраснее самой Афродиты, но задумчивая, грустная, скорбящая, — перед нею склоняют колена, ей подносят венки роз, — она говорит: «печальна до смертной скорби душа. Меч пронзил сердце мое. Скорбите и вы, — вы несчастны, земля — долина плача».

— Нет, нет, тогда уж, конечно, не было меня. — Нет, те царицы были не похожи [на меня]. Я родилась только тогда, когда кончилось царство последней из них. Но они должны были царствовать прежде меня, без их царства не может притти мое царство. Люди были, как животные. Они перестали быть животными, когда стали ценить красоту, — но женщина была слаба, мужчина

силен, — тогда все решалось силою, он должен был присвоить себе женщину, красоту которой ценил. Когда он стал более развит, он стал больше прежнего ценить ее красоту и преклонялся перед нею, — но ее ум был еще неразвит, а он говорил, что он только один — человек, она — не человек, и она не считала себя человеком, и могла быть только вещью, красота которой дает ему наслаждение, — и была рабыней его.

Но вот начало в ней пробуждаться сознание, что и она человек. Какая скорбь должна была объять ее от самого слабого сознания о своем человеческом достоинстве! Ведь она не признавалась человеком! Ведь мужчина не хотел иметь ее иною подругою себе, как рабыней. И она говорила: «нет, я не хочу быть твоею подругою!» Тогда страсть к ней заставляла его умолять и смиряться, и он забывал, что она не человек, а только женщина, и он любил ее, деву, непорочную, никому недоступную; но лишь только верила она его мольбе, лишь только касался он ее, — горе ей! — она была в руках его, эти руки были сильнее, чем ее, и он был еще слишком груб и обращал ее в свою рабыню, и презирал ее. Горе ей!

Но шли века, моя сестра — ты знаешь ее? — та, которая давно стала являться тебе — делала свое дело; она была всегда, она была прежде всех, она уж была, как только были люди; она делала свое дело, и мужчина становился разумнее, и женщина больше и больше сознавала себя равным ему человеком, и, наконец, я родилась. Это было недавно, — о, это было очень недавно, — ты знаешь, кто первый почувствовал, что я родилась, и сказал это другим, и ты знаешь, где он это сказал? Сказал Руссо в «Новой Элоизе». Тут люди в первый раз услышали обо мне.

И с той поры мое царство растет. Но еще не над многими я царица. Оно быстро растет, скоро я буду царствовать над всею землею. Тогда только вполне почувствуют люди, как я хороша. Теперь те, кто признает мою власть, еще не могут вполне повиноваться ей. Они окружены неприязненною ей массою, она отравит им жизнь, если они будут знать и исполнять всю мою волю. А я хочу, чтобы они были счастливы, и я еще не говорю им всей своей воли, и я говорю им: «Не делайте того, за что вас мучат, знайте меня лишь настолько, насколько можно знать теперь без вреда себе».

— Но я могу знать тебя?

— Да, ты можешь, потому что твое положение очень счастливо. Тебе некого бояться. Ты можешь делать все, что захочешь, тебе можно знать обо мне, и когда ты будешь знать все обо мне, тебе не нужно желать, и ты не будешь желать ничего, за что мучат теперь знающих. Теперь ты вполне довольна тем, что имеешь, ни о чем другом, ни о ком другом ты не думаешь и не будешь думать, я могу открыться тебе вся.

— Скажи же мне, как звать тебя. Ты называла мне прежних цариц, но твое имя?

— Мое имя? — но раньше мой голос — узнаешь ли ты его?

— Твой голос? Нет, я не знаю, чей это голос; я знаю только, что, когда я слышала его в первый раз, мне вспомнился, как слабое, слишком грубое предчувствие его, лучший, симпатичнейший голос, какой слышала я в мою жизнь,— я говорила: это голос лучшей певички, какую я слышала. — Как твое лицо?

— Мое лицо — ты видела ли его?

Да, ведь она еще не видела лица ее, вовсе не видела ее — как же ей казалось, что она видела ее? Вот она уж полгода является ей и не прячется от нее, но она всегда окружена таким сиянием, что и видно, и не видно одежду ее, стан ее, лицо ее, — и видно, и не видно.

— Нет, я не видела лица твоего, я не видела тебя. Я видела тебя, но глаза мои были слишком слабы, чтобы видеть тебя сквозь твое сияние.

— Теперь они довольно укрепились, смотри же на меня, — мое имя — у меня нет имени отдельного от той, которой являюсь я, мое имя — ее имя. Видишь ли, кто я? — Нет ничего выше человека, нет ничего выше женщины; я та, которой являюсь я; я та самая, кто любит, кто любима.

Да, она видит: это она сама, это она сама, но богиня. Ее черты — ее самой, лицо это — живое ее лицо, черты которого так далеки от совершенства, когда не озарены любовью; это лицо, озаренное сиянием любви, прекраснее всех идеалов, завещанных нам скульпторами и живописцами, в прежние века жившими; да, это она сама, но, озаренная сиянием любви, она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее той, которая зовется Сикстинской.

— Ты видишь себя в зеркале такую, какая ты сама по себе, без меня. Вот ты видишь себя такой, какой видит тебя тот, кто любит тебя. Для него я сливаюсь с тобою, для тебя — я сливаюсь с [ним]: для тебя нет никого, нет ничего лучше его — так ли?

— Так, о, так!

— Теперь ты знаешь, кто я, — узнай, что я. Во мне чувственное наслаждение, это было и в Астарте, она родоначальница всех нас, других цариц, сменявших ее. Во мне восхищение созерцанием красоты, — это было и в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою, — это было и в Деве. Но во мне все это не так, как было в них. Это соединение того, что было в Деве, с тем, что было в Астарте, которую хотела совершенно отвергнуть Дева, и с тем, что в Афродите, которую тоже хотела отвергнуть Дева. Но есть во мне еще одно, чего не было ни в одной из них, — равноправность любящих, равное отношение между ними, как людьми, и от этого одного много, о, много другого прекрасного.

Признавая равноправность женщины с собою, мужчина отказывается от взгляда на нее, как на свою принадлежность; она любит его, как он любит, только потому, что хочет любить его, — не хочет, он не имеет никаких прав над нею. И она над ним. Поэтому во мне свобода. И от этого нового во мне, чего не было в прежних царицах, и то мое, что было в них, все получает новый ха-

ракти, высшую прелесть. До меня не знали полноты упоения чувственным наслаждением, потому что без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения. До меня не знали полного восхищения созерцанием красоты, потому что если красота открывается не по свободному влечению, нет светлого упоения созерцанием ее; без свободного влечения и наслаждение, и восхищение мрачны перед тем, каковы они во мне. Непорочность моя выше непорочности Девы, — Дева знала только чистоту тела, во мне чистота сердца; я свободна, поэтому во мне нет обмана, нет притворства; я не скажу слова, которого не чувствую, я не даю поцелуя, который мне не сладко давать. Но то, [что] есть во мне новое, чего не было и в них, оно придает высшую прелесть тому, что было и в них, оно и само по себе составляет во мне прелесть, которая выше всего. Только с равным себе человеком сам человек вполне свободен. Господин стеснен перед слугою, потому что слуга стеснен перед ним; общество низшего — не то общество, в котором человеку всего легче и приятнее. С низшим скучно, только с равным полное веселье. Вот почему не знал до меня полного счастья любви мужчина.

А женщина — о, как жалка [была] до меня женщина — ведь подчиненным лицом, ведь рабским лицом была она. А будучи в зависимости, она была в боязни, она до меня слишком мало знала, что такое любовь: ведь где боязнь, там нет любви, это хорошо сказал один из друзей Девы, хоть сам не понимал, что он говорит. Поэтому, если ты хочешь одним словом сказать, что я, скажи слово: равенство. Без него для меня наслаждение телом, восхищение красотой его, благоговение перед чистотой сердца — скучны и гадки. Из него, из равенства — свобода во мне, без которой нет меня.

Я все сказала тебе, что ты можешь сказать другим, все, что я теперь. Но теперь мое царство еще мало, я еще слаба, я еще не могу высказывать всю мою волю всем. Я скажу ее, когда царство мое будет над всеми людьми, когда все люди будут прекрасны и телом, и сердцем, — тогда я скажу всем всю мою волю. Но тебе, — ты, твоя судьба особенно счастлива, тебя я не смущу. — тебе я не поврежу, сказавши, чем я буду, когда не немногие, как теперь, а все будут достойны признавать меня своею царицей; тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай.

Что она говорила, этого я не знаю. Я могу догадываться, что она говорила, — но я не знаю, — я уверен, что я не ошибаюсь в том, что я отгадываю, — но я не знаю. Та, от которой я слышал это, слышал этот сон, и которая здесь названа Верой Павловной, сказала мне: «Я клялась молчать и молчу». — «Я знаю, все равно, все равно». — «Может быть», отвечала она. «Вам было сказано вот что», я сказал ей. «Может быть, нет, может быть, да, я не имею права сказать вам ни да, ни нет — и к чему вам знать это? Этого

584

еще нет, это еще невозможно, к чему ж вам знать? Но то, что было дальше, то уже не тайна, то я могу сказать вам».

— О, любовь моя, теперь я знаю всю твою волю, но одно смущает меня: я знаю, что это так, но я не знаю, как же это будет? Как будут тогда жить люди?

— Этого я одна не могу рассказать тебе, — ведь мы тогда будем неразлучны с моею старшею сестрою, с тою, которую ты знала гораздо раньше меня. — Сестра моя, иди к нам!

Является сестра своих сестер, невеста своих женихов.

— Здравствуй, сестра, — говорит она певиче. — Здесь и ты, сестра? — говорит она Вере Павловне, — пойдем же смотреть, как будут жить люди, когда я и сестра будем царствовать над миром.

Смотри, вот как они будут жить. Смотри, здесь и дети детей твоих.

Здание, громадное, громадное здание, каких теперь только по несколько лишь в самых больших городах, — это здание стоит среди лугов, полей и рощ. Поля — это наши хлеба, только не такие, как у нас, — густые, густые, изобильные, изобильные. — Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Только в оранжереях могут вырасти такие колосья, из каких состоит вся эта нива. Луга¹ — это наши луга, с нашими цветами, — но такие цветы только в цветниках у нас, какими покрыты эти луга. Рощи — это наши рощи, дуб и липа, клен и вяз — да, рощи те же, как теперь, — заботлив уход за ними, нет большого дерева в них, но рощи те же. Это здание — что ж это такое? Какой оно архитектуры? Такой нет теперь, — есть только один намек на нее, он стоит на Сайденгамском холме — чугуны и стекло только. Нет, не только: это оболочка здания, это его наружные стены, а там, внутри — то уж настоящий дом, громаднейший дом, он одет этим хрустально-чугунным зданием, как футляром, оно образует вокруг него широкие галереи по всем его этажам; а этот внутренний дом? из чего ж он? Его стены каменные, с огромными окнами на галереи во всю вышину этажа, но какие ж это полы и потолки? Из чего эти двери? Что это такое? Серебро? Платина? И мебель почти вся такая же — мебель из дерева тут только каприз, она, должно быть, только для разнообразия; но из чего ж это вся остальная мебель? попробую подвинуть это кресло! Да, металлическая мебель легче нашей ореховой, — что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша мне показывал такую дощечку, это алюминий, да, Саша, говорил, что рано или поздно алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все стены в громадных зеркалах, и какие ковры на этом полу! Лишь в немногих местах пол оставлен непокрытым ими, и тут вид-

¹ В оригинале описка — поля. — Ред.

но, что он из алюминия, — тут играют дети, а с ними играют и большие — и как же танцовать по коврам?

— Кто ж живет в этом доме, который огромное и великолепнее дворцов?

— Много здесь живет, здесь живут и дети детей твоих, — иди, мы увидим.

Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галлерей, — как же Вера Павловна не заметила раньше? По этим лугам, нивам, рощам рассеяны группы людей: везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе, — они работают и поют, — что это они делают? Ах, это они убирают хлеб, — но как быстро идет у них работа! Но и как же им не петь? Их работа легка, почти все за них делают машины, — и жнут, и собирают, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят и ездят и управляют машинами; еще бы им не петь, и еще бы не скоро шла их работа! Что это? Все переменяются, вместо них новые, а они куда ж идут?

— Надо часто менять работу, чтоб она не наскучила; эти работали уж час, довольно, они на час идут в мастерские, а работавшие час в мастерских пришли сменить их.

— О, какая веселая работа! Да, день зноен, но им, конечно, ничего, — над тем местом, где работают они, развешивается полог, им прохладно под ним — еще бы не жать так! Этак и я стала бы жать! И все песни, и все песни — незнакомые, — нет, припомнили и нашу одну — помню ее:

Будем жить с тобой по-пански.
Эти люди вам друзья...

— Прошел час, довольно работать поутру, теперь надолго отдых — до завтрашнего утра. Все идут к зданию. Но войдем опять в комнаты.

Громадная зала, занятая столами с кувертами на тысячу человек или больше, — их завтрак уже готов, — те старухи, те дети, которые не выходят на работу в поле и в мастерские, приготовили его, — они накрывают столы, — только старухи и дети, — это слишком легкая работа для других рук; кто может, делает то, чего еще не могут или уже не могут делать они.

— Смотри, какой чай, какое кофе, какой сыр, какие закуски, часто ты имеешь такой завтрак? — а ведь ты живешь очень хорошо, — такое разнообразие?

— Нет, где ж мне такой; как можно; нет, это могут иметь только богачи.

— А при детях детей твоих все будут иметь его. Вот они входят, они не видят нас с тобою, — разговоры и шутки, смех и песни не прерываются — и шопот, и пожимание рук.

Но завтрак кончен.

-- Что это? Это бал?

— Да, каждый день два раза, потому это не бал. И ты видишь, что здесь осталась, поочередно составляет хор и оркестр и танцует только третья, четвертая доля тех, кто был за завтраком, а

ведь за завтраком не все были, кто был в поле, — ты видишь, что здесь больше чем наполовину детей, из других разве из пяти остался один.

— Где же другие?

— Они разошлись по своим библиотекам, по своим музеям, по своим аудиториям, наконец, больше всего просто гулять в сад, или разошлись по своим комнатам.

— Зачем же по своим комнатам?

— Одни для того, чтобы быть одним или со своими детьми, другие, — это моя тайна, — зачем же был шопот и пожимание рук? Ты видела, этого было больше всего. Я царствую здесь над всеми, да и как мне не царствовать здесь над всеми? Видишь, вечная перемена радостного труда, пиров, наслаждения и неги отдыха, и всего больше неги мною. Ты видела, как горели их щеки, как горели их глаза.

— Неужели же это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорили по-русски — неужели же это мы?

— Да, ты [видишь] вдали реку — это Ока; эти люди — мы, — ведь с тобою я — русская.

— И ты все это сделала?

— Это все для меня сделано, и одушевляла делать это моя старшая сестра, та, которую ты знала прежде меня.

— И так будут все жить?

— Да, для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но я тебе показала только одну и меньшую часть их жизни, — вот они через два месяца. Цветы завяли, листья начали падать с деревьев — картина становится унылая, — что смотреть на нее, ты видишь, на полях и в садах нет никого, на балконе холодно, иди в комнаты.

— Что это? Дворец совершенно пуст? Где ж они?

— Да ведь здесь становилось уж холодно и сыро, скучно и тяжело, — зачем же им быть здесь?

— Но как же оставили все это?

— А почему ж не оставить? разве ты думаешь нужно стеречь тогда, когда у всех довольно всего? Впрочем, здесь осталось из двух тысяч человек 5—6 оригиналов, которым на этот раз вздумалось, которым показалось приятным развлечением побыть здесь несколько времени, — в глуши, в уединении, — показалось любопытно испытать осеннюю погоду; вероятно, они скоро уедут, но потом беспрестанно будут здесь переменяться партии по несколько человек, любители зимних прогулок; они будут приезжать сюда провести несколько зимних дней; летом все едут сюда, потому что здесь хорошо, а зимою что здесь делать? Работы нет, видишь, эта страна служит для них дачею, — летом для всех, надолго, зимою — для немногих, ненадолго. А летом сюда приезжает очень много народа кроме нас, — мы с тобою были в доме, где видели почти одних наших, — но есть множество таких домов, может быть, половина, в которые приезжают на лето совершенно другие народы, — всякие, с юга, для разнообразия пожить, то есть и поработать лето

на севере. Есть множество и таких домов, в которых наши и иностранцы живут вместе.

— Но где ж наши теперь?

— Да везде, где тепло и хорошо. Но большс всего их в той стране, которую я тебе покажу. Полетим.

Горы одеты садами — эти горы когда-то были голые скалы, теперь они покрыты толстым [слоем] земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев; внизу, во влажных ложбинах плантации кофейного дерева, финиковые пальмы, смоковницы, олеандровые деревья.

— А что это за поля? это не наш хлеб?

— Нет, сахарный тростник, рис.

— Что это за гора далеко на северо-западе? Форма ее знакома, — неужели?

— Да, ты отгадала, это Синай.

— Но ведь на юг и восток от Синая песчаная, бесплодная пустыня?

— Была; теперь, как видишь, нет.

Опять дом, такой громадный, из чугуна и стекла, — но внутри настоящее дерево под этим футляром, уж совершенно не такое, как она видела у нас, на севере: стены громадной толстоты, массивные, окон мало. Зачем же это так?

— Здесь нужна прохлада; толстые стены дают прохладу; здесь небо так безоблачно, солнце так ярко, что люди в своих жилищах любят для разнообразия несколько меньше света, но ведь здесь так хорошо на воздухе, что в комнатах они только отдыхают, — а для отдыха (и для меня, прибавляет она с улыбкою) приятен полусвет.

— Но кто и в комнатах хочет иметь полный солнечный свет?

— Конечно, может иметь его сколько хочется — смотри, в нескольких десятках от главного здания большие павильоны, — видишь, они самой легкой постройки, видишь, в одних из них больше окон, чем в домах нашего севера, другие почти сквозные; кому где угодно, тот там и проводит время. Теперь войдем снова в дом, уж вечер, время отдыха, ты посмотришь, как они проводят вечер.

— Но нет, послушай, как же это могло все сделаться?

— Что — как сделаться?

— Что песчаная пустыня обращена в плодороднейшую землю, где теперь проводят две трети года сотни миллионов наших, уезжающих к себе на прежнюю родину, вместе с сотнями миллионов других людей, только на четыре лучших месяца?

— Как что сделалось? да ведь это же сделалось не в год, не в два, — скрепляли [песок] глиною, илом, орошали, проводили каналы версту за верстой, — и шли шаг за шагом вперед, — и теперь вот уж возделана половина этой пустыни, и дело все подвигается понемногу; но как прежде были оазисы плодородной земли среди пустыни, так теперь оставлены для разнообразия, для развлечения небольшие куски пустыни среди плодородной земли.

— Но как же это все [сделали]? Положим, постепенно, но ведь все-таки какие громадные средства были нужны...

— Если б и в твоё время люди употребляли на рассудительные вещи половину тех средств, которые тратили на вредный вздор вроде войны и приготовлений к ней, да сбирания средств для нее, да на всякие ссоры между собою, на хвастовство и всякие глупости, и если б половину тех средств, которые употребляют на рассудительные дела, они употребляли расчетливо, самым выгодным образом, — и в твоё время люди могли бы жить уж очень изобильно и могли бы делать решительно всякие работы для приготовления еще лучшей жизни, для преобразования лица земли так, чтоб было им просторно селиться, где природа хороша. Вспомни свсю мастерскую: какие были у вас лучшие средства против других? А ведь твои девушки имели в десять раз больше довольства и в сто раз больше радости, чем другие, занимаясь тою же работою, с таким же искусством; отчего это? Только от рассудительного, выгодного употребления средств. А с твоей поры прошло много времени, — оно прошло недаром, — много нового, хорошего придумали люди, потому что все больше и больше думали о дельном, вместо вредного вздора; но смотри же, как они проводят вечер, — там на родной даче ты видела их за завтраком, в промежуток, — долгий промежуток между двумя отдельными работами, — тогда почти никто не сменял своего рабочего платья, оно было хорошо, такое, какое в твоё время носили люди твоего состояния, половина из них устроила себе то, что показалось тебе балом; нет, это было короткое, импровизованное веселье; теперь ты посмотри, как проводят они вечер, время настоящего отдыха, время настоящих наслаждений. Уж три часа прошло после заката солнца, мы увидим середину их вечера.

Они входят в дом. Снова громадный зал, как ярко освещен он, чем? Нигде не видно люстр и канделябров. В центре потолка зала большая площадка из матового стекла, — через нее идет солнечный свет, ровный, белый, — ах, это электрическое освещение! — в зале около тысячи человек народа, — что это? придворный бал? — так роскошна одежда женщин, — но нет, этот покррой одежды не тот, видно, что другие времена, — есть несколько и в платьях нашего покрроя, — они оделись так для разнообразия, для шутки, — но преобладает тот характер платья, какой был в древнем мире: и на мужчинах, и на женщинах широкое, длинное, без талии, — что-то в роде хитонов, иматиев, стол, тог, — как скромно и прекрасно, как мягко и изящно обрисовывает оно формы! Какой оркестр! Какой хор! В оркестре и хоре тоже люди беспрестанно меняются: одни входят, которым хочется отдохнуть от танцев за музыкою или пением, другие выходят, чтоб танцевать, — и ведь это кажется просто: у них бал, они веселятся и танцуют, — но какую энергию веселья выражают эти слова! Ведь эти наработались, — кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нервы, чтоб чувствовать полноту веселья, — и теперь веселье простых людей

более радостно и свежо чувствуется рабочими людьми, когда им удастся веселиться, чем нами, но ведь у них скудные средства для веселья, а здесь они богаче, чем у нас, и ведь их веселье смущается воспоминанием недостатков и нужды другого времени, лишений и страданий, смущается предчувствием того же и впереди, — это краткий миг забвения нужды и горя, а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит, разве миазмы болота не заражают и маленького клочка хорошей земли с хорошим воздухом, который лежит между пустыней и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды и горя, — здесь воспоминания только вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, ожидание только вольного труда в охоту, веселья, довольства, добра и наслаждения. Нет, теперь нет такого веселья! Как все они цветут здоровьем и силою, как стройны они, как грациозны, как правильны и нежны, как энергичны и выразительны их черты! Это счастливые красавицы и красавцы, ведущие жизнь труда и наслаждения, — как им не веселиться? Где теперь такие люди? Где теперь такое веселье? Ведь у рабочих людей нервы только крепки и потому способны к сильному ощущению веселья, — а ведь эти их нервы грубы, а здесь нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и впечатлительны, как у нас, — восприимчивость к веселью, как была в рабочих людях твоего времени, со всею тонкостью ощущений, какая была у образованных людей твоего времени, и всем физическим развитием крепких рабочих людей твоего времени, — суди же, как живо их веселье!

— Вольная воля, вольная воля! Шумно веселится половина моих людей, — а другие, где они? Везде они — и по библиотекам, и в музеях, и в аудиториях, и в аллеях рош, и в густых, благоухающих садах, и группами, и уединенные; и в своих комнатах, но в комнатах немногие уединяются; нет, мало одиночек отдыхают в своих комнатах. Ты не слышала, что в комнатах, — занавесы дверей толсты, в несколько рядов, они поглощают звуки, — здесь каждая комната — неведомый, неслышный приют, когда хотят быть неведомым, недоступным, неслышным для других приютом, но я скажу тебе, что в них царствую я, — ты видела, с бала уходят, видишь, на бал приходят, — это я увлекаю [их] из огромного аванзала моего царства в недоступные, неслышные приюты, где царствую я, это я возвращаю их [из моего] царства опять на легкое веселье.

Да, я царствую здесь; здесь все для меня! Труд — заготовление свежести чувств и сил для меня; веселье — приготовление ко мне, отдых после меня! здесь я — цель жизни, здесь я вся жизнь!

— То, что я показала тебе, будет в таком полном развитии нескоро, — пройдут десятки, может быть, сотни лет прежде, чем вполне осуществится то, что можешь предощущать ты, что видела теперь ты. Нет, не сотни лет, нет, меньше, — моя сестра работает быстро, ее силы растут не по годам, а по дням, — но все же ты еще не доживешь до того, что видела ты; зато, по крайней

мере, ты видела это, ты знаешь будущее — оно светло, оно прекрасно! Говори же тем, кто живет в одно время с тобою: вот чем будет будущее, — будущее светло и прекрасно, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, захватывайте из него в настоящее, сколько можно захватить, — настолько будет света и добра, полна радости и наслаждения ваша жизнь, насколько успеете вы перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него! приближайте его, переносите в настоящее, сколько можете перенести!

[XVIII]

Через год новая мастерская уже совершенно устроилась, установилась, пришла в порядок; [обе] мастерские были тесно связаны между собою, передавали друг другу заказы; одна исполняла часть работы другой, когда той случалось быть заваленной заказами; между ними был постоянный текущий счет. Размер их средств вместе был уж настолько обширен, что, если бы они сблизились еще больше, можно было бы открыть магазин на Невском. Это опять стоило довольно долгих хлопот Вере Павловне и Мерцаловой. Хотя отношения между девушками той и другой компании были тесные, хотя все они были между собою знакомы, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях другую, хотя часто они соединялись для поездок за город летом, но все-таки мысль о слиянии счетов двух различных предприятий была мысль новая, которую долго надобно было разъяснять. Однако же выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев хлопот о слиянии двух предприятий в одно Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого. На Невском явилась новая вывеска: „Au bon travail. Magasin des Nouveautés“.

С открытием магазина на Невском дела начали довольно заметно становиться еще выгоднее прежнего. Магазин входил в моду, — не в высшем кругу, до этого куда ж бы! но все-таки в кругах довольно богатых, то есть дающих выгодные заказы.

Через два-три месяца стали замечаться в магазине посетители, отличавшиеся любознательностью, несколько неловкою, которой как будто конфузились сами, которая как будто сопровождалась в них не тою мыслью, какую сопровождается обыкновенная любознательность в любознательных людях: «ведь если я интересуюсь тем, чем интересуешься ты, то, вероятно, ты смотришь на меня с расположением и постарайся, как можешь, сам просветить меня», нет, а как будто другою мыслью: «конечно, ты на меня смотришь косо и стараешься спрятать хвост от меня, но меня все-таки не проведешь». Таких посетителей было два-три человека, и бывали они каждый раза по три, по четыре. В их «любопытности» прошло еще месяца полтора. А месяца через полтора приехал к Кирса-

нову один отчасти знакомый, а больше незнакомый ему собрат по медицине и после различного разговора о различных медицинских казусах, главным образом, после рассказов гостя об удивительных успехах того метода врачевания, которого он тогда держался и который состоял в том, чтобы больному несколько дней не давали ничего пить: «потому что все болезни состоят в худосочии, а соки постоянно выделяются из организма, следовательно, если не давать нового источника для этих отделений, то худые соки по необходимости истощатся, и через то болезнь пройдет»¹, сказал, что, между прочим, имеет [сообщить] Кирсанову приглашение: один просвещенный человек, много слышавшийся о Кирсанове, желает познакомиться с ним. Кирсанов отвечал, что отправится к просвещенному человеку завтра же.

Просвещенный человек, — которого точнее следует называть даже просвещенным мужем, хотя у него и не было жены, — итак, просвещенный муж был действительно просвещенный муж, потому что тогда, — в 1858—1859 гг., — было уж очень просвещенное время. Некоторые непросвещенные люди еще были, да и то уж были большой редкостью, но эта редкость попадалась тогда только между существами, которых нельзя с точностью называть мужами, хотя б у них и были жены, а между мужами в собственном смысле слова, то есть такими мужами, которые мужи собственно сами по себе, — мужи, потому что мужи, а не потому, что имеют жен, — между такими мужами непросвещенных не было: мужи все до одного были тогда просвещенными.

Итак [просвещенный] муж принял Кирсанова, как, конечно, следует просвещенному мужу принимать гостей, с которыми ему самому захотелось познакомиться, — очень любезно; усадил, сам несколько пододвинул стул, предложил сигару и сказал несколько очень хороших слов о том, что он очень рад случаю познакомиться «с вами, Александр Матвеевич», потому что он очень много слышался «о вас, Александр Матвеевич», «как об одном из лучших украшений нашей медицинской науки, которая так необходима для государства», и проч. Все это было действительно очень любезно, особенно то, что называл Кирсанова по имени и отчеству, — вот что значит просвещение! Прекрасная вещь! После этого несколько времени шел просвещенный разговор о медицине, а напоследок дошел до цели знакомства, до приятного случая.

— У меня к вам есть просьба, — сказал просвещенный муж, когда достаточно доказал всю просвещенность и любезность. — Сделайте одолжение, объясните мне, что за магазин открыла ваша супруга на Невском?

¹ Это положительный факт. Один из моих лучших знакомых говорил, что один медик лечил по такому методу. Теперь этот медик держится уж другого метода, кажется, пятого с тех [пор], как лечил высушиванием, что было лет 15 назад.

— Модный магазин, — сказал Кирсанов.

— Но с какою целью открыт он, это важно.

— С обыкновенною целью всех модных магазинов, торгующих дамскими нарядами.

Просвещенный муж посмотрел на своего гостя с внимательной мыслью; Кирсанов посмотрел на просвещенного мужа тоже с внимательной мыслью; просвещенный [муж], смотря с внимательной мыслью, увидел, что гость, с которым ему приятно было познакомиться, — человек прижимистый, на которого надобно напирать плотнее.

— Я должен вам сказать, г. Кирсанов (почему просвещенный муж вдруг забыл имя и отчество своего гостя?), что о магазине вашей супруги ходят невыгодные слухи.

— Это очень может быть: у нас любят сплетни; магазин моей жены имеет некоторый успех, может быть, есть в ком зависть к нему, — вот вам и объяснение. Но любопытно бы знать, какие ж это невыгодные [слухи]? Сплетни о модных магазинах чаще всего состоят в том, что они служат местами любовных свиданий. Не это ли уж? Но это была бы чистая нелепость.

Просвещенный муж снова посмотрел на Кирсанова с внимательною мыслью и убедился, что его гость — человек не только прижимистый, но и очень прижимистый.

— Помилуйте, Александр Матвеевич, кто же смеет оскорблять такую клеветою вашу супругу? Она и вы, конечно, слишком много выше подобных подозрений. И притом, если бы слухи, о которых я говорю, относились к этому, мне не было бы причины искать вашего знакомства, потому что подобными вещами нет надобности заниматься людям серьезным. Но я желал с вами познакомиться потому, что, высоко уважая пользу, приносимую государству вашей ученой деятельностью, я бы желал быть вам полезен, и потому позвольте мне просить вас, Александр Матвеевич, будьте осторожнее. Обществу и, можно сказать, государству драгоценны такие ученые деятели, как вы, потому что процветание науки — первая потребность благоустроенного государства, и потому они должны, Александр Матвеевич, — можно сказать более, — обязаны беречь себя.

— Насколько я сам о себе знаю, я не делаю ничего такого, что противоречило бы моей обязанности перед обществом и государством беречь себя.

Просвещенный муж посмотрел на Кирсанова с внимательной мыслью и увидел, что его гость человек не только что прижимистый, но и закоснелый.

— Будем говорить прямо, Александр Матвеевич, к чему людям просвещенным не быть между собою вполне откровенными? Я сам [тоже] в душе социалист и читаю Прудона с наслаждением. Но...

— Позвольте сказать несколько слов, чтобы не оставалось между нами недоразумений. Вы сказали, [вы] «тоже социалист».

Это «тоже», вероятно, относится ко мне. Почему я, вы думаете, социалист? Может быть, вовсе нет, — кроме социалистов, есть протекционисты, есть последователи Сэ, есть последователи исторических воззрений Рау, есть последователи множества различных других направлений в политической экономии. Для причисления человека к последователям одного из них надобно иметь какие-нибудь основания.

— Я имею те основания причислять вас, г. Кирсанов, к социалистам, что мне известно устройство магазина вашей супруги.

— Это устройство [одобряют] последователи всех направлений, когда они говорят серьезно. Некоторые из них — и теперь уж очень немногие — нападают на него, когда ведут полемику против последователей какого-нибудь другого направления, смотря по надобности. Но нападают только тогда, когда ведут полемику. В спокойном, чисто-ученом изложении не отваживается не признавать его безопасность и полезность для общества решительно никто из пишущих о политической экономии. Если я говорю неправильно, прошу вас указать мне хоть один пример противного.

— Г-н Кирсанов, мы здесь не для ученых споров. Вы согласитесь, что мне некогда ими заниматься. Магазин г-жи Кирсановой имеет вредное направление, и я бы советовал ей, и в особенности вам, быть осторожнее.

— Если он вреден, то его надобно закрыть, а нас отдать под суд. Но мне любопытно было бы знать, и чем же состоит его вред?

— Да во всем. Начнем хотя с вывески. Что это такое «*Au bon travail*»? — это прямо революционный лозунг.

— В переводе это будет означать: «магазин хорошей работы»; какой тут революционный смысл, что модный магазин обещает хорошо исполнять заказы, я не понимаю.

— Смысл этих слов не тот. Они означают, что надобно все магазины так устроить, тогда только будет хорошо рабочему словию. И само слово *travail* — это ясно, взято из социалистов, это революционный лозунг.

— Мне кажется, что с тех пор, как французы стали пахать землю, а раньше того — охотиться за зверями, они уж занимались какою-нибудь работою и не могли обходиться в своих разговорах без этого слова; а оно очень давнишнее, лет на тысячу старше всех социалистов, уверяю.

— Но к чему вообще какие-нибудь слова на вывеске? «Модный магазин такой-то» — и довольно.

— Вывесок с разными девизами очень много на Невском. «*Au pauvre Diable*», «*A l'Élégance*», — мало ли? Потрудитесь проехать по Невскому, вы увидите.

— Мне с вами некогда спорить. Я вас прошу заменить эту вывеску другою, на которой было бы просто написано: «модный магазин такой-то». Вот [это] вообще прямое выражение воли, которая должна быть исполнена.

— Теперь я не спорю, я говорю: это будет сделано. Но, принимая перед вами за мою жену обязательство исполнить это, я должен сказать, что эта перемена сильно вредит денежным интересам предприятия. Она вредит им вдвойне: во-первых, всякая перемена фирмы отнимает значительную часть торговой известности; возвращает коммерческое предприятие далеко назад в отношении торгового успеха; во-вторых, моя жена носит мою фамилию, моя фамилия русская, русская фамилия на модном магазине уже подрывает его. Денежные интересы моей жены сильно пострадают. Но она покорится необходимости.

Просвещенный муж задумался с искренним участием

— Ваш магазин есть коммерческое предприятие? Эта точка зрения заслуживает внимания. Администрация должна охранять денежные интересы и покровительствовать развитию торговли. Но можете ли вы уверить меня честным словом, что магазин вашей супруги есть коммерческое предприятие?

— Даю вам честное слово, да. Он — коммерческое предприятие.

— Скажите, что можно сделать в облегчение денежной потери, которой, к сожалению, необходимо должна подвергнуться ваша супруга? Все возможные средства для смягчения этого неизбежного удара будут допущены мною с готовностью, могу сказать больше: с удовольствием. Но, вы понимаете, эта вывеска не может остаться.

— Мне приходит в голову вот что. В вывеске представляется неудобным словом travail, оно должно быть заменено именем моей жены. В этом состоит требование общественной пользы?

— Да.

— Я нахожу возможным исполнить это требование, важность оснований которого я вполне ценю, избегнув № 2 из двух невыгод страшного удара, который нанесло бы магазину выставленное на нем имя с окончанием — off. Имя моей жены Вера. Можно передать это на французский язык словом Foi. Если оставить слово bon, ограничив эту перемену только размером необходимости, относящейся собственно к слову travail, то новая вывеска была бы: «A la bonne foi» — собственно «добросовестный магазин», но во французской надписи будет даже оттенок консерватизма, соответствующий смыслу foi — вера, как бы в противоположность тенденциям отрицательного характера.

Просвещенный муж задумался.

— Это вопрос важный. На первый взгляд ваше желание, Александр Матвеевич, представляется возможным. Но я в настоящую минуту не хотел бы давать вам решительного ответа, надобно зрело обдумать это.

— Я позволю себе высказать прямо мою мысль: конечно, в людях обыкновенных быстрота решения и зрелость его — условия не легко соединимые, но я никогда не сомневался, что встречал в жизни людей со взглядом, с одного раза обнимающим все стороны

вопросов, формулирующим совершенно верный и зрелый окончательный вывод, — это талант, по преимуществу административный.

— Я требовал у вас только несколько минут, — глубокомысленно сказал просвещенный муж, — и несколько минут мне действительно необходимы.

Несколько минут прошло в глубоком молчании.

— Да, я теперь обдумал все стороны вопроса: ваш компромисс может быть принят. Вы поймете грустную необходимость более или менее нарушить ваши интересы для интересов общества, — могу сказать больше: для интересов общественного благоустройства; но точно так же я жду от вашего беспристрастия, Александр Матвеевич, и признания готовности [моей] сделать все возможное для возможного смягчения необходимой меры.

— Будьте уверены, что я ценю одинаково и важность принимаемой вами меры, и вашу заботливость о возможном охранении наших частных интересов.

— Итак, мы расстаемся дружелюбно, Александр Матвеевич, это очень меня радует как вообще по моей готовности служить смягчающим посредником между государственной необходимостью и частными интересами, так и в особенности по моему уважению к вам, как к одному из наших достойнейших ученых, которыми так должно дорожить общество, — могу сказать более: которых так уважает правительство.

Просвещенный муж и ученый, им уважаемый, с чувством пожали друг другу руки.

Довольно долго Вера Павловна и [ее] муж находили себе источник частого удовольствия в размышлениях о том, как общество, — можно сказать, общественное благоустройство, — было спасено от опасности заменю слова travail словом f i и соответственную тому переменою в роде прилагательного имени на одной из многих тысяч вывесок Невского проспекта. Но в сущности дело было вовсе не шуточное. Магазин отделался на этот раз очень легко; конечно, так; а все-таки ясно было, что надобно поприжаться и поприжаться, заставить забыть о себе; что теперь — по крайней мере надолго — нечего уж думать о развитии предприятия, которое так и просилось итти вперед; что высшее возможное счастье надолго должно будет состоять в том, чтобы продолжать существовать, отказавшись на многие месяцы, вероятно, не на один год, от расширения дела. Это было, конечно, тяжело. Но ведь и то сказать, разве это не предвиделось? Хорошо и то, что дело успело без помех развиваться хоть настолько, — помехи могли явиться гораздо раньше; хорошо и то, что помехи проявились только в останавливающем, а не в разрушительном характере, — ведь можно было ждать и разрушения.

Само собою разумеется, что внимание, раз обращенное на магазин, не отвратилось. Но в магазине действительно не было ничего, кроме тишины и порядка, благонравия и благоустройства. Поэтому деятельность внимания ограничивалась, собственно, вниманием, действие внимания ограничивалось тем, что надобно непо-

движно остановиться на том месте, где оно застало, и своей неподвижностью покупать продолжение своего существования.

Но от этих вещей нельзя отделаться никаким образом, если раз они вздумали прицепляться, а они вздумывают прицепляться всегда, ко всему: если б я вздумал, например, положим, гулять по Невскому, кому-нибудь непременно вздумалось бы думать о том, «зачем, дескать, он гуляет по Невскому? Что это значит?» Но я не гуляю по Невскому, потому кому-нибудь уж наверное вздумалось: «его никогда не видели гуляющим по Невскому — что это значит?» Вы не подумайте, что я шучу — нисколько; и не предположите, что я, может быть, ошибся в своем «наверное» — нет, это я только для смягчения выразился «наверное», а я это положительно знаю, у меня на это есть доказательства, и я по чистой правде вам говорю, что вот уж три года ни одного дня не проводил я без тяжелых размышлений о том, как мне быть по вопросу о моем гулянии или негулянии по Невскому. Я б, пожалуй, и стал гулять, хоть этого вовсе мне не хочется, но по зрелом размышлении я убедился, что от этого дело выйдет еще хуже — «раньше не гулял, теперь начал гулять, — что это значит?» Согласитесь, ведь это уж еще гораздо более компрометировало бы меня. И если человек, который ведет такую жизнь, что ни о чем вовсе нельзя задуматься, кроме того, что он не гуляет (или гуляет, это все равно относительно удобства взятия за тему для размышлений и вывода предположений), если такой человек все-таки вот уж несколько лет служит предметом размышления и предположений, то уж никак не избавиться от этой судьбы Кирсанову, у которого жена открыла на Невском магазин.

Таким образом, по временам стал заезжать к нему медик, лечивший тогда-то высушиванием, и выражал ему свое уважение, и советовал ему быть спокойным, и советовал ему быть осторожным; и все это было очень любезно, и, действительно, было очень доброжелательно как со стороны медика, лечившего высушиванием, так и вообще со стороны просвещенных мужей, которые действительно были и просвещенные, и добрые, и благожелательные, и доброжелательные люди, не желающие никому никогда вредить и никого стеснять.

И вправду сказать, ни вреда, ни стеснения Кирсанову не было.

На мастерской это отзывалось тем, что она продолжала существовать, конечно, не развиваясь, а стараясь по возможности сжиться, но все-таки продолжала существовать, значит, и на ней доброжелательство отзывалось хорошим, а не дурным результатом и над ней оно оказывалось, действительно, доброжелательством и, можно сказать, даже охранением ее от всякого вреда.

Однако, если дело не могло теперь расширяться, то оно все-таки могло продолжать устраиваться лучше и лучше. Конечно, и [в] этом надобно было соблюдать осторожность, чтоб заметные успехи не пробуждали новой недоверчивости; конечно, и сама остановка расширения должна была много задержать внутреннее развитие, по-

тому что в этих вещах увеличение внешнего размера и увеличение средств для внутреннего усовершенствования — стороны, очень тесно связанные между собой; но все-таки, хоть гораздо медленнее, чем могло быть при других условиях, дело успевало.

В каком положении было оно года через три-четыре после основания второй мастерской, лет через семь после основания первой, — это рассказывает письмо одной девушки, которая познакомилась около этого времени с Верой Павловной, к одной подруге, жившей тогда в Москве.

[XVIII]

Так прожили Вера Павловна и Кирсанов года три и более. Однажды поутру к Вере Павловне [вошла] служанка — это давно была уже не Маша: она уже три года замужем и после была Аннушка, после Аннушки была Параша, после Параши была Надя, и все поочередно пошли под венец, и для всех венцов женихи оказались выбранными хорошо, и теперь в ожидании того же живет у Веры Павловны Лиза, — вошла Лиза и сказала, что приехала к Вере Павловне незнакомая гостья. Год раньше, полгода позже, гостья не застала бы Веру Павловну дома в это время: был второй час; но теперь Вера Павловна вот уже около года мало отлучалась из дому днем, да и вечера у нее свободны лишь не очень давно: она кормила грудью Володю, будущего Владимира Александровича; теперь будущему Владимиру Александровичу было уже около года, кормление грудью кончилось, и уж несколько месяцев будущий Владимир Александрович соглашался предоставить матери довольно свободно распоряжаться своим временем. Но мать все-таки гораздо на меньшее время и редко бывала не дома, чем прежде и после. Итак, благодаря неизвестному для гостии влиянию Владимира Александровича, гостья застала Веру Павловну дома. Вышедши в зал, Вера Павловна увидела блондинку среднего роста, с красивым, очень красивым, но еще более добрым и честным лицом. Наряд гостии был прост, но все-таки показывал, что она девушка очень небедная: платье самого простого покроя было из довольно дорогой материи; шляпа, часы, чрезвычайно маленькие; довольно крупные брильянты.

— Я приехала к вам не с визитом, а знакомиться, если вы захотите продолжать со мною знакомство, — сказала гостья, назвав свою фамилию и объяснив, кто она. — От одного из моих друзей я услышала очень подробный рассказ о вашей мастерской, — она очень заинтересовала меня. Мне бы хотелось самой заняться подобным делом, — я приехала посмотреть, — и если вы захотите меня учить, поучиться, как вести такое дело.

Вера Павловна очень была рада. Они — она и гостья — поговорили довольно долго, понравились друг другу. Дождавшись того, что будущий Владимир Александрович захотел покушать, потом уснул, Вера Павловна предложила гостье посмотреть на мастерскую.

Письмо Катерины Васильевны Полозовой¹

Милая Полина, мне так понравилась совершенно новая вещь, которую я недавно узнала и которой сама теперь занимаюсь, что хочу описать ее тебе; я уверена, что и ты ею заинтересуешься, но главное, может быть, ты найдешь возможность сама заняться чем-нибудь подобным: это так приятно, мой друг. Я очень желала бы для тебя, чтобы ты нашла эту возможность.

Вещь, которую я хочу описать тебе, — мастерская, собственно, две мастерские, устроенные по одному принципу женщиною, с которою я подружилась вот уже месяца два и которой теперь помогаю с тем условием, чтоб через несколько времени она помогла мне сделать то, что удалось сделать ей. Эта женщина — Вера Павловна Кирсанова, еще молодая дама, очень добрая, веселого характера, простая, совершенно в моем вкусе, хоть и вовсе не похожа на твою Катю, такую смирную и тихую: она очень бойкая и живая. Но ты знаешь, я люблю таких, которые не похожи на меня — ведь и ты вовсе не похожа на меня. Я с нею познакомилась прямо по этому делу — приехала, сказала, что, узнавши кое-что о ее мастерской, — я слышала только об одной, — я заинтересовалась устройством этой мастерской и приехала видеть ее. Она повела показать мне мастерскую, и я расскажу тебе впечатления моего первого посещения; они были так новы для меня, что я вписала их в свой дневник, который у меня был давно брошен, но в последнее время возобновился по обстоятельству, о котором скоро расскажу тебе подробно; а впрочем, так и быть, скажу два слова теперь же: я полюбила одного очень оригинального человека, с которым, кажется, мы уж не расстанемся. Но все-таки не в этом дело, об этом после побольше, а теперь ведь я взялась за перо с тем, чтоб описывать тебе впечатления первого моего посещения мастерской Кирсановой. Я, разумеется, дополняю теперь свой дневник подробностями, которые узнала после, но мне приятно, что в нем осталось записанным первое мое посещение и что в нем первые впечатления сохранили свою свежесть. Теперь, может быть, я и забыла бы сказать о многом, что тогда поразило меня и что теперь кажется самой обыкновенной вещью. Чем больше становится она для [меня] обыкновенной, тем больше я привязываюсь к ней, потому что она вещь очень хорошая.

Швейная мастерская — что же такое я увидела, как ты думаешь? Мы остановились у одного из подъездов большого дома в Лавочной улице, между Сергиевской и Фурштадтской. Вера Павловна повела меня по хорошей лестнице — знаешь, одна из тех лестниц на улицу, на которых живут люди, занимающие квартиры в 600, в 800 руб. У одной из дверей третьего этажа она позвонила и, я увидела себя в большой зале, с роялем, порядочной мебелью, — одним словом, комната имела такую меблировку и такой вид, как

¹ В оригинале первоначально другая фамилия — Хвойницкой. — *Ред.*

будто [я] вошла в квартиру семейства, проживающего три-четыре [тысячи] рублей в год. «Это мастерская? И это одна из комнат квартиры, занимаемой швеями?» — «Да, но ведь эта комната — приемная и зал для вечерних собраний, пойдемте по другим комнатам, в которых собственно живут швеи, они теперь в рабочих комнатах, и мы никому не помешаем нашим осмотром».

Вот что увидела [я] при этом обзоре и [что] пояснила мне Вера Павловна.

Помещение мастерской образовалось из трех квартир, выходящих на одну площадку и обратившихся в одну квартиру, когда растворили заделанные двери из одной в другую. Квартиры эти раньше отдавались за 700, 550 и 425 рублей в год — всего за 1 675 руб.; но, отдавая их все вместе, по контракту на пять лет, хозяин дома [согласился] уступить их за 1 250 рублей. Всего в мастерской 20 [комнат], из них 2 очень большие, по 4 окна: одна служит приемною, другая столовою; в двух других, также очень больших, по три окна, работают; в остальных живут. Мы (я все говорю про свое первое посещение) прошли пять или шесть комнат, в которых живут девушки, — в тех комнатах, которые побольше, по четыре, в других — по три и по две. Меблировка этих комнат очень порядочная, красного дерева или ореховая, в некоторых есть большие стоячие зеркала, в других хорошие трюмо, — много хороших кресел, диванов, — мебель в различных комнатах разнокалиберная, — почти вся она постепенно покупалась за дешевую цену по случаю. Комнаты имеют такой вид, как в квартирах чиновничьих семейств средней руки — в семействах старых начальников отделения или нестарых столоначальников, которые скоро будут начальниками отделения. Мы вошли в рабочие комнаты, и девушки, занимающиеся в них шитьем, точно так же показались мне одетыми, как дочери, сестры, молодые жены этих чиновников: на одних были шелковые платья из простеньких шелковых материй, на других барежевые, кисейные; лица имели также ту мягкость и нежность, которые развиваются только от жизни в довольстве. Все это было очень странно. Я рассказываю тебе коротко, но тогда разглядывала все до последней мелочи с удивленным любопытством. В рабочих комнатах мы провели довольно много времени, я познакомилась тут же с некоторыми из девушек, — степень развития их была неодинакова: одни говорили уже совершенно языком образованного общества, были знакомы с литературой, как наши барышни, имели понятие и об истории, и [о] чужих землях, и обо всем, что составляет обыкновенный круг понятий барышень в нашем обществе; это, конечно, те, которые уж давно в мастерской; развитие других, поступивших недавно, конечно, было меньше, но все-таки и с ними можно было говорить, как с девушками, уже имеющими некоторое образование. Таким образом, мы дождались обеда. Он состоял из трех блюд: в тот день был рисовый суп, разварная рыба и телятина. После обеда на столе явились чай и кофе,

кому что было угодно. Обед был настолько хорош, что я поела со вкусом и не почла бы себе большим лишением жить на таком обеде, — а ведь ты знаешь, что мой отец имеет хорошего повара. Вера Павловна сказала мне, что в кухмистерской такой стол стоит 40 копеек, но что самой компании он вообще обходится с хлебом (но не считая чая и кофе) от 6 до 7 рублей, — а за столом было больше 40 человек, — правда, в том числе несколько детей.

Итак, мне говорили, и я знала, что я буду в мастерской, в которой живут швеи, что мне покажут их комнаты, что я буду видеть швей, что я буду сидеть за их обедом, — вместо того я видела несколько соединенных в одну квартиру комнат людей небедного состояния, видела девушек среднего чиновничьего или небогатого помещичьего круга, была за обедом, небогатым, но удовлетворительным даже для меня, — что ж это такое? И как же это возможно?

Когда мы возвратились к Вере Павловне, она и ее муж объяснили мне, что это вовсе нетрудно. Между прочим, Кирсанов тогда написал мне для примера небольшой расчет на лоскутке бумаги, который уцелел между страниц моего дневника. Я перепишу его для тебя, но раньше объясню.

Вместо бедности — довольство, вместо грязи — не только чистота, даже некоторая роскошь комнат, вместо грубости — порядочная образованность, — все это производится двумя причинами: с одной стороны, увеличивается доход швей, с другой — достигается очень большая экономия в их расходах.

Ты поймешь, отчего они получают больше дохода: ту долю, которая оставалась в прибыли у хозяйки, получают они сами, потому что работают на свой счет. Но это не все. Работая на свой счет, они очень бережливы и на время, и на материал работы, — понятно, оттого работа идет быстрее, и расходов на нее меньше.

Ты поймешь, что и в расходах на их жизнь много сбережений. Они покупают все большими количествами, купцы, у которых они берут, знают, что их мастерская [платит] очень аккуратно; вещи выбираются внимательно, с знанием толку в них, со справками, — конечно, все покупается дешевле и лучше, чем вообще приходится покупать теперь простым бедным людям. Кроме того, многие расходы становятся совершенно ненужными или чрезвычайно уменьшаются, — подумай, например, об одном: ходить каждый день в магазин за две, за три версты — сколько от этого износится лишней обуви, изотрется лишнего платья? Подумай о самых мелких пустяках: если не имеешь дождевого зонтика, это значит уж терпеть сильный убыток. Простой холстовый зонтик стоит, положим, 2 рубля, в мастерской живет 25 швей, на зонтики для каждой было бы 50 рублей, но когда они живут вместе, когда выходят из дому только, когда хочется и когда им удобно, конечно, не будут

многие вдруг выходить из дому в дождь. Они нашли, что пяти дождевых зонтиков совершенно достаточно. Это зонтики шелковые, хорошие, каждый стоит 5 рублей, — всего расхода на дождевые зонтики — 25 [руб.]. Ты видишь, что они пользуются вместо дрянной вещи хорошей вещью, и все-таки эта вещь обходится им вдвое дешевле. Так со многими мелочами, которые составят очень большую важность, если сосчитать их все вместе. Почти так — с квартирою, почти даже со столом. Теперь тебе понятен будет расчет, который сделал мне для примера Кирсанов, когда я была у них в первый раз. Написавши его, он сказал мне вот что?

«Разумеется, я не могу наизусть сказать вам точные цифры, да и трудно было бы найти тут точные цифры, потому что, вы знаете, у каждого коммерческого дела, у каждого магазина, у каждой лавки своя особая пропорция между различными статьями доходов и расходов, в каждом семействе тоже свои особые степени экономии в делании расходов и особые пропорции между различными статьями их. Я вам поставлю цифры только для примера и, чтоб пример был убедителен, буду брать такие, которые вообще больше тех, какие вы найдете на самом деле почти во всяком коммерческом предприятии и почти во всяком хозяйстве. Попробуйте же посмотреть, что выйдет в нашем примерном счете.

Доход, который выручается коммерческим предприятием за продажу товаров, распределяется на три главных части: одна идет в жалованье рабочим, другая — на остальные расходы предприятия: наем помещения, его освещение, покупку материалов для работы; третья остается в прибыль хозяину. Мы положим для примера, что выручка разделяется между этими частями в такой пропорции: на жалованье рабочим идет половина дохода, на другие расходы — четверть, на прибыль хозяину остается также одна четвертая. Это значит, что если выручается двести рублей, рабочие получают из них 100, на другие расходы идет 50, в прибыль хозяину остается 50. Посмотрим, что будут получать рабочие при таком порядке, как в нашей мастерской.

Они получают свою плату — 100 руб.

Та доля, которая при другом порядке остается у всякого хозяина — 50 р. — поступает также в их руки, потому что хозяева сами они.

Работая из своего материала, они, конечно, осторожнее, внимательнее, бережливее в его употреблении, меньше¹ тратят его попусту; содержание помещения стоит им гораздо дешевле, — например, у нас вы видите, что мастерская помещается в двух комнатах, отделенных от огромной квартиры; за квартиру платится 1 250 р., в ней 20 комнат, эти две комнаты хоть не самые большие, но все-таки больше почти всех остальных; поэтому вместо 125 руб-

¹ В оригинале описка: больше. — *Ред.*

лей положим, что надобно платить за них 200 рублей, — но ведь при обыкновенном устройстве помещение для мастерской, в которой занимается 25 человек, стоило бы, по крайней мере, 500 руб., — видите, какое огромное сбережение, — больше чем наполовину; так и во всех остальных расходах по содержанию предприятия, — но мы положим сбережение не на половину, а только на третью часть, — из 50 рублей сберегается 16 руб. 66 коп.

Вот мы уже набрали, что наши рабочие получают вместо 100 рублей 166 р. 66 к.

Но в самом деле они получают больше; если они, работая на свой счет, бережливы на материал, то ведь они точно так же бережливы и на время, — они меньше тратят его попусту, они работают усерднее, — от этого работа идет быстрее, лучше, — положим, что от этого выигрывается в успехе работы только одна пятая доля лишняя, — что в то время, когда при обыкновенном небрежном ведении работы было бы сделано пять штук товара, будет сделано при их очень усердном труде 6 штук; от 166 руб. 66 коп. одна пятая доля — 33 руб. 33 коп.

Вот мы и сосчитали, что вместо 100 рублей, которые они получают при другом порядке, при нашем порядке они получают вдвое больше — 200 руб.

Разница в средствах между двумя людьми уж огромная, если один получает вдвое больше другого: когда, например, один чиновник получает тысячу рублей жалованья, а другой вдвое, и семейства у них одинаковы, то все у второго уж гораздо изобильнее и лучше, чем у первого, — а на маленьких доходах эта разница еще заметнее. Вот уж и понятно, что образ жизни наших рабочих весьма много отличается от образа жизни других, — но это не вся их выгода, далеко нет. Кроме того, что они получают гораздо больше, они делают свои расходы гораздо экономнее. Начнемте с того, что они все берут оптом, по самой дешевой цене, в самое выгодное время; вообще все получают на самых выгодных условиях. Это очень большое сбережение. Возьмем один пример. Они нанимают свою квартиру за 1 250 рублей. В ней 20 комнат, из них две очень большие, по 4 окна, две тоже большие, по 3 окна, остальные 16 почти все имеют по два окна. Когда эти комнаты были разделены на три квартиры, и когда хозяин не имел такой уверенности в исправной уплате денег и в том, что его квартиры будут заняты постоянно, он не мог взять за них меньше 1 675 рублей, — вы видите, уж очень большая уступка от найма в большом размере. Но их выигрыш от нашего порядка гораздо больше. Ведь каждая из них отдельно нанимала бы одну комнату, очень маленькую и плохую, или угол в комнате. Попробуем рассчитать, сколько было бы взято денег за такое помещение с одиночных бедных жильцов, занимающих углы, как занимали бы они в таких комнатах. В 16 комнатах жило бы по 3 — 4 человека, каждый платил бы по крайней мере 3 рубля 50 к. в месяц, — это составит 10 руб. 50 к. за комнату (я беру слишком мало), за 16 комнат — 168 рублей в месяц;

в двух комнатах, где по три окна, жило бы по 5 человек — это будет 17 руб. 50 к. с комнаты, с двух — 35 рублей; в двух самых больших комнатах жило бы по 8 человек — по 3 руб. 50 к.; это будет по 28 рублей за комнату, с двух комнат — 56 руб.; теперь, если сложить, выйдет всего: 168 руб. плюс 35 рублей, плюс 56 рублей = 259 руб. в месяц, в год — 3 108 рублей; а я считал слишком мало жильцов, их было бы, по всей вероятности, больше. Видите ли, что за помещение, за которое брали бы с одиночных жильцов 3 108 рублей, при нашем порядке платится только 1 250 руб. — это значит, что за каждый рубль они получают столько помещения, за сколько при другом порядке брали бы с них 2 руб. 49 к., почти в два с половиной раза [больше]. Очень похожа на эту выгода в приобретении многих других удобств и вещей. Но мы возьмем самую умеренную, слишком малую пропорцию этой выгоды в общей сложности покупок: в квартире они выигрывают от нашего порядка 1 руб. 50 к., — мы возьмем, что они от нашего порядка вообще выигрывают только 50 к. на рубль, что в общей сложности им обходится при нашем порядке в 1 рубль вещь, которая иначе обходилась бы в 1 руб. 50 к. Это значит, что за свои 200 руб. они приобретают столько вещей, что при другом порядке не могли бы приобрести их меньше как за 300 руб. — Но это еще не все. При таком устройстве их жизни они вовсе не имеют надобности в некоторых расходах, неизбежных при обыкновенном порядке, — здесь с ними никто не может подраться, они не должны тратить денег на то, чтоб откупиться от неприятностей. В других случаях очень много сокращается количество товара, нужное на удовлетворение известной потребности. Возьмем в пример обувь. Наверное каждая из них изнашивала [бы] ее вдвое больше, если б должна была ходить в мастерскую с квартиры, а не имела ее в другой комнате той же квартиры, где живет. Почти то же [должно] сказать об одежде. Почти то же надобно сказать о провизии для стола: готовить кушанье на 40 человек значит сберегать больше чем наполовину дров, больше чем наполовину посуды, больше чем на третью долю провизии сравнительно с тем, как если бы готовилось 40 обедов на 40 человек. Но мы положим опять самую умеренную пропорцию общего сбережения, — возьмем, что сберегается в этом отношении только одна четверть расходов, — это значит, что при нашем порядке нужно товаров только на 1 рубль там, где при обычном, разрозненном порядке жизни было бы нужно товаров на 1 руб. 30 к., — это значит, что товары, которые при обычном порядке покупались бы за 300 рублей, доставляют им при их образе жизни столько¹ удобств, сколько при разрозненной жизни доставляло бы количество товаров, за которое при этом разрозненном порядке надобно было бы заплатить 400 руб. Вы видите, что наш порядок дает им 200 руб. там, где они при обычном устройстве работы имели бы только 100 руб., что с 200 рублей они живут

¹ В оригинале описка: сколько. — Ред.

при нашем порядке с такими удобствами, с какими при разрозненной жизни не могли бы жить меньше как на 400 руб. Вот вам и вся разгадка дела: наш порядок дает им возможность жить в 4 раза лучше, чем обычный разрозненный порядок работы и жизни. Сравните жизнь двух одинаковых семейств, из которых одно проживает в год одну, другое — четыре тысячи рублей: конечно, вы найдете громадную разницу между ними и в квартире, и в платье, и в столе, и во всем, — вот насколько могут и участницы нашей мастерской лучше жить сравнительно с швеями, не пользующимися таким порядком работы и жизни. Удивительно ли после этого, если вам показалось, что жизнь наших [швей] вовсе не похожа на жизнь, какую только и могут вести швеи при обычном порядке?»

Вот какое чудо увидела я, милая Полина, и вот как просто оно объясняется, — и я теперь так привыкла к нему, что мне кажется уже странным, как могла я тогда удивляться, как могла не ожидать, что все это найду так, что все это должно быть и не может быть иначе. Пожалуйста, напиши, имеешь ли ты какую-нибудь возможность заняться тем, к чему я теперь готовлюсь, — устройством какой-[нибудь] мастерской по этому порядку? Это так приятно, мой друг, что я советую тебе всячески отыскивать возможность для этого. И если ты найдешь ее, — о, тогда не только я, но и Вера Павловна уж не оставит тебя без самых полных описаний всего этого порядка во всех подробностях и без рассказов с том, какими осторожными, постепенными, верными мерами дошла Вера Павловна до заведения такого порядка. Твоя К. П о л о з о в а ¹.

Р. С. Я все забываю сказать тебе о другой мастерской, потому что заговорила о той, которую увидела первую. Вторая мастерская, которою управляет теперь не Вера Павловна, а одна из ее знакомых, основана гораздо раньше первой, и поэтому все успело устроиться еще лучше, чем в той, которую я описываю тебе. Это естественно, потому что с каждым лишним годом приобретаются новые средства, и самый порядок жизни гармонируется все больше и больше. В подробностях устройства много разницы, потому что все приспособляется к обстоятельствам. Например, в этой старшей мастерской, кроме тех швей, которые живут в ней, есть десять участниц, замужних женщин, которые живут отдельно. В новой мастерской таких участниц еще только четыре. В новой мастерской еще нет ни одной семейной квартиры, в старой мастерской живут уже три замужних женщины с мужьями и детьми. Два из этих семейств занимают по две комнаты, одно — даже три, потому что муж швеи, артельщик, получает порядочное жалование. Разумеется, тут особые счета, которые, однако, очень просты. Старая мастерская несколько больше новой, — в ней около 40 участниц, а в новой только 30; помещение старой мастерской почти вдвое больше, и вообще в ней все уж развилось много шире, чем в новой, как я тебе и сказала.

¹ В оригинале — К. Хвойницына. — Ред.

ГЛАВА ПЯТАЯ

[I]

Знакомство с Полозовой¹ скоро привело к развязке тех отношений, которые еще оставались отчасти неопределенны для Веры Павловны, и поэтому роль Полозовой в ее истории довольно важна.

Полозова² говорила в своем письме к подруге, что много обязана мужу Веры Павловны: действительно, Кирсанов имел случай оказать ей важную услугу года за три перед тем, как она познакомилась с Верой Павловной. Но до этого дела мы скоро дойдем, если будем рассказывать теперь все по порядку, а лучше ж рассказывать по порядку.

Отец Катерины Васильевны, отставной ротмистр, прокутил в молодости своей довольно большое родовое имение и, когда прокутил, то вышел в отставку, чтоб остепениться и заняться устройством себе нового состояния. Он был человек энергичный, ловкий; собравши все последние крохи, оставшиеся у него, он увидел у себя в руках тысяч пять, пустил их в хлебную торговлю, начал брать мелкие подряды, бил на все руки, хватался за всякое выгодное дело, приходившееся по его средствам, и лет через 10 имел изрядный капитал. Заслужив репутацию человека солидного и оборотливого, он не имел особого труда выбрать самую богатую невесту из всех купеческих дочерей в двух губерниях, в которых шли его торговые дела, и взял за женою чуть ли не 200 тысяч. Тогда ему было лет 40, и это было лет за 20 перед тем временем, как мы видели его дочь вошедшею в дружбу с Верою Павловной. Через два года жена умерла от болезни, бывшей следствием рождения дочери, отец остался опекуном над малюткою и не захотел жениться во второй раз отчасти потому, что не хотел давать дочери мачеху, отчасти потому, что и не было надобности искать нового приданого, когда уж бывшее в руках дошло до 300 [тысяч]. Приложив свои прежние деньги к жениным, он повел дела уже весьма широко и стал миллионером. К откупам он имел какое-то отвращение, а занимался только подрядами и торговыми спекуляциями. Через несколько времени провинция показалась ему тесна для его деятельности, и он переселился в Петербург. Дела его росли и росли. Так шло до очень недавнего времени, но на старости он было срезался: погубила гордость и горячность. У него был громадный подряд, а он поспорил, поссорился с одним человеком, нужным по этому подряду. Этот человек его и подрезал. Товар — сапоги, холст, не помню что — был забракован, кроме того, оказались какие-то провинности ли, злонамеренности ли, — не знаю хорошенько, но только дело повернулось так, что все три-четыре миллиона ухнули, и Полозов³ под 60 лет остался почти

¹ В оригинале — Хв. — Ред.

² В оригинале — Хв. — Ред.

³ В оригинале — Хв. — Ред.

нищий. То есть нищий перед недавним, — но так, без сравнения с недавним, он жил хорошо: у него осталась доля в каком-то стеариновом заводе, он сделался управляющим этим заводом, с хорошим жалованьем, кроме того, оставалось еще несколько десятков тысяч. Если б такие остатки остались у него лет 15, даже 12 назад, их было бы достаточно, чтоб снова подняться. Но в 60 лет подниматься уж тяжело, и Полозов не думал подниматься, — он думал только о том, как бы поскорее устроить продажу завода, акции которого почти не давали дохода и падали. В продаже было единственное средство спасти деньги, лежащие в акциях; выдать замуж дочь, которую [он] сильно любил, — на приданое ей он назначил большую часть оставшегося у него, оставивши у себя тысяч 30—40 в пятипроцентных билетах, которые тогда на одно время пошли было в большую честь, и с этим доходом в 1 500 — 2 000 рублей спокойно, втихомолку, доживать век, вспоминая о прошлом величии.

[II]

Старик очень любил дочь, и Катерина Васильевна в самом деле стоила того, чтоб [ее] любить: она была очень добрая девушка, тихая, кроткая, без всяких претензий в то время, как отец был богат, гордая теперь, когда отец упал; раньше довольная всем — теперь грустная: удар, который подрезал отца, подрезал и ее, и тоже со стороны потери богатства, только не собственно по потере богатства, а по особенному обстоятельству, — по потере второго жениха. Но если этот потерянный жених был второй, то, значит, был раньше его первый, и вот в истории этого-то первого жениха принимал участие Кирсанов.

[III]

Кирсанов не занимался практикою, но считал себя не вправе отказываться бывать на консилиумах. А в это время — так, через год после того, как он стал профессором, — его приглашали на консилиумы все практикующие медицинские тузы. Причин было две: во-первых, оказалось, что, действительно, есть на свете Клод Бернар и живет в Париже: один из тузов, ездивший неизвестно зачем [туда] с ученою целью, собственными глазами видел Клода Бернара, как есть живого Клода Бернара, настоящего, отрекомендовался ему по чину и званию, орденам и знакомству, и Клод Бернар, послушавши его с четверть часа, сказал ему: «напрасно вы приезжали изучать успехи медицины в Париж, вам незачем было выезжать для этого из Петербурга». Туз принял эти слова за аттестацию своих знаний, — и не ошибся в этом, ошибся разве в смысле аттестации, — и, возвратившись, произносил имя Клода Бернара не менее десяти раз в сутки, прибавляя не менее пяти раз «мой ученый друг» или «мой знаменитый товарищ по науке» — как же после этого было не звать Кирсанова на консилиумы? — согласитесь, нельзя не звать. А вторая причина была еще важнее:

от Кирсанова нельзя было опасаться, что он станет отбивать практику, — не только не отбивал — и по насильной просьбе не брал, — ведь это вещь: если у больного приближается неизбежный, по мнению туза, карачун, и по злонамеренному велению судьбы нельзя сбить больного с рук ни водами, ни какою другою заграницею, то у некоторых — должно быть, только у некоторых — медицинских тузов существует обычай сбивать его на руки другому медику, которому они, пожалуй, рады заплатить деньги, только спаси меня от такого неблагонамеренного больного, который в самом деле опасно болен, я таких больных не люблю. Кирсанов даже и по просьбе желающего скрыться туза редко брался за лечение больного, обыкновенно рекомендовал кого-нибудь из своих приятелей, занимающихся практикою, а сам оставлял себе только те очень редкие случаи, которые интересны в научном отношении. Как же не приглашать на консилиумы такого собрата, известного Клоду Бернару, «моему ученому другу» или «другу нашего знаменитого собрата» и практики не отбивающего?

Поэтому, когда случилась надобность сделать консилиум в доме Полозова, — у Полозова, тогда еще миллионера, доктором был, конечно, один из козырных тузов, — то был приглашен Кирсанов. Консилиум составлялся над Катериною Васильевною. Исследовав больную, Кирсанов сказал собратам туза, что они могут ехать, куда им нужно, а он останется наблюдать больную, и козырный туз, пользовавший Катерину Васильевну, бежал с быстротою оленя и с восторгом освобожденного узника. В самом деле, казус был трудный: нет никакой болезни в больной, а силы больной падают чрезвычайно быстро, и если так будет продолжаться, то она протянет ноги через две-три недели. Какая болезнь у нее, туз не мог доискаться и потому нашел, что у нее прекращение питания нервной системы, — *Atrophia nervorum*; бывает ли на свете такая болезнь, я не знаю, но если бывает, то согласитесь, что это самая плохая штука для медика, стоящего на том, что у него все больные выздоравливают.

Расспрашивали, исследовали больную, — больная отвечала очень спокойно, с большою готовностью; расспрашивали ее горничную, как водится, горничная заливалась слезами и отвечала на все также очень хорошо, но, кроме прекращения питания нервов, *Atrophia nervorum*, никакого другого расстройства нельзя было отыскать. Так все и согласились, что пользующий врач прав, действительно, надобно [признать] у больной *Atrophia nervorum*, вещь, против которой в науке не существует никаких средств. Один Кирсанов молчал. «Какое же ваше мнение?» стали допытываться у него. «Я недостаточно исследовал больную. Я еще останусь здесь — это случай интересный». Когда все разошлись, Кирсанов послал горничную спросить у больной, может ли она принять его. «Может». Она встретила его с улыбкою, наполовину грустною, наполовину насмешливою.

[IV]

В самом деле, Катерина Васильевна могла улыбаться над докторами, потому что, если б у нее и была *Atrophia nervorum*, то была бы лишь одним из симптомов болезни, а не самою болезнью. Болезнь состояла просто в том, что Катерина Васильевна отчаянно тосковала, а тоска произошла тоже немудреным образом. За девушкою, наследницею громадного состояния, женихи, конечно, уивались сотнями. Из них один понравился ей, и очень. Его фамилия, собственно, не нужна, — пусть он будет обозначаться у нас хоть буквою Ж. Отец рано заметил, что дочь начинает пристальнее вслушиваться в его речи, чем в речи других, и очень благоразумно поспешил предупредить ее: «друг мой, Катя, за тобою очень сильно ухаживает Ж., — но остерегайся его — он очень дурной человек: мот и волокита; он прокутит твоё состояние, будет оскорблять тебя, ты с ним была бы так несчастна, что я желал бы лучше видеть тебя умершею, чем его женою, это было бы легче и для меня, и для тебя». Катерина Васильевна любила отца и привыкла очень уважать его мнение, он никогда не стеснял ее, она была уверена, что он говорит единственно по любви к ней, а главное, она была девушка очень мягкого характера, — есть такие натуры, может быть, самые очаровательные из всех, хотя, конечно, очень редко счастливые, у которых вся сила характера постоянно обращается на то, чтоб не огорчать любимых людей. Эти люди кажутся пассивными, слабыми, они стараются не бороться, они говорят: «как вы думаете, так я и сделаю», но вы ошиблись [бы], думая, что они неспособны к инициативе — нет, для них только удобство их не так дорого, как удобство любимых людей, они только слишком расположены находить себе довольство и радость в довольстве и радости других, — кто охотник служить другим, у того столько дела, что редко вы увидите [его] занятого чем-нибудь другим, потому редко имеете случай заметить в характере таких людей что-нибудь, кроме того, что они добры, уступчивы и заботливы; но когда обстоятельства повертываются так, что или нужно им действовать независимо, брать инициативу для пользы любимых людей, или когда случается небольшой промежуток времени, в который нечего заботиться о других и есть свобода подумать о самом себе, тогда вы видите, что и у них нет недостатка ни в отваге, ни в твердости характера. Катерина Васильевна была таким человеком. Поэтому, выслушав слова отца, она сказала: «да, Ж. мне нравится, но вовсе не настолько, чтоб я стала пренебрегать вашим мнением; я брошу быть близкою к нему». Это и не было тогда особенною жертвою, — привязанность ее к Ж. была еще очень слаба. Она стала холодна с ним и очень может быть, что все обошлось бы благополучно, но отец, человек резкий и раздражительный, пересолит. Раз как-то он сказал колкость Ж., тот давно уже заметил, что старик косится на него, захотел испытать, не от влияния ли отца стала холодна с ним дочь, и отвечал тоже колкостью; старик в ответ довольно ясно намекнул, что есть

пройдохи, гоняющиеся за богатыми невестами, которых потом оби-рают и тиранят. Ж. рассчитал, что теперь ему следует играть роль жертвы, и перестал являться к Полозовым. Катерина Васильевна очень спокойно выдержала его удаление, держала себя в те дни как всегда, да и на самом [деле] была опечалена не так много; и видя, что дочь не вспоминает о Ж., Полозов через неделю забыл о нем. Но Ж. именно с той поры начал настойчивое волокитство, которое удалось, — он стал писать Катерине Васильевне, — сначала по городской почте, потом через горничную, которая поверила искренности его отчаяния, — стала ему [верить] и Катерина Ва-сильевна, и любовь начала разгораться в ней. Она молчала и мол-чала. Но страдание сделалось, наконец, так сильно, что ее здоровье стало расстраиваться, — она молчала и об этом, и долго никто не обращал на это внимания. Когда отец посоветовал ей лечиться, оно уже много ослабело, а когда знаменитый медик увидел, что не мо-жет справиться с болезнью, опасность была уже близка. Отчего болезнь, — отец не мог догадаться, потому что со времени истории с Ж. прошло уже с полгода; после того целых три-четыре [месяца] Катерина Васильевна не показывала никакого вида, что эта исто-рия сколько-нибудь занимает ее, и кому ж пришло бы в голову обра-щать внимание на прекращение ухаживаний одного искателя, когда искателей был целый десяток и когда уж не один искатель был без всяких дурных последствий отставлен Катериной Василь-евной по совету отца?

[VI]

Но если тузы напрасно искали причину болезни, то Кирсанову нечего было много разыскивать, чтобы видеть, что в больной нет никакого физического расстройства, которое могло быть причиной болезни, что ее упадок сил происходит от какой-нибудь нравствен-ной причины. Он слышал, что отец и дочь находятся в очень хо-роших отношениях, а между тем отец не знал этой причины, — что ж это такое? Во всяком случае видно, что у девушки есть сильный характер, если она успела скрыть и от отца, с которым так близка, и от всех причину своего расстройства и если успела так долго скрывать самое расстройство, — ведь ясно было из объ-яснений пользующего медика, что расстройство не замечалось ни-кем очень долго. Кирсанов слышал от всех очень хорошие от-зывы о характере больной, о ее кротости, — но еще важнее, он сам видел, что прислуга очень привязана к ней — это было еще более важною рекомендацією в его глазах; но главною рекомендацією было впечатление того, как держала себя больная, — тихо, кротко, мягко, терпеливо, — не было в ней заметно никаких следов раздра-жения против кого-нибудь, против чего-нибудь, — она безответно принимала свою судьбу и твердо переносила ее. Кирсанов увидел в ней девушку, вполне заслуживающую сочувствия, и нашел, что следует заняться тем, нельзя ли как-нибудь помочь ей. Ему каза-лось, что вмешательство тут необходимо; конечно, и без него

раньше или [позже] разъяснится дело, и тогда отец сделает все, что можно, для спасения дочери; но не будет ли тогда слишком поздно? Если оставить все итти, как шло до сих пор, в девушке может — должна — явиться чахотка, и тогда уж никакая заботливость о ней не поможет.

— Жаль, что мы с вами никогда не встречались раньше, — начал он, — врачу надобно пользоваться доверием больного. А впрочем, может быть, мне удастся приобрести ваше доверие и с первого знакомства. Они не понимают вашей болезни. И, действительно, тут нужна небольшая догадливость. У меня есть предположение. И это предположение таково, что вы одна не могли бы скрыть характера вашей болезни. Нужно, чтоб кто-нибудь помогал вам. Кто же? Разумеется, горничная.

В улыбке больной уж не было насмешливости, а была только одна грусть.

— Как можно мне было получить доказательства, что я не ошибся в своей догадке? Разумеется, обратиться к горничной. Вероятно, она очень привязана к вам, не захотела бы выдавать. Но ведь я ее сбил бы, она спуталась бы. Ведь я стал бы расспрашивать не так, как они: мои вопросы были бы гораздо точнее, ближе к делу. Я узнал бы от нее все. А я ее не расспрашивал и не буду расспрашивать. Почему? А потому, что я держусь двух правил: действовать прямо, совершенно прямо, — следовательно, если мне нужно что-нибудь узнать о вас, то не обращаться к человеку, который стал бы упрекать себя в измене вам, когда я вынудил бы его открыть вашу тайну. Согласитесь, ведь это честное правило. А вот другое мое правило: против воли человека не следует делать ничего для него: свобода человека выше всего, выше даже жизни. Этих правил я [не] нарушаю никогда. Следовательно, если вам не угодно будет довериться мне, я не буду употреблять других средств удостовериться в вашей болезни. Если вы, доверившись мне, скажете, что вам не угодно выздоравливать, я вам не помешаю делать над собою, что вам угодно, — напротив, если причины, по которым [вы] поступаете, покажутся мне основательны, я готов помочь вам — почему ж не помочь, если в деле замешан интерес, который для вас выше жизни? Теперь я вам скажу в чем ваша болезнь, по моему мнению.

Кирсанов наклонился к уху больной и сказал шопотом: — вы хотите умереть и перестали кушать.

Больная вспыхнула.

— Я не прошу вас отвечать мне — к чему? теперь я это знаю. Но чего я еще не мог узнать — это причину вашей решимости. Об этом могу я спросить у вас?

Больная покраснела.

— Вам тяжело было бы отвечать? В таком случае я не смею спрашивать. Но я могу просить вас [позволить] рассказать вам о себе самом то, что может послужить к увеличению доверия между нами. Да? Благодарю вас. Такое решение, во всяком случае, по-

казывает, что вы очень несчастны. И у меня есть большое страдание. Я страстно люблю женщину, которая даже не знает и никогда не должна узнать, что я люблю ее. Я это говорю для того, чтобы показать, что я понимаю по себе возможность страданий, при которых принимаются такие решения, как ваше.

Больная смотрела на Кирсанова с сочувствием. Значит, дело было ясно.

— Быть может, у вас и у меня одна причина страдания, одинаковое чувство?

Больная вздохнула и покраснела.

— Прошу же вас верить, что никогда, не только против вашей воли, но без положительного вашего согласия я не сделаю ничего. Верьте этому. Это не то, что привилегия в вашу пользу по особому уважению моему к вам, — нет, это мое общее правило. Теперь, прошу вас, скажите мне, отчего ж это чувство делает вас несчастной? Вы не хотите отвечать? Но я все-таки не отступаю от своего правила. Теперь я почти наверное мог бы узнать от вашего батюшки то, что, мне кажется, нужно знать, — вероятно, ведь он имеет же какое-нибудь понятие о том, с кем вы знакомы, вероятно, даже и прямо знает, кого вы любите.

— Нет, — сказала больная, — он ничего не знает. Если б он знал, он догадался бы о моей болезни. А он не догадывается.

— Да? В таком случае моя решимость не расспрашивать вашего батюшку без вашей воли дает мне мало выигрыша над вами, но самый ваш ответ уже дает мне новую, почти несомненную догадку, — ваш батюшка не знает этого, — следовательно, он не одобрил бы вашего чувства к нему, иначе ведь вы попробовали бы сказать ему о нем прежде, чем принимать последнее решение. Да?

Больная потупила глаза.

— Теперь несколько слов. Я не говорил вам, что я никогда не лгу — я лгу, но только, когда лгать — более благородно. Я тоже не скажу вам, что я никогда не хитрю, — нет, я хитрю, но только, когда это честно. Вот, например, теперь — посмотрите, как я хитро говорил с вами — ведь я выведал из вас уж очень много, хотя вы не хотели сказать мне ни слова, кроме того, что один раз сказали «нет», — видите, какой я хитрый. Но зато ведь моя хитрость с вами все-таки честна. Это такой случай, который дает мне право хитрить с вами, — но лгать перед вами он еще не дает мне права, и поэтому я не могу солгать. Другой на моем месте, чтоб более войти в ваше доверие, стал бы говорить, что, вероятно, ваше чувство хорошо и что если ваш батюшка внушил вам убеждение, что он не одобряет его, то ваш батюшка неправ, — это почти всякий на моем месте сказал бы вам, хотя никто не думал бы этого. А я не скажу, потому что не имею права лгать. Ваш батюшка — человек очень богатый, о богатых людях много говорят в городе, поэтому и я знаю его характер. Его называют человеком умным, рассказывают, что он любит вас — правда это, что он любит вас?

— Правда.

— Я это знал. Смотрите же, что из этого выходит. Если он, который любит вас, не одобрил бы, по вашему мнению, вашего чувства, значит, он не мог бы иметь выгодного мнения о человеке, которого вы любите, — другие причины несогласия не могли бы остановить вас от разговора с ним о вашем чувстве, — если б дело было только в бедности любимого вами человека, вы все-таки попробовали бы убедить вашего батюшку. Смотрите ж, что я должен заключить из этого. Ваш батюшка, как все знают, человек опытный в жизни, знающий людей; вы неопытны; если он и вы расходитесь во мнении о каком-нибудь человеке, вся вероятность на той стороне, что ошибаетесь вы, а не ваш батюшка; эти мои слова как будто плохо могут внушить вам охоту довериться мне, — так?

— О, нет.

— Я человек хитрый: нет, я вижу дальше — вы можете сердиться на меня за них, вы можете почувствовать ко мне нелюбовь из-за них, но вы скажете: «он говорит честно, он не притворяется, он не лжет», значит я очень много выигрываю в вашем доверии тем, что говорю слова, которые другой почел бы лишающими меня вашего доверия. Вот видите, какой я хитрый. Но ведь мое мнение, что человек, к которому чувствуете вы расположение, не достоин вас, — ведь оно только предположение, — я не скрываю от вас, что я думаю так, но я еще не имею оснований ручаться, что я не ошибся, напротив, это очень может быть. Дайте же возможность узнать, не ошибаюсь ли я. Назовите мне этого человека, дайте возможность узнать, что он за человек. Для чего это нужно? Вот для чего: я хочу испросить ваше позволение прямо сказать вашему батюшке, в чем дело. Если вы позволите мне это, в таком случае ваше дело почти наверное может устроиться так, что вы останетесь довольны его развязкою. Если вы не согласитесь дать мне это позволение, я хоть имею почти полную [уверенность], что мой разговор с вашим батюшкой спас бы вас, все-таки не скажу ему ни слова. Вмешиваться в дела человека против его воли — никогда, никогда, это мое правило. Вы видите, вы ничем не рискуете, сказав мне его имя; от вас будет зависеть, буду ли я пользоваться этими сведениями, или нет, — что ж, это безопасно для вас.

— Но что ж вы хотите сказать моему отцу? — проговорила больная.

— Это зависит оттого, знает ли он его, или нет. Если нет, то, конечно, прежде всего пусть познакомится.

— Он знает его.

— Близко?

— Да.

— В таком случае я скажу вот что: чтоб он согласился на ваш брак с ним, — только с одним условием: назначить время свадьбы не сейчас, чтоб вы имели время хладнокровнее осмотреться, — только, больше ничего. Сопротивления вашему желанию никакого быть не должно; данное слово должно быть исполнено без

условно. Ваш батюшка должен указать: «пусть он будет твоим женихом; через два или три месяца», как вы и ваш батюшка согласитесь, «я ни одним словом, ни одним взглядом не буду удерживать тебя от венчанья, — а, между тем, полное покровительство мое вашим отношениям, как отношениям жениха и невесты». Вот что должен сказать ваш батюшка и должен сдержать свое слово. Поверьте, я не солгу перед вами в том, как мне покажется, в состоянии ли он сдержать такое слово. Если мне покажется, что нет, я скажу вам: не верьте ему и умирайте.

— Но он не согласится дать такое слово.

— Посмотрим. Он человек умный?

— Да.

— На этом все у меня и основано. С умными людьми легко иметь всякое дело. Если он умный человек, он согласится.

— Нет.

— Однако какая же вы стойкая! Но теперь затруднение только в том, что я не знаю вашего батюшку и потому не могу судить, настолько ли он умный человек, чтоб мог дать слово, которое должен дать и сдержать. Вы позволите мне посмотреть на него, чтоб узнать это? Само собою, в этом нашем разговоре не будет ни слова о вашем деле. Ведь теперь мне только еще нужно увидеть, что за человек ваш батюшка. Вы согласны на это?

— Да, если вы дадите честное слово, что не будете говорить с ним о деле.

— Я не даю особых честных слов, каждое простое слово должно быть честное слово. И притом зачем вам мое слово, какое бы то ни было? Если б я хотел действовать без вашего согласия, я мог бы пойти к нему и без вашего позволения и выдать вашу тайну. Но если вы не позволяете, я не пойду к нему. Кажется, этого довольно, чтобы вы могли быть уверены, что я не буду говорить ничего, на что не имею вашего согласия.

— Идите, — сказала больная.

Вошедши в кабинет Полозова, [Кирсанов] сказал, что еще не кончил исследования больной, но считает нужным отложить его окончание на полчаса и пришел посидеть с ним этот промежуток времени; что он надеется на благоприятный исход болезни, но пока еще не может сказать ничего решительного; и потом завел разговор, о чем вздумалось идти разговору. Он нашел старика действительно человеком умным и, возвратившись к его дочери, [сказал], что теперь совершенно ручается за его согласие.

— Но как же вы получите его? Вы скажете ему, что знаете о характере моей болезни?

— Зачем? это все-таки значило бы выдать вашу тайну. — Нет, я просто скажу, что у вас упадок сил, происходящий от нравственного страдания, что страдание это происходит от безнадежной любви, а безнадежность любви от вашей уверенности в том, что он не согласится, и что если он не согласится, то упадок сил будет продолжаться и приведет через несколько времени к смерти. Все

это правда, но если мы обязаны говорить только правду, то ведь мы обязаны говорить только ту правду, которую нужно говорить. Скажите же теперь имя.

Катерина Васильевна назвала имя, — нам не нужно знать эту фамилию, потому пусть она будет заменена здесь одной буквою Ж., с которой начинается. Но едва она произнесла его, как тотчас же сказала нетерпеливо:

— Нет, я напрасно это сделала.

— Вы раскаиваетесь, что доверились мне? Вы всегда вправе взять назад ваше доверие.

— Нет, я в вас верю, — я не знаю, как вы так скоро успели внушить мне полную веру в себя; но как же вы получите его согласие? Ведь вы не знаете, как это было: когда мой отец стал замечать, что Ж. ухаживает за мною, он сказал мне: «удаляйся этого человека, Катя, я скорее соглашусь видеть тебя умершею, чем видеть его женою, — это будет легче и для тебя, и для меня».

— Мало ли что говорится, не каждому слову, какое говорится, надобно придавать всю полную его силу, — почти всегда все надобно понимать гораздо легче, чем говорится.

— Нет, он сказал это решительно, так решительно, что я не сомневаюсь, он так чувствует и не откажется от этого чувства.

— А что ж, если б и так? Все-таки почти несомненно хорошая развязка. Ей нисколько не мешает то, что он не желает видеть вас его женою. Вы и он — оба люди неглупые. С умными людьми есть всегда возможность порядочно уладить всякое дело. Месяца в два постоянных продолжительных свиданий с Ж. [он может] увидеть, что ошибался в своем мнении о нем. Я не говорю, что ошибаетесь вы, — я вам это уже говорил, — если так, через два месяца вы отвернетесь от него, — если же ошиблись не вы, ваш батюшка протянет ему руку, только и всего. Я уверен, что он, как человек умный, поймет это. Я и иду поговорить с ним в этом смысле.

[VI]

Но со стариком не так легко было сладить, как с семнадцатилетнею девушкою. Полозов очень удивился, когда услышал, что упадок сил его дочери происходит от безнадежной любви к Ж.; он давно забыл о Ж.; слова, которые так глубоко врезались в память Катерины Васильевны, были сказаны им месяца три тому назад, когда ее страсть еще не была так сильна. Он давно решил, что эта история [не имеет] никакой важности, и так много и так долго видел подтверждение тому, что она не имеет важности. А вдруг обнаруженное ему имело слишком романический вид и не могло казаться правдоподобным [человеку], привыкшему вести исключительно практическую жизнь, смотреть на все с холодным благоразумием. Но когда, наконец, он принужден был поверить объяснению Кирсанова, он все-таки не мог понять всей серьезности дела. Он отвечал: «Ну да, фантазия ребенка, который по-

мучится и забудет. Мне счастье ее жизни дороже, чем угождение ее неопытным фантазиям». Когда Кирсанов довел его до крайности своею настойчивостью, он ударил кулаком по столу и вскрикнул: «Вы говорите, она может умереть, — ну что ж, пусть лучше умрет, чем будет несчастна, это легче и для меня, и для нее». Кирсанов увидел, что дочь была совершенно права, когда слова, раз сказанные ее отцом, приняла в полной силе их смысла и осталась убежденною, что напрасно вновь поднимать речь об этом, что решение отца — решение неизменное.

Тогда Кирсанов стал развивать ему свой взгляд на дело, — тот взгляд, который он добросовестно высказал больной. «Я не говорю о том, — сказал он, — что брак может не представлять такой страшной важности, если смотреть на него хладнокровнее: когда жена несчастна, почему не разойтись ей с мужем? Вы привыкли считать это недозволительным, ваша дочь, вероятно, воспитана вами в таких же понятиях, стало быть, для нее и для вас это действительно так важно, как вы думаете. А если брак решает судьбу безвозвратно, то, действительно, лучше дать ей умереть, чем допускать брак, в котором она будет несчастною. Но если я уверен, что вы не ошибаетесь в этом человеке, что он, действительно, дурной человек, то почему ж вы не надеетесь на рассудок вашей дочери? Страсть ослепляет тогда, когда встречает препятствия; дайте ей простор, и через несколько времени рассудок начнет пробуждаться. Я почти уверен, что если этот человек такой, каким вы считаете его, она разлюбит его, когда будет иметь свободу любить или не любить, — пусть он будет женихом, и через несколько времени она откажет ему сама».

Такая манера смотреть на вещи была слишком нова для Полозова. Он отвечал резко, что он в такие вздоры не верит, что он слишком хорошо знает жизнь, что он видел слишком много примеров безрассудства людей, чтоб полагаться на их рассудок. Напрасно говорил Кирсанов, что во всех тех случаях безрассудства, которые он видел, наверное было одно из двух: или безрассудство началось сгоряча, в минутном порыве увлечения, или человек, делающий безрассудство, не имел свободы, был раздражаем сопротивлением, — такие речи были уже совершенно тарабарщиною для Полозова. «Она безумная, и верить такому ребенку его судьбу было бы глупо. И это пройдет. Если уступать каждой фантазии неопытного человека, то он погибнет». С этих пунктов никак нельзя было сбить его.

Конечно, Кирсанов знал, что как ни тверды мысли человека, находящегося в заблуждении, но если другой человек, более развитый, более знающий, вернее понимающий дело, будет постоянно работать над тем, чтоб вывести его из заблуждения, заблуждение не устоит, — [это] так, но сколько времени возьмет борьба с ним? Кирсанов знал вперед, что и нынешний разговор не останется во все без влияния на Полозова, хотя и нельзя еще теперь заметить никакого колебания в его мыслях, — они все-таки начнут колебать-

ся, это неизбежно, это математически верное ожидание, — и если продолжать с ним такие разговоры, его мысли будут сломаны, — но когда? Старик силен в своих мыслях, он горд своею опытностью, он привык считать себя безошибающим, он тверд и упрям. Сломать его можно; нет сомнения, что Кирсанов может сломать его этою постоянною правильною борьбою холодных доказательств против убеждений всей его жизни, — но скоро ли? Наверное, нет. А в настоящем случае отсрочка слишком опасна, — долгая отсрочка наверное гибельна, а долгая отсрочка неизбежна при этом методическом способе спокойной борьбы. Кирсанов увидел, что надобно прибегнуть к крайнему средству. Оно рискованно, это правда, — но при нем только риск, а без него почти верная гибель, — а в нем риск на самом деле вовсе не так велик, как показалось бы человеку, менее твердому в своих убеждениях о неизбежности и неотвратности результатов, когда существуют причины. Но риск, хотя и не велик, все-таки серьезный. Из всей лотереи только один билет проигрышный, — нет никакой вероятности, чтобы вынулся он, — но если он вынется? Тот, кто идет на риск, должен быть совершенно готов не моргнуть, если б вынулся и этот билет. Он видел спокойную, молчаливую твердость девушки и был уверен в ней. А он вправе ли подвергать ее риску? Конечно, да. Теперь из ста шансов только один, что она не погубит своего здоровья в этом деле, — более чем наполовину шансов, что погибель будет быстра, — а тут из бесчисленных тысяч шансов будет один против нее. Пусть же она рискует в лотерею, повидимому, более страшную, потому что более быструю, но, в сущности, несравненно менее опасную.

— Хорошо, — сказал он: — я буду действовать сообразно вашему решению; если вы не хотите вылечить теми средствами, какие в вашей власти, я буду лечить ее своими, хотя они гораздо хуже. Завтра я соберу консилиум.

Возвратившись к больной, он сказал, что ее отец оказался упрям, упрямее, чем он ждал, и что надобно будет действовать против него более решительными средствами, чем простые слова.

— Нет, ничто не поможет, — грустно сказала больная.

— Вы уверены в этом?

— Да.

— Вы готовы к смерти?

— Да.

— Что, если я решусь подвергнуть вас риску умереть?

— Я давно уж вижу, что моя смерть неизбежна, что немного дней осталось мне жить.

— Видите, в том средстве, которое я хочу употребить, успех почти совершенно верен, но неудача — смерть; она почти невозможна, но все-таки надобно быть готову и на это. Когда остается только одно спасение — призвать в опору себе решение на смерть, эта опора почти всегда выручит; знаете, когда скажешь: «уступай

мне, или я умру», то почти всегда уступят; но знаете, ведь если не уступят, приходится умереть, — иначе нет расчета начинать дело, иначе — только стыд и положение хуже прежнего. И я убью вас, если не освобожу; вы согласны?

— Да.

— Не бойтесь, риска очень мало. Успех несомненен.

— Но что же вы хотите сделать?

— Я вам сказал: завтра я гораздо решительнее нынешнего потребую у него согласия. Если он не согласится, я убью вас.

[VII]

Конечно, почти во всяком другом подобном случае Кирсанов и не подумал бы прибегать к такому риску, — гораздо проще увезти девушку из дому, и пусть она венчается с кем хочет. Но тут дело было гораздо затруднительнее по особенному своему характеру. Кирсанов был убежден, что мнение отца справедливо, что если Катерина Васильевна соединит свою судьбу с Ж., то она будет слишком несчастна. Поэтому он был не вправе соединять ее с ним. Поэтому-то и оставалось единственно то средство спасти ее, на которое он решился, — средство, в котором, кроме шанса спасения, есть и шанс смерти.

На другой день собрался консилиум из самых высоких знаменитостей великосветской медицинской практики, — он набрал целых пять человек, самых отборных, так что на консилиуме при пяти человеках состояло восемь звезд: почти все медицинские звездные знаменитости таскают на себе свои звезды без пощады, без спуска. Так-то и нужно было Кирсанову, — звезды важное дело по части внушительно-убедительного действия. О, как бы я желал иметь звезду! Клянусь, на все готов, только укажите мне средство получить звезду!

Кирсанов говорил, все слушали; что он говорил, с тем все соглашались, потому что ведь, помните, есть на свете Клод Бернар и живет в Париже, да и кроме того, Кирсанов говорит такие вещи, которые, чорт их знает, и не поймешь, что это такое, правда или нет, — ведь он говорит по-новому, совсем не о том и не то, что мы знаем; то, что мы знаем, по его мнению, не больше как невежество, — так вот видите, и понять нельзя, да и сказать того нельзя, что невразумительно для меня, уж тем менее можно противоречить: по второму твоему слову, посмотрит на тебя так, будто вслух скажет: «ах, ты невежда», — а шутя и заподлинно скажет это вслух, — как же противоречить? А если не противоречить, то ведь необходимо поддакивать с видом вполне понимающего, о чем идет дело, — как же иначе?

Кирсанов говорил, что он очень внимательно исследовал больную и совершенно согласен с мнением г. такого-то, пользующего больную, что болезнь неизлечима никакими медицинскими средствами, а агония в этой болезни очень мучительна, да и вообще

каждый лишний час, переживаемый больною, — лишний час страдания, и потому он считает обязанность консилиума составить определение, что по человеколюбию следует прекратить страдания больной приемом морфия, после которого она уже не проснулась бы. Объяснив это, он попросил собравшихся своих товарищей исследовать больную для того, чтобы принять или отвергнуть его предложение. Тузы исследовали больную, хлопая глазами, и, конечно, не могли найти того, что нашел Кирсанов. Вернувшись в далекий от комнаты [больной] зал консилиума, они положили: дать больной смертельный прием морфия.

Когда консилиум постановил свое определение, Кирсанов позвонил слугу и попросил его пригласить Полозова в комнату. Старик вошел. Один из звездоносцев сказал приличное грустно-торжественное и возвышенно-непонятное предисловие, прочитал ему постановление консилиума. Полозовахватило, как обухом по лбу; ждать смерти неизвестно когда, хоть скоро — да неизвестно же когда, и еще неизвестно, наверное [ли] — и услышать, что решено умертвить ее, и через полчаса не будет ее в живых, — это вещи совершенно различные. Кирсанов смотрел на него с напряженным вниманием: он был почти совершенно уверен в эффекте, но все-таки дело было возбуждающее нервы. Минуты две старик молчал, ошеломленный.

— Не нужно; она умирает от моего упрямства; я уступаю. Выздоровеет ли она?

— Конечно, — сказал Кирсанов.

Тузы рассердились бы, если б имели время рассердиться, то есть поняли, что Кирсанов поставил их актерами мелодрамы; но Кирсанов, велел слуге вывести потерявшегося Полозова, уже благодарил их за проникательность, с какою они отгадали его намерение, с какою поняли, что причина болезни — нравственное страдание, что нужно запугать упряма, который иначе, действительно, был бы причиною смерти дочери, которая, как они справедливо утверждали, уже недалеко от смерти, совершенно неизбежной без этой уступки со стороны отца. Тузы разъехались, очень довольные каждый тем, что выказал перед другими и засвидетельствовал аттестатом Кирсанова свою медицинскую проникательность; довольные и обилием гонорария за консилиум.

Кирсанов пошел к больной и сказал:

— Теперь ваши отношения к человеку, которого вы любите, совершенно зависят от вас. Вы победили и спасены. Вы не боялись риска, и смелость ваша вознаграждена успехом. Ваш батюшка покоряется необходимости. Он объявит вам это, как только я пущу его к вам. Но я не скоро отпущу его, — я должен сильно внушить ему, что, давая согласие, он должен давать его вполне и нисколько уж не мешать отношениям между вами и человеком, которого вы любите, развиваться так, как они будут развиваться сами собою. Я не отпущу его прежде, чем не доведу его до того, что он совершенно откажется от всякой мысли стеснять вас. Теперь мо-

жете быть спокойны: ваши страдания кончились благодаря вашей решимости.

Катерина Васильевна в восторге схватила его руку, и он едва успел вырвать ее, чтоб она не поцеловала ее.

После этого был долгий разговор с Полозовым, которому Кирсанов подробно развивал свою прежнюю мысль, что если Ж. человек плохой, то нужно только дать Катерине Васильевне достаточно времени чувствовать себя свободною от стеснения, и она сама успеет рассмотреть это; но что если отец будет хоть сколько-нибудь стеснять ее, он совершенно проиграет свое дело и погубит во второй раз свою дочь, едва спасенную.

Потрясенный внезапным эффектом консилиума, старик теперь был доступнее убеждениям. И притом он теперь смотрел на Кирсанова уже не теми глазами, как вчера, — вчера ему все представлялась самая натуральная мысль: «Я постарше тебя и поопытнее, не тебе меня учить, у тебя еще ветер ходит в голове», — а теперь он видел, что Кирсанов хоть и молод, но уж проучил его. Он смотрел и с уважением, и со страхом на этого человека, который так крепко повернул всеми, кем хотел повернуть.

— Неужели вы в самом деле дали бы ей смертельный прием? — спрашивал он.

— Еще бы! Разумеется, — совершенно равнодушно отвечал Кирсанов.

— И у вас достало бы духу?

— Еще бы на это не достало! Что за тряпка был бы я, если б колебался в таком простом деле.

— Вы страшный человек! — повторял Полозов.

— Это значит, что вы еще не видели страшных людей, — снисходительно улыбкою отвечал Кирсанов, вероятно, думая: «посмотрел бы ты на Рахметова, так увидел бы, что я овечка».

— Но как вы могли так повернуть всех этих медиков, весь этот консилиум?

— Будто трудно повертывать этих людей? — сказал Кирсанов тоном пренебрежения.

Не было конца таким вопросам и таким ответам, и, думая о своих вопросах, слушая его ответы, Полозов все живее и живее чувствовал: «да, это не нашего поля ягода: мы такие штуки сберегали для своих неудач, потому что нам их трудно делать, а ему, видно, в самом деле ничего не стоит это, что он готов их делать по делам людей, которых видит з первый раз от роду! Да, воротит, как медведь, и понимает вещи чуть ли не получше нашего брата; я резок, а он гораздо порезче, я вижу далеко, а он, должно быть, подальше». И он чувствовал, что Кирсанов берет над ним власть и что Кирсанов думает дельнее его. Долго Кирсанов ломал старика и наконец-таки уломал. Говорил ему теперь и такие вещи: «легко вас заставить сделать то, чего вы не хотите? А я заставил. Значит, понимаю, как надобно браться за дело. Поверьте же, что если я вам говорю, как надо делать, то значит, и надо так делать.

Я знаю». С такими людьми нельзя говорить иначе — им надобно наступать на горло. После трех-четырех часов борьбы [Полозов] совершенно убедился, что Кирсанов лучше его понимает, как надобно вести дело, и что он должен действовать безусловно по правилу, которое даст ему Кирсанов.

Но убедившись в этом, он все-таки не мог понять, что ж это за человек. Он на его стороне — и вместе на стороне его дочери; он заставил его покориться дочери, и вместе с тем хочет, чтоб дочь изменила свою волю, — как это примирить?

— Очень просто, — отвечал ему Кирсанов: — вы губили дочь и себя, потому что не умели разобрать дела, и когда я показал вам его, вы не умели рассудить, как надобно вести его, а цель у него верная, — в цели я схожусь с вами; она губила себя и вас, потому что вы не давали ей возможности спокойно разобрать дело, — я просто хотел, чтоб вы были рассудительны и чтоб она могла рассмотреть дело, — я желаю вам обоим добра, и для этого нужно, чтоб вы оба стали рассудительны, а вы оба нерассудительны, поэтому я и за обоих вас, и против обоих вас.

В тот же вечер Полозов написал к очаровательному господину письмо, в котором просил его пожаловать к себе по очень важному делу; очаровательный господин приехал, произошло нежное объяснение, очаровательный господин был объявлен женихом Катерины Васильевны с тем, что свадьба будет через три месяца.

{VIII}

Кирсанов почел неудобным видеть жениха в первые дни после кризиса, — Катерина Васильевна, конечно, еще находилась в восхищении, в экзальтации, — если он увидит, что жених действительно дряннь, и захочет помочь ее глазам раскрыться на его недостатки, это еще не будет иметь успеха, напротив, принесет вред; сопротивление подновит ее экзальтацию. Он заехал уже недели через две спросить у Катерины Васильевны, позволит ли она ему бывать у них в такое время, когда бы мог он видеть ее жениха.

Катерина Васильевна уже очень поправилась в это время. Она была еще несколько бледна и худа, но уже совершенно здорова благодаря искусству туза, которому Кирсанов опять передал ее, сказавши ей: «лечитесь у него, нужды нет: теперь никакие его снадобья, хотя бы вы и стали принимать их, не помешают вашему выздоровлению». Она встретила его с восторгом, но с недоумением посмотрела на него, когда он сказал, зачем приехал.

— Вы спасли мне жизнь, и неужели вам нужно мое разрешение, чтоб бывать у нас?

— Но вам мое посещение при нем могло бы показаться попыткой вмешаться в ваши отношения, а вы знаете, что я имею правило не делать ничего без согласия человека, в интересе которого я хотел бы действовать.

Кирсанов нашел жениха таким, каким представлялся он Полозову. Но Кирсанов просидел вечер, не выказывая ничем своего мнения о нем, — был любезен со всеми и не сделал ни одного намека Катерине Васильевне о том, нравится ли ему ее жених. Этого было уже достаточно, чтоб возбудить ее любопытство и опасение. На следующий день в ней беспрестанно возобновлялась мысль: «почему Кирсанов ничего не сказал мне о нем? Если он произвел выгодное впечатление, Кирсанов сказал бы мне это; неужели он ему не понравился? что ж могло в нем не понравиться Кирсанову?» и она всматривалась; когда вечером приехал жених, она всматривалась в поступки жениха, вдумывалась в его слова, чтоб найти, что ж в нем могло не понравиться Кирсанову. Она знала, зачем она это делает, — затем, чтоб доказать себе, что Кирсанов не мог найти в нем никаких недостатков. Так. Но мысль доказывать себе, что в любимом человеке нет недостатков, уже ведет к тому, что скоро они будут замечаться.

Через несколько дней Кирсанов был опять и опять не сказал ей ни слова о том, как ему нравится ее жених. На этот раз она уже не выдержала и в конце вечера сказала ему:

— Ваше мнение? Что ж вы молчите?

— Я не знал, угодно ли будет вам слышать мое мнение, и не знаю, будет ли оно сочтено вами за беспристрастное.

— Он вам не нравится?

Кирсанов не ответил ничего.

— Он вам не нравится?

Кирсанов все-таки молчал.

— Что ж вам не нравится в нем?

— Я ничего не говорил, нравится он мне или нет.

— Это видно.

— Я буду ждать, когда будет видно и то, почему он нравится или не нравится мне.

На следующий вечер Катерина Васильевна стала еще внимательнее всматриваться и вслушиваться. Кирсанова не было, жених говорил с нею, и она не заметила ничего. Но теперь в ней, хотя она не могла еще [ничего] заметить, вместо мысли убедиться, что в женихе нет недостатков, была уже досадная мысль: «как же я не могу заметить, что в нем не нравится Кирсанову?» Она досадовала на свое неумение наблюдать и думала: «неужели я, в самом деле, так проста?» Было возбуждено самое искательное чувство — самолюбие — в направлении, самом опасном для жениха.

На следующий раз Кирсанов, прежде державшийся совершенно нейтрально, только участвовавший в разговоре, но не бравший на себя роли давать ему направление, стал направлять разговор. Он говорил о богатстве, — и Катерине Васильевне стало казаться, что жениху слишком приятно говорить о богатстве, — Кирсанов завел разговор об игре, — и Катерине Васильевне стало казаться, что жених слишком симпатично говорит о волнениях, которые доставляет игра. Кирсанов заговорил о женщинах, — и Катерине Василь-

евне стало казаться, будто жених говорит о них слишком легко. Кирсанов начал говорить о семейной жизни, — и Катерине Васильевне стало казаться, что может — неужели может? нет, это не может быть, нет, это напрасно ей кажется, — но все [таки] ей показалось, что ей кажется, что, может быть, женщине пришлось бы много терпеть от такого мужа.

Кризис произошел; Катерина Васильевна долго не могла заснуть, все плакала, плакала от досады на себя за то, что обижала жениха невыгодным взглядом на него. На следующий вечер она уже хотела доказать себе, что она, действительно, напрасно оскорбляет его, и для этого она, сама того не замечая, начала говорить с ним, тоже выпытывая его мысли, как вчера делал Кирсанов, и опять долго не могла заснуть, опять все плакала, досадуя на себя за то, что разговор с женихом не успокоил ее сомнений в нем.

Понятно, что недели через полторы, через две она уже чувствовала страх от мысли: «скоро все будет безвозвратно, я уж потеряю возможность [поправить свою ошибку], если я ошиблась в нем», — и еще недели через полторы-две она уж думала: «нет, я не могу решиться так скоро, — зачем же это должно быть так скоро?»

Теперь Кирсанов видел, что может говорить с нею.

— Вы все допрашивались моего мнения о нем, — сказал он: — оно не так важно, как ваше. Что вы думаете о нем?

Теперь она молчала.

— Я не смею допытываться, — сказал он и тотчас же заговорил о другом. Но через четверть часа она сама подошла к нему:

— Дайте же мне совет, мои мысли колеблются.

— Зачем же вам мой совет? Вы сами знаете, что должно делать, когда мысли колеблются.

— Ждать, когда они перестанут колебаться?

— Я не знаю, как вы находите лучше.

— Я отложу свадьбу.

— Почему ж не отложить, если это кажется вам хорошо.

— Но как он примет это?

— Попробуйте и увидите, как примет.

— Но мне тяжело сказать ему это.

— В таком случае скажите вашему батюшке, чтоб он сказал ему это.

— Я не хочу прятаться за другого, я сама скажу ему это.

— Если вы чувствуете в себе силу сказать самой, то, конечно, это очень хорошо.

Между женихом и невестой произошла сцена. Жених вышел из себя, увидев, что громадное богатство невесты может выскользнуть из его рук; он рассыпался резкими упреками Полозову, которого назвал даже интригующим против него, сказал Катерине Васильевне, что она дает отцу слишком много власти над собою, что она боится его, действует теперь по его приказанию; но отец не вмешивался в дело ни одним словом, и все упреки против него

только оскорбляли Катерину Васильевну. — Как? Он не понимает, что она может думать и своею головою, что у нее есть характер!

— Вы, кажется, считаете меня игрушкою в руках другого?

— Да, — сказал он в горячности.

Катерина Васильевна вспыхнула:

— Я для вас хотела умереть, я для вас не пожалела отца, и вы не понимаете этого? С этой минуты все кончено между нами, — сказала она и быстро ушла из комнаты.

Вот как кончилась история с первым женихом. После этого Кирсанов перестал бывать у Полозовых, потому что слишком не любил знакомств с людьми, которые выше его по положению в обществе.

Через два года у Катерины Васильевны был другой жених, уже гораздо изящнее, благовоспитаннее, умнее прежнего. Теперь она была не девочка и не могла сделать такого резко дурного выбора, как в первый раз. Второй жених держал себя очень ловко, с полным дипломатическим искусством, и сам Полозов был доволен им. За ним не водилось никаких слабостей и грешков, он был мягок, любезен, почтителен, но без всякого унижения, с сохранением полного достоинства; он только был страстно влюблен и разыгрывал эту роль в совершенстве; он был вполне светский человек и даже недурных правил. Да и по своему положению в обществе он был недурной партией: из хорошей фамилии, с большими связями, не беден, ему должна была достаться почти тысяча душ из четырех тысяч, принадлежавших его отцу. Неизвестно, понравился ли бы он Кирсанову, но Кирсанов не бывал у Полозова, а из тех, кто бывал, никто ничего не мог сказать против него. Те, кто мог рассчитывать быть искателем руки богатой невесты, завидовали ему, но должны были признаваться, что он хороший жених.

Итак, дело шло к свадьбе с общим одобрением и с полным удовольствием самого Полозова. Второй жених был уже объявлен женихом, но в это-то самое время Полозов поссорился, оборвался, лопнул, и физиономия жениха вытянулась. Катерина Васильевна сказала ему: «я перестала быть выгодною невестою для вас, отдаю назад вам ваше слово». Но, сказавши это, с той поры редко смеялась, а слишком часто была печальна; грустна — всегда. Не то, чтобы ее сердце было разбито именно разлукою со вторым женихом, — она была очень расположена к нему, пожалуй, даже влюблена в него, — он был так хорош собою, так изящен, так деликатен, — но той страстной любви, от гибели которой разрывается сердце, она не имела к нему: он был слишком изящен и дипломатичен, чтоб внушить подобное неблагоприятное чувство. Катерина Васильевна чувствовала к нему любовь светской девушки, очень хорошую и очень сильную светскую любовь — и только, а такая любовь вырывается из сердца без смертельных ран. Но веселость Катерины Васильевны была разбита, потому что она потеряла веру в людей, — по крайней мере, веру в тех людей, каких видела.

[IX]

Полозову хотелось устроить продажу стеаринового завода, которым он управлял, и удалось, наконец, найти покупателя. Покупщик был иностранец, и на визитных карточках его [было] написано Charles Beaumont, но произносилась его фамилия не Шарль Бомон, как следовало бы скорее ожидать, а Чарльз Бьюмонт; да и натурально, что она так произносилась, потому что он был агент лондонской фирмы Ходчсон, Миллинер и К^о по закупке сала и и стеарина. Завод не мог идти при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества; но перешедши к Ходчсону, Миллинеру и К^о, он должен был дать большие выгоды; затратив на него полмиллиона, фирма могла иметь по сту тысяч верного барыша. Но агент был человек добросовестный, внимательно осматривал состояние завода, подробно разбирал его счетные книги, прежде чем решился советовать фирме покупку; потом пошли переговоры с обществом о продаже завода и тянулись очень долго, потому что уж такова натура наших акционерных обществ, что они все тянут и тянут. А Полозов во все это время ухаживал за покупщиком, часто приглашал его к себе обедать.

Проницательный читатель уже предвидит, что Чарльз Бьюмонт будет играть решительную роль в судьбе Катерины Васильевны, и поэтому будет более или менее важным действующим лицом в моем рассказе, Что ж он за человек?

[X]

Он, как и следует англичанину, не был большой охотник пускаться в интимности и в личные излияния, но когда его спрашивали, он рассказывал свою историю — не многословно, но очень отчетливо. Его семейство, говорил он, было родом из Канады, из французских колонистов, составляющих и теперь чуть ли не половину ее населения. Поэтому и фамилия его имела французское происхождение. И точно, сам он по виду скорее походил на французского, чем на английского американца: он был брюнет, довольно смуглый. Но его отец, потомок канадских мужиков, переселился из Канады в Соединенные Штаты, когда Чарльзу, которого тогда звали Шарлем, было лет семь. Сначала отец жил в Бостоне, сколотил небольшой капитал и отправился на Дальний Запад расчищать леса, поднимать нови и приобретать полное довольство. Вместо довольства он приобрел удар индейского томагука, и вдова его с сыном возвратились в Бостон, продав только что расчищенную покойным землю. Сын поступил в матросы. Натурально, что он, с семи лет живший уже между англо-американцами, наполовину забыл свой родной французский язык, — и точно, он говорил по-французски недурно для англичанина, но никуда негодно для француз. Когда ему было 13—14 лет, он пошел в матросы, сделал два-три рейса в Европу и в последний рейс попал в Петербург. Корабль оставался в Кронштадтской гавани довольно долго, и

Чарльзу случилось занемочь; его свезли в больницу, он лежал долго, и, когда вышел из больницы, его корабль давно уже ушел. Что ему делать? Он стал отыскивать американцев в Петербурге и нашел нескольких на заводе Берта, — они устроили его к себе. Ему повезло на заводе, потому что он и работал, и учился, так что через год один из его американцев, машинист, мог уже сделать его своим помощником; а скоро он перешел от Берта уже настоящим машинистом на завод, принадлежащий русскому. Так ему и случилось прожить около 10 лет в Петербурге, куда он попал случайно, и почти все эти 10 лет он прожил в обществе русских. Натурально, что он выучился хорошо говорить по-русски, а от английского языка сильно отвык: говорил по-английски гораздо лучше, чем по-французски, и не-англичанин принял бы [его] за чистого англичанина или американца, но англичанину или американцу было слишком слышно, что английский акцент его не чист. А по-русски говорил он совершенно, как русский. Свое время в Петербурге не терял он даром: всякий свободный час употреблял на ученье, и хотя не имел себе руководителей, но приобрел очень порядочное образование, а когда приобрел его, то отправился в Америку, — ему было тогда лет 25, — и тотчас же пристроился к какой-то американской газете писать статьи о России и вообще о Восточной Европе и о Западной Азии. Но подобные статьи требовались в ограниченном раз- мере, и Чарльз стал искать себе иного занятия и попал в нью-йоркскую контору лондонской фирмы Ходчсон, Миллинер и К°. Но, говорил он, скоро стало его тянуть назад в Россию, в Петербург, где прошли лучшие годы его молодости; его мать давно умерла, он человек свободный, — и он перешел в лондонскую контору своей фирмы, чтоб искать случая получить должность в Петербурге; через полгода случай этот представился, и вот он уже с полгода жил в Петербурге в то время, как началось его знакомство с Полозовым по случаю покупки завода. С американцами Петербурга он мало во- дился, а с служащими в американском посольстве был в яростной вражде, и они не могли говорить о нем без пены на губах: тогда правительство было в руках южан, рабовладельческой партии, а Бьюмонт был безусловным аболиционистом. Большинство петер- бургских американцев, агенты нью-йоркских фирм, тоже, подобно своим фирмам, придерживались южной партии по торговым расче- там и тоже бегали от Бьюмонта. Про англичан он говорил, что очень любит их, что после населения свободных штатов Северной Америки — это лучший народ в мире, но что ему неприятно с ними, потому что он беспрестанно должен выдерживать стычки с ними из-за того, что, говоря с американцем, они тут разумеют и насе- ление Юга, которое, по словам Бьюмонта, такие же северо-амери- канцы, какими французами были эмигранты.

Нельзя не сказать, что в этой истории не было ничего ни не- обыкновенного, ни неправдоподобного. У проницательного читателя сильно чешется язык сказать, что... — но уж так вышколен [он] моим грубым обращением, что будет молчать, — и умно делает.

[XI]

Полозов очень заботливо ухаживал за Бьюмонтом, звал его к себе по вечерам, потом стал приглашать и обедать, — нельзя, дело шло о том, чтоб выручить от захватов гибели больше половины того, что осталось у старика из прежнего громадного богатства, — о том, чтобы обеспечить свою старость и составить приданое дочери.

Бьюмонт сначала долго не принимал приглашения Полозова, но как-то раз, не успевши уклониться от обеда, увидел себя за обедом только втроем со стариком и его дочерью. Бьюмонт и раньше замечал, что Полозова всегда задумчива, почти всегда грустна. Но он не обращал на это особого внимания, — он знал, что ее отец недавно потерял громадное богатство, и естественно было думать, что девушка грустит о потерянном блеске.

— Думал ли я когда-нибудь, — сказал за обедом Полозов, — что эти акции завода будут иметь для меня такую важность! Тяжело на старости подвергнуться такому удару. Еще хорошо, что Катя так равнодушно перенесла, что я погубил ее состояние. Только она меня и поддерживает. А если б еще она жалела или роптала, я с ума бы, кажется, сошел.

Бьюмонт взглянул на Полозова, потом взглянул на Катерину Васильевну:

— Да, это, конечно, большое облегчение, когда семейство дружно переносит неприятности.

— Да вы смотрите сомнительно, Карл Яковлевич (Бьюмонт для русского разговора принимал это отчество, объясняя, что его отца звали в Канаде Жак, а в Соединенных Штатах Джеймс), — вы думаете, что она задумчива, так это оттого, что она жалеет о богатстве? Нет, Карл Яковлевич, нет, вы ее напрасно обижаете. У нас с нею другое горе — мы изверились в людей, — сказал полушутя, полупечально Полозов.

Катерина Васильевна покраснела — ей было неприятно, что отец завел о ней разговор.

— Нет, папа, вы напрасно мою задумчивость объясняете такими высокими мотивами, — у меня просто невеселый характер, и я скучаю.

— Быть грустной — против этого ничего нельзя сказать, — сказал Бьюмонт, — но чувствовать скуку, это, по моему мнению, не извинительно. Она в моде у наших братьев англичан, но мы, американцы, не знаем ее: это слово не существует в нашем американском языке, нам некогда скучать, у нас слишком много дела; мне кажется, что и русский народ должен бы видеть себя в таком же положении: у него тоже слишком много дела на руках. Но, действительно, я вижу в русских совершенно противное: они очень расположены хандрить; сами англичане далеко не выдерживают с ними соревнования в этом, хотя и прославились изобретением сплина.

— И русские правы, что хандрят, — сказала Катерина Василь-

евна. — Какое ж у них дело? Им нечего делать; они должны сидеть сложа руки. Укажите и мне дело, и я, вероятно, не буду скучать.

— Вы хотите найти себе дело? О, за этим не должно быть остановки. Вы видите вокруг себя такое невежество, такую беспомощность.

— Да, но один, — еще более одна, — что может делать один?

— Но ведь ты же делаешь, Катя, — сказал Полозов: — я вам выдам ее секрет, Карл Яковлевич, она от скуки учит девочек, — у нее каждый день бывают ее ученицы, и она возится с ними от 10 до часу, иногда больше.

Бьюмонт посмотрел на Катерину Васильевну с уважением:

— Вот это по-нашему, это по-американски, — но зачем же в таком случае вы скучаете?

— Но разве это такое дело, которое может придать интерес жизни? Это не больше, как развлечение, которое занимает меня, пока я занята им, и о котором нечего думать в другие часы дня, — оно слишком легко, оно могло бы служить хорошим отдыхом от чего-нибудь более серьезного, не более; и притом, знаете, что кажется мне, мистер Бьюмонт? Может быть, я ошибаюсь, может быть, вы назовете меня материалисткою...

— Вы ждете такого упрека от американца, от человека из той нации, которая ославлена на целый свет как погрязшая в материализме, думающая только о долларах?

— Вы шутите, но я серьезно боюсь высказать вам мое мнение, — оно в самом деле покажет вам, что я материалистка; но моя жизнь привела меня к такому прозаическому взгляду, — мне кажется, что дело, которым я занимаюсь, слишком одностороннее дело, и что та одна сторона, на которую обращено оно, — не первая сторона, на которую должны быть обращены заботы человека, желающего принести пользу народу. Я думаю так: дайте людям кусок хлеба, читать они выучатся и сами. А начинать надобно не с книги, а с хлеба, иначе мы будем почти попусту тратить время.

Бьюмонт взглянул на Катерину Васильевну с любопытством и подумал про себя: «ого!»

— Да, это очень грубый материализм, — сказал он улыбнувшись, — но если вы думаете, что надобно начинать не с того конца, с которого обыкновенно начинают заботу о нравственном возвышении народа, то почему ж вы не начинаете с той стороны, с которой надобно?

— Я вам сказала: одна что я могу сделать? Я не знаю, как приняться, за что приняться, и если б даже знала, где у меня возможность? Вы знаете, девушка так связана во всем. Я независима в своей комнате, но что я могу делать в своей комнате? Положить на стол книжку и учить читать, — я это и делаю. Но если я выхожу, куда я могу идти одна? С кем я могу видаться одна? Какое дело я могу вести одна? — А я говорю вам, что я еще и не знаю, какое же дело надобно вести и как его вести.

— Ты, кажется, изображаешь меня, Катя, деспотом, который держит тебя взаперти, — сказал Полозов: — уж в этом-то я повинен с тех пор, как ты так страшно проучила меня.

— Нет, папа, вы хороший, вы не стеснение, — стеснение не от вас, от всего общества.

— Вот как, Катерина Васильевна, вы давали страшные уроки вашему батюшке, чтоб он не был деспотом?

— Папа, зачем вы вспоминаете о том, от чего я давно краснею — ведь я тогда была ребенок. Мистер Бьюмонт, скажите, правда, что у вас в Америке девушка не так связана?

— Да, мы, американцы, можем этим гордиться. И у нас далеко еще не то, чему следует быть; но все-таки какое ж сравнение с европейцами! Американцы все-таки признают гораздо больше свободы за женщиною.

— Папа, поедem в Америку, когда мистер Бьюмонт выкупит тебя от твоего завода, — сказала шутя Катерина Васильевна. — Я там буду что-нибудь делать.

— Ну, Катя, ты-то, может быть, и годишься для Америки, а я-то был бы слишком плохим американцем.

— Можно найти дело и в Петербурге, — сказал Бьюмонт.

— Например? укажите, я буду очень, очень благодарна вам. Бьюмонт задумался, как будто сказал лишнее.

— Вы не хотите сказать? Что ж это, тоже одни неопределенные слова? Это я могла бы слышать и от многих русских. От американца я ждала большего.

«Что ж, в самом деле? Зачем же я и здесь, как не за этим? И через кого ж и узнать, пора или еще нет?» — думал Бьюмонт.

— Нет, Катерина Васильевна, это не неопределенные слова: я, когда говорил вам о возможности найти дело, думал о деле, которое существует, к которому вы можете примкнуть, и, к чести вашей нации, это дело начато руками русской женщины и делается руками нескольких женщин, все чисто русских. Познакомьтесь с г-жою Кирсановою, — у нее найдется дело и для вас.

— Кирсановою? Кто это? Ее муж медик? — быстро спросила Катерина Васильевна.

— Вы его знаете? Как же вы не слышали о деле, деятельницею которого его жена? Это дело очень любопытное. Быть знакомым с вами и не говорить — это непростительно с его стороны.

— Мы его знали, когда он еще не был женат, — сказал Полозов: — наше знакомство связано с тем случаем, когда [я] получил урок, отучивший меня от деспотизма.

— Папа, вы опять, зачем, милый папа? Мы виделись с Кирсановым четыре года тому назад, мистер Бьюмонт, он пользовал меня, и без него я [бы] умерла. С тех пор мы не видались. Он не хотел продолжать знакомства с нами — теперь я понимаю, почему: мы тогда были богаты, а он слишком горд, чтоб быть знакомым с людьми, которые богаче. Я теперь это понимаю.

— Да, он бросил все свои прежние богатые знакомства, — сказал Полозов.

— Это не имеет в себе ничего особенного, папа, они неприятны. Удовольствие можно находить только в обществе равных. Но, мистер Бьюмонт, мы все отвлекаемся от дела. Вы меня познакомите с м-ме Кирсановой?

— Я сам незнаком с Кирсановыми. Я только знаю их, но незнаком.

— Как же это сделать? Укажите ж, через кого я могу познакомиться с м-ме Кирсановою?

— Тут не нужно ничьей рекомендации, вы просто отправьтесь к ней.

— Если вы о ней слышали, то, может быть, и она слышала о вас, — вероятно, у вас есть общие знакомые. Ваше имя, вероятно, послужит рекомендациею, хотя вы и незнакомы лично.

— Нет, мое имя неизвестно им. Вы можете сказать или не сказать его, как вам угодно, но оно не поможет вашему знакомству, — да и не нужно: я ручаюсь, что цель, с которою вы начинаете знакомство, заставит ее полюбить вас.

— Еду, завтра же еду. Но как узнать адрес?

— Я не знаю, где они живут, но об этом можно узнать в Медицинской академии, где он служит.

— Ах, какой он человек! Я ни раньше, ни позже не видела таких людей! Похожа ли она на него?

— Да, потому что все хорошие люди очень похожи друг на друга, — я в этом смысле и говорил.

— Если б я больше видела таких людей, как он!

— Конечно, то общество, в котором вы жили раньше, не очень изобилует такими людьми; даже нынешний круг ваших знакомых тоже еще плоховат; но, когда вы сойдетесь с Кирсановыми и узнаете кружок их знакомых, вы увидите, что есть целые круги, состоящие исключительно из таких людей, как он.

— Но что ж это за дело, о котором вы говорите с таким уважением и в котором я могу принять участие?

— Это опыт практического применения тех экономических принципов, которые в последнее время выработаны наукою. Вы знаете их?

— Да, я читала кое-что о них и вижу, что дело, на которое [вы] указываете мне, должно быть очень завлекательно.

— Да, у нас в Америке есть уже довольно много таких опытов, но в России, насколько я знаю, это еще первый. Это чрезвычайно освежительно действует на душу, потому-то я и решился рекомендовать вам участие в нем. Я надеюсь, что и личность м-ме Кирсановой подействует на вас освежительно.

Вот каким образом произошло то, что Катерина Васильевна познакомилась с Верою Павловною. Она была у [нее] в первый раз на другой же день поутру, как сказала Бьюмонту, а Бьюмонт вечером опять был у них, — что это с ним сделалось? Раньше,

было, не дозовешься, а теперь сам, без зова, приехал и на другой же день после того как был, — что это значит? Старику Полозову трудно [ли] намотать это себе на ус? — Что ж, жених подходящий, — в прежнее время, конечно, не такого нашла бы, а теперь — теперь лучшего и ждать нельзя. Человек очень хороший и основательный, получает жалованья больше 3 тысяч рублей, захочет, может получать и больше, может и сам войти в обороты — дельная голова. Говорит, что хотел бы навсегда остаться в России, что она ему мила, будто родина: партия ей.

Соображение старика оправдывалось делом, но соображал он еще несколько рано: пока Бьюмонт вовсе не затем [приезжал], что хотел стать женихом, нет; правда, со вчерашнего разговора он смотрел на Катерину Васильевну с уважением и сочувствием, но он вовсе не ею занят, не для [нее] приехал — ему хотелось поскорее узнать, что она видела поутру.

[XII]

Как одушевлена Катерина Васильевна! Ее узнать нельзя! Куда девалась ее грустная задумчивость, ее тихая молчаливость! С каким восторгом рассказывает она Бьюмонту, — и ведь уже рассказывала отцу и все-таки не унялся от одного раза рассказывания ее энтузиазм, — о том, что видела поутру. Да, теперь ее сердце полно, живое дело найдено! Бьюмонт слушал внимательно, но разве можно слушать это так? Наконец, заметила она и чуть не [с] гневом говорит:

— Мистер Бьюмонт, я разочаровываюсь в вас, — неужели на вас это так мало действует, что вам интересно — и только?

— Катерина Васильевна, вы забываете, что я все это видел; в ваших описаниях для меня новы только некоторые подробности; я вижу, что дело вообще развилось, рад этому, но ведь ко всему, что составляет сущность его, я слишком привык.

— Вы говорите, что очень близко знали эту мастерскую?

— Зачем же понимать мои слова в таком смысле? Я видел у нас в Америке несколько таких учреждений, — я вчера сказал вам, — некоторыми из них я довольно долго занимался. Для меня интерес новизны тут могут иметь только личности, которым обязано дело своим успехом, — например, что вы можете рассказать мне о м-ме Кирсановой?

— Ах, боже мой, она мне чрезвычайно понравилась, — все объясняла с такою любовью, — и больше я ничего не могу сказать о ней; неужели до того мне было, чтоб думать о ней, когда у меня перед глазами было такое дело?

— Ваша правда, — сказал Бьюмонт: — так и я совершенно забываю о [людях], когда заинтересован делом. А все-таки что ж вы можете сказать о м-ме Кирсановой?

Катерина Васильевна перебрала все свои воспоминания, но в них почти только и нашлось первое впечатление, какое сделала на [нее]

Вера Павловна; она очень живо описала ее наружность, голос, манеры, — все, что бросается в глаза в первую минуту встречи с новым человеком, — но дальше — дальше у нее в воспоминаниях уж, действительно, почти ничего, относящегося к самой Вере Павловне, [не было]: мастерская, мастерская и мастерская и объяснения Веры Павловны о мастерской, — эти объяснения она все помнит, но саму Веру Павловну во все последующее время после первой минуты встречи она уж не помнила.

— Итак, на этот раз я обманулся в своем ожидании узнать от вас много о вашей новой знакомой. Но я не отстану от вас, — через несколько дней я буду опять допрашивать вас о ней.

— Но почему ж вам самому не познакомиться с ней, если она вас так интересует?

— Да, я думал сделать это. Но прежде, чем я решусь на это, я должен узнать о ней побольше. Я даже попрошу вас, если вам и случится упоминать мою фамилию в разговорах, то не упоминать, что я расспрашивал вас о ней или что хочу познакомиться с нею.

— Да? Конечно, если вы этого хотите. Но это начинает подходить на загадку.

— Во всяком случае на это у меня важная причина, которая, вероятно, и устранилась, когда я побольше услышу от вас о ней. Но пока эта причина очень важна.

[XIII]

Бьюмонт начал бывать у Полозовых часто. Одушевление Катерины Васильевны продолжалось, не ослабевая, а только переходя в постоянное настроение духа, бодрое, живое, светлое. Для Бьюмонта она, когда успевала побывать в мастерской и у Кирсановых, несколько отвлекала свое внимание от мастерской на саму Веру Павловну, но в первое время это удавалось ей все-таки редко, и все-таки рассказы ее о Вере Павловне выходили довольно скудные материалом; очевидно, она живет с мужем очень хорошо; мало сказать: очень хорошо, — они чрезвычайно сильно любят друг друга, и по всему видно, что оба чрезвычайно счастливы своими отношениями. — Почти только. Но, кажется, этого было довольно для Бьюмонта, — он стал уже говорить, что, кажется, скоро он познакомится с Кирсановыми.

— Мистер Бьюмонт, я слишком плохой агент, согласитесь, но что ж мне делать, — личность очень мало занимает меня, у меня всегда на первом плане дело, — сказала недели через три Катерина Васильевна. — Отдельный человек занимает меня лишь настолько, насколько это нужно для дела. Если надобно что-нибудь сделать для человека, я занимаюсь им; как миновала надобность, личность снова не привлекает к себе моих мыслей. Я думаю о всевозможных вещах вообще, а не по отношению к отдельным лицам, — может быть, я не умею это выразить ясно, не знаю, понятно ли это?

— Я это очень хорошо понимаю, Катерина Васильевна: по натуре одних людей все думается под формою живых, определенных случаев, — их мысль берет факт и делает его представителем общего понятия. Это натуры, которые принято называть поэтическими, — мне такое название кажется несправедливо, потому что обижает меня, — будто у меня не поэтическая натура; но у меня не такая натура; я беру частный факт только для того, чтобы извлечь из него общее понятие — мне легче думается под формою общих понятий. Я давно вижу, что у вас то же. Это не значит, что у нас слаба фантазия, — нет, в обоих разрядах есть люди с самой сильной и с самой слабой фантазией, — у какого поэта воображение было сильнее, чем у Фурье? Самые живые картины великих поэтов едва ли так живы и отчетливы, как его описания, — но все-таки он писал не беллетристические рассказы, а теоретические рассуждения. Однако, хотя вы и плохой агент, хотя вы и очень мало обращаете внимания на личные отношения, которые мне нужно знать, я все-таки узнал их настолько, насколько мне нужно было знать. Но теперь мне интересно знать ваше мнение об этих отношениях. Скажите, как вам нравятся отношения Кирсановых?

— Они превосходны.

— Так; сами по себе превосходны и для них превосходны. Но для вас — были бы такие отношения совершенно по вас?

— Что вы спрашиваете это, мистер Бьюмонт? Вы довольно [знаете] мой образ жизни, — как я держу себя: если я не вижу себе дела, я уйду в свою комнату; мне приятно говорить только или тогда, когда это нужно для дела, или когда я [со]чувствую, — вот хоть об этой мастерской; я несколько только в последние дни перестала мучить вас бесконечными рассказами о ней, — но теперь, когда я начала привыкать, когда мое прежнее волнение от этого дела стало заменяться спокойным, хотя не менее сильным участием к нему, вы видите, что я стала менее разговорчива.

[XIV]

Этот тон разговора уже показывает, что Катерина Васильевна и Бьюмонт были очень дружны. Да и как им было не сблизиться? Она увидела в нем, который раньше говорил только о сухих практических расчетах с ее отцом, совершенно новую сторону с той поры, как зашла у них речь о деле, которое может занять ее; он выказывал такое воодушевление, когда говорил об общих интересах, что человеку, сколько-нибудь занятому ими, нельзя было смотреть на него без симпатии; точно также увидел [новое] и Бьюмонт в Катерине Васильевне. Они были союзники, горячо преданные одному делу, — как же было им не подружиться? — Но они оба уж чувствовали, что это не просто дружба: нет, им обоим уж думалось: «мы были бы пара друг другу; мы были бы счастливы». Почему ж и не быть? К этому теперь подходил разговор.

— С одним из моих друзей — в Нью-Йорке, в Бостоне, в Филадельфии, где бы то ни было, все равно покуда, — была довольно занимательная история, которую я хочу рассказать вам, Катерина Васильевна, — начал Бьюмонт. — Он был женат на женщине, лучше которой никого никогда не знал. Она тоже считала его лучшим человеком из всех, кого знала. Они были чрезвычайно привязаны друг к другу. (Он был человек очень суровый, очень строгих правил, она также.)¹ И однако ж они не могли ужиться вместе. Он готов был отдать голову за малейшее увеличение ее счастья, он был готов на все для нее, [но] он хотел жить так, чтоб никто не тревожил его без надобности в нем, — и не мог сделать исключения из этого даже для нее. Он хотел сделать это исключение, когда заметил, что она хочет этого, но это ему не удалось. Она, наоборот, хотела отдавать любимому человеку все то время, которым она и он могли располагать свободно, — и он не мог принять этого, он хотел принять, но она видела, что это ему не нужно. Что вы скажете о таком человеке? Он не умел любить, не знал чувства любви?

— Я не знаю, умел ли он, понимал ли; но я понимаю его. «Я беру у вас только то, что мне нужно». Я, как он, скучала бы, если от меня потребовали бы того, что [она] от него.

— Как же назвать вас и его? Людьми с сухим сердцем?

— Как хотите, это все равно. При малейшей надобности я готова делать все, что надобно, но без надобности не тревожьте меня, это мой идеал жизни.

— Вы любили два раза? Но было ли это достаточно серьезное чувство, чтобы вы могли сказать, что знаете свой идеал?

— Мне 22 года. Я могла узнать себя.

— Мне кажется, что вы не ошибаетесь. Поэтому позвольте досказать полнее историю, которую я выставил вам только в общих чертах. Вам нужно слышать ее? Если она теперь будет касаться вас?

— Да? Она может иметь отношение ко мне?

— Да, она имеет отношение к вам.

— Говорите.

[XV]

— Мой друг, — сказала через полчаса Катерина Васильевна, — когда я сказала, что знаю себя, я говорила о том, что я чувствовала в себе в эти дни, после того как мы с тобою сблизились. Итак, знал ли [ты], что я не могла ни на минуту не думать о тебе? Что бы я ни думала, как бы я ни была увлечена, поглощена другими мыслями, — мысль о тебе стояла рядом с ними. С чем это сравнить? Я знаю, — с тем, как всегда помнишь о себе, — ведь это бы я ни думала, как бы я ни была поглощена чем-нибудь, я все-таки помню свое имя, свои лета, цвет своих волос, — я помню себя, — точно так же ты был всегда в моих мыслях. Будет ли это всегда

¹ Взятое в скобки в рукописи зачеркнуто. — Ред.

так продолжаться? Я не знаю. Не ослабеет [ли] эта связь всех моих мыслей, всех моих чувств с мыслью о тебе, с чувством к тебе? Я не знаю; мне кажется, нет, но я этого не знаю.

— Я знаю, — нет; я знаю это по опыту.

— Но, мой друг, сильнее, чем теперь, это не может быть: нельзя думать о тебе, любить тебя больше, чем в это время. Но, мой друг, во мне даже и теперь не бывает того стремления, чтобы постоянно быть вместе с тобою. Когда ты уходил, я хотела удерживать тебя, если ты удалялся от меня, отрывался от меня против твоей воли делами раньше, чем, вероятно, самому хотелось бы, — но это было не так часто, а когда это не бывает, я [не] жалею о том, что ты удаляешься. Может быть, как ты говоришь, это значит, что я не люблю тебя. Будем называть это чувство как угодно, — просто привязанностью, страстною привязанностью, или не страстной любовью, или любовью людей сухого сердца, или непозитического сердца, или любовью людей, которые больше живут головою, чем сердцем, — мне кажется, что это все будет неправда, что это чувство — тоже настоящая, страстная любовь, и что у нас с тобою не сухое сердце, и что у нас жизнь сердца не слабее, чем жизнь головы, — но пусть будет все равно. Мы любим друг друга, как только умеем и можем любить. Пусть другим не может быть достаточно нашего чувства, но его достаточно для нашего счастья; пусть другим нужно больше, — для нас, больше было бы, если б один из нас требовал от другого больше, было бы обременением, скукою. Так ли? С этой минуты мы муж и жена. Вот мое кольцо, и вместе с ним возьми — даю тебе свой поцелуй.

[XVI]

— Я венчаюсь, вчера мы сказали это друг другу и отцу, — сказала на другой день Полозова Вере Павловне.

— С мистером Бьюмонтом, от которого вы уж давно без ума?

— Ну, конечно, — к чему было и спрашивать, — я потому и забыла назвать его по имени, что этого вовсе не нужно вам, чтоб знать, — но вот чего [вы], Вера Павловна, не знали бы, если б я теперь не сказала: наша свадьба послезавтра, а завтра я буду у вас с моим женихом. Он очень любит вас.

— И разочаруется, когда увидит меня своими глазами, и не вашими, в настоящем моем виде, а не в идеальном портрете ваших похвал.

— Едва ли, потому что он знает [вас] не в идеальном портрете моих похвал, а гораздо больше, чем я.

— Вот новость! Как же это?

— Как? Это я вам сейчас скажу. Вы тогда увидите, что он с первого дня, как приехал в Петербург, должен был очень сильно желать увидиться с вами, но ему казалось, что лучше будет, если он отложит знакомство до той поры, когда он придет к вам не

один, а с невестой или женою; ему кажется, что вам приятнее будет видеть его так, чем одного. Я даже [не] поручусь, что эта мысль не участвовала в [его] желании жениться.

— На вас?

— О, боже мой, не на мне! Почему ж он знал, что женится на мне? Нет, мы с ним венчаемся, конечно, не для вас, а сами для себя; но в том, что он вообще думал жениться и поэтому бывал в обществе, в этом, может быть, участвовало желание познакомиться с вами.

— Он говорит по-русски лучше, чем по-английски, говорили вы? — сказала Вера Павловна с волнением.

— По-русски — как я, и по-английски не лучше моего.

— Друг мой, Катенька, как я рада! — И Вера Павловна бросилась обнимать свою гостью. — Саша, иди сюда. Скорее, скорее!

— Что, Верочка? Здравствуйте, Катерина Ва...

Но он не успел договорить ее имени, потому что она уж обняла его и крепко поцеловала.

— Ныне пасха, Саша, ты не предполагал, что пасха иногда бывает в январе? Говори же: во-истину воскрес — проговорила со смехом Вера Павловна.

— В таком случае надобно целоваться три раза, Катерина Васильевна, — только что ж это значит?

— Это значит, что зови меня Катею, сестрою, — но пока довольно будет тебе и одного поцелуя.

— Одного, когда уж вы надавали мне их целый десяток? — только скажите же кто-нибудь, чем я заслужил? Тем, что люблю вас, Катерина Васильевна? да ведь я давно вам это говорю. Что с вами обими? Вы готовы прыгнуть до потолка?

— Тем, что теперь ты будешь звать ее не Катериною Васильевною, а Катенькою, как она велит.

— Как же это?

— А вот как.

[XVII]

Через два дня была свадьба, а накануне Бьюмонт и его невеста просидели до поздней ночи у Кирсановых. Рассказывая по требованию новых знакомых свою жизнь, Бьюмонт начал прямо со своего приезда в Соединенные Штаты и говорил о своих приключениях в них с большими подробностями. Он по приезде занялся газетною работою, потом действительно поступил в контору Ходчсон, Миллинер и К^о и оттуда попал в Петербург действительно тем самым путем, о котором было уж говорено по его краткому рассказу, делаемому для всех желающих. Значит, по крайней мере часть его автобиографии достоверна.

Два семейства с самого же начала стали чрезвычайно близки и остаются в такой же тесной дружбе до сих пор.

[XVIII]

Если б я писал роман, [этим] он и был бы кончен мною, но я не имею претензии писать роман, — для этого нужен был бы талант, которого у меня нет; я просто рассказываю о жизни одной из моих добрых знакомых и людей, к ней близких, то, что мне кажется не лишенным интереса, а может быть, и пользы для публики; и потому я должен прибавить еще несколько страниц.

И, во-первых, мне нужно объяснить с публикою о том, до какой [степени] участвовал в моем рассказе вымысел, и многое [ли] в нем изменено против того, как было на самом деле. Само собою разумеется, что лицам даны имена собственного моего изобретения, и, как видит читатель, уж эта сторона моей изобретательности показывает, что нельзя искать в моем рассказе большой дозы вымысла: я [и] фамилий-то не умел придумать таких, чтоб они были сколько-нибудь самобытным изобретением, — должен был взять слова, какие попались, и приделать к ним окончания, предлагаемые для этой цели грамматикою, и т. п.: лопух-ов, полозов, даже и на это нехватило моего творчества: пришлось сделать прямое заимствование из географических данных любезного отечества и окрестить одного — второго — мужа Веры Павловны Кирсановым, по готовому имени города Кирсанова. — После этого, кажется, напрасно [и спрашивать], и если я мог выдумать порох, то разве только выдуманный порох: я вообще не так-то изобретателен на выдумки.

Да, все существенное в моем рассказе — факты, пережитые моими добрыми знакомыми. Разумеется, я должен был несколько переделать эти факты, чтобы не указывали пальцами на людей, о которых я рассказываю, что, дескать, вот она, которую он переименовал в Веру Павловну, а по-настоящему зовется вот как, и второй муж ее, которого он переместил в Медицинскую академию, — известный наш ученый такой-то, служащий по другому, именно вот по какому ведомству.

Но все эти перемены чисто внешние, за исключением одной: главный факт происходил гораздо проще, чем я его рассказал, так что если б я его рассказал точно так, как он был, то и не пришлось бы мне приписывать Рахметову отзыв, что этот факт имел мелодраматическую форму: Рахметов этих слов не говорил, потому что на самом деле все обошлось с гораздо меньшими эффектностями.

Зачем же я придал эффектность, присочинил и выстрел, и пропажу? Не из охоты к эффектам, нет, а только для тебя, та часть публики, которая нашла в моем рассказе что-нибудь новое для себя, — я для тебя должен был завить и закурлявить простой ход дела, потому что тебе он показался бы уж слишком прост, то есть, по-твоему, груб, прозаичен, безнравственен. Ведь и с прикрашивающими смягчениями мой рассказ кажется тебе все-таки довольно безнравственным, — так что ж бы ты сказала, если б я прямо сообщил здесь тебе с самого начала, что на самом деле и сле-

дует делать, и делают порядочные люди еще гораздо проще и гораздо меньше убиваются, и гораздо непрерывнее сохраняют между собою дружбу, как бы ни изменялись их отношения? На первый раз я подумянил для тебя факты, — ведь, по-твоему, только румянам принадлежит нравственность, — сделал это для того, чтоб ты не называла меня учащим тебя уж слишком большой безнравственности.

А впредь я этого не буду делать, потому что теперь ты уж несколько подготовилась читать без ужаса и такие вещи, в которых с начала до конца лица будут показываться тебе без румян; я ведь и здесь в большей части рассказа выводил их без румян; так ты уж позволь мне в следующие разы и вовсе не прикрашивать хороших лиц румянами ни в каких обстоятельствах.

Есть в рассказе еще одна черта, придуманная мною: это мастерская. На самом деле Вера Павловна хлопотала над устройством не мастерской; и таких мастерских, какую я описал, я не знал: их нет в нашем любезном отечестве. На самом деле она [хлопотала над] чем-то вроде воскресной школы или — ближе к подлинной правде — вроде ежедневной бесплатной школы, не для детей, а для взрослых; но для хода самого рассказа ведь это все равно, а мне показалось, что вместо дела, более или менее известного, [лучше] описать такое, которое очень мало известно у нас.

Больше, кажется, не в чем мне объясняться. Начну ж досказывать то, что, по моему мнению, надо досказать.

[XIX]

В тот же вечер условились обоим семействам искать квартир, которые были бы рядом. В ожидании того, пока удобные квартиры отыскились и устроились, Бьюмонты прожили на заводе, где по распоряжению фирмы была отделана квартира для управляющего, и это удаление за город могло считаться соответствующим путешествию, в которое отправляются молодые по англо-американскому обычаю. Месяца через полтора две квартиры рядом были отысканы.

Старик Полозов предпочел остаться на заводской квартире, простор которой хоть в слабой степени напоминал ему время его величия. Почти каждый день поутру приезжает к нему в гости дочь вместе с мужем — он по своим делам, она вместе с ним. На лето они и вовсе переселялись на завод, который заменяет им дачу, а в остальное время года старик, кроме того, что по утрам видит у себя дочь и зятя, часто имеет удовольствие принимать у себя гостей, потому что завод служит обыкновенно целью очень частых поездок за город. Он бывал очень доволен каждым таким пикником, — как же иначе? — ему принадлежала роль гостеприимного хозяина.

Так и шла ладно и дружно, тихо и шумно, весело и дельно жизнь двух семейств, так идет она и теперь. Но мои герои и ге-

роини — люди еще молодые, деятельные, и их жизнь ладная и дружная, тихая и шумная, веселая и дельная, устроившись хорошо для них, вовсе не перестала быть интересною, — нет, я имею рассказать о них многое, очень многое, и уверен, что продолжение моего рассказа о них покажется публике занимательнее того, что я рассказывал ей о них до сих пор.

[XX]

Каждое из двух семейств живет по-своему, — на одной половине больше шума, на другой больше тишины. Катерина Васильевна давно устроила свою особую мастерскую и много заменяет Веру Павловну в ее мастерской, а скоро и почти вовсе заменит ее. потому что в нынешнем году Вера Павловна — простите ей — действительно будет держать экзамен на медика, и тогда ей вовсе уж некогда будет заниматься мастерской. Катерине Васильевне не нужно искать средств для приобретения независимости — она не захотела иметь приданого, но у ее отца есть капитал, достаточный для обеспечения ее — тем лучше.

И вот они все живут, работают и отдыхают, и веселятся, и смотрят на будущее если не без забот, то с твердою и совершенно основательной уверенностью, что чем дальше, тем лучше будет. Так прошло около трех лет, и пришел и идет нынешний 1863 год. И вот зима нынешнего года¹.

¹ Из дальнейшего текста сохранились в черновике только два отрывка, которые мы даем в Дополнениях. — Ред.